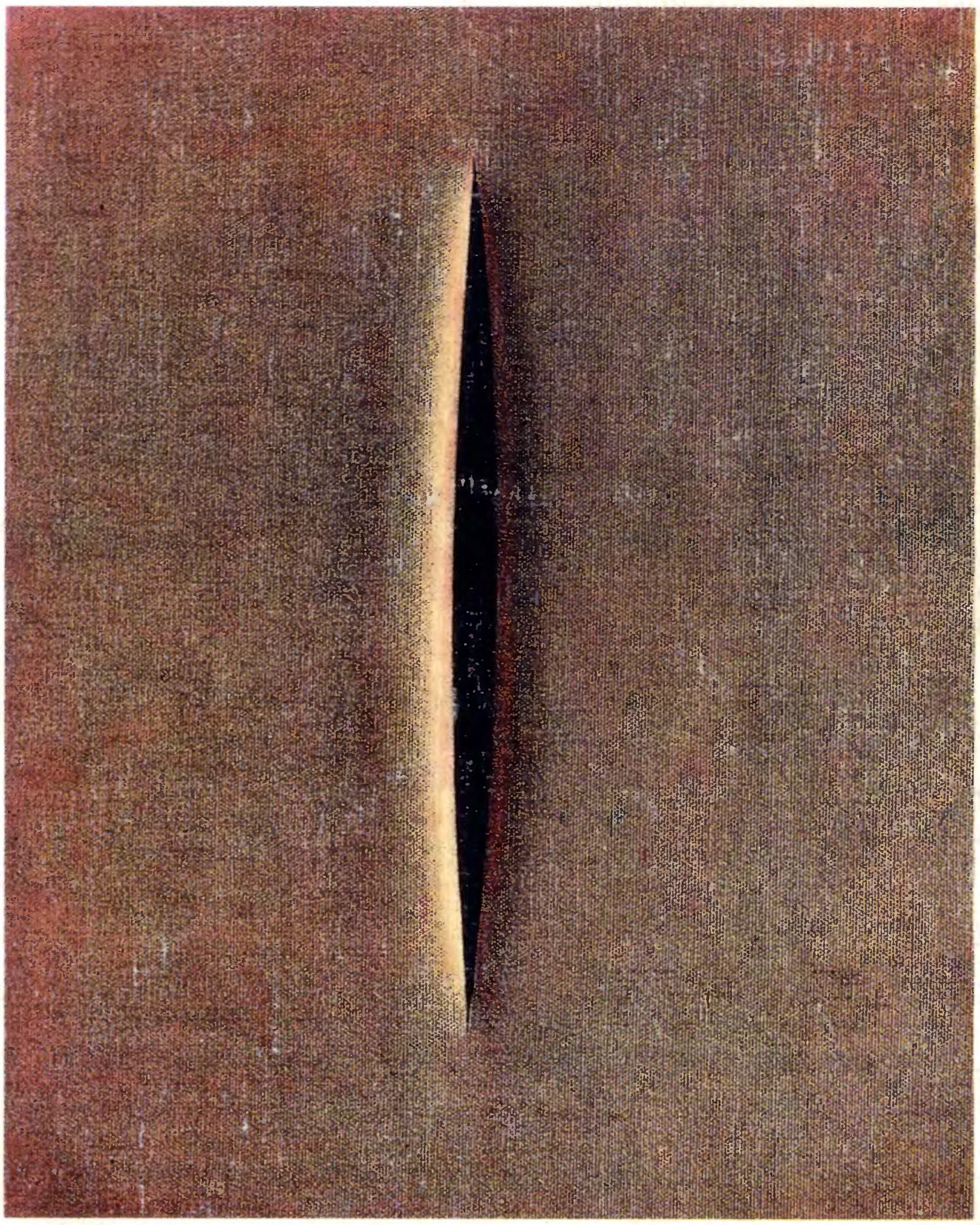
ISSN 0130-6545

5.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



В номере:

НАТАЛИ САРРОТ
Откройте

ДЖОН БАРТ
Конец пути

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ
Необязательное чтение

ЛИТературный ГИД

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ТЕКСТ

Премии «ИЛ» за 1998 год

В конце мая будут определены лауреаты традиционных ежегодных премий журнала «Иностранная литература».

Жюри, в которое входят члены Редакционного совета и Редакционной коллегии журнала, сформировало три номинационных списка.

На премию ***«Иллюминатор»***, присуждаемую за лучшее произведение минувшего года в области перевода и исследования зарубежной литературы, претендуют:

Александр Богдановский – за переводы романа *ЖОЗЕ САРАМАГО «Евангелие от Иисуса»* («ИЛ», 1998, № 5, 6) и книги воспоминаний *ЖОРЖИ АМАДУ «Каботажное плавание»* («ИЛ», 1998, № 7).

Петр Вайль – за книгу *«Гений места»*, составленную из эссе, публиковавшихся в одноименной рубрике «ИЛ» в 1995 – 1998 гг.

Евгений Витковский – за книгу *«Строфы века-2. Антология мировой поэзии в русских переводах»* (составление). М., Полифакт. Итоги века, 1998.

Владимир Гривнин – за собрание сочинений *КОБО АБЭ* в 4 тт. (составление, предисловие, переводы). Спб., Симпозиум, 1998.

Александр Ливергант – за книгу *«От А до Я: 300 лет американского афоризма»* (составление, предисловие, перевод). М., Терра – Книжный клуб, 1998.

На премию ***«Иномит»*** (лучшая журнальная публикация «ИЛ» в 1998 году) выдвинуты:

Александр Богдановский – за переводы *САРАМАГО, АМАДУ*, а также книги *НОРМАНА МЕЙЛЕРА «Портрет Пикассо в юности»* (№ 8).

Э. Двин – за перевод романа *ЛУИДЖИ МАЛЕРБЫ «Итака навсегда»* (№ 3).

Сергей Ильин – за перевод романа *ДЖОЗЕФА ХЕЛЛЕРА «Вообрази себе картину»* (№ 2).

Геннадий Киселев – за перевод романа *АЛЕССАНДРО БАРИККО «Море-океан»* (№ 1).

Евгения Лысенко – за перевод романа *ТОМАСА ЭЛОЯ МАРТИНЕСА «Святая Эвита»* (№ 10).

На премию ***«Иномитта»*** (лучшая журнальная публикация малой формы) выдвинуты:

Григорий Кружков – за переводы стихов *УОЛЛЕСА СТИВЕНСА* (№ 10).

Владимир Рогов – за статью *«О переводе заглавий»* (№ 4).

Михаил Шишкин – за статью *«Урок швейцарского»* (№ 9).

Асар Эппель – за переводы поэмы *ТАДЕУША РУЖЕВИЧА «Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста»* (№ 7) и рассказа *БРУНО ШУЛЬЦА «Комета»* (№ 12).

**Из общего тиража в 15300 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 4 535 экземпляров.**

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

5 май 1999

СОДЕРЖАНИЕ

НАТАЛИ САРРОТ — Откройте *(Фрагменты книги. Перевод с французского и вступление И. Кузнецовой)*..... 5
Из канадской поэзии. ЭМИЛЬ НЕЛЛИГАН. АЛЬФРЕД ДЕРОШЕ *(Перевод с французского Р. Дубровкина. Вступление И. Кузнецовой)*... 20
ДЖОН БАРТ — *Конец пути (Роман. Перевод с английского и послесловие В. Михайлина)*..... 25

Литературный гид

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ТЕКСТ

АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ — Вокруг, около и вместо..... 156
ПЕТЕР КОРНЕЛЬ — Пути к раю *(Комментарии к потерянной рукописи. Перевод со шведского Ю. Яхниной. Вступление Милорада Павича)*..... 160
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ — Отсутствие отсутствия..... 213
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН — Книга, ждущая авторов..... 217

Среди книг

ЯН ГОНДОВИЧ — Химеры на страницах книг..... 229

Галерея «ИЛ»

ОЛЬГА ЮШКОВА — «Ожидание» Лючио Фонтана..... 232

Статьи, эссе

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ — Необязательное чтение *(Перевод с польского К. Старосельской)*..... 234

У книжной витрины..... 250

Курьер «ИЛ»..... 251

Авторы этого номера..... 254

© «Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Повесть итальянского писателя **Алессандро Барикко** «ШЕЛК» — удивительная любовная история, выдержанная в настроении и стилистике изысканного японского хайку.

Философская проблематика, детективная интрига и энциклопедическое описание современного мегаполиса, находящегося на стыке культур, — в «ЧЕРНОЙ КНИГЕ» **Орхана Памука**, романе, заставившем весь мир говорить о новой турецкой литературе.

Новый выпуск *Литературного гида «XX ВЕК: СТОП-КАДР»*, посвященный второй половине уходящего столетия: написанные по горячим следам репортажи о ярких событиях (фестиваль в Вудстоке, похороны Франко, падение Берлинской стены) и портреты людей, повлиявших на судьбы целых поколений (Хрущев, Кастро, Леннон). Среди авторов — **Дино Буццати, Сол Беллоу, Грэм Грин, Мартин Эмис, Видиа С. Найпол, Патрик Зюскинд, Тадеуш Конвицкий**.

В рубрике *«Литературное наследие»* — классическая китайская лирика X—XIII вв.

Цветные иллюстрации номера — работы итальянского художника ЛЮЧИО ФОНТАНА (1899–1968):

На 1-й стр. обложки — «Пространственное представление: ожидание» (необработанный холст, 1966–1967)
На 2-й стр. обложки — «Пространственное представление: портрет Кардаццо» (холст, натуральные камни, смешанная техника, 1956)
На 3-й стр. обложки — «Пространственное представление: природа» (бронза, 1959–1960)
На 4-й стр. обложки — «Пространственное представление» (медный лист, 1961)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
книжный центр «Проект О.Г.И.» — Трехпрудный пер., д.11/13
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

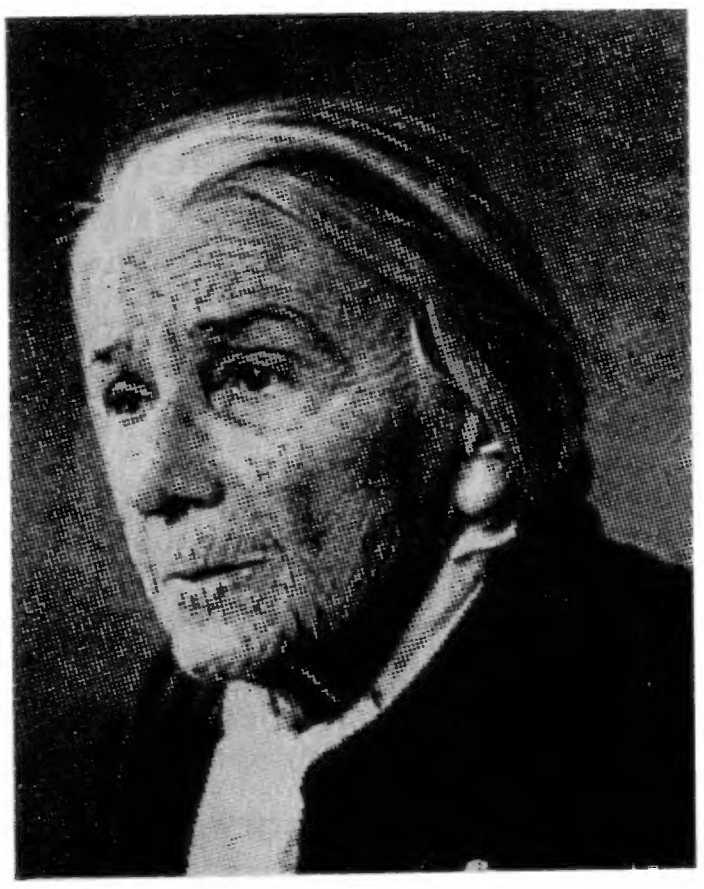
Журнал выходит один раз в месяц.

Отпечатано с готовых диапозитивов. Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 27.03.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,63. Заказ №4178.

Тираж 15 300 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



НАТАЛИ САРРОТ

Откройте

Фрагменты книги

Перевод с французского И. КУЗНЕЦОВОЙ

Натали Саррот, участница литературных битв середины столетия и ниспровергательница традиционных форм, оказалась в 80-е годы в числе классиков и даже в списках кандидатов на Нобелевскую премию. Однако уже не как представительница бунтарской группы «нового романа», объединившей на время очень непохожих друг на друга писателей, а как независимый прозаик, создавший собственный стиль, не укладывающийся в рамки никаких школ и направлений. Этому стилю Натали Саррот осталась верна навсегда: французские критики называют его литературной константой века. Он несет столь явный отпечаток ее авторства, что подражать ему невозможно, не рискуя быть обвиненным в плагиате.

Главная установка, от которой она отступила лишь однажды, в автобиографической повести «Детство» («ИЛ», 1986, №12), — пробиться в такие пласты сознания, где не имеют значения психологические и социальные параметры конкретной личности. В эссе 1950 года «Эра подозрения» Н. Саррот формулирует это так: «Читатель сразу оказывается внутри, там же, где и автор, на глубине, где уже не осталось ни одного из удобных ориентиров, с помощью которых он когда-то конструировал персонажей. Он погружен и останется до конца погруженным в некую субстанцию, анонимную, как кровь, в магму, лишенную имени, лишенную контуров» (перевод Л. Зониной). Недаром название своей первой книги «Тропизмы» (1939) — ростковые движения стебля, корня, листьев в ответ на внешние раздражители — Н. Саррот позаимствовала из естествознания. Ей важно уловить в сети слов мимолетные изменчивые реакции, почти не фиксируемые мыслью. Персонаж, литературный характер, как его понимал старый роман, уходит в тень. Саррот интересует психологическая магма сама по себе, абстрактный «психологический элемент, который, подобно элементу живописному, постепенно освобождается от предмета, с которым некогда был неразрывно слит».

Однако из едва намеченных импульсов, колебаний и всплесков чувств характеры незаметно складываются, словно из кусочков головоломки, и, хотя проза Натали Саррот — чтение далеко не легкое, мы довольно быстро начинаем ориентироваться в происходящих событиях.

Ее новая книга «Откройте» (1997) состоит из пятнадцати небольших фрагментов, «бурь в стакане воды», происходящих в нашем сознании во время общения с другими людьми. Привычный внутренний монолог разбит здесь на такое количество голосов, что за ними не успеваешь уследить: голоса возникают, теряются, звучат снова. Что же касается реально происходящей беседы, то она остается за кадром и о ее содержании можно лишь догадываться по реакциям героя, предельно обезличенного — не обозначены даже пол и возраст, — однако вполне узнаваемого: перед нами человек ранимый и сомневающийся, интеллигент с вечным комплексом вины. К концу книги, написанной с чеховским юмором, нам неожиданно открывается и его трагическое бессилие перед внешним миром, и неподлинность его бытия.

© Editions Gallimard, 1997
© И. Кузнецова. Перевод, вступление, 1999

Мысли этого — все-таки хочется сказать — «персонажа» разыгрываются «в лицах», словно сцены спектакля, где действуют слова, обсуждающие уместность собственного появления в разговоре. Каждый из нас — осознанно или нет — подбирает слова, которые собирается произнести вслух. Собственно, процесс подбора слов и есть сюжет этих скетчей. Это своего рода анатомия разговора вообще, точнее — мышления в процессе разговора.

Стена внутренних табу и социальных условностей, существующих в сознании каждого человека, материализуется на воображаемой сцене в виде загородки, отделяющей слова-«комильфо» от их недостаточно светских собратьев. Когда разговор начинается, потенциальных нарушителей этикета изгоняют за загородку. Но удержать их там не всегда легко, потому что слово, как известно, может вырваться, сорваться с языка.

Все русские фразеологизмы, на которых строятся «конфликты», согласованы с автором.

И. КУЗНЕЦОВА

Действующие лица этих маленьких драм — слова, выступающие как самостоятельные живые существа.

Когда им предстоит встреча с чужими словами, то мгновенно воздвигается загородка, стена. С внешней стороны остаются только те, кто может оказать визитерам достойный прием. Остальные уходят за загородку, где их накрепко запирают.

Но загородка прозрачная, и запертым все видно и слышно.

Иногда происходящее вызывает у них непреодолимое желание вмешаться, они не выдерживают и начинают стучать, звать... Откройте!

* * *

— Все, осталось недолго. Еще несколько слов, и трубку повесят... Кажется, загородка уже зашаталась, вот-вот рухнет...

— Зачем ее вообще надо было ставить? Запирать нас из-за такого пустяка... Чего они боятся?..

— Как чего? Вы забыли? Сколько раз во время самых обычных разговоров, хорошо обкатанных, отшлифованных, буквально проверенных на прочность...

— Да-да, бог весть почему, кто-то из нас вдруг срывался и в припадке ярости кидался на загородку. И если ему удавалось прорваться...

— Он выскакивал, как черт из табакерки... Как буйнопомешанный, сбежавший из психушки...

— В тот раз, помните, когда была такая смертельная скука и мы все впали в спячку... Лежали, как трупы, и не могли пошевелиться. А этот собрался с силами, встал, выбрался наружу, ему, видите ли, захотелось размяться, и он так разошелся...

— На том свете слышно было... Мы все моментально пришли в себя...

— А в другой раз кто-то превратился в крупинку соли, проник за загородку и забрался в механизм...

— И там пошел такой скрип!.. Что такое? Почему? Откуда?.. Страшная неловкость... Они не знали, куда себя деть...

— Да, их можно понять. Ведь даже при всей их бдительности... Никогда не знаешь, чего от нас ждать...

— Но сейчас-то никто отсюда не выскакивал... Никаких психов, никаких крупинок соли...

— Что же тогда там стряслось?

— «До свидания» закончило разговор, трубку положили... и... слышите, какое там молчание?

— Да, молчание, как говорится, тяжелое.

— Такое тяжелое, что слово не в силах подняться...

— Сейчас мы все узнаем...

— Да не толкайтесь вы, видите, перегородка снята... Откуда такое нетерпение!..

— Так ведь случай-то небывалый, из ряда вон...

— «До свидания»... Да, это точно «До свидания», но его не узнать. От него ничего не осталось... такой затравленный вид!

— Как будто боится, что его поколотят...

— А они его обступили, трясут... похоже, и правда могут побить...

— Кого, «До свидания»? Да вы что? Самый преданный служитель... отлично вышколенный, на великолепном счету...

— Даже если ему иногда случается повысить голос, сам факт его присутствия — гарантия благопристойности...

— Когда с размаху захлопывают дверь, «До свидания» как бы слегка придерживает, замедляет ее движение, хоть чуть-чуть, но смягчает оглушительный стук.

— За миг до того как трубка опустится на рычаг в последний раз и раздастся роковой щелчок, «До свидания» облегчает неотвратимость конца.

— Когда назревает угроза беспощадного столкновения, способного породить самые дикие зверства, «До свидания» — последняя надежда, и от нее не откажется цивилизованный мир, где соблюдаются хоть какие-то правила ведения войны.

— Когда близятся минуты расставания, эти каменные, сухие минуты... «До свидания» порой окутывает их нежными, теплыми испарениями.

— Покрывает легким туманом...

— Увлажняет сладостными обещаниями...

— Нет, «До свидания» не заслуживает такого обращения, надо ему дать возможность оправдаться...

— Да, действительно, объясни, что произошло? Почему ты ринулся, когда была не твоя очередь?.. Ты что, не мог подождать? Ужас, что ты натворил...

— Да, тот, кто держал трубку, так наверняка и считает...

— Задолго до того как разговор мог нормально, прилично кончиться, вдруг ни с того ни с сего — «До свидания»... Изумление на том конце провода... Потом короткая пауза и «До свидания» в ответ, как эхо...

— О нет, далеко не эхо...

— Там было другое «До свидания», ледяное...

— Да... Могу себе представить... этакий маленький сталактит...

— Казалось, будто его вторая часть — «свидания» — отвалилась, отпала, рассыпалась... Никакого свидания. Только обиженное, удивленное «до», прозвучавшее как «да?» — и на том конце раздались гудки...

— Ничего уже не поправишь...

— Ты хоть теперь-то понимаешь? И что за муха тебя укусила? Только не говори, будто ты забыл про тех, кому положено идти впереди тебя...

— Но они не шли... И я, как актер на сцене... Если у кого-то из партнеров вдруг выскочила из головы реплика и пауза затягивается, то другой продолжает как ни в чем не бывало...

— Выскочила из головы? Что он несет? Это кто выскочил, мы? Да мы все стояли рядом...

— Все?

— Конечно, готовые к выходу... и « Нежный привет вашей маме»... и «Надеюсь, вам повезет с погодой»... и «Хорошего вам отпуска»... и «Желаю как следует

отдохнуть»... и «Счастливого пути!»... и «Жанна тут, рядом со мной, она вас целует»... и «Спасибо за звонок»... и «Позвоните, как приедете»...

— Короче, все... И мы, между прочим, тоже. Ведь обычно наша очередь прямо перед тобой... Извини, конечно, но когда есть мы, то в тебе иногда вообще отпадает надобность.

— Да-да, они оба тоже стояли наготове, наши слова-близнецы: «Надеюсь, до скорого!» и «Пока!». Они так похожи...

— Ну, положим, «Надеюсь, до скорого!» чуть покрупнее...

— А ты рванулся, перебежал всем дорогу...

— Да где же вы все были?

— Мы выжидали... не хотели спешить... Когда слишком торопишься, то кажется, будто мы вылетаем автоматически, а не по собственной воле.

— Скажи лучше, что ты отсутствовал. Или задремал, а потом вдруг вскочил и спросонок, не разобравшись, ринулся... Сознайся...

— Не в чем мне сознаваться.

— Бросьте, какой смысл выводить его на чистую воду? Просто мы знаем теперь, что он абсолютно непредсказуем. На него нельзя положиться...

— Чтобы «До свидания» — и такое выкинул! Подумать только!

— Ладно, что теперь говорить... Но больше так рисковать мы не имеем права...

— А, теперь ты с нами! Надо же! «До свидания» выставили за загородку... Наверно, самому непривычно, да?

— Да, со мной такое впервые...

— Ведь твое дело — быть там, когда кто-то приходит. Не представляю, как они там без тебя обойдутся...

— О, не волнуйся... Как говорят — часто не к месту, но тут это выражение само просится, — незаменимых у нас нет.

— Да, но все-таки без «До свидания»...

— Зря ты так думаешь... Отлично справятся... хотя бы с помощью «Пока!» или «Надеюсь, до скорого!». Эти всегда на подхвате. Да и другие найдутся...

— А что у тебя такой пришибленный вид? Не переживай. Расценивай это как заслуженную пенсию после долгих трудовых лет.

— Ты славно потрудился. Никогда не покидал своего поста. Всегда был предан делу. Не жалел себя...

— Вот именно. Излишнее рвение меня и подвело...

— Ну и расслабься теперь. Наслаждайся свободой, ты теперь ни за что не отвечаешь...

— Да, если бы!.. Я же знаю, что мне это так не пройдет... Вот погодите, настанет ночь... глухие предутренние часы... пробуждение после первого забытья... потом бессонница... Тогда и увидите. Меня вызовут. Я еще как понадоблюсь!

— Понадобишься? Когда никого нет?

— Не для прежней работы, с этим все кончено...

— А для чего?

— В другой раз расскажу, когда мы опять будем сидеть тут все вместе...

— Ну что, все происходило так, как ты и думал?

— Именно так, только еще дольше и мучительнее...

— Ну расскажи...

— Сначала мне пришлось выдержать подробный разбор... воспроизведение обстоятельств дела...

— Как? От первого до последнего слова? Весь разговор, даже когда тебя еще не было?

— Нет, не весь... Только исходный момент, очень важный: звонок был не отсюда...

— Ну и что?

— Как что? Если инициатива разговора исходила оттуда, значит, только «До свидания» оттуда, а никак не «До свидания» отсюда могло его закончить. Таковы правила вежливости, как всем вам прекрасно известно. Для меня это отягчающее обстоятельство.

— Но ведь ты же не знал...

— Я так и сказал. Но кто поверит, что я не слышал звонка? Это, конечно, вызвало смех... Ты что же у нас — совсем оглох? Не следил за ходом разговора. Не слышал звонка. Не слышал наше «Алло»... И пошло-поехало... Но это только начало! Потом были полностью воспроизведены последние слова перед моим появлением... Слышали бы вы, каким безутешным тоном!.. С какими вздохами сожаления... Ах, еще немного, и разговор кончился бы благополучно, так, как надо...

— Но все равно, ведь если завершающее «До свидания» пришло не оттуда...

— Да, и, однако, все могло быть не столь ужасно... просто маленькое нарушение условностей... Но главное преступление совершил, конечно, я. Началось детальное расследование, чтобы определить степень тяжести содеянного. Непоправимо... Надо рассмотреть все еще раз, очень внимательно... Мне велели воспроизвести свои действия, причем в точности как тогда...

— Точно такое же «До свидания»? Но как это возможно? Разве это может получиться?

— У меня и не получалось. Я выходил снова, старался изо всех сил...

«До свидания»... Нет, не то. У тебя не было такого сухого, обрубающего тона... Нет, нет... Выйди и войди еще раз... И я возвращался...

«До свидания»... Нет, теперь слишком слащаво, прямо какая-то патока... Давай снова!

«До свидания»... Пожалуй... да... именно так... ни то ни се, ни Богу свечка, ни черту кочерга... Нет, все-таки в тебе была какая-то теплота... Еще раз!

«До свидания»... О, ну это уже перебор... совершенно неправдоподобно... Ты просто хочешь меня утешить... Нарочно обманываешь... Убирайся... А потом опять... Не пытайся скрыть правду... У меня хватит мужества взглянуть ей в лицо... Вернись и, пожалуйста, не щади меня...

«До свидания»... Да, точно, именно так все и было... Рявкнул, как зверь... Хотя нет, не слушай меня, ты не мог быть таким грубым, да и не был никогда, верно? Так с чего бы именно в этот раз?.. Не вижу никаких причин... Ты ведь обычно довольно любезен... Прошу тебя, вернись, успокой меня...

«До свидания»... Ну наконец... вот каким ты был. «До свидания», к которому не придерешься... Разве что чуть поторопился... Но тут уж ничего не поделаешь. Придется смириться.

— Теперь все? Больше вызывать не будут?

— Кто его знает, ночь на ночь не приходится. Все может повториться...

— Опять допрос до рассвета?

— Ну нет... Придет усталость, потом сон, меня отпустят... Я смогу вернуться к вам. Но, как я уже говорил, до меня все равно доберутся...

— Будет еще много бессонных ночей?

— Не знаю... Вместо меня могут понадобиться другие...

— Какие другие? Кто?

— Да кто угодно... Трудно сказать, когда и откуда они возникнут. Им нет числа... Постепенно они меня вытеснят... Я буду забыт...

— И сможешь вернуться к своей работе?

— Вполне вероятно, хотя и не сразу. Со временем... Но покоя мне уже не знать

никогда... В любой момент в «До свидания» могут прозвучать какие-то нотки... мгновенно всплывет картина моего провала...

— Значит, прощай, спокойная жизнь...

— Ну почему? Возможно, в один прекрасный день... какое же наступит облегчение!.. я снова займу место среди самых уважаемых, самых нужных, тех, кто всегда дежурит по ту сторону. Меня восстановят в правах. Я опять буду на хорошем счету... О, одна мысль об этом...

— Но как? Как такое может произойти?

— Как? А вот представьте себе: однажды зазвонит телефон, и тот же голос... да-да, тот самый, на другом конце провода как ни в чем не бывало... словно и не было никогда этого проклятого «До свидания»... словно ничего не случилось... да, вообрази, тот же голос самым естественным тоном, искренним и дружелюбным... как будто все это было лишь дурным сном... тот же голос... только он в силах по-настоящему освободить меня, окончательно и полностью реабилитировать... так вот, этот голос однажды скажет: «Привет!»... спокойно, непринужденно... «Привет!»... Да, «Привет! Как дела?»

* * *

— Так и есть, «Ты» в своем репертуаре...

— О, с ним надо быть готовым ко всему...

— Во всяком случае, к полной беспардонности, которую он время от времени себе позволяет...

— Плюет на приличия, не стесняется ходить полуголым...

— Полюбуйтесь, сейчас он как раз в таком виде... Вон что он выделывает с «Не мог ли бы»... «Не мог ли бы ты...»? Плотно прилегающие «не», «мог», «ли», «бы» его, видите ли, сковывают... Нет проблем, все это преспокойно сбрасывается, и остается «Ты б...»

— Как же ему не стыдно!

— Стыдно? Да он великолепно себя чувствует. Вольготно, раскованно...

— Нет, не может быть, он, видимо, просто не отдает себе отчета... Надо объяснить ему, как он выглядит со стороны...

— Да разве он откроет?

— Почему бы нет? Он ведь расслабился... Смотрите, открывает...

— Скорей, надо ловить момент... не будем ходить вокруг да около...

— Слушай, «Не мог ли бы ты»...

— В чем дело? Что вам от меня нужно?

— Ну вот что, «Не мог ли бы ты», кончай придуриваться... Куда ты дел свои «не», «мог», «ли»? А «бы» у тебя потеряло «ы» и съехало на сторону...

— Они меня раздражали... липли к телу... А мне хочется чувствовать себя свободно...

— Свободно! «Не», «мог» «ли» «бы» липли к телу! Нет, надо же! Да знаешь, на что ты похож?

— Ну, интересно, на что?

— На «Тыб», вот на что...

— На «Тыб»? Забавно...

— Забавно быть «Тыбом»? Ты что, не чувствуешь, как это безвкусно, вульгарно?

— Нет, меня это ничуть не коробит... Ни капельки... Тыб... Тыб... В этом что-то есть... что-то турецкое... экзотическое... Тыб... Тыб... Нет, чем больше я повторяю, тем больше мне нравится.

— Надо тряхнуть его хорошенько, привести в чувство. Слушай, «Не мог ли бы

ты», ради всего святого, опомнись... Посмотри, что ты с собой сделал... При тебе нет ни «не», ни «ли»...

— А все потому, что не следишь за собой... Вот что значит быть на «ты»... «Вы» такого просто не допускает...

— Взгляни, как держится «Вы» со своим чинным «Не могли ли бы», какая спокойная, достойная осанка...

— А ты... У тебя осталось только «бы», и то «ы» ты взял и отбросил...

— Сменил на какой-то куцый лоскут... отрепье, в котором выглядишь просто оборванцем... Нет, в твоей ситуации надо блюсти себя особенно тщательно... Нельзя связываться с кем попало... подпускать так близко «б»...

— Поверь, без «Не мог ли бы» тебе просто нельзя появляться... иначе ты потеряешь свое положение в обществе, превратишься черт знает в кого.

— Знаешь, есть люди, причем не обязательно педанты, которых «Тыб» заставляет невольно отпрянуть... заслониться рукой, как от вылетающей изо рта слюны...

— Ничего не поделаешь, это происходит сплошь и рядом, бог весть почему... Иногда даже в самой светской компании люди вдруг начинают вести себя как уличные хулиганы...

— Именно это ты и делаешь...

— На тебя больно смотреть...

— Бросьте, бесполезно его уговаривать. Ему страшно нравится быть «Тыбом». Слышите? «Тыб»... «Тыб»... И, чтобы полнее насладиться собственным падением, «Тыб» принимает у него какую-то особенно развязную позу и лениво тянется: «Тыып...»

* * *

— Смотрите-ка, «Да вы...» не пошел вместе с нами за загородку...

— Кажется, ему вздумалось остаться с той стороны: он там основательно расположился и явно не собирается уходить...

— Это не к добру...

— Да, его упрямая решимость ничего хорошего не сулит.

— Ну зачем же так? «Да вы» бывают разные...

— Например, «Да вы самый прекрасный и добрый человек на свете!»... Какое преклонение перед тем, кого сам же вознес до небес! Какое благоговение!

— Есть масса совершенно безобидных «Да вы», и даже любезных: «Да вы же едете против движения»... и в высшей степени приятных: «Да вы спасены!»... «Да вы здоровы!»... И сколько еще всяких других... Не счесть!

— Верно, но тут как с грибами: ядовитые иногда так похожи на съедобные, что с виду и не отличишь.

— Однако в данном случае, согласитесь, по его вызывающей позе, по его тону совершенно ясно: перед нами весьма ядовитое «Да вы».

— У него замашки тирана, деспота... Он набрасывается на беднягу, имевшего несчастье попасться ему на глаза... валит с ног, связывает и заключает в темницу...

— Навечно.

— Захватив пленника, «Да вы» держит его в своей власти и может делать с ним что хочет...

— Смотрите, он вскочил, ринулся сюда, к нам!

— Ему недосуг открывать загородку, он ее просто снес... Никаких преград больше нет, он уже здесь, среди нас, и выбирает, подыскивает, что ему бухнуть...

— Кого же из нас он возьмет в подручные? Ему некогда, он сильно раздражен...

— Вам-то чего бояться? Жметесь, как испуганные воробышки... Такие, как вы, ему не нужны, можете не волноваться...

— Кто знает! Подчас даже самые невинные, самые ласковые, когда их ведет «Да вы», вызывают у пленника отчаянное сопротивление, он начинает брыкаться, биться, пытается вырваться...

— Помните, однажды «Да вы» взял с собой «умны»... «Да вы умны!» И нам было неудобно...

— Стыдно... как будто на наших глазах унизили...

— А когда он выбрал «умница!»...

— О, как вспомню!..

— Поэтому они и дрожат. Сами по себе любезные и приятные, они в присутствии «Да вы» совершенно меняются...

— Однако случаются исключения... Например, когда «Да вы» взял с собой слово «красавица!»... «Да вы красавица!»

— И даже тут, как ни странно, это вызвало внутренний протест, вогнало в краску... В общем, «Да вы», за что ни возьмется, почти всегда вызывает неловкость...

— Но сейчас вам действительно нечего опасаться. «Да вы» нацелился не на вас. Он явно в бешенстве.

— Когда «Да вы» в таком состоянии, он способен на все.

— Вон как он хищно шарит взглядом... и тянется, точно большая растопыренная клешня, которая вот-вот сомкнется, схватит...

— Тебя, «Дурак», вместе с «просто»... «Да вы просто дурак»...

— Нет, передумал... похоже, он склоняется к тебе, «Глупый», к одной из твоих кратких форм... «Да вы глупы до святости...»

— А, пятишься... Страшно стало?

— Где же твое обычное высокомерие? Ведь ты так часто, не задумываясь, рубишь сплеча...

— Да, но никогда не заодно с «Да вы»... Только в паре с «Это»: «Это глупо»... И то бывают неприятности.

— Даже «Он глупый» или «Она глупая» таят в себе риск... Этот «Он» или «Она» могут оказаться весьма влиятельными, иметь телохранителей... Те немедленно схватят «Глупого», навесят ему вопросительный или восклицательный знак... «Глупый? Глупый!»... занесут резиновые дубинки... обрушат их... «Да как вы можете?»... Иногда удар бывает очень силен: «Как вы смеете?»

— После «смеете» остается одно из двух: либо лежать на земле, глотая пыль, либо, собравшись с силами, все-таки встать, расправить плечи и бросить героический вызов: «Смею»... после чего принять смертельный бой...

— Но до этого редко доходит...

— Очень немногие готовы сражаться за свое мнение, за то, что им кажется истиной...

— Обычно вопросительного или восклицательного знака вполне достаточно, чтобы «Ну, не знаю...» восстановило спокойствие.

— Однако сейчас «Да вы» в припадке ярости вполне может прихватить «глупы до святости»... Но, кажется, он в нерешительности...

— Видите, не берет.

— Тогда, наверно, меня, я ведь рядом...

— Конечно, «Не в своем уме...», «Да вы» протягивает к тебе свою клешню... нависает, раскачивается...

— И удаляется... Ему нужно что-то другое.

— Смотрите, он движется к вам: «Конформист», «Ретроград», «Отстали от жизни»... Похоже, на одном из вас он и остановится...

— Просто не верится! Кажется, «Да вы» не осмеливается...

— Такое впечатление, что «Да вы» жалеет свою жертву... дает ей перевести дух, ослабляет веревки...

— Приговор смягчен, пожизненное заключение отменяется...

— Отменяется? Как так?

— «Да вы» сворачивает к «Непоследовательны»... «Да вы непоследовательны»...

— «Непоследовательны» показывает, что это не вечное заточение...

— «Да вы непоследовательны, вы не учитываете»... и перед бедным узником уже маячит свобода, открываются области, на которые власть «Да вы» не распространяется...

— «Пристрастны», «Нелогичны» тоже подходят... Они сами просятся... но «Да вы» склоняется к «Непоследовательны»...

— «Да вы непоследовательны, вы не хотите признать...»

— Сомнения нет, «Да вы» освобождает пленника... отпускает на волю... он может идти куда вздумается, ошибаться, блуждать... недосягаемый для «Да вы».

— «Да вы» смягчился, это ясно...

— Приступ ярости у него прошел...

— Он заслуживает того, чтобы ему помочь... И вот как раз то, что нужно... Да, ты, «Удивительный человек», выйди вперед, может быть, «Да вы» захочет тебя взять...

— «Удивительный человек» вместе с еще одним «Вы...», которое последует за ним...

— Может быть, «Да вы» их примет... Ну, давай, «Удивительный человек»...

— А почему он, а не я?

— Да, почему не «Наивный человек»?

— А, видите, «Да вы» предпочитает «Наивного человека» «Удивительному»...

— «Да вы наивный человек»... А теперь скорее сюда все, кого поведет «Да вы наивный человек»... «Вы не хотите принять во внимание»... «Вы упускаете из виду»... короче, кто угодно, неважно.

— Важно, что «Да вы» отказался от своих кровожадных намерений...

— Исправился...

— Можно ли было такое вообразить, когда он ринулся, потеряв самообладание...

— Способный на все, вплоть до самого худшего...

— Разве узнаешь его теперь, когда он протягивает клешню к «Удивительному человеку»... колеблется между «Удивительным» и «Наивным»... выбирает «Наивного» со всей его свитой...

— Кто бы мог подумать, что «Да вы» с замашками убийцы вдруг станет таким, как сейчас...

— Да, можно сказать, чудом пронесло...

* * *

— Без конца эти странные звуки...

— Как будто что-то расплескивается...

— Расплескивается?

— Да, слова шлепаются обо что-то твердое, и их содержимое...

— Какое еще содержимое? Они ведь совершенно пустые, плоские. Вы посмотрите: «Чай»... «Кофе»... «Сахарин»... «Сахар»... «Поезда»... «Аэропорт»... «Ожидание»... «Поездка»... Что в них может расплескиваться?

— Еще как может. Где-то они мне уже встречались... я их узнаю... У них были тонкие скорлупки, и они казались пустыми, но несли в себе нечто...

— Были? Несли? Но где, когда?

— Погодите, дайте сообразить... Сейчас вспомню... А, ну конечно... Был такой фильм, очень старый, послевоенный... Там этими словами обменивались мужчина и женщина, впервые встретившись... за столиком... в привокзальном буфете...[1]

— Да-да, помню... «Поезд»... «Гранатовый сироп»... «Кофе»...

— Слова были самые обыкновенные и как будто бессодержательные... но их наполняло нечто...

— Невыразимое... Непередаваемое...

— Они встречались на полпути, соединялись, сливались и вместе взлетали, поднимаясь все выше и выше...

— Брачный полет...

— Да-да...

— И вот точно такие же слова вдруг оказались здесь... Тонкие скорлупки, с виду пустые, но наполненные той же неуловимой субстанцией... Только теперь, вместо того чтобы слиться со словами, летящими навстречу, бедняги стукаются обо что-то твердое, глухое, непроницаемое... перед ними непреодолимая преграда, стена. Они разбиваются, раздается всплеск, и то, что они несли, расплескивается...

— Господи, что это?

— С ума сойти, да это же «Я вас люблю» собственной персоной...

— Его доброе старое сердце дрогнуло, он хочет помочь словам, которые спешат на верную погибель...

— Бедный старикан! Столько лет в отставке и вдруг решил вернуться в строй...

— «Я вас люблю»... Подумать только, ведь он уже давно не появлялся на людях иначе как на носилках, с помощью профессиональных актеров в пьесах классического репертуара... И вдруг отважился выйти самостоятельно, без всякой опоры...

— Больно смотреть, как он силится расправить старые кости, с трудом переставляет искривленные артритом ноги... Слышите его блеющий голос: «Это я, «Я вас люблю», да, я хочу выйти к вам... Откройте...»

— Он срывает театральный костюм, обнажает немощное тело...

— И ко всему еще это допотопное «вы», которое делает его просто комичным...

— Эх, подставить бы ему «ты», он бы сразу помолодел... стал презентабельным...

— О, «Я тебя люблю», как это мило, как великодушно с твоей стороны! Ты легок на подъем, полон сил и так страшно занят... тебя поминутно вызывают то туда, то сюда... ты совершенно себя не щадишь... и еще рвешься помочь старику, готов выйти вместо него... Но ты ведь понимаешь, что ничего не получится... Представь себе, дорогой «Я тебя люблю», как ты вдруг обрушиваешься на «Оранжад», «Кофе», «Сахарин» и «Сахар», «Самолеты» и «Поезда»... врываешься в пустоты между хрупкими словами, посланными из такой дали...

— Это же я, «Я тебя люблю»... И от них в тот же миг ничего не остается, я их расталкиваю, расшвыриваю и наподдаю как следует по глухой стене, чтобы она наконец дрогнула, подалась, зашаталась...

— Но ты никогда ничего подобного не сделаешь, ты слишком боишься потерпеть неудачу, попасть в дурацкое положение...

— Ты ведь просто пошутил, правда, ты предлагал это не всерьез?

— Да, видно, тут ничего не поделаешь... Остается только пожалеть этих бедолаг... Вон еще один бросился... плюх! Слышите звук?

---

[1] Фильм Дэвида Лина «Короткая встреча» с участием Сесилии Джонсон, Тревора Хоуарда и Стенли Хеллоуэя (Великобритания, 1946). (*Прим. перев.*)

— А за ним следующий... и опять...

— Невыносимо... Больно слушать...

— Но так не может продолжаться долго...

— Еще несколько всплесков, еще несколько разбитых скорлупок, и они отступятся...

— Их сменят другие слова... небьющиеся, компактные, однозначные...

— А какие?

— Да мало ли... С той стороны их сколько угодно. Просто они пока выжидают, не хотят мешать тем, которые все еще надеются, стараются из последних сил...

— Ну все, те отходят в сторону, стушевываются, и прочные, крепко сбитые слова выходят навстречу таким же, как они...

— Вот уж слова действительно весомые...

— Самые что ни на есть «представительные»...

* * *

— Как, неужели «Ну что ж вы хотите...» привело их в такое состояние?

— «Ну что ж вы хотите...»? Быть не может...

— Может. Вон, видите, как они сразу сжались, их даже бросило в дрожь...

— «Ну что ж вы хотите» вечно болтается где попало, и никто не обращает внимания.

— «Ну что ж вы хотите» — это нечто настолько безобидное, проходное...

— Попадается на каждом шагу, ни к селу ни к городу, мотается туда-сюда без всякой цели... Просто сотрясение воздуха...

— Непроизвольный вздох, даже не тяжкий, а едва заметный...

— И это легковесное «Ну что ж вы хотите» вызвало такую бурю?.. Наверняка ему что-то предшествовало... Но что? Кто-нибудь заметил?

— Да ничего особенного... Какой-то пустяк, вроде «Я забыл свой номер кода, ключи»...

— Вспомните, там еще было «опять», прямо перед «забыл»... Я «опять забыл»...

— Да, видимо, «опять» и позволило этому «Ну что ж вы хотите» войти.

— «Опять»? Но его тон у тех, кто опять забыл код и ключи, мог выражать только досаду на собственную рассеянность, безголовость...

— Поэтому явившееся вдруг «Ну что ж вы хотите...» их поразило, встревожило...

— Им послышались в «Ну что ж вы хотите» интонации, которые звучат иногда во время посещения несчастных стариков, потерявших память. «Ну что ж вы хотите», проповедующее смирение...

— Им послышались! Но они-то всегда чувствовали себя такими молодыми, полными сил!.. Значит, есть в них нечто, чего они не замечают, в чем не отдают себе отчета, но, видимо, это каким-то образом проявляется и при упоминании об «опять» потерянных ключах, «опять» забытом коде может вызвать сочувственное «Ну что ж вы хотите...»

— Если бы не «опять», никогда это «Ну что ж вы хотите» не заявилось бы... «Ну что ж вы хотите, такова наша печальная участь, все мы стареем, внимание притупляется, память уже не та... Ну что ж вы хотите! Ничего не поделаешь».

— Что за болезненная мнительность, честное слово! Может, они слегка того?

— «Ну что ж вы хотите» могло вообще подвернуться случайно. Слоняется везде, вот и задело мимоходом «опять забыл код, опять потерял ключи», просто по неосторожности...

— Надо доказать им, что они неправы и это «Ну что ж вы хотите» было совершенно невинным...

— Есть масса способов их убедить... Давайте покричим, чтобы нам открыли...

— Смотрите, как неохотно, как медленно они плетутся...

— «Ну что ж вы хотите» их сразило, подорвало их силы... Давайте скорей их подбодрим... Вы, да-да, вы, идите сюда... Вот: «С каждым бывает...» Как раз то что нужно...

— Пусть теперь видят, как там радостно распахнули двери перед «С каждым бывает...» С какой готовностью «Ну что ж вы хотите» подвинулось и пустило «С каждым бывает» встать рядом.

— «Ну что ж вы хотите, с каждым бывает...» Какая чудная пара... так и лучится добротой, благожелательностью и невинным простодушием.

* * *

— «Он у меня подхватил воспаление легких...» Слыхали?

— Как тут не услышишь? Это же просто фантастика...

«Он у меня подхватил воспаление легких...»

— Да, «у меня», «у меня», вот что поразительно... Как же такое «меня» могли оставить с той стороны?

— Что вы хотите, столько разных «Меня» должны там присутствовать... на самые разные случаи... Как их отличишь друг от друга?..

— Да, и, в общем, это, как правило, хорошие, опытные «Меня», знающие свое дело...

— И вот надо же, чтобы среди них затесалось такое... Да, оно смешалось с толпой, пробралось незамеченным... Но теперь-то вы его видите?

— Какая беспардонность! Оно даже не считает нужным сдерживать себя, откровенно идет напролом... «Он у Меня подхватил воспаление легких»...

— Да как оно посмело влезть на это место?

— Между «Он» и «Подхватил»... Да уж, наглости ему не занимать...

— Нет, вы только полюбуйтесь... «Он у Меня подхватил...»

— Это «Меня» безответственно бросило свое «Я»...

— А ведь какая была прекрасная пара... «Я» и «Меня»...

— Такая уважаемая, состоявшая в законном, всеми признанном браке...

— Связанная нерасторжимыми узами, как подобает, на горе и радость...

— «У меня большие новости...», «У меня прекрасное настроение...», «У меня большая удача...»

— Но и наоборот тоже: «У меня неприятности...», «У меня сильные боли...»

— Мы все просто восхищались этим гармоничным союзом...

— И вдруг, ни с того ни с сего, «Меня» бросило свое верное «Я» и сбежало с этим «Он»...

— Чтобы поживиться за его счет...

— А уж этому просто нет объяснения, ведь «Меня» богато как мало кто... «у Меня», «для Меня», «про Меня»... Перед ним весь мир... время, пространство... бери что хочешь...

— Вот когда буквально не знаешь, за что хвататься...

— И вдруг «Меня», у которого все есть, оказалось до того алчным, что вздумало взять чужое...

— Причем такую малость... бесспорно принадлежащую только этому «Он»...

— Втереться к нему в доверие, чтобы его обобрать, ограбить...

— Вы только посмотрите, просто не верится... «Он» подхватил воспаление легких... Это его воспаление легких...

— Разумеется, чье же еще?

— А «Меня» его присвоило...

— «Меня» захотело отнять половину...

— Половину? О нет, «Меня» отняло его целиком... «Он» уже не является законным владельцем своего воспаления легких.

— «Меня» превратило бедного «Он» в своего слугу... «Он» теперь работает на «Меня».

— Это воспаление легких не может больше именоваться его воспалением. Оно уже у «Меня»...

— Согласитесь, что это комично...

— Но может быть, у «Меня» есть смягчающие обстоятельства? Может быть, «Меня» — врач и посвятил своему пациенту столько усилий, так переживал из-за его воспаления легких...

— Что теперь ему кажется, будто это его воспаление легких?

— Если ему так кажется, то только потому, что «Он» для него — просто безымянный пациент, занимающий койку в палате...

— Почему бы не просто некий номер? Чтобы так беззастенчиво завладеть его воспалением легких...

— А что, если «Меня» — любящий отец или мать? Тогда возникает желание проявить снисхождение...

— И напрасно...

— Но ведь это воспаление легких причиняет ему или ей такие же страдания, как если бы оно было их собственным...

— Нет-нет, не пытайтесь нас разжалобить. «Меня» означает, что эти нежные родители ни на миг не в состоянии забыть о себе, даже в такой ситуации... «Меня» неопровержимо свидетельствует об этом...

— «Меня», которое втерлось между «Он» и «Подхватил»... «Меня», которое упорно навязывает себя... которое не в состоянии ни при каких обстоятельствах скромно отойти в сторону, не встревать...

— Если бы по отношению к «Он» у «Меня» была хоть капля уважения...

— По отношению к этому «Он», который на законном основании, совершенно самостоятельно подхватил воспаление легких...

— Но «Меня» ни перед чем не останавливается. Это узурпатор... Настоящий разбойник...

— Возмутительно! Надо срочно что-то предпринять...

— И это нетрудно... Мы же здесь, рядом... в любой момент можем прийти на помощь... Отряд спасателей у нас в полной готовности...

— Им ничего не стоит навести порядок...

— И через минуту «Он» будет восстановлен в своих правах, «Меня» поставлено на место...

— Мы войдем культурно, без шума, вперед выпустим скромное «Да»... Да, он подхватил воспаление легких... и я очень беспокоюсь за него... волнуюсь...

— Что тут дурного? Ну, впустите же нас... Откройте...

— Но «Меня» не хочет расставаться с воспалением легких. Оно полностью завладело им. Присвоило. И теперь не отдаст ни за что... Схватило и держит... Вцепилось мертвой хваткой, как собака...

— Слышите рычание?

— Безнадежно... Должно произойти чудо, чтобы «Меня» вдруг изменилось, выпустило добычу и вам открыло.

* * *

Так на так! Так на так! Так на так...

— Да очнитесь же! Вы что, не слышите сигнала бедствия?..

Так на так! Так на так! Так на так...

— Некий «Так» явился к ним с другой стороны. Они не могут найти у себя подходящий «Так», чтобы парировать... и мечутся в панике... Ответить тем же! Так на так! Так на так!.. Это SOS, они призывают нас на помощь...

— Быстрей, счет идет на секунды...

— Сами знаете, как это бывает... Если точно такой же «Так» с нашей стороны сразу не подхватит... момент будет упущен... «Так» войдет глубоко...

— Начнет рыть подземные ходы... Один бог знает куда заберется... И его уже не догонишь....

Так на так! Так на так! Так на так...

— Господи, да скорей же!

— Но мы делаем все, что в наших силах...

— Посмотрите, какое трогательное рвение... Сколько добровольцев сбежалось со всех сторон, все наперебой предлагают свои услуги...

— Ты? Ну какой же из тебя «Так»? Смеешься, что ли? Ты забываешь, что наш «Так» должен быть похож на чужой как две капли воды. Иначе это уже не будет «Так на так».

Так на так! Так на так! Так на так...

— Разве ты похож на их хладнокровный, самоуверенный, вальяжный «Так»? Да ты весь кипишь, дергаешься, даже вспотел от волнения... У тебя такой взъерошенный, уязвленный вид... Тебя тут же объявят мнительным, закомплексованным... психом, которому слова нельзя сказать...

— А ты? Такой увесистый, тяжеловесный... Навалишься на «Так», зашибешь, придавишь... Нет-нет, только не это!

— Так на так! Так на так! Так на так... Сигналы все громче... настойчивее...

— Невыносимо. Время идет... Еще немного, и будет поздно...

— Ну что? Все без толку? Ни один «Так» не годится?

— Может, бросим поиски?..

— Слышите? «Так на так» звучит уже глуше... и не так часто...

— Мы теряем время... последние драгоценные секунды... а «Так» все не подворачивается...

— Как всегда...

— Зачем обобщать? Ведь бывало же...

— Бывало, только очень редко... настоящее чудо... когда нужный ответ являлся сразу, будто по мановению волшебной палочки...

— Эти случаи можно пересчитать по пальцам...

— Исключения, которые подтверждают...

— А ведь есть на свете благословенные края, где на любой «Так» сейчас же находится точно такой же...

— О, их там просто запасают заранее... Держат огромный склад боеприпасов на все случаи жизни... чтобы не застали врасплох...

— В любой момент наготове «Так» подходящего калибра и требуемой мощности, отлично смазанный...

— А здесь...

— Мы сперва теряемся, будто нас обухом по голове ударили...

— Нам нужно время, чтобы оправиться от шока, прийти в себя... А тут каждая секунда дорога...

— Потом мы судорожно бросаемся на поиски, но разве в такой спешке можно что-нибудь найти...

— А «Так» уходит в песок, зарывается глубже и глубже...

— И все, момент упущен.

— После этого все, кто у нас числится в категории, именуемой «задним умом», принимаются за работу.

— Вот, действительно, неутомимые искатели... не дают себе покоя даже ночью...

— Это особый отряд, для него надо бы придумать специальное обозначение...

— Пожалуйста, по первым буквам: ЗУ.

— Да, ЗУ находят и оттачивают «Так».

— О, можно не беспокоиться: их «Так» будет безупречен.

— Еще бы, им ведь торопиться некуда, к их услугам все наши возможности...

— ЗУ спокойно заканчивают отделку... и когда их «Так» доведен до совершенства, им хочется его ввернуть...

— Их можно понять... они столько трудились...

— Да, но... но тот «Так» уже исчез...

— Еще бы!.. Не будет же «Так» их дожидаться...

— Он давно канул, и бог ведает, где он теперь... в каких подземных лабиринтах его искать, он ведь их роет и роет во все стороны... и иногда так глубоко...

— Или он просто умер... Во всяком случае, от него не осталось никакого следа...

— И вот ЗУ силятся его воскресить...

— Но они могут только вызвать его тень... призрак с того света...

— И выглядит этот «Так» дико, несуразно... Откуда он взялся, зачем явился ни с того ни с сего?

— Печально, но факт: ЗУ старались впустую.

— Там, где исчез «Так», теперь ровное место...

— Аккуратно подстриженный зеленый газон.

■

Из канадской поэзии

Перевод с французского Р. ДУБРОВКИНА

Франкоязычная поэзия Канады начинается с Эмиля Неллигана. Литературоведы и составители антологий формулируют это каждый на свой лад, но суть остается неизменной: Эмиль Неллиган (1879—1941) — первый квебекский поэт, до него были лишь эпигоны-версификаторы. Французским переселенцам, основавшим в начале XVII века на берегах реки Св. Лаврентия колонию под названием Новая Франция, было по понятным причинам не до поэзии, равно как и их потомкам, оказавшимся в 1763 г. под властью англичан. Не сумев удержать свои земли в Канаде, Франция уступила их английской короне, и ее бывшие подданные попали в положение притесняемого и гонимого национального меньшинства. Они сохранили родной язык, но литературная традиция была прервана. Новая квебекская литература создавалась медленно и трудно, цепляясь за французские образцы, не всегда лучшие, и, как правило, с большим запозданием.

Перелом наступил к концу прошлого столетия. Интеллектуальным центром канадских французов стал Монреаль, появилась объединившая новое поколение писателей Монреальская литературная школа, и к ней в 1897 году примкнул восемнадцатилетний Эмиль Неллиган. Все написанное им умещается на трехстах страницах, так как уже в двадцать лет у него обнаружилось тяжелое психическое заболевание и его поместили в лечебницу, где он провел остаток жизни, не сочинив больше ни строчки. Но он словно подал сигнал к освобождению поэзии от освященного традицией подражательства и провинциальной выспренности. Вслед за ним квебекские поэты радостно отринули обязательные для канадских стихотворцев XIX века исторические и патриотические темы и занялись чистой лирикой.

Патриотическая тема вернулась вновь вместе с Альфредом Дероше (1901—1978), ставшим уже к тридцати годам обладателем нескольких поэтических премий. Потомок первых переселенцев с примесью индейской крови, он воспринимал Канаду как землю предков и реже других оглядывался на Францию в поисках литературных ориентиров. Тем не менее он держался классических французских стихотворных размеров, предпочитал двенадцатисложный стих, которым писал и Неллиган, и при эпическом размахе своих романтических грез был близок в области формы поэтам-парнасцам.

И Неллиган, и Дероше на русский язык переводятся впервые.

И. КУЗНЕЦОВА

ЭМИЛЬ НЕЛЛИГАН

Золотой фрегат

Сверкая золотом, прозрачный плыл фрегат,
И, к чуждым небесам подняв стрелу бушприта,
Смеялась впереди нагая Афродита,
И берег вдалеке был счастлив и богат.

Но шквал предательский под пение Сирены,
Срывая паруса, разбил его о риф,
И, к черным пропастям дорогу проторив,
Покинул синеву обломок жизни бренный.

Мой золотой фрегат, сокровища твои
Разделят в гибельном подводном забытьи
Тоска и ненависть — пираты горькой бездны.

© Р. Дубровкин. Перевод, 1999
© И. Кузнецова. Вступление, 1999

О сердце, шлюпкою на палубе пустой
Ты мечешься — любви обломок бесполезный,
В воронку черную затянутый Мечтой!

Буфет

Усни, почтенный страж фамильного фарфора —
Тарелок, что очей незрячих холодней, —
Ты был свидетелем давно прошедших дней,
И трапез праздничных, и ветреного вздора

Восторженных невест. Бока твои не скоро
Забудут хрупкий блеск браслетов и перстней,
Ты дышишь свежестью крахмальных простыней
И помнишь завитки карминного узора

На чашках, где в тиши улыбчивой реки
С глазурной Гебою болтают пастушки —
Прабабушкин буфет с фантазиями дружен...

Вчера за дверцами с причудливой резьбой
Сквозь щелку узкую я видел, как на ужин
Слуга повел гостей, придуманных тобой.

Поэт

Вас об одном молю: не причиняйте зла
Душе, блуждающей в обители нездешней, —
Она на землю к нам рассвет приносит вешний,
Как синева небес, открыта и светла.

В ней вихрем золотым из глубины лучистой
Встает поэзия, разлив повсюду грусть,
Пусть невозможную, признательную пусть
Одной-единственной звезде в лазури чистой.

Он любит, не любя, — не все ли вам равно?
Не все ли вам равно, он весел или мрачен?
Посмейтесь, что судьбой он просто одурачен, —
Он не посетует — он вас простил давно.

Но если, умерев, вы встретитесь с Поэтом,
За гробом тягостный настигнет вас упрек:
Какую простоту и строгость он сберег
Под гордым этим лбом, в печальном сердце этом!

Каприз в белом

Куртину белую январской розы редкой
Зима задумала на стекла навести.
Мороз кусается и держит взаперти
Миледи, шимпанзе и канарейку с клеткой.

Но маленькая мисс из глубины саней
Оглядывает мир, укутанная мехом,
Сугробы, гололед встречает дробным смехом,
И взоры пылкие несутся вслед за ней.

Сидит торжественно на козлах кучер-кокни,
В попонах лошади танцуют на бегу,
Следы копыт круглы в накатанном снегу, —
О вечер, в сумерках молочных не поблёкни!

Глазами синими едва скользнув по мне,
Промчалась, но легко дорисовать картину:
К ней в сани, в белый мех, я это сердце кину —
Букет незримых роз в безгрешной белизне.

АЛЬФРЕД ДЕРОШЕ

***

Обломок некогда прославленного рода,
Храню я в памяти геройские века,
В насиженных местах берет меня тоска,
Особенно когда осенняя природа

Торопится уснуть в полярной тишине,
И прадеды мои, народ простой и грубый —
Добытчики мехов, матросы, лесорубы, —
На север двинуться повелевают мне.

На лыжах, на санях скользить по белым льдинам
В пустыне, где ветра людскую волю гнут,
Где ураган сечет, а не господский кнут,
Где каждый сам себя считает господином.

Там пролагал пути далекий предок мой,
И проклинал снега арктического ада,
И проклинал волков, зарезавших полстада,
Но не проклятьями согрет он был зимой! —

О доме, о жене затосковав жестоко,
Затерянный в своем безлюдье снеговом,
Он вытирал слезу шершавым рукавом
И песню начинал: «У чистого потока...»

С разноголосицей слилась она лесной,
С прохладным плеском струй, простая песня эта —
О милой, о любви, прекрасной, словно лето, —
Неприхотливая, она всегда со мной.

И стоит в темную полуночную пору
Мне ощутить наплыв предательской тоски,
Подобно прадеду, сжимаю кулаки,
Готовый к самому суровому отпору.

Природу покорить, стихию взять во власть —
Вот для чего он жил, отчаянья не зная.
Наследием отцов кипит во мне больная,
Неутоленная к бродяжничеству страсть.

И пусть подобен я рассохшемуся буку,
Без соков, без коры, пусть по речному льду
Дорогой прадедов я так и не уйду,
Взрастив на дне души уныние и скуку, —

Из памяти моей заветные слова
Ни город каменный, ни время не изгладит:
Как в давние года, когда был жив мой прадед,
Я говорю: ручей, я говорю: листва, —

С мечтой о странствиях душа никак не сладит!

Ледоход

Вскипает в полыньях, бросается с разбега
К промытым желобам весенняя вода,
На берег, грохоча, вползают глыбы льда,
Освобожденные от зимнего ночлега.

Земля разнежена, пробились из-под снега
Побеги первые под пение дрозда,
Вдали озимая вздыхает борозда,
Луга очистились и подсыхают пего.

Готовы сплавщики к низовьям гнать плоты:
Вонзают в штабеля крюкастые шесты
И бревна волочат по просекам ледовым.

Решительным рывком свергают в быстрину
И смотрят, как река вращает с диким ревом
Многометровую смолистую сосну.

Модистка

Затянутая в шелк, прямая, как доска,
Модистка капли пьет: «Не выберусь сама я
Из чертовой дыры! Так с октября до мая
Смотри в окно, сиди с компрессом у виска!»

В деревне двадцать лет. С соседями резка.
Для них она и гвоздь, и жердь глухонемая,
Услышат про мигрень, глядят, не понимая,
Что в этакой глуши ей и без них тоска.

Красуются в окне тюрбаны и эгретки,
Но тошно пыль стирать, да и клиентки редки,
И шляпница, устав от мелочных обид,

Рыдает: «Ах, зачем не в городе теперь я!» —
И нервно пальцами худыми теребит
Сахарских страусов и лирохвостов перья.

Сенокос

Над сеном скошенным витает пряный дух,
Неслышно тает ночь, бездонная, пустая,
Взметнулась в синеву грачей крикливых стая,
И, вспрыгнув на забор, заголосил петух.

Туман спадает с гор, пожар зари потух,
Сквозь паутинный блеск дрожит листва густая,
На горизонте в шар багровый вырастая,
Встает светило дня, и воздух прерий сух.

Бубенчики коров бряцают богомольней
Гуденья медного высокой колокольни,
Деревня ожила для будничных забот.

Ладони крепкие заря разгорячила,
И, предвкушая шум полуденных работ,
По лезвию косы зазвякало точило.

Сборщики картофеля

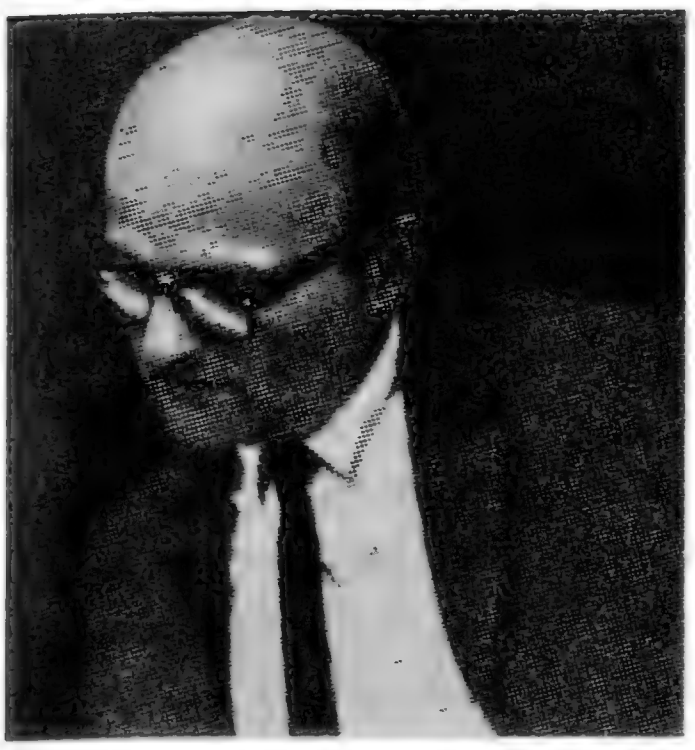
Вечерним холодком повеяло над долом,
И в тонком воздухе, цепляясь за кусты,
Оборок золотых взметнулись лоскуты
И Осень увлекли в кружении веселом.

Задавлены трудом безвыходно тяжелым,
Копают фермеры до самой темноты
И, силясь разогнуть затекшие хребты,
В деревню за холмом бредут простором голым.

На грубом полотне застиранных рубах
Пятном темнеет пот, и на суровых лбах
Лежат глубокие насупленные складки.

Так мимо пристани идущие суда
Зеленой рябью плёс перерезают гладкий
И стелется ботвой картофельной вода.

■



ДЖОН БАРТ

Конец пути

РОМАН

Перевод с английского и послесловие В. МИХАЙЛИНА

Глава первая

В некотором смысле я Джейкоб Хорнер

В некотором смысле я Джейкоб Хорнер.

За преподавание я взялся по совету Доктора; какое-то время я преподавал грамматику в Государственном учительском колледже Вайкомико, штат Мэриленд.

Доктор довел меня до некой терапевтической точки в соответствии с принятым изначально курсом (дело было в июне 1953 года), а потом, когда в один прекрасный день я приехал из Балтимора в Центр Ремобилизации, каковой находился в ту пору невдалеке от Вайкомико, он мне сказал:

— Джейкоб Хорнер, вы не должны больше сидеть без дела. Вам придется найти себе работу.

— Не то чтоб я бездельничал напропалую, — сказал я. — Нанимаюсь куда-нибудь время от времени, работаю.

Мы сидели в Комнате Директив и Консультаций этого самого Центра или, как было принято его называть, Фермы; на теперешней Ферме есть точно такая же, правда, это уже в Пенсильвании. Средних размеров комната, вроде гостиной в обычной квартире, только потолок гораздо выше. Простые беленые стены, на окнах подъемные жалюзи, обычно закрытые, и свет идет от круглой приспособы под самым потолком. Во всей комнате только два стула, белых, с прямыми спинками, друг против друга, в центре, и никакой другой мебели. Стулья стоят очень близко, так что коленями вы едва не упираетесь в колени консультанта.

Чувствовать себя свободно в Комнате Директив и Консультаций никак невозможно. Доктор садится прямо перед вами, слегка расставляет ноги, кладет руки на колени и немного наклоняется вперед. Откинуться назад, съехавши чуть-чуть по стулу, у вас не выйдет, потому что в этом случае ваши колени как раз упрутся в его. Закинуть ногу за ногу, на мужской ли, на женский манер, вас тоже не тянет: если на мужской, так, чтобы левая щиколотка лежала на правом колене, то ваша левая туфля коснется левой же штанины Доктора чуть выше колена и, вероятнее всего, испачкает его белые брюки; если на женский, так, чтобы левое колено покоилось на правом, то кончик вашей туфли уткнется в ту же самую штанину, только ниже, на голени. Сесть боком вам, конечно же, и в голову не придет, а стоит только попытаться расставить колени на тот же манер, что и Доктор, у вас немедленно возникнет пренеприятнейшее ощущение, что вы его копируете, обезьянничаете, словно у вас ничего своего за душой нет и не было. Ваша поза, следовательно (за вами сохраняется видимость свободы выбора, никто ведь не приказывает вам си-

© В. Михайлин. Перевод, послесловие, 1999

деть так, а не иначе, но выбора у вас, по сути, нет никакого, поскольку альтернативы все равно не существует), выглядит так: вы сидите, будто аршин проглотив, на белом стуле, ваша спина и ваши бедра составляют заданный формою стула прямой угол, вы держите ноги вместе, а бедра и голени составляют еще один прямой угол.

Положение рук — отдельная проблема, интересная сама по себе и, на свой лад, даже более сложная, хотя и не столь важная, ибо, куда их ни приткни, Доктора, вероятнее всего, никак задеть не выйдет. Вы можете делать с ними все, что вам заблагорассудится (исключая, естественно, желание опустить руки на колени, как явную имитацию его позы). Я, как правило, не оставляю их надолго в состоянии покоя, давая им на какое-то время застыть в одном удобном положении, а затем переводя в другое. Скрестить, упереть в бока, опустить; уцепиться пальцами за краешек сиденья, положить руки на бедра, или закинуть их за голову, или сплести пальцы на животе — таковы (со всеми возможными вариациями и промежуточными стадиями) основные вполне приемлемые позиции для рук, для ладоней и пальцев, и если я перевожу их из одной в другую, то данное перемещение не есть проявление нервозности или, по крайней мере, уже не есть — после первой полудюжины моих с Доктором встреч; это скорее признание того факта, что, когда перед тобой множество равно желанных возможностей, ни одна из них, буде ты отдашь ей предпочтение, надолго тебя не устроит перед лицом остального, равно желанного множества, хотя по сравнению с любой другой возможностью, если брать *по отдельности*, она ничуть не хуже.

Мне вдруг сейчас пришло в голову (то есть в 7.55 вечера, во вторник, 4 октября 1955 года, когда я все это пишу, наверху, в спальном блоке), что если принять последнее наблюдение за метафору, то как раз и выйдет история моей жизни в одной фразе — если быть точным, в последнем члене двойного номинативно-предикативного выражения, являющегося, в свою очередь, второй независимой частью этого более чем замысловатого сложносочиненного предложения. Ну, убедились, я и в самом деле преподавал грамматику.

Оно, в общем-то, и не предполагалось, что вы будете чувствовать себя свободно в Комнате Директив и Консультаций, потому что, в конце концов, вы приходили сюда не расслабляться, а за советом. Чувствуй вы себя совершенно свободно, советы Доктора вы стали бы принимать этак между делом, с ленцой, вроде как завтрак, который вам приносит в постель облаченный в ливрею слуга, то есть излишне критично — это взяв, а то отодвинувши в сторону, и ели бы столько, сколько вам хочется, не больше и не меньше. И, ясное дело, подобное состояние духа было бы в Комнате Директив и Консультаций абсолютно неуместным, поскольку здесь не кто-нибудь, а вы сами вверяли себя в руки Доктора; ваши желания подчинены его желаниям, а вовсе не наоборот; и совет дается вам не для того, чтобы ставить его под сомнение или даже просто обдумывать (сомнение есть дерзость явная; обдумывание же бессмысленно), а для того, чтобы ему следовать.

— Это совершенно неудовлетворительно, — сказал Доктор, имея в виду мое тогдашнее обыкновение работать только тогда, когда у меня кончались деньги, и браться в подобных случаях за первое, что подвернется под руку. — С этим пора кончать.

Он сделал паузу и принялся меня разглядывать — такое у него обыкновение, — гоняя сигару из угла в угол рта и показывая розовый испод языка.

— Отныне вам предстоит взяться за труд куда более осмысленный. Карьера, вы понимаете меня? Призвание. Дело всей жизни.

— Так точно, сэр.

— Вам тридцать.

— Так точно, сэр.

— И вы что-то там закончили. А специальность? История? Литература? Экономика?

— Искусства и науки.

— Вы что, специалист-универсал?

— Ну, не так чтобы совсем...

— Искусства и науки! А есть хоть что-нибудь на этом свете, что не являлось бы наукой или искусством? Вы изучали философию?

— Да.

— Психологию?

— Да.

— Политологию?

— Да.

— Так, погодите минутку. Зоологию?

— Да.

— Ага, и филологию тоже? Романскую филологию? И культурную антропологию?

— Это было чуть позже, сэр, в аспирантуре. Если вы помните, я...

— *Архх*, — сказал доктор, как будто харкнул, чтобы плюнуть на мою аспирантуру. — А искусство взламывать замки вы в аспирантуре не изучали? А искусство адюльтера? А парусное дело? А искусство перекрестного допроса?

— Нет, сэр.

— А эти что, не искусства с науками?

— Я собирался писать магистерскую диссертацию по английскому, сэр.

— Черт вас подери! По английскому *чему*? Мореплаванию? По английской колониальной политике? По английскому некодифицированному праву?

— По английской литературе, сэр. Но я не закончил. Сдал все устные экзамены, но диссертацию так и не написал.

— Джейкоб Хорнер, вы дурак.

Мои ноги остались стоять прямо передо мной, как и прежде, но я убрал закинутые за голову руки (эта поза, что ни говори, в большинстве случаев предполагает недостаточно серьезное отношение к происходящему) и перевел их в позицию, так сказать, промежуточную: левая рука держится за левый лацкан пиджака, а правая лежит ладонью кверху, пальцы расслаблены, примерно посередине правого бедра.

Немного погодя Доктор сказал:

— Есть ли у вас серьезные причины, которые могли бы помешать вам устроиться на работу в небольшой учительский колледж прямо здесь, в Вайкомико?

В мгновение ока целая армия аргументов против каких бы то ни было попыток устроиться на работу в Государственный учительский колледж Вайкомико предстала перед моим мысленным взором, но в ту же самую секунду напротив выстроилась равная по численности шеренга контраргументов, баш на баш, и вопрос о поисках работы повис сам собой в воздухе, чуть заметно подрагивая, вроде как серединный флажок во время перетягивания каната, если силы обеих команд абсолютно равны. И это тоже, в некотором смысле, история всей моей жизни, неважно, что она не похожа на ту, предыдущую, несколькими абзацами раньше; спустя какое-то время после этого самого собеседования, когда мы логически дошли до мифотерапии, я начал понимать, что одна и та же жизнь способна втиснуться в огромное множество историй — параллельных, концентрических, взаимозависимых или каких там еще, на ваше усмотрение.

Ну и ладно.

— Нет таких причин, сэр, — сказал я.

— Значит, договорились. Подавайте заявление немедленно, как раз успеете к осеннему семестру. А что вы собираетесь преподавать? Иконографию? Автомеханику?

— Может быть, английскую литературу?

— Нет. Дисциплина должна быть более чем строгая, иначе это будет просто труд, а не трудотерапия. Нам нужна жесткая система правил. Как вы насчет классической геометрии, общий курс, не очень?

— Вы знаете, я бы... — я сделал эдакий вопросительный жест, чуть отогнув рукой лацкан, вытянув одновременно указательный и средний пальцы, но лацкана не отпустив, — жест, который я тут же аранжировал, стремительно подняв (и так же стремительно опустив) брови, поджавши на секунду губы и покачав в сомнении головой.

— Чушь. Конечно, это не для вас. Скажите им, что вы будете преподавать грамматику. Английскую грамматику.

— Видите ли, Доктор, — начал я, — существует как описательная, так и предписательная грамматика. В смысле, мне показалось, что вы говорили о жесткой системе правил.

— Вы будете преподавать предписательную грамматику.

— Ясно, сэр.

— И никаких описаний. Никаких нестандартных ситуаций. Ограничьтесь правилами. Самой что ни на есть правоверной грамматикой.

Консультация закончилась. Доктор быстро встал (я едва успел отдернуть ноги) и вышел из комнаты, а я, уплатив положенное миссис Доки, сестре-регистраторше, вернулся назад в Балтимор. В тот же вечер я сочинил письмо ректору Государственного учительского колледжа Вайкомико, попросил назначить дату собеседования и выразил желание влиться в коллектив в качестве преподавателя предписательной грамматики английского языка. По крайней мере этому искусству в процессе моих туманных университетских штудий я научился в совершенстве, вернее, меня ему научили в совершенстве: искусству писать такого рода письма.

И меня пригласили приехать для собеседования почти сразу же, в июле.

Глава вторая

Государственный учительский колледж Вайкомико расположился посреди обширного плоского поля

Государственный учительский колледж Вайкомико расположился посреди обширного плоского поля, окруженного нечесаным сосновым лесом, на юго-восточной окраине города Вайкомико, Мэриленд, Восточное побережье. Состоит он, собственно говоря, из одного-единственного некрасивого кирпичного здания с двумя выступающими по бокам флигелями, чересчур громоздкого для того псевдогеоргианского стиля, в котором он выстроен. От Колледж авеню к главному входу ведет изогнутая глубокой дугой подъездная аллея.

В июле, как только подошел назначенный мне день, я затолкал в свой «шевроле» пожитки и сдал с концами ключ от бывшей моей комнаты на Ист-Чейс-стрит, в Балтиморе, потому что я собирался в тот же самый день подыскать себе жилье в Вайкомико, вне зависимости от того, возьмут меня на работу или нет. Дело было в воскресенье. Вообще-то мне назначили на вторник, по крайней мере в ответном письме ректора так было написано: вторник. Но в субботу, в середине дня, прежде чем я успел убраться из Балтимора, ректор позвонил мне и попросил приехать в

понедельник. Слышно было плохо, но, мне показалось, я прекрасно понял, что он перенес собеседование на понедельник.

— Я могу приехать в любой день, — помнится, сказал я.

— Ну, честно говоря, нам, по большому счету, тоже все равно, — ответил мне ректор. — Понедельник ли, вторник. Но может так случиться, что понедельник для некоторых членов комитета окажется несколько удобнее. Конечно, если у вас понедельник не занят. А что, вам вторник больше подходит?

— Хоть в понедельник, хоть во вторник, никакой разницы, — сказал я. И подумал, что на самом-то деле вторник (о котором, как вы помните, изначально и шла речь) и *в самом деле* подходит мне больше, потому что в последний момент, перед самым отъездом из Балтимора может срочно понадобиться какая-нибудь мелочь, а в воскресенье вечером магазины будут закрыты. Но я не собирался делать из этого проблему, а потому вполне мог приехать и в понедельник. — Если понедельник вас всех больше устраивает, я не возражаю.

— Я знаю, что мы сначала договаривались на вторник, — поспешил признать ректор, — я просто подумал, что в понедельник будет лучше.

— В любой день, сэр, — сказал я.

Итак, в воскресенье я сложил одежду, несколько книг, патефон, пластинки, виски, скульптуру и всякое разное мелкое барахло в машину и взял курс на Восточное побережье. Тремя часами позже я зарегистрировался в гостинице «Полуостров» в Вайкомико, где намеревался жить, пока не подыщу себе подходящее жилье, и, перекусив, отправился искать квартиру.

Первое, что не могло меня не насторожить, так это что я сразу же нашел абсолютно, то есть по всем параметрам подходящую комнату. Как правило, в вопросах съема жилплощади я крайне разборчив. Мне нужно, чтобы надо мной никто не жил; чтобы потолок был высокий, а окна большие; чтобы кровать была высокая, широкая и очень мягкая; чтобы в ванной был хороший душ; чтобы хозяин не жил в том же доме (и чтобы он был не особо привередлив как по части своего движимого и недвижимого имущества, так и жильцов); чтобы прочие жильцы не слишком многого от меня требовали; и чтоб была горничная. Из-за этой моей разборчивости квартиру приходилось порой искать не просто подолгу, а *подолгу*, и все равно в ней чаще всего чего-нибудь да не хватало. Но тут, как назло, первая же попавшаяся мне на глаза по дороге от гостиницы до Колледж авеню комната под съем удовлетворяла всем моим обычным требованиям. Хозяйка, весьма импозантная вдова лет пятидесяти, которую я поймал на выходе, в дверях старого двухэтажного кирпичного дома, сама и показала мне комнату, во втором этаже, окнами на улицу.

— Преподаете в колледже? — спросила она.

— Так точно, мэм. Грамматику.

— Что ж, приятно познакомиться. Меня зовут миссис Олдер. Давайте сразу обо всем и договоримся, потому что вам не часто придется меня здесь видеть.

— А вы сами что, здесь не живете?

— Жить *здесь*? Господи, да нет, конечно! Терпеть не могу, когда жильцы снуют у меня перед глазами. То того им подай, то этого. Я круглый год живу в Оушн-Сити. Если что-нибудь понадобится, мне не звоните; звоните мистеру Прейку, он присматривает за домом. Он тут живет, в городе.

Она показала мне комнату. Шестифутовые окна, три штуки. Потолок — двенадцать футов. Темно-серая штукатурка, белые деревянные косяки, подоконники и рамы. Невероятная кровать: три фута в высоту, семь в длину и по меньшей мере семь в ширину; могучее черное чудище под балдахином, на четырех ножках, каждая толщиной в корабельную мачту, с продольными желобками и поперечными кольцами, и резное изголовье, которое еще фута на три возносилось над валиком

под подушку. Мечта! Прочая мебель являла собой смешение всех времен и стилей — как будто забрел ненароком в ту комнату в музее, где хранятся разрозненные предметы, — вот только всякая вещь здесь была в своем праве. Это определение, *в своем праве*, сразу пришло мне на ум, оттеснивши в сторону *на своем месте*. У здешней мебели был такой вид, как будто она была в своем деле ас и знала себе цену настолько хорошо, что едва ли снизошла бы даже внимание обратить на ваши жалкие попытки использовать ее в своих целях. И нужен был не просто человек, нужен был *человек*, чтобы заставить ее с собой считаться. Мне это понравилось.

Короче говоря, место было райское. И душ, и горничная — как по заказу.

— А прочие постояльцы? — спросил я с некоторой тревогой.

— Да так, то пусто, то густо. Холостяки по большей части, иногда молодые парочки, проезжие, сестры из госпиталя.

— А студенты? — В Балтиморе о студентах-соседях можно было только мечтать, поскольку уж кем-кем, а придирами они не бывают, но мне пришло на ум, что здесь, в Вайкомико, и студентов, и преподавателей не так уж много, и все они слишком хорошо друг друга знают.

— Никаких студентов. Они обычно живут в общежитиях или снимают комнаты подальше от Колледж авеню.

Это было уже чересчур хорошо, и во мне проснулась подозрительность.

— Да, наверное, стоит вас предупредить: я упражняюсь на кларнете, — сказал я. Ложь чистой воды: у меня даже и слуха-то нет.

— Какая прелесть! Я ведь и сама тоже пела, вот только после смерти мистера Олдера голос пропал. А когда была помоложе — какой у меня был преподаватель по вокалу в консерватории Пибоди, вы и представить себе не можете! Фаррари. Он, Фаррари, мне и говорил: «Олдер, — говорил он мне, — ты уже умеешь все, чему я мог тебя научить. В тебе есть точность, стиль, eclat[1]. Ты una macchina cantanda, — так он говорил, это по-итальянски. — Жизнь сама сделает все остальное. Иди и живи!» — такие были его слова. Но вот жить у меня никак не получалось, покуда пять лет назад бедный мистер Олдер не отдал богу душу, а к тому времени голос уже весь вышел.

— А как вы относитесь к домашним животным?

— К каким таким домашним животным? — в голосе миссис Олдер звякнул металл. И мне показалось, что я обрел наконец путь к спасению.

— Ну, не знаю. Я люблю собак. Может, надумаю завести себе боксера или добермана.

Моя хозяйка облегченно вздохнула.

— Да, я и забыла, что вы преподаете грамматику. А то жил у меня тут как-то раз один биолог, — пояснила она.

Я ухватился за последнюю соломинку:

— И я не могу платить больше двенадцати долларов в неделю.

— Я беру восемь, — сказала миссис Олдер. — Горничная обойдется вам еще либо в три, либо в четыре пятьдесят.

— Господи, а разница в чем?

— Она еще и стирает, — ровным тоном сказала миссис Олдер.

Крыть было нечем, и я снял комнату. Я заплатил за месяц вперед, хотя она просила только за неделю, и проводил ее до машины, «бьюика» с открытым верхом, пяти лет от роду.

Сей подарок судьбы я склонен был считать неудачей по одной простой причине: теперь мне абсолютно нечего было делать весь день, весь вечер и все следую-

[1] Блеск *(франц.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

щее утро в придачу. На выписку из «Полуострова», переезд на новую квартиру и на то, чтобы разложить все вещи по своим местам, ушло не более полутора часов; дальше — тишина. Знакомиться с видами Вайкомико у меня желания не было: обычный маленький городишко, виден насквозь с первого взгляда — совершеннейшая бесхарактерность. Банальный деловой центр, стандартный парк, окруженный среднего достатка жилыми кварталами, вся разница в возрасте домов и ухоженности палисадников. Что же касается Государственного учительского колледжа Вайкомико, двухминутное созерцание оного вполне могло удовлетворить даже самое неуемное любопытство. Это был государственный учительский колледж.

Я поколесил по городу безо всякой видимой цели минут двадцать и вернулся на квартиру. Единственный пыльный тополь за моими окнами истощил свои сценические возможности за полминуты. Пластинки — почти сплошь один Моцарт — не вызывали ничего, кроме раздражения, в этой комнате, к которой я еще не успел привыкнуть, чтобы чувствовать себя как дома. Скульптура на каминной полке, большая гипсовая голова Лаокоона, настолько злила меня пустоглазой своей гримасой, что, будь я человеком, практикующим подобного рода жесты, я бы повернул ее лицом к стене. У меня начинался классический мандраж, по полной программе. В конце концов, хоть и было всего только девять (но в таком состоянии я пребывал уже с половины четвертого), я улегся в кровать, и ее гротескное великолепие немного меня успокоило, однако спать мне захотелось еще очень не скоро.

Утром было еще того хуже. Я старательно проспал до десяти и отправился завтракать с дурной истомой во всем теле, с опухшими глазами и дремлющей под спудом головной болью. Собеседование было назначено на два, и времени на то, чтобы окончательно пасть духом, у меня было в достатке. Читать никак не получалось, музыка выматывала в несколько минут. Я два раза порезался во время бритья, а сапожный крем кончился прежде, чем я успел навести глянец на пятку левой туфли. А поскольку чистку обуви я отложил на самый конец, надеясь хоть таким несложным способом скрасить последние, самые скверные мгновения перед уходом, ехать в центр за кремом не было уже никакой возможности. Я психанул и пошел вниз, к машине. И вспомнил, что забыл авторучку и кейс, который, хоть в нем ничего и не было, намеревался взять с собой для пущей солидности. Я рванул назад и, уже с кейсом под мышкой, так зыркнул на бедную сестричку, выглянувшую неосторожно из собственной двери, что та втянула ртом воздух и тут же захлопнула дверь. Кинув кейс на заднее сиденье, я тронул с места в карьер, с визгом, как на автогонках, и поехал в колледж.

Раздражение — не самый худший стимул, и я благополучно добрался бы до ректора, если бы на ступеньках у самого входа не расположилась группа молодых людей. Я принял их за студентов, хотя, учитывая, что время было каникулярное, вряд ли они и в самом деле были студенты. Так или иначе, на мою подъезжающую машину они воззрились с любопытством пусть и не откровенно издевательским, но все же достаточно хамским. И я струсил; я не стал останавливаться и, проезжая мимо, с безразличным видом глянул на наручные часы, дав понять, что притормозил я только для того, чтобы сверить время. Часы над входом в колледж пришли мне на помощь и тут же пробили два; я кивнул, как если бы остался доволен точностью хода собственного хронометра, и деловито вырулил обратно на Колледж авеню. Там я опять разозлился, пуще прежнего, теперь уже на себя самого, за то, что меня так просто сбить с толку. Я снова направился к въезду и завернул для следующей попытки. Однако, если даже в первый раз мне не хватило силы духа пройти мимо бесстрастных этих привратников, взирающих пустыми, как у Лаокоона, глазами, на дурацкую аллею вдоль подъездной дорожки, то для того, чтобы вторично сунуться под обстрел, нужно было бы иметь смелость откровенно геройскую. Я

утопил педаль газа на полную и прогнал свой «шевроле» через весь полукруг за считанные доли минуты, не удостоив их даже взглядом. И пусть эти обормоты думают что хотят! В третий раз я не стал колебаться и секунды — просто доехал не спеша до парковки с обратной стороны здания и вошел в первую попавшуюся дверь. Я опоздал на шесть минут.

Ректорский кабинет я нашел без особого труда и представился секретарше.

— Мистер Хорнер? — повторила она, слегка смутившись.

— Он самый, — сказал я коротко.

— Подождите минутку.

Она исчезла за дверью, и я услышал, как она там с кем-то приглушенным голосом переговаривается, должно быть, с доктором Шоттом, ректором. Мне стало как-то не по себе.

Из двери, улыбаясь, вышел седой отеческого вида господин; секретарша шла в кильватере.

— Мистер Хорнер! — воскликнул он, поймав меня за руку. — Я Джон Шотт! Рад вас видеть!

Доктор Шотт был человек восклицательный.

— А я — *вас*, сэр. Прошу прощения за некоторое опоздание...

Я уже заготовил целый список: пусть небольшой, но совершенно незнакомый город, не знал, где поставить машину, не сразу, что вполне естественно, нашел нужный кабинет и т. д.

— Опоздание! — вскричал доктор Шотт. — Мальчик мой, вы приехали на двадцать четыре часа раньше намеченного срока! Сегодня же понедельник!

— Но разве мы не на сегодня договорились с вами по телефону, сэр?

— Что ты, сынок! — доктор Шотт рассмеялся в голос и обхватил меня за плечи. — *На вторник!* Разве не так, Ширли? — Ширли радостно кивнула: она беспокоилась недаром. — Понедельник в письме, вторник по телефону! Ну, вспомнили теперь?

Я рассмеялся и почесал в затылке (левой рукой, на правой у меня висел доктор Шотт).

— Честное слово, мне казалось, что мы вторник поменяли на понедельник. Простите, Христа ради. Так глупо получилось.

— Да бросьте вы! Было бы о чем беспокоиться! — доктор Шотт снова хохотнул и выпустил наконец мою руку. — Разве мы не уточняли с мистером Хорнером насчет вторника? — опять в сторону Ширли.

— Боюсь, именно так все и было, — подтвердила Ширли. — Из-за бойскаутов мистера Моргана. Понедельник в письме, вторник по телефону.

— Один из членов нашего комитета — скаутский вожатый! — объяснил доктор Шотт. — Он отправился с ребятами в двухнедельный поход к лагерю Родни, и вернуться они должны только сегодня. Джо Морган, отличный парень, ведет у нас историю! Вот потому-то мы и сдвинули собеседование на вторник!

— Мне правда очень неловко, — я попытался улыбнуться, и улыбка вышла жалкой.

— Нет-нет! Что вы! Я и сам вполне мог что-нибудь напутать!

Что ты, собственно говоря, и сделал.

— Ну что ж, завтра заеду еще раз.

— Погодите! Погодите минутку! Ширли, позвоните-ка Джо Моргану, может быть, он уже вернулся. Он вполне уже мог вернуться. А мисс Баннинг и мистер Картер наверняка сейчас дома.

— Нет, не надо, — начал было я, — я лучше завтра.

— Тихо! Не мешайте! Не мешайте!

Ширли позвонила Джо Моргану.

— Алло? Миссис Морган. А мистер Морган дома? Понятно. Нет, я знаю, что его нет в городе. Да, конечно. Нет-нет, ничего особенного. Тут приехал мистер Хорнер, совершенно внезапно, на собеседование; он перепутал дату, должен был завтра, а приехал сегодня. И доктор Шотт, он просто подумал, а вдруг мистер Морган вернулся чуть раньше. Нет, не беспокойтесь. Извините, что *я* вас побеспокоила. О'кей. Счастливо.

Мне захотелось плюнуть Ширли в морду.

— Ладно, увидимся завтра, — сказал я.

— Конечно увидимся! — воскликнул доктор Шотт. Он проводил меня до самой до парадной двери, где, к немалой моей печали, я обнаружил все ту же бессменную стражу, на боевом посту. Но объяснять ему здесь и сейчас, что моя машина стоит с задней стороны здания, — нет уж, увольте.

— Ладно-ладно, до скорого! — сказал доктор Шотт, методично тиская мою руку. — До завтра, слышите, вы приезжаете *завтра*!

— Я понял, сэр.

Мы вышли во двор, и часовые немедленно на меня тупо уставились.

— А где ваша машина? Вас куда-нибудь подвезти?

— Нет-нет, спасибо; я поставил ее там, сзади.

— Сзади! Так вам же совсем не к этой надо было двери! Пойдемте, я покажу вам другой выход! Ха!

— Не беспокойтесь, сэр, — сказал я, — я лучше прогуляюсь вокруг здания.

— Ага! Ха! Н-да, ну, как хотите! — но посмотрел он на меня странновато. — До завтра!

— До свидания, сэр!

Я уверенным шагом прошествовал мимо бездельников на ступеньках.

— Вы найдите-ка это письмо! — крикнул уже из дверей доктор Шотт. — На всякий случай, а вдруг мы ошиблись!

Я нехотя обернулся и помахал ему в знак признательности, но когда, вернувшись к себе в комнату (которая показалась мне до ужаса родной и уютной), и в самом деле принялся искать письмо, обнаружил, что выкинул его еще в Балтиморе. А поскольку в ближайшую сотню лет мне явно не светило настолько освоиться в приемной доктора Шотта, чтобы запросто попросить Ширли покопаться в ее собственных папках с исходящими, вопрос о назначенной мне дате никак не мог быть разрешен путем прямой апелляции к фактам объективной реальности.

Вам может показаться, что из-за такого вот неудачного начала состоявшееся на следующий день собеседование далось мне труднее, чем могло бы, однако подобное предположение, пусть даже вполне логичное, не соответствует фактам. Совсем наоборот, мне было уже настолько на все плевать, начиная с собственной особы, что это собеседование было мне так, семечки. На следующее утро я даже не удосужился начистить остаток левой туфли; позавтракав, я отправился в парк, просидел там несколько часов, глядя, как дети возятся в маленьком искусственном озерце, и за все это время мысль о предстоящем собеседовании посещала меня два-три раза, не более. А когда она меня все-таки посещала, я отгонял ее прочь простым подергиванием мускулов правой щеки. Без десяти два я подъехал к колледжу, припарковался, ничтоже сумняшеся, прямо напротив парадной двери и вошел через главный вход. Ступеньки были на сей раз необитаемы, но не было уже на свете такого комитета, который оказался бы в состоянии меня смутить. Такое у меня было настроение.

— А, привет, — просияла мне навстречу Ширли.

— Добрый день. Не будете ли вы так любезны известить доктора Шотта, что я уже здесь?

— *Все* уже здесь, на сей раз. Подождите минутку, мистер Хорнер.

Я включил улыбку и тут же выключил ее, на манер джентльмена, который вежливо, но совершенно бесстрастно коснется полей шляпы при встрече с любой знакомой дамой, вне зависимости от того, заслуживает она подобной чести или нет. Ширли вошла в кабинет доктора Шотта и тут же вышла назад.

— Входите, мистер Хорнер.

— Благодарю вас.

Внутри доктор Шотт представил меня мисс Баннинг, преподавателю испанского и французского, эдакой милой старушке, которую только и оставалось воспринимать как милую старушку, потому что кроме того ловить там было нечего; доктору Гарри Картеру, преподавателю психологии, сухому, ученого вида старичку, увидев которого, вы сразу начинали мучиться вопросом: а что он, собственно, делает в Вайкомико, — однако не настолько остро, чтобы буквально в следующий момент не прийти к выводу, что у него наверняка есть на то свои причины; и мистеру Джозефу Моргану, вожатому местных скаутов и преподавателю античной, европейской и отечественной истории, высокому, атлетически сложенному очкарику, до жути энергичному и настолько очаровательному по всем статьям — такой уж он был умный, деловой и подающий большие надежды, — что приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы быть с ним хотя бы просто вежливым, и с первого же взгляда становилось ясно: самый факт его существования, во-первых, уже предполагает постоянное с ним сравнение и сопоставление, а во-вторых, это сравнение всегда будет не в вашу пользу, что неизбежно делало факт его существования устойчивым раздражающим фактором, не говоря уже о возможности приятельских с ним отношений.

Прозвучало несколько любезных замечаний о моем рвении, настолько сильном, что даже на собеседование я явился на день раньше. Затем комитет погрузился в оживленное обсуждение летних трудов и дней каждого из присутствующих. Сопровождаемое шутками и дружеским подтруниванием. Претенденты на штатную должность в Государственном учительском колледже Вайкомико явно были здесь не столь привычной публикой, чтобы такого рода заседания комитета по штатам успели стать рутинной добавкой к повседневным обязанностям его членов.

— Вы можете твердо рассчитывать на голос мисс Баннинг, мистер Хорнер, — посмеиваясь себе под нос, сказал доктор Картер. — Ей нужны новые жертвы — а то кому еще она будет показывать свою коллекцию чашек для усатых.

— В самом деле? — сказал я. Замечание доктора Картера адресовано было не *ко* мне, а сквозь меня: так бабушки иногда издеваются над собственными дочерьми, обращаясь в их присутствии исключительно к внучке.

— У меня и вправду совершенно восхитительная коллекция, мистер Хорнер, — искренне оживилась мисс Баннинг. — Вы просто обязаны на нее взглянуть. Ой, дорогой мой, но ведь у вас же нет усов, а?

Все рассмеялись. И я тут же обратил внимание, что у Джо Моргана усы *были*.

— Этель мне уже четырнадцать лет не дает покоя, чтобы я отрастил усы! — загоготал доктор Шотт, обращаясь ко мне. — И не какую-нибудь там «ниточку», вроде как у Джо, а настоящие, пышные, чтобы я мог перепробовать всю ее коллекцию! Ну что, может, переключишься теперь на мистера Хорнера, а, Этель!

Этель совсем уже собралась было ответить доброй какой-нибудь шуткой, но тут Джо Морган мягко ввернул вопрос о моем прежнем опыте преподавания в высшей школе.

— Вы, насколько я понял, закончили университет Джонса Хопкинса, так ведь, мистер Хорнер?

— Так точно, сэр.

Все остальные одобрительно закивали: они оценили тактичность, с которой Джо перешел к делу. Он был просто находкой, этот мистер Морган. И здесь у них явно надолго не задержится. Все внимание сосредоточилось на мне.

— Только, пожалуйста, без всяких *сэров*! — запротестовал доктор Картер. — Мы здесь, в провинции, без церемоний.

— И то верно! — милостиво согласился доктор Шотт.

Затем последовал, минут на двадцать, достаточно бестолковый допрос относительно моей дипломной работы и опыта преподавания — последний, если не считать спорадических частных уроков в Балтиморе и краткого курса, читанного мной в вечерней школе при университете Джонса Хопкинса, был равен нулю.

— А почему вы решили снова взяться за преподавание, мистер Хорнер? — спросил доктор Картер. — Вы, кажется, прежде этой профессией не злоупотребляли.

Я передернул плечами.

— Ну, вы же знаете, как это бывает. Вы просто чувствуете, что все остальное теперь — не для вас.

Собравшиеся признали справедливость моего наблюдения.

— К тому же, — осторожно добавил я, — и мой доктор рекомендовал мне вернуться именно к преподавательской деятельности. Он, кажется, считает, что это занятие как раз по мне и лучше бы мне как раз его и держаться.

Хорошо сказал. Экзаменаторы были теперь на моей стороне, и я развернулся.

— Знаете, мне никогда не приносили удовлетворения обычные способы зарабатывать себе на жизнь. Когда работаешь только ради денег, в этом всегда есть что-то... лишающее твой труд *смысла*. Хм, не люблю клише, но факт остается фактом: другие профессии лишены отдачи. Вы же понимаете, что я имею в виду.

Они понимали, что я имел в виду.

— К вам попадает в руки мальчик — умный, глаза смышленые, одна беда, ему никогда не приходилось *мыслить* всерьез, жить в атмосфере, где интеллектуальная деятельность столь же естественна, как еда или сон. Перед вами свежий юный ум, у которого просто не было возможности тренировать, так сказать, мышцы. Может быть, он просто не владеет хорошим, грамотным английским. Никогда *не слышал* правильной английской речи. Это не его вина. И, по большей части, даже не вина его родителей. Но — он такой, какой есть.

Моя аудитория была вся внимание, вся, кроме Джо Моргана, который смотрел на меня спокойно и холодно.

— И вы начинаете с ним работать. Части речи! Глаголы, существительные! Определения! *Дополнения*! И, немного погодя, основы риторики. Подчинение! Сочинение! Эвфония! Вы гоняете его в хвост и в гриву, вы объясняете до хрипоты и все это время видите, как мальчик нащупывает дорогу, и спотыкается, и падает, и делает неверные шаги. А потом, когда вы уже готовы все бросить...

— Я знаю! — выдохнула мисс Баннинг. — Приходит день, такой же, как все прочие, и вы в десятый раз повторяете одно и то же — и *щелк!* — Она с торжествующим видом щелкнула пальцами в сторону доктора Шотта. — Он понял! *Ну, и что тут такого!* — говорит он вам. — *Это же ясно как божий день!*

— Для того-то мы все и нужны! — сказал доктор Шотт с тихой гордостью в голосе. — Для того-то мы и живем. Мелочь, не так ли?

— Мелочь, — согласился доктор Картер, — но это величайшее чудо на всем Божием свете! И таинственнейшее из чудес.

Джо Морган, похоже, не стал бы под этим подписываться обеими руками, однако последняя реплика доктора Картера была адресована именно ему. Загнанный в угол, Морган издал некий звук, с силой всосавши воздух левым уголком

рта, что должно было, видимо, символизировать священный и глубоко личный трепет перед названной выше тайной.

— Мне в таких случаях иногда приходит на ум образ человека, разводящего костер при помощи кремня и кресала, — спокойно сказал я, глядя на Джо Моргана в упор и зная, что вот теперь я его достал. — Он ударяет раз, другой, третий, но трут лежит под его рукой как лежал, холодный и мертвый. Но вот еще один удар, ничем не отличимый от прочих, и огонь занялся!

— Прекрасный образ, — сказал доктор Картер. — И сколько радости, когда увидишь вдруг в студенте эту *искру*! И в самом деле, лучшего слова не подобрать: *искру Божию*!

— И потом его уже не удержишь! — рассмеялся доктор Шотт, но так, как положено, наверное, смеяться, лицезрея благодеяние Божие. — Как лошадь, которая почует в конце пути запах стойла!

Прокатились благостные вздохи. Я мог уверенно почивать на лаврах. Джо Моргану удалось на пару минут вернуть разговор к моим предшествующим заслугам, но, по законам стилистики, наступил момент антиклимакса. У прочих членов комитета охота задавать вопросы сошла на нет, и доктор Шотт уже начал расписывать во всех подробностях систему оплаты в государственных колледжах Мэриленда, мою предположительную нагрузку, внеаудиторные обязанности и так далее.

— Ну что ж, мы скоро дадим вам знать о результатах собеседования, — сказал он в заключение и встал, чтобы пожать мне руку. — Может быть, даже завтра. — Я отправился вкруговую, собирать рукопожатья. — Проводить вас на сей раз к задней двери? — Он жизнерадостно изложил подробности моего вчерашнего отбытия.

— Нет, благодарю вас. Сегодня я припарковался у парадного подъезда.

— Прекрасно, прекрасно! — горячо обрадовался доктор Картер, я так и не понял — чему.

— Мне с вами по пути, — оказавшись вдруг со мною рядом, сказал Джо Морган. — Я живу буквально за углом.

Он проводил меня через дорожку к машине и даже постоял у переднего крыла, пока я не забрался внутрь и не хлопнул дверцей. Я завел мотор, но трогаться пока не стал: у будущего моего коллеги явно было что мне сказать.

— Ну, надеюсь, еще увидимся, Хорнер, — он улыбнулся и пожал мне руку через открытое окно.

— Конечно.

Мы расцепили руки, но Джо Морган так и остался стоять, опираясь на дверцу автомобиля, и лицо его сияло благодушием и приязнью. Он неплохо загорел в этих своих лагерях, и весь его вид говорил о раннем подъеме, о питательной диете и об иных разнообразных доблестях. Глаза его были чисты.

— Скажите, ведь вы нарочно надо мной издевались? — спросил он все так же весело. — Со всей этой чепухой насчет кремня и кресала?

Я тоже улыбнулся и пожал плечами: он застал меня врасплох, и я не знал, что сказать.

— Мне просто показалось, что это было к месту.

Джо Морган коротко рассмеялся.

— А мне все казалось, что вы вот-вот поскользнетесь на очередной лепешке, но вы, похоже, знаете, что делаете.

Настроение я ему, понятное дело, подпортил, но он не собирался предъявлять мне счет прямо здесь и сейчас.

— Что ж, заодно и посмотрим, чем дело кончится.

— Очень надеюсь, что место будет за вами, — сказал он, — если, конечно, вы этого на самом деле хотите.

Я дослал рычаг на задний ход и выжал сцепление.

— Ну, до скорого.

Но Джо Морган, похоже, кое-что еще не успел прояснить. На его лице, как сквозь стекло аквариума, было видно все происходящее внутри, до мельчайших подробностей, и даже когда машина покатилась понемногу назад, на дорожку, я отчетливо увидел знак вопроса, проступивший сквозь кожу на ясном этом лбу.

— Что вы скажете, если мы с Ренни пригласим вас к обеду — прежде чем вы вернетесь в Балтимор, независимо от того, получите вы работу или нет? Я так понимаю, вы уже сняли жилье где-то в городе.

— Ну, мне кажется, я еще побуду тут некоторое время, вне зависимости от результата. И повестка дня чиста.

— Замечательно. Как насчет сегодняшнего вечера?

— Да нет... пожалуй, нет. — Мне показалось, ответ был правильный.

— А завтра?

— Завтра, наверное, будет лучше.

Но было и что-то еще, помимо приглашения на обед:

— Знаете, может быть, не стоило вам ерничать насчет кремней и кресал просто так, из чистого хулиганства, а, как вам кажется? Я не вижу ничего особо глупого в том, чтобы работать со скаутами. Вы можете иронизировать надо мной или спорить, но так вот издеваться, только чтобы задеть — какой смысл? Это слишком просто.

Сей спич меня удивил: я немедля провел его по ведомству дурного тона, но, должен признать, мне стало стыдно, и в то же время я оценил изящество, с которым Морган, прежде чем хоть в чем-то меня упрекнуть, ввернул приглашение. Улыбался он все так же сердечно.

— Извините, если я вас обидел, — сказал я.

— Да какие, к черту, обиды! На самом деле меня не так уж и легко задеть, но какого черта, нам, может быть, придется вместе работать; уж лучше попробовать понять друг друга — хотя бы чуть-чуть. Ну, ждем вас завтра к обеду. Пока!

— Пока.

Он повернулся и пошел прямиком через лужайку и, в отсутствие студентов, показался мне еще выше ростом, чем был. Судя по всему, Джо Морган был из тех, кто, увидевши цель, шпарит к ней напрямик, собственным примером утверждая мысль, что дорожки следует прокладывать там, где ходят люди, вместо того чтобы ходить там, где проложены дорожки. Оно, может, и неплохо для историка, помнится, подумал я, но вот боюсь, что против предписательной грамматики ему не сдюжить.

Глава третья

Отказ от приглашения на обед неким таинственным способом погасил

Отказ от приглашения на обед неким таинственным способом погасил во мне манию, источник чистой радости, пережал на тонкой флейте моей души те самые ноты, драгоценные, редкие, которые на несколько минут вознесли меня на небеса.

Все началось с Лаокоона на каминной полке, с его немого стона. Форма его рта служила мне по утрам лучше всякого барометра, предсказывая формулу дня; и в среду после собеседования, когда я проснулся и обратил к нему вопрошающий взор, гримаса была откровенно вакхической! Вот оно! Я выскочил из постели в чем мать родила и поскорее, пока заклятие было в силе, завел патефон. Танец. Противу полчищ Моцарта я имел в своем распоряжении один-единственный рус-

ский танец, из «Ильи Муромца», ритмичный и искрящийся, живой и напряженный — ну наконец-то, Лаокоон!

Пыльный тополь раскалился добела; солнце шпарило шрапнелью в окна и заливало комнату бурлящим светом, а я плясал, подобный казаку разоблаченному, скакал и вертелся на месте. В кои-то веки я всей кожей чувствовал этот свет и — о сладкая мания — наслаждался им три минуты, не более, пока не позвонил телефон.

Я вырубил музыку, вне себя от ярости. Человек, которому дали покейфовать всего пару несчастных минут, а потом оборвали, имеет после этого право всю жизнь не отвечать на телефонные звонки.

— Алло?

— Алло, Джейкоб Хорнер? — Это была женщина, и я тут же остро почувствовал свою наготу.

— Да.

— Это Ренни Морган, жена Джо Моргана. Джо, кажется, уже пригласил вас к нам на обед сегодня вечером, не так ли? Я просто звоню, чтобы пригласить вас официально.

Я ничего ей не ответил.

— Просто после вашего собеседования мы, знаете ли, решили удостовериться, что вы придете именно в назначенный день.

Пауза.

— Джейкоб? Вы меня слышите?

— Да. Прошу прощения. — Я разглядывал свой барометр: вид у него был весьма удрученный. Батыево нашествие не пощадило нас обоих.

— Ну что, значит, договорились? В любое время после половины седьмого: в полседьмого мы кладем детей спать.

— Хм, видите ли, миссис Морган, мне кажется...

— *Ренни.* О'кей? Вообще-то меня зовут Рене́, но никто меня так не называет.

— ...мне кажется, я все-таки не смогу сегодня к вам прийти.

— Что?

— Нет-нет, точно не смогу. Спасибо, что пригласили.

— А почему? Вы уверены, что никак не получится?

Почему? Ах ты сука, ах ты скаутская хаусфрау, да у меня весь месяц должны были быть одни воскресенья, начиная с сегодняшнего праздника, а ты мне взяла и все испортила! Да плевать я хотел на твой обед!

— Я вроде как собирался съездить вечером в Балтимор, туда-сюда. Тут, знаете, дело одно подвернулось.

— А может, вы просто не хотите к нам зайти? Ну, скажите честно; мы же ничем друг другу не обязаны. — Это жены у них так разговаривают? — Чего вы боитесь — да плевать мы хотели, если имели вдруг несчастье вам не глянуться.

Пойманный flagrante delicto[1], я покраснел, а потом меня бросило в пот. Если женщина оседлает эту тварь по имени *честность* — да что же это получится? От меня ждали ответа: я слышал, как жена Джо Моргана дышит в мое обнаженное ухо.

Я осторожно опустил трубку на рычаг. Мало того: первые три шага в сторону я сделал на цыпочках, покуда не поймал себя на этом и, поймав, снова не залился краской.

Ну вот, волшебство разрушено, и я прекрасно знал, что слушать еще раз Глиэра с его «Ильей Муромцем» — только хуже будет. Он, Глиэр, как шампанское, добавишь его в «Коллинз»[2], и коктейль заиграет, но это же не водка; шутки там,

---

[1] На месте преступления (*лат.*).

[2] Коктейль из чего-нибудь крепкого плюс лимонный сок, сахар и лед.

ушли-пришли, с моими маниями так нельзя. А мне теперь не просто было жаль, что все пропало, мне теперь было плохо.

И обидно! Коли склад у вас маниакально-депрессивный, вас нетрудно будет утешить — если, конечно, мания у вас настоящая, без дураков; но что касается меня, я был человек умеренно-депрессивный: вроде колонки с одним динамиком, сплошь низы и никаких верхов. То есть низы мои были воистину низами, а вот верхи — ни то ни се, в среднем регистре. А потому, если меня посещала настоящая мания, я нянчил ее как ребенка, и горе тому, кто испортит мне праздник! Это с одной стороны. С другой, я не люблю, когда меня тычут носом в мое единожды солгавши, да еще женщины. Да, я не эталон правдивости, но разве в этом дело? Господи ты боже мой, Морганы, мир не *настолько* прост!

Пока я одевался, телефон опять принялся трезвонить, да так настойчиво, что я сразу понял: на том конце провода миссис Морган. Момент был самый пикантный (я как раз натягивал брюки), и я бы с удовольствием подставил этому Диогену в юбке для диалога свою голую задницу, да вот незадача, упустил момент. Ренни, девочка моя, сказал я сам себе, меня нет дома; будь довольна, что я не совершил распутных действий в отношении милого твоего голоска за то, что ты испортила мою детскую радость. Вешай трубку, гёрл-скаут: твоя добыча сделала от тебя ноги.

Тем же утром, чуть позже, я проехал тридцать миль, отделявшие Вайкомико от Оушн-Сити, чтобы поджарить мою меланхолию на солнышке и замариновать в океане. Но от тепла и света она, напротив, только расцвела. Пляж был занят мириадами человеческих существ, и мне, как выяснилось, они были решительно неприятны; в иное время они вполне могли показаться гротескными и даже милыми, вроде этой моей новой мебели, но день был явно неподходящий, и они меня просто раздражали. К тому же, может, просто оттого, что я приехал среди недели, на всем этом пляже не было ни единой девчонки, ради которой стоило бы нести обычную необходимую для съема чушь. Сплошной лесоповал: ноги, изуродованные после родов; вислые груди, дряблые животы, изношенные лица; крысиное гнездо мерзких каких-то детишек, в равной степени придурковатых и несносных. Трудно сыскать зрелище более отвратительное, чем пляжная публика, если ты сам не в соответствующем расположении духа.

Достигнув точки насыщения — а произошло это часов около трех дня, — я смыл с себя песок и направился к машине. Однако человек, приехавший подобно мне в Оушн-Сити в состоянии мрачной решимости, не сдастся, пока, хотя бы для проформы, не совершит положенной при съеме девочки последовательности телодвижений; это все равно что залезть на Пайкс-Пик и не плюнуть с верхушки вниз — экскурсия лишается всякого смысла. По дороге вдоль пляжа и впрямь прохаживались барышни, тройками и парочками, одетые по большей части в футболки с оттиснутыми на них названиями колледжей либо каких-то женских организаций. Я стал на них смотреть, но выходило у меня слишком мрачно, они в ответ смотрели свысока, и всяк считал другого неподходящей компанией. Я прошел три квартала, как раз до машины, и не встретил никого, кто заслуживал бы пули, а потому, как всякий повернувший к дому охотник, оказался перед выбором: либо перестать привередничать, либо возвращаться ни с чем.

Женщина лет сорока — неплохо сохранившаяся, но все ж таки лет сорока, — чья машина была припаркована прямо перед моей собственной, с безнадежностью во взоре дергала за ручку дверцы: я как раз подошел. Она была не толстая, с не слишком большой грудью, загорелая, и ничего экстраординарного в ней не наблюдалось. Я утратил вкус к дичи и прошел мимо.

— Прошу прощения, сэр, вы не могли бы мне помочь?

Я обернулся и уставился на нее. В свою классическую просьбу она вложила максимум очарования, но под моим взглядом сразу сникла.

— Я вам, наверно, покажусь ужасно глупой — я захлопнула в машине ключи.

— Я не умею взламывать замки.

— Да что вы, я вовсе не об этом! Я живу в мотеле, прямо за мостом. Вот я и подумала, может, вы меня подбросите, если вам, конечно, по дороге. У меня запасной ключ есть, в чемодане.

Стрельба по птицам, которые прилетают и садятся вам на кончик ствола, конечно, не самый правильный вид спорта, но покажите мне охотника, который хотя бы раз в жизни от этого удержался.

— Хорошо.

Шарма во всей этой ситуации было ноль целых хрен десятых, и пока я вез мисс Пегги Ранкин (звали ее так) через мост из Оушн-Сити на большую землю, я еще и несколько смешался вдобавок, позволив себе мысль, что она подобной суровой оценки, скорее всего, не заслуживает. Она оказалась весьма неглупа, и, будь я ее муж, я бы непременно гордился тем, что моя жена и в сорок лет сохранила стройность тела и живость духа. Но я не был ее мужем, а потому гордиться мне было нечем: она была сорокалетняя дамочка под съем, и нужно ой как много, чтобы таким определением тебя не придавило.

Мисс Ранкин трещала без умолку всю дорогу до мотеля, а я честно не слышал ни слова. Что для меня необычно, ибо, хоть я и восхищался всегда способностью уходить в себя и не возвращаться, я, как правило, слишком сильно завязан на всем, что меня окружает, чтобы у меня у самого такое получалось. Очко не в пользу мисс Ранкин.

— Вот здесь, — сказала она наконец, тыча пальчиком не то в «Прибрежный», не то в «Приморский» или еще какой-то в том же духе мотель у обочины дороги. Я свернул на подъездную дорожку и припарковался. — Так *мило* с вашей стороны, что вы и в самом деле согласились мне помочь. Большое вам спасибо. — И она выпорхнула из машины.

— Может, вас и обратно подбросить? — спросил я, не слишком настойчиво.

— Правда, вы не шутите? — Ей это понравилось, но ни удивления, ни особого чувства благодарности мой жест явно не вызвал.

— А не найдется у вас чего-нибудь выпить, попрохладнее, а, Пегги? А то у меня что-то совсем в горле пересохло. — Это была та самая крайняя точка, до которой я был готов в данный момент дойти в этом унылом сюжете: если она не предложит мне войти, я тут же дам задний ход и уеду в Вайкомико, так я решил.

— Ну конечно, давайте заходите быстрей, — она сделала приглашающий жест, ничуть, опять же, не смутившись. — Холодильника в комнате нет, но тут в двух шагах стоит автомат с содовой, а у меня есть виски. А нет у вас случайно с собой двух больших бутылок имбирного эля? И кучи льда вдобавок? Сделали бы себе по «хайболлу».

Я сделал нам обоим по «хайболлу», и мы стали пить их у нее в комнате: она — свернувшись калачиком на кровати, я — скрючившись на единственном стуле. Моя тоска была со мной, но переносить ее стало как-то легче; в особенности когда мы обнаружили, что можем говорить или не говорить вообще и не чувствовать себя при этом скованно. В конце концов наступил момент, как я того и ожидал, когда мисс Ранкин спросила меня, чем же я, собственно, зарабатываю на жизнь. Не то чтобы в интрижках подобного рода я придерживался незыблемых правил честности, я вообще с трудом могу себе представить, как бы я стал искренне отвечать на такой вот заезженный вопрос; но «я как раз устраиваюсь в Государственный учительский колледж Вайкомико, преподавать грамматику» и есть ответ, который обычно

в сходного рода обстоятельствах невольно приходит в голову, и я, сам того не заметив, сказал ей правду.

— Да что вы говорите! — Пегги была искренне удивлена и разом обрадована. — А я ведь закончила именно УКВ. Боже, как же это было давно, даже вспомнить страшно! А сейчас преподаю английский, там же, в Вайкомико, в средней школе. Забавное совпадение, правда? Встретились два учителя английского языка!

Я согласился, что совпадение и в самом деле забавное, но больше всего мне хотелось допить «хайболл» и перейти к делу. Причем действовать надо было быстро, пока мы окончательно не отклонились от курса. В моем бумажном стаканчике осталось жидкости не больше чем на полдюйма: я опрокинул ее в рот, уронил стаканчик в корзину для мусора, подошел к кровати, на которой, опираясь на локоть, полулежал мой новоявленный коллега, — и обнял мисс Ранкин с некоторым даже пылом. Она тут же открыла рот и протолкнула язык между моими зубами. Глаза у нас у обоих были открыты, и я был рад истолковать сей факт символически. *И пусть не будет ни ужимок, ни прыжков промеж учителей английского,* — сказал я себе и без лишней суеты принялся расстегивать молнию на ее купальном костюме.

Мисс Ранкин как приморозило: она зажмурила глаза и сжала мне плечи, но противиться акту агрессии не стала. Молния уже разошлась чуть ниже талии, и я получил доступ к узкой полосе незагорелой кожи, но дальше без ее помощи было не обойтись.

— Пегги, давай мы снимем с тебя купальник, — предложил я.

Это ее задело.

— Ты не слишком спешишь, а, Джейк?

— Послушай, Пег, мы уже не настолько молоды, чтобы прикидываться глупее, чем мы есть на самом деле.

Она чем-то булькнула во рту и, все еще держа меня за плечи, уперлась лбом мне в грудь.

— Значит, ты считаешь, что я уже слишком старая и не заслуживаю, чтобы ради меня делали глупости? — всхлипнула она. — Считаешь, что женщина в моем возрасте не может позволить себе быть скромной?

Слезы. Нет, сегодня все положительно сговорились тянуть из меня правду, только правду и ничего, кроме правды.

— Зачем ты делаешь себе больно? — спросил я поверх ее волос у стоявшей на ночном столике бутылки виски.

— Это ты мне делаешь больно, — зарыдала мисс Ранкин, глядя мне прямо в глаза. — Ты просто из штанов выпрыгиваешь, чтобы дать мне понять, какое ты мне сделал одолжение, что подцепил между делом, но вот на то, чтобы хоть чуть-чуть побыть ласковым, твоих щедрот уже не хватает! — Она бросилась вниз лицом на подушку, правда не слишком резко, и закопалась в ней как могла. — Тебе же абсолютно плевать, умная я, или глупая, или какая там еще, ведь так? А я, может быть, даже интереснее тебя, потому что я немного старше! — Сей последний перл самобичевания, от которого у нее у самой на секунду перехватило дыхание, настолько ее разозлил, что она снова села и впилась в меня глазами.

— Мне очень жаль, — осторожно сказал я. И подумал, что, будь она даже талантлива, как, скажем, талантлива Беатрис Лилли, ради того чтобы лицезреть эдакое вот представление, клеить ее все равно было бы не обязательно: лучше пойти купить билет и посмотреть то же самое, но в театре.

— Тебе жаль, что потратил на меня время, ты это имеешь в виду! — возопила Пегги. — Одно то, что я вынуждена теперь защищаться, это низко с твоей стороны, низко!

На подушку. И тут же назад, к прямосидению.

— Да ты понимаешь вообще, что ты со мной сейчас сделал? Я сегодня последний день в Оушн-Сити. И за две недели ни одна живая душа со мной не заговорила, да что там, даже не посмотрела в мою сторону, кроме мерзкого какого-то старикашки. *Ни одна собака.* Женщины в моем возрасте выглядят развалинами, но я-то не выгляжу развалиной: я просто уже не ребенок, вот и все. И *за душой*, черт побери, у меня тоже кое-что есть! И вот в последний день появляешься ты и подбираешь меня, как ненужную вещь, просто от скуки, и обращаешься со мной как с последней шлюхой!

И она, конечно же, была права.

— Я мерзавец, — с готовностью согласился я и встал, чтобы уйти. Я мог бы добавить кое-какие детали к картине, нарисованной мисс Ранкин, но, надо отдать ей должное, на мир она смотрела трезво. И ошиблась она, по большому счету, только в самом начале, когда в ней шевельнулось чувство протеста и она сразу облекла его в слова. Игра, конечно, была безнадежно испорчена: я окончательно утвердил мисс Ранкин на роль Сорокалетней Дамочки Под Съем, и ей приходилось теперь, пусть с трудом, при моем-то дурацком настроении, но соответствовать; и мне дела не было до того непростого (и, вне всякого сомнения, интересного, ежели приглядеться) человеческого существа, каковым она была вне этой роли. Что ей следовало бы сделать, как мне казалось, учитывая, что хотели мы с ней друг от друга одного и того же, так это назначить меня на роль, которая тешила бы ее самолюбие, — ну, скажем, Свежего Но Туповатого Молодого Человека Чье Тело Ты Используешь Для Собственного Удовольствия Не Принимая Его Впрочем Всерьез, — и вот тогда мы могли бы взяться за дело по-настоящему, и никому бы не было больно. Чувство, которое я испытывал, при всей понятной разнице масштабов, было тем же самым чувством, которого трудно избежать, когда оператор на бензоколонке или водитель такси пускается рассказывать вам всю как есть свою жизнь; как правило и в особенности именно тогда, когда вы спешите или сильно не в духе, и хочется вам только одного: чтобы он был Самым Исполнительным Оператором На Бензоколонке или Самым Шустрым Водителем Такси. Вы, в собственных своих интересах, наделяете их на время новыми сущностями, вроде как беллетрист делает из человека Прекрасного Юного Поэта или Ревнивого Старого Мужа; и хотя вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что ни единая душа за всю историю человечества не могла быть *только* Исполнительным Оператором На Бензоколонке или Прекрасным Юным Поэтом, вы тем не менее готовы игнорировать все остальные, сколь угодно привлекательные, но не относящиеся к делу черты вашего персонажа — вы просто *обязаны* их игнорировать, если хотите сладить в конце концов с сюжетом или вовремя добраться в нужное вам место. Об этом, впрочем, позже, когда у нас речь пойдет о Мифотерапии. Сейчас довольно будет сказать: каждый из нас — своего рода завтруппой, и это едва ли не основная наша работа, и мудр тот, кто знает, что, распределяя роли, он искажает личности актеров и что делает он это совершенно произвольно; но еще мудрее тот, кто понимает: произвольность эта, вероятнее всего, неизбежна и даже по-своему необходима, если ты и вправду хочешь чего-то достичь.

— Поищи-ка ты лучше ключи, — сказал я. — Я буду ждать тебя в машине.

— Нет! *Джейк!* — Мисс Пегги Ранкин соскочила с кровати. Меня поймали в самых дверях и обняли сзади, под мышками. — О господи, только не уходи вот так, сразу! — Истерика. — Прости, я рассердила тебя, да? — Она тянула меня из всех сил обратно в комнату.

— Ну, брось, не надо. Успокойся, пожалуйста.

Красота сорокалетней дамочки под съем, если она вообще имеет место быть, есть вещь сугубо хрупкая, а потому истерика в сочетании с потоками слез не мог-

ла не сказаться на личике Пегги самым разрушительным образом; на личике, которое, кстати, в более счастливые минуты было продолговатым, загорелым, с ровной чистой кожей и вообще не лишенным привлекательности.

— Ты ведь останешься? Не обращай внимания на все, что я тебе тут наговорила!

— Я не знаю, что делать, — сказал я как мог искренне, пытаясь совладать с последствиями взрыва. — Тебя ударило куда сильнее, чем меня. И винить тут некого. Я просто боюсь, что окончательно все испорчу, если уже не испортил.

Но Пегги вцепилась насмерть.

— Зачем ты меня унижаешь! Ради бога, не заставляй меня упрашивать!

Теперь она уже в любом случае оставалась в проигрыше. Мы вернулись в койку: то, что за этим последовало, было совершенно неудобоваримо, для меня во всяком случае, да и Пегги вряд ли сохранила о наших с ней объятиях приятные воспоминания, независимо от того, получила она удовольствие в процессе или нет. Все было как-то не по-людски: она ушла с головой в нарочитое этакое желание услужить — унижаться так унижаться, — а я оказался вовсе не на то настроен. Она едва наполовину отошла от истерики и выказывала явственную склонность к мазохизму: пыталась вылепить гранд-опера́ из скромного сельского кантус фирмус, и если в том не преуспела, винить надо меня, ибо она была самозабвенна. В другое время мне бы, глядишь, такое даже и понравилось — нужно только соответствующее настроение и желание потакать сладострастному этому самоуничижению, — но день сей явно был не мой день. Сей день имел дурное начало, продолжение было скучным, и вот теперь настала очередь развязки, нелепой, если и не откровенно тошнотворной: мне всегда было несколько не по себе с женщинами, которые слишком всерьез относятся к своим сексуальным порывам, а мисс Пегги Ранкин явно была не из тех, кого с легким сердцем оставляют лежать на кровати, в конвульсиях и стонах, и уходят, напевая себе под нос и застегивая на ходу ширинку.

Хотя именно так я от нее и ушел, в пять часов пополудни. В четыре сорок пять от нее, как и следовало ожидать, начало откровенно искрить, она меня ненавидела, я уж не знаю, понарошку (тоже ведь возбуждает) или всерьез, потому что глаз она не открывала и лицом отвернулась к стене. Она принялась повторять одну и ту же фразу, глубоким хрипловатым голосом: «Будь прокляты твои глаза, будь прокляты твои глаза, будь прокляты твои глаза...», в ритм совершаемому между тем действу, и я был не настолько удручен, чтобы мне это не показалось забавным. Но я устал от драматических эффектов, искренних или нет, забавных или нет, и когда процесс достиг естественного dénouement[1], я ушел со вздохом облегчения, совершенно забыв о ключах от машины. У этой женщины был талант, но никакой дисциплины. И я был уверен, что мы оба с превеликим удовольствием расстались на всю оставшуюся жизнь.

Я поел в придорожной забегаловке на выезде из Вайкомико и наконец к половине седьмого добрался до дому. Чувствовал я себя отвратительно. Я всегда был человеком достаточно цельным, но вот запас прочности у меня небольшой. И мне уже было не по себе из-за этой самой Пегги Ранкин — и даже обидно, что она, в ее-то годы, все еще не научилась оборонять свои позиции и по возможности использовать не самые приятные особенности возраста себе не во вред, — а еще я принялся сочувствовать ее слабости. Мне, по крайней мере теоретически, до жути симпатична именно эта разновидность человеческой слабости — когда человек не в состоянии вести себя так, чтобы соответствовать своим же собственным стандартам, или наоборот, так выдрессировать свои стандарты, до последнего закуточка души, чтобы они подверстывались под его поведение, — хотя на практике меня

[1] Разрешение, развязка (*франц.*).

именно это порой и задевает. Все, что случилось с мисс Ранкин, могло бы стать настоящим искусством — угодливость, истерика и масса другого прочего, о чем для посторонних глаз я писать не собираюсь, — если бы только она была внутри себя цельной; да вот боюсь, она еще сто лет себе не простит, что унижалась всерьез, а не в шутку, и в этом ее главная ошибка, а моя — в том, что надо было уйти сразу, как только собрался уходить, и бог бы с ними, с истериками. Если бы я тогда ушел, и сам бы не переживал теперь, и дал бы возможность мисс Ранкин восстановить утраченное равновесие, она бы стала презирать меня, а не нас обоих. А так я поступил разом и противу рыцарского чувства, к коему я зачастую склонен, хотя и *не верю* в него, и против привычного моего обыкновения покидать любое представление, сколь бы убогим или душераздирающим оно ни было, сразу же по окончании первого акта.

Но есть определенный промежуток времени, по истечении которого я уже не в состоянии активно не любить себя, и когда сей предел дал о себе знать — что-то около пятнадцати минут восьмого, — я просто-напросто отправился спать. От наклонности к самоубийству меня спасала только глубина и ограниченная продолжительность черных чувств: по сути дела, эта моя привычка ложиться спать, как только жить становится невмоготу, эта способность прервать день в любой точке тоже была разновидностью самоубийства и цели своей достигала не менее успешно. Мои настроения были маленькие такие человечки, и когда я их убивал, они не воскресали.

Звонок в парадное разбудил меня в девять, и пока я встал, пока завернулся в халат, Джо Морган и его жена уже стояли у моей двери. Я удивился, но с радостью пригласил их войти, потому что понял, едва успев раскрыть глаза, что сон переменил палитру моих чувств: я ощущал себя совсем другим человеком.

Ренни Морган, которой меня тут же и представили, была весьма далека от моего идеала красивой женщины, ни дать ни взять жена привратника. Широкая кость, блондинка, сложение потяжелее моего, сильная на вид и вообще какая-то слегка избыточная — тот самый тип женщин, о котором (по крайней мере, об *этой* женщине точно) инстинктивно начинаешь думать в исключительно сексуальной терминологии. Хотя, конечно, нужен был еще и я, чтобы оценивать ее в сексуальной терминологии: мое послеполуденное приключение не могло не повлиять как на суть оценки, так и на вердикт.

— Вы как насчет чего-нибудь пожевать? — спросил я у нее, и их реакция меня обрадовала: они, судя по всему, были в прекрасном расположении духа.

— Да нет, спасибо, — улыбнулся Джо, — мы уже столько съели, что хватило бы на всех троих.

— Увидели у дороги вашу машину, — сказала Ренни, — и решили узнать, не изменились ли ваши планы насчет поездки в Балтимор.

— От вас, от Морганов, даже и в собственной норе не укрыться! — парировал я, как сумел.

Поскольку все мы были, кажется, настроены дружески и поскольку Джо и Ренни достало такта не делать cause célèbre из fait accompli[1], если можно так выразиться, я принес бутылки с элем из ящика, который у меня стоял на льду внизу, в кухне, и пересказал им в лицах весь мой день, опустивши разве что самые неудобослышимые детали (да и те скорее из смущения, нежели из желания пощадить чувства Ренни, которая, как мне показалось, была в достаточной степени свой парень).

Мы прекрасно поладили. Ренни Морган была оживлена, но, судя по всему, чув-

[1] Громкого дела из свершившегося факта (*франц.*).

ствовала себя не совсем уверенно; некоторые из ее ужимок — вроде привычки зажмуривать глаза и качать из стороны в сторону головой, если надо было продемонстрировать самый что ни на есть безудержный восторг, или весьма экзальтированная жестикуляция, когда она говорила, — были откровенно заимствованы у Джо, как, собственно, и сам строй ее мысли и манера выражаться. Было понятно, что, немало преуспев в желании во всем уподобиться мужу, она тем не менее ясно сознавала до сей поры существовавшую меж ними разницу. Если Джо случалось взять под сомнение высказанную ею мысль, Ренни дралась до конца, зная, что именно этого он от нее и ждет, но была в ее манере судорожная некая готовность уступить, как у школьника, боксирующего на уроке в спарринге с учителем физкультуры. Данной метафорой, если вы добавите к ней чуть-чуть от Пигмалиона и Галатеи, вполне исчерпывается все то, что я успел понять из их отношений в тот вечер, и хотя я ничего не имею против — в конце концов, Галатея *действительно* была замечательная женщина, а часть напористых юных бойцов и впрямь дорастает до Джина Танни, — но само присутствие двух этих равно волевых людей действовало ошеломляюще: я несколько раз ловил себя на том, что качаю на их манер головой в ответ на какую-нибудь особенно удачную реплику или, желая особо подчеркнуть сказанное, начинаю размахивать руками.

Что касается Джо, то после первого же часа общения стало ясно, что голова у него просто блестящая, одна из самых светлых голов, которые мне доводилось встречать. Он говорил, как правило, негромко и не торопясь, с легким южным акцентом, но было такое чувство, что медлительность у него не от природы; что это результат самоконтроля, желания держать в узде неуемную внутреннюю энергию. И только если в разговоре возникал особенный какой-то поворот, который на самом деле задевал его за живое, его речь становилась быстрее и громче — и он то ерошил яростным жестом волосы на голове, то тычком отправлял на место сползшие по переносице очки, а руки начинали говорить сами по себе, и достаточно внятно. Я выяснил, что и бакалавра, и магистра он получил в Колумбийском университете — первую степень по литературе, вторую по философии — и что докторская у него уже на мази, по истории, в Джонсе Хопкинсе, и осталось только представить сам текст диссертации. Вайкомико был родиной Ренни, а УКВ — ее альма матер: Морганы решили обосноваться здесь, чтобы Джо без помех и без спешки мог закончить диссертацию. Долгий, в целый вечер длиной, разговор с ним будоражил, стимулировал, возбуждал — я был под сильным впечатлением от его энергии, от его ума, сильного и емкого, от его свободной и вместе сдержанной манеры — и, как все будоражащее, в конце концов выматывал.

Мы глянулись друг другу с первого же вечера: было ясно, что пройдет совсем немного времени, если, конечно, я останусь в Вайкомико, и мы станем друзьями. Мне пришлось полностью пересмотреть мою первую, с налета, оценку; оказалось, что все, чем он занимался, как и некоторые его личные особенности, по которым я с такою легкостью тогда прошелся, были по большей части плодами тщательно обдуманных и неординарных по сути решений. Я понял, что Джо Морган по своей воле никогда не сделает ни шага, не скажет ни единой фразы, которых не обдумает заранее, тщательно и не торопясь, а потому ничуть не потеряет в силе и в уважении к себе в том случае, если его решение окажется неудачным. Он никогда не позволит себе оказаться в положении мисс Ранкин, к примеру, или в моем собственном положении, когда я в понедельник днем нарезáл круги мимо колледжа. Такого рода нерешительность была, судя по всему, ему просто-напросто незнакома: он твердо стоял на ногах; он действовал быстро, в случае необходимости мог в любой момент объяснить свои действия, а извинения за ложный шаг счел бы откровенным излишеством. Более того, все мои четыре самые несчастливые особенности —

застенчивость, боязнь попасть в неловкое положение, слабость к мелким разным чепуховинам и едва ли не в абсолют возведенная непоследовательность — также были ему чужды, насколько я мог судить. С другой стороны, по крайней мере в присутствии третьих лиц, он был склонен к этакому жеманному благонравию (моя история ему откровенно не понравилась), и, невзирая на то, что относительно легкая его возбудимость была лишена естественности и теплоты (что само по себе странно для скаутского вожатого), он был человеком, которого крайне сложно было подвергнуть критике. И, наконец, хорошо это или плохо, он был абсолютно лишен умения врать и всей той многоликой изобретательности, которая только и держится на искусстве пусть даже самой маленькой, но лжи — хотя назвать его наивным было никак невозможно; и его не интересовала карьера, в какой бы то ни было форме.

И все это выматывало, невероятно выматывало с непривычки. Мы проболтали — и не то чтобы о пустяках — до половины второго ночи (я даже и не пытался вспомнить, о чем именно), и, когда Морганы отчалили, я почувствовал, что у меня был самый удачный вечер за последние несколько месяцев; что в лице Джо я приобрел невероятно интересное новое знакомство; и что я ну никак не горю желанием это мое новое невероятно интересное знакомство лицезреть в течение ближайшей — по меньшей мере — недели.

Уже в дверях Ренни вдруг встрепенулась:

— Господи, Джейк, мы же совсем забыли поздравить вас с новой работой. (Такого рода забывчивость, как я выяснил позже, была вполне в духе Морганов.)

— Вы не слишком опережаете события, а?

— В смысле? — спросил меня Джо. — А что, доктор Шотт до вас еще не дозвонился?

— Нет.

— В общем, место за вами. Комитет собирался сегодня утром, и все уже решено. Шотт, вероятно, звонил, когда вы были в Оушн-Сити или когда спали вечером.

Они оба поздравили меня, весьма неловко, потому как выразить симпатию, дружеские чувства или даже просто поздравить с чем-нибудь человека — это было не по их части. На душе у меня было слишком легко, чтобы ложиться спать, а потому я стал читать «Всемирный альманах» и завел на патефоне Моцартов Musikalischer Spaß. Я уже начинал понемногу чувствовать себя в этой комнате как дома; Морганы мне понравились; и я все еще пребывал в необычайно возбужденном состоянии — из-за послеполуденного своего приключения и из-за умностей Джо. Но я, должно быть, от этого всего и устал до крайности, плюс еще день на пляже, потому что проснулся я — рывком — в полседьмого утра, не заметив даже, как уснул здоровым крепким сном. «Всемирный альманах» лежал у меня на коленях, открытый на странице 96: «Протяженность авиалиний между крупнейшими городами мира»; Musikalischer Spaß играл, наверное, уже в пятидесятый раз; а солнце, как раз показавшееся в прогале меж двух кирпичных темных зданий через улицу напротив, выхватило ослепительно ярким лучом — мимо меня, по-над лежащим на коленях «Альманахом» — белую гипсовую рожу Лаокоона, на коей ясно читалось: мол, я здесь ни при чем.

Глава четвертая

Я поднялся, расправив затекшие члены

Я поднялся, расправив затекшие члены, побрился, переоделся и вышел в город позавтракать. Из-за того ли, что вчерашний день был перенасыщен, на мой вкус, разного рода событиями, или просто из-за того, что я мало спал (должен заметить,

что причины меня не слишком интересуют), но голова у меня была совершенно пустая. Всю дорогу до ресторанчика, все то время, пока я ел и пока шел обратно, было такое впечатление, что никакого Джейкоба Хорнера на сегодняшний день не обещается. Позавтракав, я вернулся к себе, сел в кресло-качалку и качался, качался там, плавая на воздусях и ни о чем не думая.

Однажды я видел сон, в котором мне почему-то было очень важно узнать прогноз погоды на завтра. Я перерыл все газеты, но на обычных местах ничего не обнаружил. Я включил радио, но дикторы в новостях даже и не упоминали о погоде. Я набрал нужный номер по телефону (действие происходило в Балтиморе), но тамошний записанный на пленку голос, пересказавший мне все, что касалось сегодняшней погоды, никакого прогноза на завтра тоже не дал. В конце концов я позвонил в бюро прогнозов, но время было позднее и там никто не брал трубку. Я откуда-то знал номер главного метеоролога и позвонил ему прямо домой. Я долго-долго слушал гудки, потом он наконец подошел к телефону; мне сразу показалось, что голос у него какой-то странный.

— В чем дело? — спросил он.

— Я хочу знать, какая у нас на завтра ожидается погода, — как можно убедительнее проговорил я. — Это очень, очень важно.

— И нечего на меня давить, — ответил мне метеоролог. — Нечего на меня давить. А что вас, собственно, навело на подозрения?

— Уверяю вас, сэр, я просто хочу знать, какая завтра будет погода. И не вижу в своем вопросе ничего особо подозрительного.

— Не будет завтра никакой погоды.

— Что?

— Что слышали. Не будет завтра никакой погоды. Все наши приборы говорят одно и то же. Никакой погоды.

— Но так же не бывает!

— Как хотите, так и понимайте, я свое слово сказал, — погодоуправец рассердился уже не на шутку. — Не будет погоды, и все тут. И оставьте меня в покое, я спать хочу.

Сон на этом кончился, и я проснулся очень расстроенный. А рассказал я этот сон, чтобы подчеркнуть различие между настроениями и погодой, в том смысле, в каком их обычно сравнивают: день без погоды попросту немыслим, в то время как у меня, по крайней мере изредка, случались дни совершенно безо всякого настроения. В такие дни Джейкоб Хорнер переставал существовать, если не брать в расчет бессмысленного, чисто метаболического существования — поскольку никакой выраженной личности я из себя не представлял. Подобно тем микроскопическим существам, которых биологи вынуждены подкрашивать, чтобы вообще хоть как-то увидеть, меня надлежало сперва подкрасить тем или иным настроением, чтоб получить на выходе более или менее узнаваемую личность. Тот факт, что все мои разрозненные, сменяющие друг друга «я» связаны промеж собой двумя ненадежными нитями — телесностью и памятью; тот факт, что в западных языках само слово «изменение» предполагает нечто, с чем это изменение происходит; тот факт, что пусть даже некий одноклеточный биологический вид невидим без красителя, сам краситель не является биологическим видом, — я был в курсе всех этих ценных соображений, но они меня абсолютно не интересовали.

В мои внепогодные дни тело мое покоилось в кресле-качалке и качалось, и качалось, и качалось, а душа была пуста, почти как межзвездное пространство. Таков был день после визита Морганов: я сидел и раскачивался в кресле с половины девятого утра часов, наверное, до двух пополудни. Если я вообще смотрел в то утро на Лаокоона, я о том не помню. Но где-то около двух зазвонил телефон и вызвал из

небытия Джейкоба Хорнера, каковой Джейкоб Хорнер выскочил из кресла и взял трубку.

— Алло?

— Джейкоб? Это Ренни Морган. Вы не пообедаете с нами сегодня вечером?

— *Почему*, черт подери? — Этот самый Джейкоб Хорнер был весьма нервный тип.

— Что значит почему?

— То и значит. Почему, объясните мне на милость, вы, Морганы, из кожи вон лезете, чтобы накормить меня обедом?

— Вы что, сердитесь?

— Нет, я не сержусь. Я просто хочу знать, почему вы лезете вон из кожи, чтобы накормить меня обедом.

— А вы не хотите к нам приходить?

— Я этого не сказал. Почему вы лезете вон из кожи, чтобы накормить меня обедом? Вот и все, о чем я вас спросил.

Пауза. Ренни всякий вопрос понимала буквально; ответить абы что, просто чтобы замять ситуацию, ей бы и в голову не пришло — она всерьез начала искать причины. Твоя школа, Джо, подумал я. Любой другой на ее месте ответил бы вопросом на вопрос, эдак язвительно: «А почему вообще люди приглашают друг друга на обед?» — и тем обрядил незнание в костюм очевидности. Помолчав с минуту, она ответила, очень осторожно, как если бы проверяла по ходу свой ответ на слух.

— Ну, я думаю, потому, что Джо всерьез решил, что хочет узнать вас получше. Ему очень понравился вчерашний разговор.

— А вам — нет? — я прервал ее из чистого любопытства. Я не видел веских причин, по которым разговор должен был ей так уж понравиться, поскольку говорили мы исключительно о вещах отвлеченных и участие в нем Ренни, хотя и подразумевалось само собой, носило характер несколько ограниченный — в первую очередь поразившим меня молчаливым, но очень внимательным контролем со стороны мужа. Я вовсе не хочу сказать, что в интересе Ренни к разговору было что-то неискреннее, хотя она и была до жути *естественной*, или что в манере Джо бдеть за ее умозаключениями было нечто от поведения мужа, стесняющегося собственной жены; он был похож на классного руководителя, который слушает ответ главного своего любимчика, а когда ставил ее мнение под вопрос, то делалось это на самый что ни на есть безличный, мягкий и никоим образом не педантический лад. Джо, он, знаете ли, не был педант.

— Да нет, мне, пожалуй, тоже. А вы считаете, что между визитами должен соблюдаться какой-то особенный интервал, а, Джейкоб?

Я был удивлен.

— А как *вам* кажется?

Снова короткая пауза, потом ответ, на полном серьезе.

— Мне кажется, для этого нет никаких оснований, если только один из нас не испытывает чувства, что ему еще какое-то время не хочется видеть другого. Я думаю, иногда такое случается. Вы чувствуете что-то похожее, Джейк?

— Дайте-ка мне подумать, — сказал я рассудительно и тоже немного помолчал. — Мне кажется, вы абсолютно правы, когда ставите под вопрос валидность социальных условностей, вроде этих самых промежутков времени между визитами, поскольку нельзя не признать одного непреложного факта, а именно: все они в конечном счете не имеют никакого рационального обоснования. Но из этого не следует, что если некая вещь не имеет рационального обоснования, то она лишена всякой ценности. И нужно иметь в виду, что *отказ* от условностей, даже самых идиотских, всегда заключает в себе некий риск — вы можете вдруг оказаться во

власти беспричинного чувства вины, просто потому, что условности склонны *оставаться* условностями. Возьмем, к примеру, привычку пить пиво за завтраком, или ездить ночью на красный свет, или совершать адюльтер с одобрения вашего собственного мужа, или практиковать эвтаназию...

— Вы смеетесь надо мной? — спокойно спросила Ренни, как если бы ее интересовала исключительно информативная часть ответа.

— Как вы догадались?

— Знаете, мне кажется, что в большинстве случаев один человек высмеивает другого потому, что ощущает неудобство от несовпадения взглядов и не знает при этом, как взгляды этого другого можно опровергнуть. Он чувствует, что *должен* знать, но не знает, и вместо того чтобы признаться в этом самому себе, вникнуть в проблему и найти убедительные возражения, просто смеется над аргументами противной стороны. Это слишком легко — смеяться над аргументами. И — я так чувствую — к вам это в немалой степени относится, Джейк.

— Ага. Вот и Джо говорил то же самое.

— Вот теперь вы *точно* надо мной смеетесь, правда?

Я был полон решимости не позволить миссис Ренни Морган еще раз поставить меня в дурацкое положение. Это было и впрямь несложно.

— Послушайте, я буду сегодня у вас и съем этот ваш обед. Я приеду в шесть часов, после того как вы уложите детей спать, я ничего не перепутал?

— Но ни я, ни Джо — мы не хотим, чтобы вы приезжали, если вам самому не хочется, Джейк. Вы должны...

— Погодите минутку. А *почему* вы не хотите, чтобы я приезжал, если мне этого делать не хочется?

— Что?

— Я спросил, почему вы не хотите, чтобы я приезжал, если мне этого делать не хочется. Видите ли, единственным вашим основанием для отказа от обычая выжидать должный промежуток времени между визитами была бы следующая позиция: социальные условности, может, и необходимы для поддержания стабильности на уровне тех или иных групп, но не являют собой необходимости абсолютной, и в особых ситуациях — если они препятствуют достижению поставленных вами целей — вы можете не принимать их в расчет. Другими словами, вы же собираетесь заполучить меня сегодня к обеду не ради социальной стабильности, а просто потому, что мы все вроде как этого хотим. То есть социальная стабильность вас в данном случае не интересует. Затем предположим, что вашей целью является еще один разговор и у вас есть все основания предполагать, что я, буде все равно окажусь у вас, приму в нем участие, вне зависимости от того, хотел я к вам ехать или нет — а что, большинство гостей так и делают, — и в таком случае вас никак не должно интересовать, хочется мне к вам ехать или нет, поскольку ваша цель достигается в любом из вариантов.

— Вы опять надо мной смеетесь.

— Ну уж нет, так просто вам от меня не ускользнуть. Дело не в том, смеюсь я над вами или нет. Вы уходите от вопроса.

Тишина.

— В общем, так: я приезжаю на обед к шести часам, хочу я того или нет, и если к этому времени у вас не будет готов ответ на мой последний довод, я все скажу Джо.

— Дети ложатся в половине седьмого, — сказала Ренни с едва заметною ноткой обиды в голосе и повесила трубку. Я отправился обратно в кресло и качался еще полных сорок пять минут. Время от времени я улыбался, сам не знаю чему — никакого конкретного чувства эти улыбки не выражали. Я просто несколько раз себя

на этом ловил, вроде как в тех случаях, когда, прогуливаясь в одиночестве, я часто ловил себя на том, что повторяю рассудительнейшим тоном и не соблюдая при этом никакого ритма: *Пепси-кола в точку бьет; двенадцать унций; вам везет,* — сопровождая движение губ наморщиванием лба, застенчивым эдаким подергиванием уголка рта и, время от времени, быстрым движением правой руки. Прохожие часто принимали меня за человека, с головой ушедшего в решение серьезнейших проблем, и порой, когда я оглядывался на кого-нибудь из них, прошедших мимо, я и его ловил на вороватом быстром пассе правой рукой — он пробовал жест на вкус.

В пятнадцать минут пятого позвонил доктор Шотт и подтвердил мое зачисление в штат Государственного учительского колледжа Вайкомико на должность преподавателя грамматики и основ композиции с начальным жалованьем 3200 долларов в год.

— Мы, знаете ли, — сказал он, — не платим столько, сколько платят в больших университетах! Просто не можем себе этого позволить! Но это не означает, что мы берем на работу кого угодно! У нас тут, честно говоря, нечто вроде закрытого клуба, и мы приняли вас на работу, потому что — нам кажется — вы разделяете наши чувства насчет важности нашего труда!

Я заверил его в том, что да, и в самом деле разделяю, а он меня в том, что он во мне и не сомневался. Я был не в большом восторге от необходимости преподавать еще и основы композиции, то бишь сочинения — в мои планы входила одна лишь предписательная грамматика, — но Доктор велел мне найти работу, и я решил соглашаться на все.

К дому Морганов я подъехал в половине шестого, безо всякой видимой на то причины. День все-таки обрел свою погоду, я был покладист и тих. На лужайке перед домом Джо и Ренни лениво перебрасывались футбольным мячом, хотя, по правде говоря, было жарковато. Увидев меня, они не выказали особого удивления, — наоборот, даже обрадовались и пригласили присоединиться.

— Да нет, спасибо, — сказал я и пошел туда, где оба их сына, одному было три, другому четыре, бросали свою собственную маленькую футбольную дыню с соответствующим возрасту умением. Я сел на травку и стал на всех на них смотреть.

— Если вам показалось, что вы меня задели сегодня по телефону, не обращайте внимания, Джейк, — жизнерадостно крикнула мне Ренни между пасами.

— Не обращайте внимания на то, что я могу наговорить по телефону, — ответил я. — Я вообще не умею разговаривать по телефону.

До сих пор я не видел женщины, которая умела бы правильно поймать и бросить футбольный мяч, — Ренни Морган была первым и единственным исключением. Она вообще-то была существо достаточно неуклюжее, однако стоило делу дойти до любого рода серьезной физической нагрузки, в ней откуда-то сами собой являлись свобода и даже своеобразная грация. Она ловила и передавала мяч тем же самым манером, с той же быстротой и точностью, с какими делал бы все это тренированный мужчина.

— Ну что, насчет сказанного не передумали? — спросил Джо, следя глазами за мячом.

— Я даже и не помню, что я там такого сказал.

— В самом деле? А вот Ренни запомнила весь разговор, слово в слово. Вы и вправду не помните или просто не хотите ставить ее в неловкое положение?

— Я и вправду ничего не помню, — сказал я и даже сам почти в это поверил. — Я уже усвоил, что неловкие ситуации — не по вашей части. Я просто никогда не помню доводов, моих собственных или чьих-то еще. Запоминаю выводы, а не доводы.

Это наблюдение, которое мне самому показалось достаточно привлекательным, Джо почему-то не понравилось. Он потерял интерес к разговору и принялся объяснять старшему сыну, как правильней держать мяч. И тихим голосом наговоренный совет отца мальчик выслушал так, как если бы с ним говорил сам Кнут Рокне[1]; Джо проследил, чтобы он три раза правильно бросил мяч, и только потом повернулся к нам.

— Держи, Джейк, — сказал он и бросил мне мяч. — Почему бы вам с Ренни не покидать еще немного, пока я займусь обедом, а потом бы мы чего-нибудь выпили. Зачем дожидаться половины седьмого, раз уж ты все равно здесь.

Я уже сказал чуть раньше, что был в тот вечер покладист и тих. По собственной воле я бы никак не стал участвовать в игре, но и вставать на уши, чтобы только отказаться, я бы тоже не стал. Джо ушел в дом, сопровождаемый по пятам эскортом из мал мала меньше, и следующие двадцать минут мы с Ренни пуляли друг в дружку мячиком. К счастью — потому что я, как правило, не люблю выглядеть неумехой — я в футболе не новичок; с Джо мне, конечно, не равняться, но бросить так же точно, как Ренни, и чтобы мяч на лету не вихлялся — это было вполне по моим силам. Ей, судя по всему, особо нечего было мне сказать, мне тоже, так что за эти двадцать минут на лужайке были слышны: легкий шорох, когда рука толкает мяч, во время перебежек тихое шуршание пружинящей под ступнями травы, мягкие шлепки приемов и тяжкое наше дыхание. Ничего приятного в этом не было, неприятного тоже.

Наконец с крылечка нас окликнул Джо, и мы пошли обедать. Морганы снимали половину первого этажа. В квартире было очень чисто; мебель исключительно модерновая, в жестком функциональном стиле, и ее было очень немного. А поскольку комнаты были относительно велики, выглядели они едва ли не голыми. Ни ковров на деревянных полах, ни занавесок, ни штор на вымытых до блеска окнах и ни единой мебелюшки сверх необходимого минимума; кушетка, два шезлонга, две лампы, книжный шкаф и письменный стол в гостиной; маленький обеденный стол и четыре складных стула на кухне; двухъярусная кровать, два бюро и рабочий стол со скамейками в единственной спальне, отведенной под детскую. И стены, и потолки были белые, а потому от лившегося сквозь поднятые жалюзи солнечного света гостиная буквально сияла. Мне пришлось прищуриться: в этой комнате, на мой вкус, было слишком много света.

Мы выпили по стакану пива; дети тем временем ушли в ванную, сами там разделись и сами же, безо всякой посторонней помощи, искупались в ванне, которую Джо уже успел для них наполнить. Я выразил удивление — такая самостоятельность в три и в четыре года. Ренни пожала плечами.

— В том, что касается чисто физических навыков, мы их поблажками не балуем, — признался Джо. — Какого черта, в Новой Гвинее дети учатся плавать раньше, чем ходить, а в возрасте Джои уже гребут по морю на бамбуковых бревнах. Мы решили, что чем меньше они будут от нас зависеть, тем лучше мы с ними поладим.

— Не думайте, что мы их слишком уж заездили, — сказала Ренни. — Нам в общем-то все равно. Оно как-то само собой выходит.

Эту ее последнюю реплику Джо выслушал с особым интересом.

— Почему ты сказала, что тебе все равно? — спросил он.

Ренни слегка всполошилась, подобного вопроса она явно не ожидала.

— В смысле... я имею в виду *в конечном счете*. В конечном счете, так или эдак, не все ли равно, разве нет? Но вот именно *здесь и сейчас* это действительно

---

[1] Кнут Рокне (1888—1931) — знаменитый американский футболист и тренер.

важно, потому что, если они не научатся быть самостоятельными, нам придется пройти через весь этот бардак, через который проходит большинство семей, и мальчики будут зависеть от такого количества всяких костылей и подпорок, что даже и подумать страшно.

— В конечном счете вообще ничего слишком важного не существует, — провозгласил Джо. — Но вот то, что важно в данный момент, важно на все сто.

— Я именно это и имела в виду, Джо.

— Что я пытаюсь сказать: мы не должны считать ту или иную ценность менее реальной оттого, что она не является ценностью абсолютной, поскольку никаких других нам попросту не дано. Вот что твоя фраза про *в общем-то все равно* в действительности означала.

Так, теперь пас Ренни — я наблюдал за ними поверх стакана с пивом, как если бы то было на лужайке перед домом, — но матч был прерван: звякнул таймер в кухонной плите. Ренни пошла накрывать на стол, а Джо вытер мальчиков полотенцем и помог им надеть пижамы: застегивание кнопок на спине, судя по всему, не входило в список обязательных физических навыков.

— А почему бы вам не приучить их застегивать друг другу кнопки? — вежливо поинтересовался я. Ренни бросила на меня из кухни несколько растерянный взгляд — она как раз раскладывала рис по тарелкам, неловко, потому что ложка была слишком маленькая, — но Джо с готовностью рассмеялся и расстегнул на мальчиках пижамы, чтобы они могли поупражняться. Сработало.

Стульев на кухне было только четыре, а потому Ренни, мальчики и я ели за столом, а Джо — стоя у плиты. Шезлонг у стола все равно бы не встал, а на то, чтобы съесть порцию отварного риса с креветками и выпить стакан пива, времени особо много не требовалось. Мальчики — крепенькие пацаны с наклонностью к хорошим манерам — задавали за столом тон, и им это явно было не впервой; суеты и шума, как от любых других не слишком заторможенных детей их возраста, от них хватало, вот только эти были и впрямь куда более ловкими и умели держать себя в руках. Как только мы закончили есть, они прямиком отправились в спальню, хотя на улице было еще светло. И больше я их не слышал.

У Морганов была договоренность с соседями по первому этажу, и если одной из пар хотелось вдруг вечером пойти прогуляться, они просто открывали настежь дверь, соединявшую обе квартиры, чтобы слышно было и своих детей, и соседских. Чем мы и воспользовались, перемыв предварительно тарелки, и пошли пешком через засеянное клевером поле за домом и через маленькую сосновую рощицу. Гуляли Морганы весьма энергично, что не слишком отвечало моей внутренней умиротворенности, но и отказываться составить им компанию мне тоже не хотелось. Ренни, юная натуралистка, успевала на полном скаку обращать наше внимание то на травку, то на птичку, то на козявку, а Джо — скреплять вердиктом точность ее наблюдений. Не могу сказать, что я от этой прогулки получил удовольствие, хотя Морганы удовольствия получили просто уйму. Когда мы добежали до финиша, Ренни ушла в дом писать какое-то письмо, а мы с Джо сели на лужайке в шезлонгах. Разговор у нас, по воле Джо, зашел о ценностях, раз уж мы начали его чуть раньше.

— Большая часть из того, что ты наговорил Ренни днем по телефону, отнюдь не лишена смысла. — Джо был непререкаем. — Я рад, что ты с ней поговорил, и ты правильно сказал, что дело не в том, смеешься ты над ней или нет. Тут ей еще учиться и учиться. Она слишком болезненно относится к такого рода вещам.

— Вся в тебя, — сказал я. — Вспомни бойскаутов.

— Да нет, я — совсем другое дело, — и в голосе у него было что-то такое, от чего пропадало желание настаивать на обратном. — Единственная причина, по которой я тогда вообще затронул скаутскую тему, в том, что я решил присмотреться к

тебе повнимательней, а слишком уж явное внимание такого рода обычно мешает сколь-нибудь серьезному разговору. Вот и все.

— Ну и хорошо. — Я предложил ему сигарету, но он, как выяснилось, не курил.

— Что мне действительно нравится: ты постоянно поддеваешь Ренни, но при этом, судя по всему, готов воспринимать ее всерьез. Мужчина, который действительно хотел бы и умел воспринимать женщину всерьез, — большая редкость, и именно этого Ренни недостает больше, чем чего бы то ни было еще.

— Это, конечно, не мое дело, Джо, — сказал я покладисто и тихо, — но, будь я Ренни, я бы с лестницы спустил любого, кто бы так настойчиво заботился о том, что мне *необходимо*. Ты о ней говоришь, будто она твоя пациентка.

Он рассмеялся и подтолкнул вверх по переносице очки.

— Наверное, ты прав; но я не нарочно. Когда мы с Ренни поженились, мы прекрасно отдавали себе отчет, что ни один из нас не станет жить с другим, если не сможет сохранить к нему полное уважение и доверие. Идти на какие-то жертвы ради-того-чтоб-семья-не-распалась я не стану, и Ренни тоже. Понятие брака само по себе никакой особой ценности не представляет.

— А мне показалось, что на *свой собственный* брак ты смотришь совершенно иначе, — это было предположение, не более того.

Джо эдак разочарованно на меня прищурился, и я почувствовал, что, будь на моем месте его жена, ей бы сейчас досталось куда крепче.

— Ты сейчас совершил ту же самую ошибку, что и Ренни, тогда, перед обедом: если ценность не является самоочевидной, объективной и абсолютной, значит, она не *реальна,* — это ложное допущение. Я сказал только, что не собираюсь абсолютизировать семейные отношения, как и ничто другое вообще. Но это не означает, что я их не ценю; более того, мне кажется, что мои отношения с Ренни есть для меня наивысшая в мире ценность. Это означает, что, если ты отказываешься принимать брак за абсолют, тебе самому приходится определять условия, при которых он для тебя сохраняет значимость. Ну как?

— Мне нравится, — сказал я вяло.

— Нет, ты со мной согласен или нет?

— Конечно согласен. — И вот так, будучи загнан в угол, я, пожалуй, и впрямь *был* с ним согласен — да только жило во мне смутное желание держаться в стороне от такого рода систематизации, даже если бы сам Господь Бог взял меня за шкирку и принялся тыкать носом, как оно все есть на самом деле.

— Видишь ли, — сказал Джо, — я не тот человек, который хочет быть женат во что бы то ни стало; я тебе больше скажу, есть масса условий, при которых я и вовсе не смог бы терпеть семейной жизни; и одно из моих условий для сохранения любых отношений, и в первую очередь брачных, такое: стороны должны принимать друг друга всерьез. Если я время от времени одергиваю Ренни и говорю ей, что то или иное ее замечание иначе как идиотским не назовешь, и даже если я иногда откровенно ставлю ей палки в колеса, это все потому, что я ее уважаю, а для меня уважать — значит не давать поблажек. Поблажки — это, может быть, очень по-христиански, но я не могу всерьез воспринимать человека, которого все время нужно гладить по головке. И это единственное, что меня не устраивает в твоей манере поднимать Ренни на смех: не потому, что это может задеть ее чувства, а потому, что ты ей делаешь скидки: она, мол, того, *женщина*, или еще что-нибудь в этом роде.

— А не кажется тебе, что ты саму эту идею насчет принимай-меня-всерьез возводишь в абсолют? — спросил я. — Ты ведь хочешь, чтобы вы с Ренни принимали друг друга всерьез при любых обстоятельствах, или нет?

Данное наблюдение Джо явно понравилось, и, к собственному своему стыду,

я ощутил всплеск необъяснимого счастья: наконец-то мне удалось сказать что-то, достойное его похвалы.

— Прямо в точку, — он просиял и тут же влез на трибуну. — Стандартнейший аргумент против таких людей, как я, звучит следующим образом: любая логика в конце концов необходимо упирается в некую *последнюю* окончательность, которая на всю совокупность позволяет смотреть как на совокупность сугубо относительных величин, сама же эта последняя окончательность никак не поддается рациональному обоснованию, если мы не признаём существования абсолютных ценностей. Такого рода окончательности могут быть внеличностными, вроде «интересов государства», или же сугубо личными, вроде стремления воспринимать всерьез собственную жену. Как бы то ни было, если ты вообще собираешься защищать существование этих последних окончательностей, я думаю, тебе придется рано или поздно назвать их субъективными. Но их и невозможно объяснить с *логической* точки зрения; они относятся к разряду психологических *данностей* и различны для разных людей. Есть четыре вещи, которые более всего меня восхищают, — легкая смена тона, — это единство, гармония, вечность и универсальность. В моей этике самое большее, на что вообще способен человек, это стоять на своем, быть уверенным в собственной правоте; я не вижу причин что бы то ни было кому бы то ни было объяснять; ждать, что кто-то примет твою точку зрения, — причин еще меньше, и единственное, что человек действительно может, это действовать в соответствии с ней, поскольку больше-то все равно ничего нет. И спокойно принимать неизбежные конфликты с людьми или же целыми институтами, которые также правы со *своей* точки зрения, вот только сама эта точка зрения отлична от твоей.

Представь себе, к примеру, что в силу своего характера я жутко ревновал бы Ренни, — продолжил он. — Конечно, ничего подобного нет и не было, но ты представь, что это часть моего внутреннего склада, что верность в браке для меня — одна из *данностей*, субъективный эквивалент абсолютной истины, одно из условий, которое я непременно стал бы добавлять к любому этическому конструкту. Теперь представь, что Ренни мне изменила за моей спиной. С моей точки зрения, всякие отношения с ней потеряли бы свой raison d'être[1], и я, наверное, просто хлопнул бы дверью, если не застрелил бы ее или сам не застрелился. Но с общественной точки зрения, например, я все равно был бы обязан ее содержать, потому что общество, в котором люди по всякому такому поводу станут хлопать дверью, попросту невозможно. С точки зрения моих сограждан, я бы должен был платить алименты, и жаловаться на то, что их точка зрения не совпадает с моей, нет никакого смысла: она и не может совпадать. Точно так же и государство будет в своем праве, если велит меня вздернуть или расстрелять за то, что я застрелил свою жену, — как и я был вправе ее застрелить, понимаешь? Или католическая церковь, будь я католиком по вероисповеданию, вправе отказать мне в освященной земле для похорон — как и я был бы вправе совершить самоубийство, если бы супружеская верность была для меня одной из жизненных *данностей*. И я был бы полным идиотом, если бы ждал от мира, что он оправдает меня на том основании, что я в состоянии внятно объяснить свои поступки.

Потому-то я никогда и не извиняюсь. — Джо, судя по всему, вышел на финишную прямую. — У меня нет права ждать от тебя или от кого-то еще полного приятия моих слов или дел — но я всегда могу *объяснить* каждое мое слово, каждый мой поступок. Извиняться просто нет смысла, ибо ни одна из позиций в конечном счете защите не подлежит. Но человек в состоянии действовать последовательно; он может действовать так, чтобы в случае необходимости всегда уметь объяс-

---

[1] Смысл (*франц.*).

нить логику своего поведения. Для меня это важно. Знаешь, в первый месяц после свадьбы у Ренни была дурацкая такая привычка: стоило каким-нибудь там друзьям к нам заехать, и она просто места себе не находила, все извинялась за то, что у нас в доме слишком мало мебели. Она прекрасно знала, что нам не нужна лишняя мебель, даже если б мы могли ее себе позволить, но продолжала извиняться перед чужими людьми за то, что у нее другая точка зрения. И вот в один прекрасный день, когда она извинялась пуще обычного, я дождался, пока вся компания убудет восвояси, и врезал ей в челюсть. Вырубил с одного удара. А когда она пришла в себя, очень подробно ей объяснил, за что и почему я ее ударил. Она заплакала и стала передо мной извиняться за то, что извинялась перед другими людьми. Пришлось ее еще раз вырубить.

Ни следа бравады в голосе у Джо, когда он мне это все рассказывал, не было; как, собственно, и сожаления о случившемся.

— Вся беда в том, Джейк, что чем сложнее становится твоя нравственная система, тем сильнее должен быть ты сам, чтобы элементарно оставаться на плаву. И как только ты сделаешь ручкой объективным ценностям, тебе всерьез придется глядеть в оба и мышцы держать в полной боевой готовности, потому что теперь, кроме самого себя, тебе не на кого рассчитывать. Тебе понадобится *энергия*: и не только твоя собственная, но и, так сказать, культурная энергия, или пиши пропало. Энергия — вот в чем разница между американским прагматизмом и французским экзистенциализмом; где еще, черт побери, кроме Америки, возможен жизнерадостный нигилизм, скажи ради бога? Наверное, бить Ренни было жестоко, но это был своего рода момент кризиса. Кроме того, она ведь извиняться-то перестала.

— Понятно, — сказал я.

Теперь: очень может быть, что Джо столь долгой и связной речи в одночасье и не произносил; я только уверен, что в ходе вечера он все это так или иначе сказал, а я — здесь и сейчас — изложил в форме единого монолога, дабы соблюсти некие условности, проиллюстрировать природу его ученых штудий и заодно добавить штрих-другой к его портрету. Я все это выслушал покладисто и тихо; но, хотя и сам я при случае был не прочь высказать пару схожих мыслей (частности притом предпочитая честности), возражения противу чуть не каждой им сказанной фразы вскипали во мне ежеминутно. Однако я ни в коем случае не взялся бы утверждать, что он при желании не мог бы моих аргументов опровергнуть — да я и сам бы сумел, наверное, сделать это не хуже. Как обычно в тех случаях, когда я сталкивался с по-настоящему продуманной и ясно изложенной позицией, я был склонен к формальному — на чисто понятийном уровне — ее принятию, поскольку все равно не мог противопоставить ей собственной, столь же взвешенной. В подобных ситуациях я обыкновенно прибегал к тому, что в психологии носит название «недирективных техник»: я говорил просто «Да?» или «Понятно», и — куда вывезет.

Но история о том, как Ренни впервые столкнулась с философией морганизма, и о той неопровержимой системе доказательств, которую задействовал Джо, чтобы открыть ей глаза на истинную суть привычки извиняться, меня заинтриговала. Она ясно свидетельствовала, что философствование для мистера Моргана не есть игра; что свои умозаключения он проводит в жизнь недрогнувшей рукой; и Ренни сразу стала отчего-то фигурой более занятной. Я даже осмелюсь утверждать, что этот маленький анекдот именно и заставил меня согласиться на предложение, сделанное Джо чуть позже, когда Ренни вышла к нам на лужайку.

— Джейк, а вы любите ездить верхом? — спросила между делом Ренни.

— Никогда раньше не пробовал.

— Да что вы, это же такой кайф; вам обязательно надо попробовать — как-нибудь, со мной.

Я поднял брови.

— Да, мне кажется, начать лучше именно с этого, а уже потом перейти к лошадям.

Ренни хихикнула и качнула головой; Джо рассмеялся в голос, но, как мне показалось, без особого энтузиазма. А потом я увидел, как морщины на его челе разгладились.

— Слушай, а ведь неплохая идея! — воскликнул он, обращаясь к Ренни. — Научи Джейка ездить верхом! — Он повернулся ко мне. — Родители Ренни держат на ферме, тут, совсем неподалеку, скаковых лошадей; у меня времени на прогулки верхом считай что нет, а Ренни терпеть не может ездить одна. Я занят с утра до вечера, начитываю материал, пока не начались занятия. Почему бы Ренни тебя не поучить — соглашайся. У Ренни будет возможность побольше времени проводить на свежем воздухе, а заодно и наговоритесь вволю.

Внезапно вспыхнувший в Джо энтузиазм несколько меня шокировал, как и откровенно дурной тон, — то, что разговоры со мной *пойдут Ренни на пользу,* подразумевалось само собой. И я получил удовольствие весьма предосудительного свойства, когда заметил, что и Ренни, в свою очередь, недобро эдак прищурилась: муж явно не настолько еще ее выдрессировал, чтобы его непосредственность время от времени не действовала ей на нервы, хотя она тщательнейшим образом постаралась скрыть свое неудовольствие от Джо.

— Что ты по этому поводу думаешь? — он от нее отставать не собирался.

— Я думаю, идея просто грандиозная, если, конечно, Джейк согласится, чтобы я его учила, — быстро ответила Ренни.

— А ты *согласен*? — спросил у меня Джо.

Я пожал плечами.

— Да мне, в общем, все равно.

— Ну, что ж, если тебе все равно, а мы с Ренни за, значит, договорились, — рассмеялся Джо. — Короче говоря, хочется тебе этого или нет, вопрос решен, если ты не собираешься отказываться наотрез, вроде как с этим обедом!

Мы усмехнулись, переглянулись и оставили тему, потому как Джо со счастливейшей из мин принялся растолковывать мне, что мое утверждение (по телефону, насчет прибытия на обед вне зависимости от того, хочу я этого или нет) по сути своей нелогично.

— Если бы ты не сбил Ренни с толку этим своим подначиванием, она бы тебе сказала, — он улыбнулся, — что единственным достоверным критерием человеческих желаний являются поступки — конечно, говоря в прошедшем времени: если человек что-то сделал, значит, именно это он сделать и хотел.

— То есть?

— Разве не понятно? — спросила меня Ренни, а Джо откинулся в шезлонге и расслабился. — Суть в том, что у человека могут возникнуть самые разноречивые желания или нежелания — ну, скажем, нежелание ехать к нам на обед и нежелание нас обидеть. Но раз уж ты все-таки приехал, значит, второе было сильней, чем первое: при прочих равных ты бы к нам не поехал, но прочих равных не бывает никогда, и тебе дешевле было с нами отобедать, чем обидеть нас отказом. И ты приехал — случилось именно то, чего ты *в конечном счете* хотел сам. Тебе не следовало говорить, что ты пообедаешь с нами, хочешь ты этого или нет, тебе следовало бы сказать, что ты пообедаешь с нами, если желание *ехать* пересилит в тебе желание *не ехать*.

— Это вроде как сложить плюс сто и минус девяносто девять, — сказал Джо. — В ответе получаешь плюс пшик, но все-таки плюс. Вот тебе еще одна причина, по которой глупо извиняться за сделанное тобой — на том основании, что ты этого

делать не хотел; раз сделал, значит, *хотел* сделать. Об этом важно вспоминать почаще, особенно если ты преподаешь историю.

Я заметил, как покраснела — едва заметно — Ренни при упоминании об извинениях.

— Ммм, — ответил я Джо, на самый что ни есть недирективный манер.

Глава пятая

Неловкая сила Ренни привлекала меня

Неловкая сила Ренни привлекала меня в течение нескольких недель, последовавших за обедом из креветок, риса, пива и ценностей, которым меня угостили Морганы. Была неловкость физическая, была неловкость речевая — Ренни могла споткнуться на ровном месте, могла и сморозить незаметно для себя нечто несусветное, — и мне было любопытно, от чего это в ней: от врожденной дубоватости или от силы, природной и лишенной грации.

По крайней мере, в самом начале наших тренировок я думал о ней именно так. Я смотрел на нее свысока, я был исследователь, а она — предмет исследования, но высокомерен я не был и к любопытству примешивал изрядную долю симпатии. Да и чувство превосходства пришлось как нельзя более кстати и помогло мне с честью одолеть первый этап обучения, иначе, боюсь, я просто махнул бы на все рукой. Страшила меня не работа, а неизбежное при овладении чем-то новым состояние дискомфорта, дурацкое мироощущение новичка, салаги, и вряд ли я когда-нибудь научился бы ездить на лошади (гипертрофированным интересом к данному виду спорта я и раньше не страдал), если бы эти особого рода любопытство и особого рода чувство превосходства не уравновешивали уязвленной гордости.

Ренни была великолепной наездницей и отменным учителем. Выезжали мы обыкновенно по утрам, довольно рано, иногда после ужина, и делали это каждый день, если дождь не стоял стеной. Я подруливал к дому Морганов в половине восьмого или в восемь, а то и раньше, и садился с ними завтракать; потом Джо принимался за дневную норму книг и конспектов, а Ренни, мальчики и я делали еще четыре мили до фермы. Миссис Макмэхон, мать Ренни, брала на себя детей, а мы отправлялись кататься. Она ездила на горячем мышастом жеребце-пятилетке пятнадцати ладоней в холке (ее характеристика), по имени Том Браун; мне досталась гнедая кобыла Сюзи, семи лет от роду, с белым пятном на морде, шестнадцати ладоней, которую и Ренни и ее отец в один голос провозгласили покладистой, хотя мне она показалась весьма норовистой. Отец Ренни держал эту пару для собственного удовольствия, но выгулять их как следует время у него выдавалось нечасто, так что идея Джо и ему пришлась по вкусу. Первое, что он сказал, когда увидел нас в надлежащей сбруе (Ренни настояла, чтобы я купил себе хлопчатобумажные галифе и специальные сапоги), было: «Н-да, Рен, я вижу, Джо приглядел тебе компаньона!»

— Это Джейк Хорнер, па, — отрывисто сказала Ренни. — Я буду учить его верховой езде. — Ей показалось, что отец выдал мне что-то, о чем мне вовсе не обязательно было знать, а именно, что идея у Джо родилась не спонтанно, а была продумана заранее, — и сама эта мысль сделала ее еще более неловкой. Она тут же ушла на выгон, где паслись обе лошади, оставив нас с мистером Макмэхоном обмениваться рукопожатиями и любезностями по нашему собственному усмотрению.

Нет нужды входить в подробности процесса обучения: это и не слишком интересно, и мало что может добавить к написанному мной портрету Ренни. Едва ли не единственная деталь, которая была мне известна до начала наших занятий: на ло-

шадь садятся с «ближнего», то бишь левого бока; и даже этот крошечный параграф лошадиного устава, как выяснилось, действовал не всегда. Меня посвятили в тайну мундштуков и недоуздков, трензелей и цепок, уздечек и шенкелей, а также аллюров со всеми их разновидностями. Я прошел через все обычные ошибки начинающих наездников — висел на стременах, цеплял ногами, откидывался в седле — и понемногу свел их на нет. То обстоятельство, что я поначалу до судорог боялся свою зверюгу, к делу не относится, потому что я ни при каких обстоятельствах не выказал бы страха перед Ренни.

Сама она была «сильной» наездницей — шенкелями орудовала по полной программе, и склонный к импровизациям Том Браун ходил у нее как шелковый, — однако большая часть ее отрывистых рекомендаций была направлена как раз на то, чтоб я ими не злоупотреблял.

— Перестань стесывать ей бока, — бросала она мне на ходу. — Ты пятками даешь ей понять, чтобы она шла быстрее, и сам же ее сдерживаешь, руками.

Час за часом я практиковался в езде шагом, рысью или мелким галопом (обе лошади были трехаллюрные), без седла или без поводьев. Я усвоил, как вести в поводу лошадь, которой нужно совсем в другую сторону; как предугадать заранее, что вот сейчас она шарахнется вбок, или вскинется, или понесет, и сделать так, чтобы этого не произошло; как ее седлать, и взнуздывать, и чистить.

У Сюзи, моей кобылы, была дурная привычка кусать меня, когда я подтягивал подпругу.

— Дай ей как следует по носу, — велела мне Ренни, — а в следующий раз держи ее левой рукой покрепче за холку, и она не станет вертеть головой куда не надо.

Том Браун, ее жеребец, имел обыкновение высоко вскидывать задом два или три раза, как только его выводили из стойла. Однажды, когда он именно так и сделал, я пришел в ужас, увидев, что Ренни откинулась в седле так далеко, как только позволяли поводья, покуда Том не потерял равновесия и не начал, молотя копытами воздух, с испуганным ржанием падать через спину навзничь. Ренни пулей вылетела из седла и успела уйти из опасной зоны буквально за секунду до того, как тысяча сто фунтов конского веса грохнулись оземь; она поймала поводья прежде, чем Том успел встать на ноги, и успокоила его буквально в несколько секунд, нашептывая ему что-то на ухо.

— Будет ему урок, — усмехнулась она.

Но:

— Ты сам виноват, — мне, когда Сюзи выкинула как-то раз со мной ту же самую штуку. — Она знает, что ты еще только учишься. Не тушируй ты ее, Христа ради; она станет вести себя лучше, когда ты как следует научишься ею управлять.

И слава богу, потому что, если бы Ренни дала мне понять, что Сюзи требуется тот же урок, что и Тому, я бы из чистой гордыни попытался повторить ее подвиг. Меня вообще нетрудно испугать; я по сути своей человек весьма робкий, вот только тщеславие чаще всего заставляет меня об этом забыть.

Короче говоря, мало-помалу я стал неплохим лошадником и даже научился свободно чувствовать себя в седле, но вот энтузиаст конного спорта из меня никак не получался. Овчинка была что надо, но выделки все равно не стоила. Мы с Ренни изъездили за август бóльшую часть округи; выглядело это следующим образом: час-полтора в седле, потом отдых минут на пятнадцать-двадцать и к дому. К тому времени как мы успевали расседлать, вычистить и накормить лошадей, перевалило за полдень: мы забирали мальчиков, ехали назад в Вайкомико, к позднему ленчу, за которым Джо, опухший от книжек, расспрашивал меня или Ренни о моих успехах.

Но начал-то я с неловкой силы Ренни. В седле, где есть свои устоявшиеся и —

при всем том — вполне разумные правила посадки для каждой конкретной минуты времени, одно удовольствие было смотреть на ее сильное, немного тяжеловатое тело, как оно контролирует каждое движение идущей шагом лошади или посылает ее рысью, — прямое, свободное, на скулах от ветра румянец, сияют карие глаза, блестят на солнце коротко стриженные светлые волосы. Тогда она бывала даже и красива, сильной и динамичной красотой. Но управляться с собственным телом в тех ситуациях, для которых не существовало жестких правил, ей было куда как трудно. На ходу ее постоянно тянуло вперед. А если она просто стояла, то не знала, куда девать руки, и к тому же имела обыкновение переносить весь свой вес на одну ногу, а другую на нелепый какой-то манер отставлять в сторону. Во время кратких наших остановок, когда мы просто сидели и курили, она была совершенно лишена не то что стиля, но элементарной грации: она бухалась на землю мешком и ни минуты не сидела спокойно, все ерзала на месте. Мне кажется, осознание этой своей неловкости, неумения владеть собственным телом и провоцировало ее во время наших с ней прогулок говорить свободнее и откровенней, чем обычно, потому как Моргаœны, оба, особой тягой к задушевным излияниям в общем-то не страдали, а Ренни в присутствии Джо и вовсе старалась помалкивать. Но в августовские эти утра мы наговорились вволю — если программа, спланированная Джо, в чем и преуспела, так именно в данной части, — и свойственная Ренни манера говорить являла мне порой все ту же неловкую силу.

Чаще всего мы ехали к небольшой речушке, протекавшей через сосновую рощу милях в девяти от фермы. Там можно было в жаркие дни напоить лошадей, да мы и сами зачастую надевали под кавалерийскую нашу сбрую купальные костюмы, потом, добравшись до места, делали короткий заплыв, а потом весьма благопристойно переодевались в лесу, мальчики направо, девочки налево. Место мне нравилось: речушка была, во-первых, чистая, а во-вторых, уютная до чрезвычайности, затененная соснами, которые к тому же выстлали землю мягким, скользящим под ногою слоем бурых иголок. Я сказал как-то Ренни, жаль, мол, что Джо тут с нами нет, то-то бы он порадовался.

— Перестань говорить глупости, — сказала она, слегка нахмурившись.

— Всякая вежливость умом не блещет, — улыбнулся я. — А мне из чистой вежливости его жаль: роется, бедняга, в своих книгах, пока мы носимся верхом и плещемся в реке.

— Ему об этом лучше не говори; он терпеть не может жалости.

— Ну и глупо с его стороны, а, как ты считаешь? — я постарался сказать это как можно мягче. — Смешной он парень, Джо.

— Что ты имеешь в виду? — Мы отдыхали после заплыва; я, лениво раскинувшись, лежал на спине под деревом у самой воды, пожевывал зеленую сосновую иголку и щурился на привязанных неподалеку Сюзи и Тома Брауна. Ренни, которая несколько минут назад мешком плюхнулась под то же дерево и закурила, привстала теперь и воззрилась на меня едва ли не в священном трепете. — Да как только тебе в голову пришло назвать Джо глупым?

— Тебя интересует способ, которым эта мысль пришла мне в голову, или то, почему она пришла в голову только мне?

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду: как ты мог назвать Джо глупым? Господи ты боже мой!

— Ага, — рассмеялся я. — А что может быть глупее, чем расстраиваться, когда с тобой пытаются быть вежливым. Если мне и впрямь его жаль, так это мое дело, а не его; а если я просто говорю, что мне его жаль, из чистой вежливости, тем меньше поводов для беспокойства, потому как это не более чем сотрясение воздуха.

— Но само это сотрясение воздуха разве не абсурдно?

— Естественно. Но с какого такого потолка вы с Джо взяли мысль, что если та или иная вещь абсурдна, ей не должно быть места под солнцем? Вот уж глупость очевидная. И, с этой точки зрения, ничего глупее попытки жить сообразно с раз и навсегда выбранной логикой и выдумать-то невозможно.

Призна́юсь заранее, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что и как Джо мог бы мне на все на это ответить; позвольте первым признать непрозрачность, нелогичность моей системы аргументов. Моей целью было не доказательство доктрин, а наблюдение Ренни. А Ренни будто громом поразило.

— Ты шутишь, Джейк! Ведь ты же не серьезно?

— И, бог ты мой, что *вообще* может быть глупее мысли о двух людях под одной крышей, которые *оба* именно так и живут!

Ренни вскочила. Такие же лица были, наверное, у афинян в то утро, когда они обнаружили, что Алкивиад испакостил всех в городе мраморных богов до единого. Немой ужас.

— Да сядь ты, — рассмеялся я; ее оцепенение и впрямь меня развеселило. — Видишь ли, Ренни, все дело в том, что любая позиция с этой точки зрения может выглядеть абсолютно идиотской, и чем она последовательней, тем более идиотской будет казаться. Она вовсе не глупа с точки зрения Джо, потому что позволяет ему достичь своих целей, каковы бы они ни были. Но, честное слово, я боюсь, что он и от прочих разных ждет, когда же они наконец выстроятся ему в затылок.

— Неправда! — выкрикнула Ренни. — Все наоборот!

— А почему как-то раз он тебя ударил за то, что ты извинялась — то есть, точнее, два раза ударил. Просто так, чтобы не потерять боксерской формы? И почему ты боишься сказать ему, что тебе его жаль, даже если тебе его действительно жаль?

Я спросил об этом безо всякого желания сделать ей больно, обычная провокация, но тут, к немалому моему удивлению, Ренни вдруг разрыдалась.

— Тихо, тихо! — сказал я мягко. — Извини меня, пожалуйста, Ренни, я не хотел тебя задеть. — Я взял ее за руку, и она вздрогнула, как будто я тоже ее ударил. — Эй, мне правда очень жаль, ну прости ты меня, ради бога.

— Джейк, прекрати! — еще один приступ рыданий, и я усвоил, что мотание головой с зажмуренными накрепко глазами используется для выражения не только радости, но и горя, причем горе получалось убедительней. Немного придя в себя, она спросила: — Тебе, конечно, наша семья кажется очень странной, правда?

— Просто до чертиков, я в жизни еще такого не видал, — с радостью признался я. — Но честное слово, это вам не в укор.

— Но ты считаешь, что я полный нуль, ведь так?

Н-да. Что-то во мне отозвалось, дернулось в ответ на сей не слишком, в общем, трогательный вопрос.

— Я не знаю, Ренни. А как тебе самой кажется?

Ренни начала отвечать, и ответ ее обернулся в конце концов историей их с Джо союза. Ее лицо — начнем с того, что лицо у нее было довольно широкое, — покраснело, глаза распухли от слез, и будь я настроен чуть более критически, мне, пожалуй, было бы не слишком приятно здесь и сейчас на него смотреть, но так уж получилось, что она сорвалась, а меня это каким-то образом задело, и странная симпатия к ней, возникшая с той самой минуты, когда я впервые услышал о том, как Джо ее нокаутировал, — симпатия, которая не имела ничего общего с абстрактным сочувствием к нелегкой женской доле, — ожила и дергала за ниточки. И эту симпатию я наблюдал теперь с чувством легкого изумления из некой иной, удаленной точки собственной моей души, как и то обстоятельство, что мне не было неприятно смотреть на зареванное, скомканное лицо Ренни. Вот что она мне рассказала, в сокращенном и исправленном для издательских целей виде.

— Знаешь, я жила как в тумане, в полном тумане со дня моего рождения и до тех пор, пока не встретила Джо, — сказала она. — На меня обращали внимание и все такое, но, клянусь тебе, я как будто проспала всю школу и весь колледж впридачу. Меня ничто особенно не интересовало, я ни о чем не думала, и даже *сделать* хоть что-то мне, собственно, и в голову не приходило — даже радости от жизни не было никакой. Я просто спала себе и спала, как большой такой пузырь сна. А если и задумывалась время от времени о себе, то мне казалось, что я живу по возможностям и по средствам, потому что уж чем-чем, а самоедством я никогда не занималась.

— Звучит чудесно, — сказал я, не слишком искренне, потому что звучало, конечно же, банальней некуда. И интересно мне было только по одной причине: картинка отвечала образу той закусившей удила лошадки, которая, как мне кажется, проглядывала порою в Ренни.

— Да ну тебя, — Ренни было не до любезностей. — Ничего во мне не было, чудесного или еще какого, вообще ничего. После колледжа я отправилась в Нью-Йорк, просто потому, что моя соседка по комнате там уже нашла работу и хотела, чтобы я составила ей компанию, вот там-то я и встретила Джо — он был тогда в Колумбийском, в магистратуре. Мы стали встречаться, не очень часто: я была от него не в восторге, да и во мне он вряд ли мог что-нибудь найти. А потом однажды вечером он ухмыльнулся мне в лицо и сказал, что больше никуда со мной ходить не будет. Я спросила почему, и он ответил: «Ты только не думай, что я тебя шантажирую; я просто не вижу больше в этом никакого смысла». Я сказала: «Это все потому, что я с тобой не сплю?» А он мне и говорит: «Если бы речь шла об этом, я первым делом завел бы себе какую-нибудь девочку-пуэрториканку и не тратил на тебя время».

— А он и впрямь не дурак, — заметил я.

— Он сказал, что просто не видит нужды общаться с женщиной: общение для него было прежде всего связано со взаимопониманием на всех возможных уровнях, а секс — это секс, я же не могла дать ни того ни другого. Причем, поверь мне на слово, он не пытался вкрутить мне мозги. Он все это говорил совершенно серьезно. Он сказал, что, как ему кажется, я, может, и пуп земли, но пустышка при этом абсолютная, в чем он, конечно, был прав, и что он не думает, чтобы ради него я дала себе труд радикально перемениться. Ничего, что отвечало бы моей тогдашней системе ценностей, он мне взамен предложить не мог, я, такая, как есть, ему была не интересна — так о чем речь.

— И что, ты упала в его объятья?

— Нет. Мне стало обидно, и я ему сказала, что он тоже не бог весть что.

— Правильно!

— Джейк, не говори глупостей.

— Беру свои слова обратно.

— Ты как будто не замечаешь, что делаешь сейчас именно то, чего Джо никогда бы не сделал. Все эти бессмысленные реплики, и половина из них только для того, чтобы лишний раз меня поддеть. Джо просто пожал плечами в ответ и ушел, оставив меня сидеть на лавочке, — на хорошие манеры ему всегда было плевать.

— На лавочке?

— Да, я забыла тебе сказать. В тот вечер мы с моей подругой закатили вечеринку, нашелся какой-то повод, и там были все наши нью-йоркские друзья — обычные, ничем не примечательные люди. Мы пили, говорили всякие глупости, бесились и все такое: я даже и вспомнить не могу, чем мы там занимались, потому что я все еще была в тумане. Где-то в самой середине вечера Джо сказал, что хочет прогуляться, мне не слишком-то хотелось уходить, но я пошла. Мы побродили по Риверсайд-парку, и когда он сел на скамейку, я подумала, что вот, сейчас начнет

приставать. Он раньше даже и обнять меня не пытался ни разу, и меня это несколько удивляло. А он мне вместо этого наговорил всего, а потом ушел. И вот тогда я в первый раз поняла, что я пустое место!

Я вернулась на вечеринку и постаралась надраться, как только могла, и чем больше я надиралась, тем ужаснее они все мне казались. Я поняла, что до сей поры ни разу в жизни по-настоящему не слушала, что говорят люди, а теперь, когда в первый раз прислушалась, это было такое потрясение! Ни единой фразы, одна сплошная глупость. И моя подруга была хуже всех — я-то раньше думала, она у меня умница, а теперь все слушала, слушала, какую же чушь она несет. И мне стало казаться, что вот еще одно слово, и я умру.

Под конец, когда я была совсем уже тепленькая, моя подружка стала меня уговаривать забраться в койку с одним парнем. Все уже разошлись, кроме двоих — подружкиного ухажера и этого, другого, — и вот они решили с нами переспать. Подружка была не против, если я была не против, а я была на нее такая злая, не из-за того, что она хотела сделать, а из-за того, что она была слишком тупая, чтобы все получилось естественно и просто. Но Джо меня заставил почувствовать себя настолько пустой и никчемной, что мне уже было все равно, будь что будет; и пускай он катится к такой-то матери.

Это был такой цирк, Джейк, ты не поверишь. Я была девственница, но мне всегда на это было плевать, с любой точки зрения. Этот парнишка, он вообще-то был неплохой, такой худощавый, заурядного вида мальчик, но он здорово выпил и принялся меня щупать и лапать, как будто круче его на свете не сыскать. Когда я окончательно решила, что мне плевать, я ухватила его обеими руками за волосы и — лицо в лицо. И свалила его на пол с кушетки, он был такой субтильный, этот мальчик!

Другая парочка уже оккупировала спальню, так что я стала снимать с него брюки прямо в гостиной. Как он меня боялся! Ему хотелось выключить свет, и чтобы была музыка, и раздеть меня в темноте, а потом он лапал меня, наверное, с полчаса, пока не решился взяться за дело, и так, и эдак, и черт знает как еще — я обозвала его педиком, уронила на пол, на ковер, и искусала в кровь. И знаешь, как он на это отреагировал? Он просто лежал и хныкал и говорил: «Ну, перестань, пожалуйста!»

— Бог мой, бедный мальчик! — сказал я.

— В общем, я поняла, что если срочно чего-нибудь сама не сделаю, будет поздно, потому что с каждой секундой я все больше себя ненавидела. Но тут этот твой бедный мальчик потерял сознание, прямо на полу. А мне показалось, что будет забавно, если я сяду на него верхом, прямо как он есть, и стану ему делать искусственное дыхание...

— О господи!

— Ты не забывай, что я тоже была пьяная в дым. Но у меня все равно ничего не вышло, и в довершение всего меня вырвало, прямо на него, на бедного.

Я покачал головой.

— А потом мне стало так муторно, что я убежала из дома и отправилась прямиком на квартиру к Джо — я жила на Сто десятой, а он на Сто тринадцатой, прямо возле Бродвея. Мне после этого мальчика было уже все равно, что *он* со мной сделает.

— Я тебя не спрашиваю, что он с тобой сделал.

— Он сделал; он только глянул на меня и сразу засунул под душ, прямо в одежде, в чем была: я и себя тоже неплохо уделала. Включил холодную, и я там сидела, пока он не спроворил мне суп и стакан томатного сока, потом он надел на меня пижаму и еще сверху халат, и я стала есть суп. Вот и все. Я в ту ночь даже и спала с ним...

— Послушай, Ренни, ты вовсе не обязана мне все это рассказывать.

Ренни удивленно на меня посмотрела.

— Да нет, в смысле, что я *спала*. Он меня и пальцем не тронул, но он же ни за что в жизни не станет всю ночь мучаться в кресле ради того, чтоб соблюсти какие-то там приличия. Ты не хочешь обо всем об этом слышать?

— Конечно хочу — если ты мне хочешь рассказать.

— Я хочу тебе рассказать. Я раньше никому не рассказывала, и мы с Джо тоже никогда об этом не вспоминаем, но ведь никто никогда и не говорил, что наша семья может выглядеть странной или глупой, и, наверное, мне самой важно это тебе рассказать. Я, кажется, даже и не думала ни о чем таком, пока ты не начал над нами подсмеиваться.

Мне стало неловко, и я сказал:

— Я просто восхищаюсь самообладанием Джо.

— Знаешь, Джейк, он, наверное, и *впрямь* в каком-то смысле бойскаут, но у него были и другие причины так себя вести. Когда я протрезвела, он сказал мне, что ему просто не настолько хотелось, чтобы он позволил себе воспользоваться моим состоянием. Он сказал, что ему бы хотелось заниматься со мной любовью, но не только ради секса — все, что мы будем делать, мы должны делать на одном и том же уровне, смотреть на все под одинаковым углом зрения, иметь общие цели, и чтобы никто никому не делал поблажек, в противном случае его это не интересует. Но он сказал, что не против, чтобы у нас сложились более или менее постоянные отношения.

В смысле, ты хочешь на мне жениться? — спросила я. А он ответил: «Да мне, в общем-то, плевать, Ренни. Можно и жениться, просто потому, что мне не нравится все это дерьмо собачье, которое непременно липнет к людям, когда они просто любовники, но ты должна понять, что́ я имею в виду под более или менее постоянной связью». Он имел в виду, что мы не расстанемся до тех пор, покуда каждый из нас не перестанет уважать все связанное с другим, абсолютно все, и завоевать это уважение — наша первейшая задача. И сама по себе жена или любовница его интересовала куда меньше, чем воплощение этой его идеи, у него просто глаза горели.

И знаешь, чем мы занялись? Мы проговорили два дня и две ночи почти без перерыва, и за все это время он сам ни разу ко мне не прикоснулся и мне не позволил. Я не пошла на работу, он тоже не пошел на занятия, потому что мы оба знали: это куда важнее всего того, чем мы до сей поры занимались. Он объяснил мне, как он смотрит на мир, до последней малости, и столько всего обо мне выспросил — во мне еще никто и никогда так не копался. «Мир по уши в дерьме, никому не нужном, — сказал он. — Мало что в этом мире представляет для меня хоть какую-то ценность, и это — едва ли не самое главное». Мы договаривались по каждому пункту, сколь бы ничтожным и тривиальным он ни казался, мы совершенно объективно сравнивали наши оценки и разбирали их до мельчайших подробностей, по крайней мере на несколько лет вперед, и он меня сразу предупредил, что, пока у меня не войдет в привычку ясно выражать свои мысли — пока я по-настоящему не разберусь, *как* это делается, — большая часть здравых идей в силу необходимости будет исходить от него. Мы просто забудем на время о моих идеях... Он хотел, чтобы я вернулась в колледж и много еще чему научилась, и не потому, что образование превыше всего; это его сфера деятельности, так уж получилось, и если я в ней буду профаном, мы в силу объективных причин будем с каждым годом все больше и больше удаляться друг от друга. И никаких разговоров о покупках, никакого деления на *мои* интересы и *его* интересы. Что один из нас примет всерьез, другой должен также научиться принимать всерьез, и наши отношения в списке всегда будут по значимости первыми, выше карьеры, выше амбиций или чего бы то ни было еще. Он сказал: я буду ждать от тебя таких же суровых требований ко мне и к себе са-

мой, какие и я, в свою очередь, буду предъявлять к себе и к тебе, и это всегда будут одни и те же требования.

— Бог ты мой!

— Понимаешь, что он имел в виду? У Джо совсем не было друзей, потому что и от друзей он бы требовал того же самого, разве что чуть менее жестко, — ясности, ума, самоконтроля. И я избавилась от всех моих бывших друзей, потому что всегда приходилось делать им скидки то на одно, то на другое; а как после этого можно всерьез на них рассчитывать? Мне пришлось полностью пересмотреть отношение не только к родителям, но и к собственному детству. Я-то думала, у меня было прелестное, чуть ли не идеальное детство, а теперь поняла, что воспитывалась под стеклянным колпаком, сплошная вата и сахарный сироп. Все мои прежние мнения — к черту, потому что я не могла их аргументированно доказать. Мне кажется, Джейк, я вообще себя стерла, как ластиком, под ноль, чтобы все начать заново. И знаешь, в чем проблема: не думаю, чтобы мне когда-нибудь удалось стать такой, какой меня видит Джо, — мне всегда будет не хватать уверенности, и объяснять свою точку зрения он всегда будет лучше, чем я, — но другого пути у меня все равно нет. Как говорит Джо, есть только то, что есть.

Я покачал головой.

— Звучит мрачновато, а, Ренни?

— Нет, что ты! — она была никак не согласна. — Джо замечательный; дай мне возможность все отыграть назад, я не соглашусь ни за что на свете. Не забывай, я выбирала сама: я могла в любой момент хлопнуть дверью, и он бы все равно обеспечивал и меня и детей.

Мне, однако, показалось, что выбирала она примерно так же, как я мог выбрать себе позу в Комнате Директив и Консультаций.

— Джо — он, конечно, замечательный, — согласился я, — если ты в такого рода вещах находишь кайф.

— Джо — он замечательный, — эхом повторила Ренни. — Клянусь тебе, я никого даже близко похожего на Джо никогда не встречала. Он прямой, как стрела, и мыслит так же прямо. Мне иногда кажется: все, о чем бы ни подумал Джо, силой его ума превращается в нечто гораздо более значительное. Тебе это может показаться странным, даже нелепым, но я думаю о Джо, как думала бы, наверное, о Боге. Даже если он совершает ошибку, резоны, по которым он поступил именно так, а не иначе, куда ясней и обоснованней, чему у кого бы то ни было еще. Ты только не смейся надо мной, ладно?

— Он нетерпим, — я нашелся, что сказать.

— Бог тоже нетерпим. Но ты же знаешь *причину*: он нетерпим исключительно к глупости — в тех людях, до которых ему есть дело! Джейк, я стала много лучше, чем была; ведь раньше меня, можно сказать, вообще не было. Так что́ я потеряла?

Я усмехнулся.

— Видимо, мне нужно что-нибудь сказать насчет индивидуальности. Принято считать, что в подобных случаях речь идет об индивидуальности.

— Мы с Джо и об этом говорили. Джейк, бога ради, ты хоть его-то не считай наивным! Он говорит, что одна из самых трудных и значимых задач — всегда осознавать возможные альтернативы твоей позиции.

— То есть?

— Ну, во-первых, предположим, что всякая личность *и в самом деле* уникальна. Разве из этого следует, что, если вещь уникальна, она непременно являет собой некую ценность? Ты утверждаешь, что лучше быть настоящей Ренни Макмэхон, чем подделкой под Джо Моргана, но это же не очевидно, Джейк, отнюдь. Романтизм чистой воды. Я скорее соглашусь на какого-нибудь вшивого Джо Моргана, чем на

первосортную Ренни Макмэхон. И к черту гордыню. Вся эта уникально-личностная лабуда тоже ведь не абсолют.

— Отвечу тебе, Ренни, цитатой из Евангелия, — сказал я. — Из этого не вытекает также, что если вещь не есть абсолют, она не являет собой ценности.

— Джейк, перестань! — Ренни снова начала проявлять признаки беспокойства.

— Но почему? Ты точно так же можешь принять и иную точку зрения: Ренни Макмэхон не представляла собой никакой особой ценности, но она *была*, а есть только то, что есть. Позволь задать тебе вопрос, а, Ренни: как ты думаешь, по какой такой причине Джо заинтересовался моей скромной персоной? Он же не мог не знать, что я никогда не встроюсь ни в какую из его программ. Я всем готов давать поблажки, и в первую очередь себе. Да, господи, а разве я не делаю поблажек Джо! И *он* со своей стороны это допускает, а следовательно, также делает мне поблажки. Почему он так устроил, чтобы мы с тобой беседовали почаще? Он не знал, что́ я тебе скажу насчет всего этого дела — что это либо смешно, либо просто оторопь берет, в зависимости от настроения?

— Джейк, ты, наверное, просто не догадываешься, какой Джо сильный. Это в нем самое главное: сила. Он настолько силен, что давно бы от меня отказался, если бы первый встречный способен был убедить меня, что я совершила ошибку.

— Я не вижу особых признаков силы в этой заранее спланированной кавалерийской акции. Глядя со стороны, можно подумать, что ему хочется, чтобы у нас с тобой завязалась маленькая такая интрижка.

Ренни даже глазом не повела.

— Он настолько силен, что может себе позволить время от времени выглядеть слабым. Таких сильных людей вообще больше нет.

— Он суперскаут, всем скаутам скаут, — радостно согласился я.

— Даже и в этом, — сказала Ренни. — Он такой сильный, что даже может иногда себе позволить быть карикатурой, пародией на силу, и ему плевать. Мало кому такое по плечу.

— А я, в таком случае, приглашен на роль адвоката дьявола? Что ж, из меня выйдет чертовски хороший адвокат дьявола.

Ренни как-то занервничала.

— Не знаю… Тебе это может не понравиться, Джейк. Я правда не знаю, почему ты произвел на Джо такое впечатление. Его никто раньше не интересовал — у нас совсем не было друзей, они нам были просто не нужны, — но после твоего собеседования он сказал, что ты ему интересен, а после первых нескольких ваших с ним разговоров он вообще был как-то очень возбужден. Мне он сказал, что для меня будет полезно поближе познакомиться с первоклассным умом, совершенно отличным от его собственного, но было, кажется, что-то еще.

— Я польщен, — сказал я и сам себе не понравился, потому что это была правда. — А тебе показалось, там было что-то еще, просто потому, что сама ты во мне ничего первоклассного не углядела?

— Да ну тебя к черту. Что меня иногда в тебе пугает, знаешь: очень часто ты как раз и *не* являешься противоположностью Джо — наоборот, ты слишком на него похож. Я от каждого из вас даже слышала совершенно одинаковые фразы, в разное время, независимо друг от друга. Ты часто исходишь из тех же самых посылок. — Вот уже несколько минут, как Ренни начала нервничать и, пока говорила, нервничала все заметнее. Наконец ее прямо-таки передернуло. — Джейк, ты мне не нравишься!

Это меня охладило: одна только фраза, и всякое внутреннее неудобство как рукой сняло, и настроение волшебным образом переменилось. Я был теперь сильный, спокойный, немного мрачноватый Джейкоб Хорнер, не имеющий ничего общего с тем

напыженным от собственной умности пижоном, который только что выслушал эту поучительную историю любви. Я улыбнулся Ренни.

— Я надеюсь, что Джо вовсе не этого добивался, — сказала она. — Мне и самой это не нравится. Я не хочу быть несправедливой к тебе, Джейк, но, знаешь, месяц назад я чувствовала себя много увереннее и более счастливой, что ли, — пока мы не встретили тебя.

— Скажи об этом Джо.

Зажмурилась, замотала головой — совсем не весело.

— Джо слишком на меня полагается, а я не дотягиваю, — сказала она коротко. — Я уже чувствую себя виноватой, что рассказала тебе так много. С моей стороны это была слабость: почти как если бы я ему изменила.

— Давай я сам ему скажу, — предложил я.

Ренни прерывисто вздохнула и покачала головой.

— Вот видишь? В том-то все и дело. Я не могу сказать тебе, чтобы ты не говорил, но если ты скажешь, я пропала. Я никогда его не догоню.

Я видел, и очень ясно: малая толика прежней Ренни Макмэхон уцелела и пыталась навести мосты.

— Но ты же не могла не понимать, что будут люди, которым весь План Моргана покажется одной большой хохмой.

— Конечно, понимала. Но это были бы просто некие «люди». Меня действительно испугало, что вот приходит человек, который признает логику Джо и все его посылки — наши с ним посылки, — понимает их, признает их правильность, а *потом* смеется над нами.

— Может быть, именно этого Джо и добивался.

— Может быть, но тогда, выходит, он меня переоценил! Я такие вещи не могу принимать спокойно. Он может, и его это не слишком беспокоит — помнишь, когда он говорил о развитии физических навыков у детей, а ты взял и предложил, чтобы они научились сами застегивать себе пижамы? Я это и имела в виду, когда сказала, что он может себе позволить выглядеть карикатурой на самого себя, — все эти мелочи вокруг него, над которыми ты все время издеваешься. Когда ты это предложил, я испугалась, по-настоящему испугалась. Я не знала, что́ он станет делать. Господи, Джейк, он ведь иногда бывает совершенно бешеный! Но он рассмеялся и сделал по-твоему, только и всего.

— Ренни, да ведь он тебя до смерти запугал. Это из-за того случая, когда он тебя ударил?

Всякий раз, когда я ей об этом напоминал, она принималась плакать. Удар-то вышел посильней, чем то казалось Богу.

— У меня просто сил не хватает, Джейк! — сквозь слезы. — Это моя вина, но я для него недостаточно сильная.

И я изрек:

— Я понял: Бог — он холостяк[1].

Как и приведенные выше рассуждения Джо по вопросу о ценностях, эта история семейных катаклизмов вовсе не была представлена мне в том сжатом и готовом к употреблению виде, в котором я ее здесь пересказал. А случилась далее вот что: наши ежедневные эквитации переменили характер. Теперь мы, как правило, молча и с забавной эдакой целеустремленностью скакали к нашей речушке в соснах, чтобы спокойно поговорить, и оставались там не меньше чем час, вместо

[1] Возможен и дополнительный оттенок смысла. Bachelor по-английски не только *холостяк*, но и *бакалавр*.

прежних двадцати минут. Интересное наблюдение: Ренни перестала говорить о чем бы то ни было серьезном на ходу; и всякое утро она седлала Тома Брауна с видимым неудовольствием. Но ехали мы всегда в одно и то же место — дай волю лошадям, они бы наверняка и сами по привычке пошли именно туда, и, должен признать, не раз и не два мы с Сюзи брали инициативу на себя и шли впереди.

Дома, у Морганов, Ренни умолкала напрочь, покуда Джо прямо не спрашивал ее о том, как прошло утро. Он часто именно так и делал, и Ренни мрачно врала насчет темы нашей очередной беседы. Мрачно и неуклюже: это было не самое приятное зрелище. Джо слушал ее внимательно и чаще всего с видом весьма неопределенным; иногда он улыбался. Возможно, он понимал, что она ему лжет, хотя человеку, знающему истинное положение вещей, трудно оценить искусство лгущего. Однако, если и понимал, его это не слишком беспокоило. Он и впрямь был очень сильный человек.

Мы с ним раз от раза ладили все лучше. Он отчаянно спорил со мной о политике, истории, музыке, цельности, логике — обо всем на свете; мы играли с ним в теннис и в кункен, и я выудил и вычистил две-три грамматические несогласованности из рукописи его диссертации — весьма эксцентрического и притом блестящего труда о спасительной роли наивности и энергии в политической и экономической истории Америки. Мое отношение к Джо, к Ренни и ко всей остальной вселенной менялось так же часто, как улыбка Лаокоона: сегодня я был правоверный левый демократ, назавтра одна только мысль о возможности каких бы то ни было перемен приводила меня в ужас; я был то аскет, то раблезианец; то гиперрационалист, то ярый противник всякого рационализма. И каждый раз я защищался до последнего патрона (за исключением беспогодных дней), а Джо смеялся и разбивал меня в пух и прах. Мне этот способ убивать по вечерам время казался не лишенным приятности, вот только чем ближе дело шло к концу августа, тем более мрачной делалась Ренни. И в соснах она то принималась мне что-то доказывать, то пожимала плечами, то болтала, то плакала.

Она попалась.

Что до меня, я так покуда и не разобрался, свидетельствует ли ее постоянное стремление стушеваться, уйти в тень о великой слабости или о силе столь же необычайной; такие вещи трудно оценить, когда они работают на полную катушку. Но я тем не менее находил ее все более и более привлекательной, и та моя часть, которая выбрала роль наблюдателя, уже с пониманием относилась к части заинтригованной (и много, много еще было всяческих частей, которым вообще до всего этого не было дела): я думаю, главную роль для меня здесь играл тот факт, что Ренни была единственной из знакомых мне женщин, да и вообще, наверно, единственным представителем рода людского, который внимательнейшим образом вглядывался в себя и не находил там, внутри, *ничего*. В подобном случае вопрос о цельности теряет смысл.

31 августа 1953 года ее поведение как-то вдруг переменилось. Всю первую половину дня шел дождь, и мы отправились на обычную прогулку после ужина; Джо параллельно с нами отбыл на какое-то скаутское мероприятие. Она всю дорогу сдерживала Тома Брауна, шла шагом, с некой, я бы даже сказал, опаской; ни силы, ни стиля, и разговор был — так, шелуха. Но в соснах она посерьезнела и успокоилась.

— Все в порядке, Джейк. — Она улыбнулась, и улыбка вышла весьма прохладная.

— Что в порядке?

— Мне до сих пор неловко, что я распустила язык, но теперь с этим покончено.

— То есть?

— Знаешь, я ведь и в самом деле какое-то время тебя боялась. Мне даже казалось иногда, что я не могу с уверенностью сказать, кто сильнее, ты или Джо. Только он загонял тебя в угол, глядь, а тебя там уже и нет, хуже того, даже когда он в пух и прах разносил какую-нибудь из твоих позиций, мне казалось, что *тебя-то* он даже и не задел — потому что ни одной из них ты не слишком дорожил.

— В самую тютельку, — рассмеялся я.

— Вот-вот, — она не хотела, чтобы я ее перебивал, — ты только смеешься, когда из-под твоих идей выдергивают костыли. А потом я начала думать: «Если его мнения не есть он, что же тогда *он*?

— Грамматика подкачала.

Ренни и ухом не повела.

— И знаешь, Джейк, до чего я додумалась? Мне стало казаться, что тебя вообще не существует. Тебя слишком много. И это не просто маски, которые ты то надеваешь, то снова снимаешь — у нас у всех есть маски. Но ты меняешься совершенно, насквозь. Ты отменяешь себя прежнего. Ты больше всего похож на персонажа из сна. Ты не сильный, но ты и не слабый. Ты просто — ничто.

Я счел уместным не ответить ей — ничем.

— Две разные вещи случились, Джейк, — холодно сказала Ренни. — Во-первых, я почти уверена, что опять забеременела — задержка на неделю, а я обычно как часы. Во-вторых, я решила, что больше не должна ни думать о тебе, ни вообще иметь с тобой дело, потому что ты не существуешь. Джо выиграл.

Как-то днем, на той неделе, — продолжила она, — я видела сон, а может быть, просто пригрезилось в полудреме, что Джо вот уже несколько недель как подружился с дьяволом и для забавы спорит с ним и играет с ним в теннис, пробует силу. Не смейся.

— Даже и не собирался.

— И я подумала, что Джо специально пригласил дьявола, чтобы и меня заодно проверить, — может быть, просто потому, что ты в тот раз упомянул об *адвокате дьявола*. И этот дьявол меня напугал, потому что я еще не настолько сильная и что для Джо игра, для меня — смертельная схватка. — Здесь Ренни запнулась. — А потом, когда Джо увидел, как оно все получилось, он мне сказал, что дьявол не настоящий и что он создал дьявола из собственной силы, как то и должно Богу. И потом еще раз сделал мне ребенка, чтобы я поняла: единственная реальность это *он* — и чтобы не боялась, и чтобы...

(Сей фантастический сюжет Ренни начала очень спокойно, но с каждой фразой напряжение росло — он и построен-то был с одной-единственной, совершенно очевидной целью: хоть как-то уравновесить постоянную необходимость лгать, — покуда под конец весь ее свежеобретенный внешний самоконтроль не рухнул и она не начала захлебываться слезами.)

— ...и чтобы я могла стать такой же сильной, как он, и сильнее всякого, кто на самом-то деле даже и не настоящий!

Но сильней она от этого не стала. Я погладил ее по голове. Ее била дрожь, и стучали зубы.

— О господи, вот если бы Джо был тут! — выкрикнула она.

— Я знаю, что бы он сказал, Ренни. Слезы к делу не относятся: ты просто уходишь в сторону от решения проблемы. Вся эта придумка насчет дьявола чересчур проста. И позволяет тебе от меня отделаться под абсолютно ложным предлогом.

— Ты *ненастоящий*, нереальный, а Джо настоящий! Он каждый день один и тот же человек, совершенно! Он правильный! Вот в чем разница.

Она сидела на земле, уронив голову на колени, и я гладил ее волосы.

— А я неправильный, — сказал я.

— Да!

— А как насчет тебя?

В ответ она быстро мотнула головой.

— Не знаю. Джо достаточно силен, чтобы заботиться и обо мне тоже. Это не мое дело.

Чушь полная, и мы оба это поняли. Я, вместо ответа, снова стал гладить ее по голове, и ее опять передернуло. Так мы и сидели минут, наверное, пять, не говоря ни слова. Потом Ренни встала.

— Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь с нами, Джейк, — сказала она.

Я промолчал.

— Джо — он достаточно реален, чтобы справиться с тобой. Он настолько реален, что его хватит на нас обоих.

— Ничто плюс один будет один, — с готовностью согласился я.

Ренни поджала губы и нервически потерла рукой живот.

— Ты прав, — сказала она.

Но самое неожиданное случилось потом. Мы поставили лошадей в стойло и, не говоря лишних слов, поехали к дому. Было такое чувство, как будто множество самых разных предметов, идей и ощущений повисло в состоянии зыбкого равновесия — быстро сгущалась тьма на фоне пустого из конца в конец летнего неба, и в самой этой бесшумной деловитой поспешности чудился едва ли не отзвук гигантского коловращения Земли, — и хотелось быть тихим, потому что единое слово могло вдруг вышибить космос из от века заведенного порядка. Когда мы остановились у дома Морганов, было уже темно, и я отконвоировал Ренни через темную лужайку.

— Джо дома, — сказал я, заметив свет сквозь закрытые жалюзи гостиной. И, услышав, как шмыгнула в ответ Ренни, понял, что она и в машине тоже плакала.

— Тебе, наверное, лучше не входить прямо сейчас, давай подождем пару минут, а, как ты думаешь?

Она ничего не ответила, однако, дойдя до самого крыльца, остановилась, и мы постояли немного в темноте. Дотрагиваться до нее мне не хотелось. Я покачался немного на пятках, напевая про себя: *Пепси-кола в точку бьет*. Потом заметил, что, хотя жалюзи и были закрыты, опущены до конца они не были: свет пробивался наружу сквозь щелку в полдюйма толщиной вдоль подоконника.

— Хочешь, пошпионим? — шепнул я Ренни на ухо, поддавшись минутному порыву. — Давай, это же здорово! Наблюдение животных в естественных условиях обитания.

Ренни ошарашенно поглядела на меня.

— Зачем?

— Ты хочешь сказать, что никогда ни за кем не подсматривала —если человек один? Это же такой кайф! Ну, давай, пакостить так пакостить! Ничего более подлого по отношению к другому человеку и сделать нельзя!

— Джейк, ну и дрянь же ты! — прошипела Ренни. — Он просто читает! Ты что, первый день с ним знаком?

— В смысле?

— *Настоящие* люди, когда одни, такие же, как всегда. Никаких масок. Они аутентичны, понимаешь: что ты видишь, то и есть на самом деле.

— Чушь собачья. Аутентичных людей не бывает. Давай глянем.

— Нет.

— А я гляну. — Я подкрался к окну, нагнулся и заглянул в гостиную. И тут же обернулся к Ренни.

— Ну что там? — прошептала она.

— Сюда, быстро! — Пакостник должен пакостить: вот я и напакостил.

Она нехотя подошла к окну и пристроилась рядом.

Это и впрямь величайшая мерзость — подглядывать за человеком, который знает, что он совершенно один. Джо Морган, вернувшись со своего бойскаутского мероприятия, и в самом деле, скорее всего, собирался почитать, потому что на столе и на полу у книжного шкафа лежали раскрытые книги. Но Джо не читал. Он стоял точно в центре пустой просторной комнаты, одетый в форму, и отточенно и четко выполнял команды. *Кру-гом! Нап-право ррав-няйсь! Смирно! Вольно!* Он отдавал честь, резко, лицо его горело, и кончик языка был высунут наружу, а потом он принялся скакать по комнате — вертясь, делая пируэты, кланяясь, подпрыгивая, вскидывая ноги. Я смотрел как зачарованный, потому что, наверное, даже в самые мои дикие минуты (а у холостяков такие случаются) мне до него было далеко. Ренни дрожала вся, с головы до пят.

Ага! Джо поймал свой собственный взгляд в маленьком настенном зеркале. Что? Чтэ-э? Эй, ты там! Он подошел поближе, сделал реверанс, и приблизил лицо к самому стеклу. Мистер Морган, не так ли? Как она жизнь, мистер Морган? Бла блу бла. *Уу-у-у* бла-блу слву-арп. Он корчил самому себе рожи, оттягивая уголки глаз, разблублепливая губы в стороны, напузыривая щеки. Миффер Моргл. Ньейнг ньянг ньюмпф. Вглиббл вглоббл вглап. Вглигги *блуу*! Фслаки фслаки фсю.

Он подтолкнул очки по переносице вверх. Услышал что-то? Да нет. Он вернулся к письменному столу и вроде как сел за книжки, повернувшись к нам спиной. Спектакль, судя по всему, был окончен. Хотя — погодите-ка, один момент — ну, точно! Он повернулся совсем чуть-чуть, и мы увидели: заткнув старательно кончик языка в угол рта, Джо мастурбировал и ковырял при этом в носу. И напевал, должно быть, в такт задорную песню.

Ренни была уничтожена. Она закрыла глаза и прижалась лбом к подоконнику. А я стоял с ней рядом, вне пробивавшейся из ярко освещенной комнаты полоски света, и гладил, гладил ее по голове, нашептывая ей на ухо на том лишенном грамматики и слов безумном языке, которому она меня обучила, чтобы успокаивать лошадей.

Глава шестая

В сентябре настало время повидаться с Доктором

В сентябре настало время повидаться с Доктором еще раз: и как-то утром, в первую же неделю месяца, я поехал в Центр Ремобилизации. Погода была чудесная, и изрядное число других его пациентов, весьма немолодых мужчин и женщин, принимали воздушные ванны, рассевшись рядком у самого крыльца кто в креслах-каталках, кто в допотопных камышовых креслах. Как обычно, глядели они на меня исподлобья: любого рода визитеры, в особенности же визитеры моих лет, на Ферму забредали нечасто и прием встречали отнюдь не самый сердечный. Не обращая внимания на их суровые взгляды, я пошел засвидетельствовать почтение миссис Доки, сестре-регистраторше. Я нашел ее в приемной, Доктор был там же.

— Здравствуйте, Хорнер, — просиял Доктор.

— Здравствуйте, сэр. Добрый день, миссис Доки.

Миссис Доки, большая мужиковатая баба, кивнула в ответ, как то и было у нее заведено, не говоря ни слова, а Доктор велел мне подождать его в Комнате Директив и Консультаций, каковая, вместе со столовой, кухней, приемной, ванной и Ком-

натой Процедур, занимала первый этаж этого старого каркасного дома. Верхний этаж переделали — убрали перегородки между бывшими там когда-то спальнями и сделали два больших дормитория, мужской и женский. У Доктора наверху тоже была своя маленькая спальня, а еще там были две ванных комнаты. Я тогда и понятия не имел, где спит миссис Доки, да и вообще, ночует она на Ферме или нет. Она была женщина до крайности необщительная.

В первый раз я встретил Доктора по чистой случайности — по счастливой случайности — 17 марта 1951 года в помещении, которое на Пенсильванском вокзале в Балтиморе считается главным залом ожидания. Произошло это на следующий день после моего двадцать восьмого по счету дня рождения; я сидел на одной из вокзальных скамеек, и рядом со мной стоял чемодан. Я пребывал в необычайнейшем из состояний: не мог пошевелиться. За день до этого я выписался из бывшей своей меблирашки в «Брадфорде», заведении гостиничного типа на углу Сент-Пол и Тридцать третьей, принадлежавшем университету Джонса Хопкинса. Я жил там с сентября прошлого года, когда, безо всякого энтузиазма, поступил в аспирантуру и начал работать над диссертацией, которую должен был, согласно учебному плану, закончить к июню следующего года.

Однако 16 марта 1951 года, сдав устный экзамен, но даже и не приступив еще к работе над самой диссертацией, я собрал чемодан и съехал с квартиры, чтобы просто куда-нибудь прокатиться. Приучившись с недавних пор не слишком интересоваться причинами и биографическими подробностями, я склонен приписать сей порыв обычному именинному синдрому, той разновидности сплина, которая близко знакома достаточно большому количеству людей, что, в свою очередь, освобождает меня от необходимости давать дальнейшие пояснения. Именинный синдром, скажем так, напомнил мне, что у меня нет никаких самоочевидных причин издеваться над собой, чем я, собственно, и занимался вплоть до семи часов вечера 16 марта 1951 года. В кармане у меня было тридцать долларов и еще какая-то мелочь; упаковав чемодан, я взял такси, доехал до Пенсильванского вокзала и встал в очередь к билетной кассе.

— Слушаю вас? — сказал кассир, когда очередь дошла до меня.

— Хм — вам это может показаться театральным, — сказал я, несколько смешавшись, — но у меня тридцать долларов или около того, и я хочу куда-нибудь уехать. Не будете ли вы так любезны сказать мне, докуда я могу добраться с этой станции, ну, скажем, за двадцать долларов?

Кассир не выказал ни тени удивления. Он подарил меня понимающим, если не сказать сочувственным, взглядом и сверился с чем-то вроде таблицы.

— Вы можете доехать до Цинциннати, штат Огайо, — сообщил он. — Можете доехать до Крестлайна, штат Огайо. Так, поглядим еще — вы можете доехать до Дейтона, штат Огайо. Или до Лимы, штат Огайо. Вот, кстати, славный городишко. У моей жены родственники как раз живут неподалеку от Лимы, штат Огайо. Хотите туда?

— Цинциннати, Огайо, — неуверенно повторил я. — Крестлайн, Огайо; Дейтон, Огайо и Лима, Огайо. Огромное вам спасибо. Я еще подумаю, а потом подойду за билетом.

Итак, я отошел от окошка билетной кассы и сел на скамейку в самом центре зала ожидания, чтобы принять решение. Вот там-то у меня и вышли все мотивы, вроде как в машине кончается бензин. Причины ехать в Цинциннати, Огайо, у меня не было ровным счетом никакой. Как и причины ехать в Крестлайн, Огайо. Или в Дейтон, Огайо; или же в Лиму, Огайо. Не было также причин ехать обратно в «Брадфорд», как, по большому счету, и вообще куда бы то ни было ехать. Причин не осталось никаких и ни для чего. Мои глаза — если воспользоваться несколько неточным наблюдением Винкельмана насчет глаз античных статуй — были слепы для

здешнего мира, глядели в вечность, созерцали конечные пределы, а если уж доходит до такого, резонов делать хоть что-нибудь просто не существует — даже сфокусировать глаз и то незачем. Кстати, может быть, именно по этой причине статуи и стоят себе смирно. Болезнь, называемая *космопсис*, то бишь космическое зрение, овладела мной. Когда на тебя такое находит, чувствуешь себя приморожeнным, совсем как лягушка-бык, которой фонарь охотника ударит прямо в глаза, вот только при космопсисе нет никакого охотника и нет хватательного движения руки, чтобы прервать состояние транса, — есть только свет.

Вокруг меня суетились близорукие твари, вбегали и выбегали из дверей, ведущих на платформы; поезда прибывали и убывали в неизвестную мне даль. Женщины, дети, торговцы мелочным товаром, солдаты и носильщики неслись через зал ожидания, пытаясь поспеть к отходящему поезду, а я сидел, недвижный, на скамье. Чуть погодя Цинциннати, Крестлайн, Дейтон и Лима выветрились у меня из головы, и место их заняла ключевая фраза, камертон моего сознательного бытия, *Пепси-кола в точку бьет*, произносимая — про себя, естественно — медленно и с подвыванием, на манер оракула. Потом и она, в свою очередь, растаяла во мгле, и ничто не пришло ей на смену.

Если вы похожи на бродягу, вряд ли вам удастся спокойно провести всю ночь на вокзальной скамье, даже и на самом оживленном терминале, однако если вы одеты более или менее прилично, имеете при себе чемодан и сидите прямо, ни полицейские, ни станционный персонал вас не тронут. Я сидел на том же самом месте, в той же позе, когда на следующее утро до чумазых вокзальных окон дотянулось со́лнце, и, согласно природе недуга, наверное, просидел бы так до второго пришествия, если бы где-то около девяти утра юркий маленький человечек лет пятидесяти не остановился прямо напротив меня и не уставился мне прямо в глаза. Он был лысый, темноглазый, фатоватый, он был негр, он носил седоватые усики и щегольской твидовый костюм. Тот факт, что мои зрачки даже и не дрогнули под его взглядом, сам по себе весьма показателен, потому что в обычном состоянии посмотреть незнакомому человеку прямо в глаза вещь для меня почти невозможная.

— А не вас ли я видел на этом самом месте вчера вечером? — спросил он голосом громким и резким. Я не ответил. Он подошел поближе, наклонился к самому моему лицу и поводил у меня перед глазами указательным пальцем, дюймах в двух, не дальше. Но мои глаза не стали следить за пальцем. Он сделал шаг назад, оглядел меня эдак критически, а потом вдруг щелкнул пальцами прямо у меня перед носом. И я невольно моргнул, хотя головой и не дернул.

— Ага, — сказал он и еще раз меня оглядел. — И часто это с вами бывает, молодой человек?

Именно из-за резкости и уверенности его тона, вероятнее всего, во мне и набухло, подобием отрыжки, ответное *нет*. И, подавив сознательным усилием воли желание выпустить его наружу (по большому счету, опять-таки, не было никаких особенных причин вообще отвечать на вопрос), я уже понял, что с этого момента искусственно поддерживаю вполне естественное дотоле состояние неподвижности. Вообще не делать выбора попросту невозможно: раньше я выбрал бездействие, поскольку на момент выбора уже находился в состоянии покоя. Теперь, однако, удержать язык было труднее, требовало бо́льших усилий, нежели вытолкнуть наружу то, чем был набит мой рот, поэтому чуть погодя я и ответил: «Нет». И, конечно, транс прошел. Я смутился, поспешно встал со скамьи и, на негнущихся ногах, сделал попытку уйти.

— Куда это вы собрались? — с улыбочкой спросил меня негр.

— Что? — нахмурился я. — Ну... сяду на автобус, поеду домой. До свидания.

— Подождите. — Голос был тихий, но тон приказной совершенно. Я остано-

вился. — Не выпьете со мной кофе? Я врач, и мне было бы любопытно обсудить с вами ваш случай.

— Нет у меня никакого случая, — буркнул я в ответ. — Я просто... я просто присел тут на пару минут.

— Ничего подобного. Я видел вас вчера вечером, когда сам приехал сюда десятичасовым из Нью-Йорка, — сказал доктор. — Вы сидели в той же позе. Вы были *парализованы*, не так ли?

Я хохотнул:

— Ну, если вам так будет угодно; но только со мной все в порядке. Не знаю, что на меня такое нашло.

— Конечно, не знаете, зато я знаю. Я специализируюсь на различных видах физической иммобилизации. Вам повезло, что я сегодня утром снова здесь оказался.

— Нет, вы не поняли...

— Я вывел вас из ступора, ведь так? — весело сказал он. — Держите. — Он вынул из кармана полтинник и сунул его мне в руку — и я взял, прежде чем успел понять, что я делаю. — Мне туда, в этот бар, нельзя. Возьмите два кофе, и мы тут с вами посидим пару минут, подумаем, что делать дальше.

— Нет, послушайте, я...

— А что вас смущает? — рассмеялся он. — Давайте, давайте. Я вас тут подожду.

В самом деле, почему бы и нет?

— У меня своих денег хватит, — начал было я, протянув ему его полтинник, но он только махнул рукой и раскурил сигару.

— Давайте быстрее, — спокойным, не допускающим возражений тоном, не вынимая сигары изо рта. — Двигайтесь, и поживей, если не хотите снова застыть. И не думайте ни о чем, кроме кофе, который я вас попросил принести.

— Ладно. — Я развернулся и с достоинством направился ко входу в бар.

— Быстро! — захохотал за моей спиной доктор. Я покраснел и невольно ускорил шаг.

В ожидании кофе я попытался вызвать в себе то чувство удивления в отношении как собственного недуга, так и незваного моего спасителя, которое, по логике вещей, должен был испытывать, но невероятная усталость, сковавшая и мозг и тело, лишила меня способности удивляться. Я вовсе не хочу сказать, что состояние было неприятным — некое подобие наркоза, едва ли не общей анестезии, и чувствовать такое мне, пожалуй, даже нравилось, хотя и не слишком — вот только оно выматывало, как выматывает слишком долгий сон, и так же не хватало сил сбросить с себя эту хмарь, как если проспал, скажем, сутки кряду и выбрался наконец из кровати. И в самом деле, как предупреждал меня Доктор (именно тогда, не зная еще моего благодетеля по имени, я и начал думать о нем с большой буквы «Д»), соскользнуть обратно в неподвижность прямо здесь, у стойки станционного буфета, оказалось до смешного просто: я уже почувствовал, как начал закостеневать мой мозг, и только настоятельный императив буфетчика: «Тридцать центов, пожалуйста» — вернул мне способность действовать — к счастью, потому что Доктор никак не смог бы войти в бар для белых, чтобы оказать мне помощь. Я расплатился и благополучно донес бумажные стаканчики с кофе до скамейки.

— Вот и славно, — сказал Доктор. — Садитесь.

Я замешкался. Потому что стоял прямо напротив него.

— Сюда! — рассмеялся он. — С этой стороны! Вы прямо как ослик меж двух охапок сена!

Я сел там, где он велел, и мы стали прихлебывать кофе. Подспудно я ждал, что вот сейчас он начнет задавать мне всякие вопросы, Доктор, однако, меня попросту игнорировал.

— Спасибо за кофе, — неуверенно сказал я. Он глянул на меня, коротко, скучающим этаким взглядом, как если бы я был бессловесный до сей поры попугай, который вдруг ни с того ни с сего сморозил какую-то глупость; и вернулся к созерцанию вокзальной толпы.

— Мне нужно еще сделать пару звонков, прежде чем мы сядем на автобус, — заявил он чуть погодя, даже не повернувши головы в мою сторону. — Это не займет много времени. Мне просто хотелось убедиться, что вы еще здесь — пока я не уехал из города.

— Что значит сядем на автобус?

— Вам придется проехать на Ферму — в мой Центр Ремобилизации, это возле Вайкомико — и задержаться там на денек-другой для обследования, — холодно объяснил он. — У вас же нет никаких других дел, верно?

— Ну, мне, пожалуй, надо бы вернуться в университет. Я учусь.

— Понятно, — усмехнулся он. — Об этом на некоторое время можно забыть. Вы сумеете вернуться через несколько дней — если будет желание.

— Постойте, у вас, должно быть, и в самом деле сложилось неверное представление о том, что со мной такое было. Я не паралитик. Просто очень глупо все получилось, правда. Я вам сейчас все объясню, если хотите.

— Да нет, не беспокойтесь. Я не хочу вас обидеть, но те вещи, которые вам кажутся важными, могут вообще не иметь никакого отношения к делу. То, что мои пациенты имеют мне рассказать, меня по большей части не слишком интересует. Им только дай волю — все на свете поставят вверх ногами. В конце концов, какая разница, из-за чего так получилось, раз уж все равно получилось? — Он улыбнулся на все тридцать два. — Моя Ферма в этом смысле нечто вроде женского монастыря — я никогда не спрашиваю, по каким таким причинам мои пациенты ко мне попали. Забудьте о причинах; я не психоаналитик.

— Но именно это я и имел в виду, сэр, — я попытался рассмеяться, и смех вышел натужный. — С психической точки зрения я абсолютно здоров.

— Если не считать того, что вы не могли пошевелиться, — сказал Доктор. — Как вас зовут?

— Джейкоб Хорнер. Я аспирант в Джонсе Хопкинсе...

— Стоп, стоп, стоп, — остановил меня он. — Никаких биографических подробностей, Джейкоб Хорнер. — Он допил кофе и встал. — Пойдемте поймаем такси. Не забудьте свой чемодан.

— Но — постойте!

— Что такое?

Я лихорадочно соображал, как бы от него отделаться; бред какой-то.

— Нет... это просто бред какой-то.

— Ну и что?

Я замялся, моргая и облизывая губы.

— Думайте, думайте! — рявкнул Доктор.

Мой мозг работал как мотор на холостом ходу. Ответа не было.

— Нет, я... вы уверены, что все в порядке? — Я и сам не понял, что имел в виду.

Доктор издал короткий насмешливый звук (нечто вроде «Хаф!») и повернулся ко мне спиной. Я покачал головой и увидел в тот же момент, будто со стороны, как нерешительно топчусь на месте, а потом подхватил чемодан и пошел вслед за Доктором туда, где у края тротуара выстроились свободные такси.

Вот так и начался мой alliance с Доктором. Мы заехали сперва в одно заведение на Северной Ховард-стрит, где он заказал два кресла-каталки, три пары костылей и еще какие-то штуки для своей Фермы; потом в оптовую фармацевтическую фирму на Южной Пака-стрит, и там он тоже что-то заказывал. Потом мы поехали на автобусную станцию «Даблью Би энд Эй» на углу Ховард и Редвуд-стрит и сели

на «Красную звезду», рейс к Восточному побережью. Докторов «меркюри», микробус, был припаркован в Вайкомико, у автовокзала; он довез меня до деревушки под названием Вайнленд, милях в трех к югу от Вайкомико, свернул с шоссе на боковую дорогу, а потом мы еще долго тряслись по извилистому проселку, покуда не подъехали к Центру Ремобилизации, старому, но чисто выкрашенному в белый цвет, крытому дранкой дому, — а дом стоял в дубовой рощице, а рощица на холмике, а холмик выходил к безымянному какому-то ручью. Сидевшие у входа пациенты, весьма престарелые леди и джентльмены, обрушили на Доктора поток ворчливо-жалобных приветствий, не лишенных своеобычного энтузиазма, и он, в свою очередь, им ответил. На меня они смотрели с откровенной подозрительностью, если не сказать враждебностью, но Доктор моего присутствия никак не стал им объяснять — и я понял, что рассчитывать придется только на себя.

В доме меня представили мускулистой миссис Доки и препроводили в Комнату Директив и Консультаций для первого собеседования. Я прождал в этой комнате, чистой и с голыми стенами, хотя и не слишком похожей на обычный медицинский кабинет — просто пустая белая комната в большом сельском доме, — минут, наверное, десять, а потом вошел Доктор и сел прямо напротив меня, пожалуй даже чересчур напротив. Он успел надеть белую клинического вида тужурку и выглядел теперь лицом официальным и компетентным до чрезвычайности.

— Я в двух словах вам кое-что объясню, Джейкоб, — сказал он, наклонившись вперед: руки на коленях, сигара между фразами перекатывается во рту. — Ферма, как вы уже поняли, создана для лечения паралитиков. Большинство моих пациентов — люди в возрасте, но вы не должны из этого делать вывод, что у нас здесь что-то вроде дома престарелых. Это не так. Вы, вероятно, обратили внимание, когда мы подъехали к дому, что мои пациенты меня любят. В недавнем прошлом, в силу тех или иных причин, я несколько раз менял дислокацию Фермы. Мы базировались неподалеку от Тройя, Нью-Йорк; потом возле Фон-дю-Лака, Висконсин; потом в районе Билокси, Миссисипи. И еще были всякие другие места. Едва ли не все пациенты, которые живут сейчас здесь, на Ферме, со мной еще со времен Фон-дю-Лака, и если завтра мне придет в голову перебраться в Хелену, Монтана, или в Фар-Рокавей, большинство отправится туда за мной следом, и не потому, что им больше ехать некуда. Только не думайте, что и я питаю к ним такую же точно любовь. Каждый из них представляет собой ту или иную, более или менее интересную проблему в области двигательных дисфункций, а меня, соответственно, интересует разработка методов лечения для каждой из них. Вам я это говорю, им — нет; ваша проблема такова, что вам подобная информация не повредит. И, если уж на то пошло, вы ведь все равно не знаете, правду я вам говорю или все это — лишь часть моего общего, составленного специально для вас терапевтического плана. Вы даже не можете знать, истинно ли то зерно сомнения, которое я сейчас заронил в вашу душу, или и оно тоже является своего рода лечебной процедурой: продвижение к истине, Джейкоб, и даже сама вера в существование оной есть терапия либо антитерапия, в зависимости от проблемы. Единственное, в чем вы можете быть уверены, так это в существовании вашей проблемы самой по себе.

— Да, сэр.

— Зачем вы это сказали? — спросил Доктор.

— Что я сказал?

— «Да, сэр». Зачем вы сказали: «Да, сэр»?

— Хм... я просто признал все то, что вы сказали.

— Признали правоту мною сказанного или же просто сам факт, что я это все сказал?

— Мм-да, — я замешкался, засуетился. — Я не знаю, сэр.

— Вы не знаете, сказать ли вам, что вы признаете правоту мною сказанного,

тогда как в действительности вы ее не признаете, или сказать, что вы признаете сам факт некоего сообщения, рискуя обидеть меня подозрением, что вы не согласны со сказанным. А?

— Н-ну, я согласен *отчасти*, — нашелся я.

— С которыми частями вы согласны? С какими положениями?

— Я не знаю, вероятнее всего... — я торопливо обыскал все закоулки памяти, пытаясь вспомнить хотя бы одну фразу. Он с минуту понаблюдал, спокойно и холодно, за тем, как я барахтаюсь, и продолжил свой монолог так, будто никакой паузы и в помине не было.

— Агапотерапия — терапия, основанная на чувстве привязанности, — зачастую показана пациентам старшего возраста, — сказал он. — Одним из наиболее действенных стимулов для восстановления двигательных способностей является в подобных случаях привязанность к конкретной фигуре, к лечащему врачу или к кому-нибудь из администрации. Это позволяет им сосредоточить внимание. По сей причине я время от времени меняю дислокацию, даже если со всех других точек зрения это и не обязательно. Когда они принимают решение следовать за мной, им это идет на пользу. Агапотерапия — лишь одна из множества иных возможных терапевтических техник, как планомерных, так и симультанных, которые я применяю к моим пациентам. И вам не найти двух пациентов, которые проходили бы один и тот же курс, потому что не бывает двух одинаковым образом парализованных людей. Авторы учебников по медицине, — добавил он с ноткой презрения в голосе, — как, впрочем, и все мы, выходят на уровень обобщений за счет игнорирования частностей. Они полагают, что можно вылечить от паралича, прочитав учебник и выучив правила — как будто все больные парализованы исключительно в соответствии с правилами. Не существует такой вещи, как *паралич*, Джейкоб. Есть только парализованный Джейкоб Хорнер. И я не *лечу* паралич: я выстраиваю систему терапевтических техник, дабы ремобилизовать конкретного Джона Икс или Джейкоба Хорнера, если уж таковой подвернулся под руку. Поэтому я и не стал вас слушать, когда вы пытались мне объяснить, что вовсе не парализованы — наподобие тех людей, что сидят сейчас у крыльца. Я не буду лечить ваш паралич; я буду лечить парализованного Джейкоба Хорнера. И пожалуйста, не говорите: «Да, сэр».

Желание поддакнуть есть вещь почти необоримая, но я таки сумел смолчать и даже не кивнуть в ответ.

— У вас, мне кажется, даже не одна проблема, а несколько. Рискну предположить, что вы и понятия не имеете о количестве зрительских мест на Кливлендском муниципальном стадионе, а, что скажете?

— Что?

Доктор даже не улыбнулся.

— Вам показалось, что мой вопрос абсурден, хотя у вас нет никаких оснований для такой оценки, как, впрочем, и для противоположной, — но вы меня, судя по всему, прекрасно слышали и поняли вопрос. Возможно, вы просто хотите оттянуть момент, когда я окончательно удостоверюсь, что вы *не знаете,* какова вместимость Кливлендского муниципального стадиона, поскольку ваше тщеславие будет задето в том случае, если вопрос *не является* абсурдным, и даже в том случае, если он таковым является. Совершенно не важно, Джейкоб Хорнер, абсурден мой вопрос или нет: это вопрос, заданный вам вашим доктором. Итак, существуют ли какие-нибудь веские причины, по которым Кливлендский стадион не мог бы вместить пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь человек?

— Я таковых не вижу, — ухмыльнулся я.

— И не притворяйтесь, что вам весело. Конечно, их нет и быть не может. А есть такие, по которым он не может вмещать восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять человек?

— Нет, сэр.

— Естественно. И до тех пор, покуда речь идет о Разуме, его — стадиона — вместимость может быть едва ли не любой. Логика ни при каких обстоятельствах не даст вам ответа на мой вопрос. Дать его может исключительно Познание Мира. Нет таких непреложных причин, по которым Кливлендский стадион должен вмещать ровно семьдесят семь тысяч семьсот человек, однако так уж вышло, что именно столько он и вмещает. Нет, по здравом размышлении, никаких причин, по которым Италия не могла бы иметь очертаний, ну, скажем, сосиски, а не сапога, но, опять же, так получилось. *Мир есть все то, о чем идет речь,* а то, о чем идет речь, не есть предмет логики. Если вы просто *не знаете*, сколько народу может усесться на Кливлендском муниципальном стадионе, у вас нет никаких достаточно веских резонов предпочесть одно число другому, даже если допустить, что у вас вообще есть возможность выбора — понимаете? Но если Познание Мира снабдило вас необходимой информацией, вы будете вполне в состоянии сказать: «Семьдесят семь тысяч семьсот» — и точка. Проблема выбора не стоит.

— И все-таки, — сказал я, — все равно придется выбирать, отвечать тебе вообще или нет, и отвечать ли правду, даже если ты знаешь правильный ответ, да?

Взгляд Доктора, ровный и пристальный, дал мне понять, что вопрос я задал глупый, хотя мне он и показался вполне логичным.

— Первое, что вам надлежит сделать, — сказал он сухо, — так это пойти купить себе «Всемирный альманах» за 1951 год и взяться скрупулезнейшим образом за его изучение. Это должно оказать на вас дисциплинирующее воздействие, и вам придется изучать «Альманах» долго и всерьез, может быть, несколько ближайших лет. Информационная терапия — одна из техник, которые нам нужно будет ввести с самого начала.

Я покорно мотнул головой и усмехнулся себе под нос.

— И что, все ваши пациенты зубрят наизусть «Всемирный альманах», а, Доктор?

Я мог бы с тем же успехом вообще не открывать рта.

— Миссис Доки покажет вам вашу койку, — сказал Доктор и встал. — Я в скором времени еще раз с вами побеседую. — Уже в дверях он остановился и добавил: — Кое-кто из пожилых джентльменов, возможно, позволит себе ночью наверху, в дормитории, некоторые вольности. Они проходят курс Сексуальной Терапии, и я нахожу подходящими и полезными в их случаях отношения скорее гомо-, нежели гетеросексуальные. Но не думаю, что вы обязаны отвечать им взаимностью — конечно, если такого рода контакты не являются для вас естественными. Вам вообще следует как можно меньше осложнять себе жизнь, по крайней мере некоторое время. Дайте им понять — поделикатнее, — что вам это не интересно, и они вернутся друг к другу.

Что я мог ему на это сказать? Немного погодя миссис Доки показала мне мою кровать в мужской общей спальне. Соседям меня не представили, и сам я тоже представляться не стал. Фактически (хотя с тех пор я и узнал их чуть короче) за те первые три дня, проведенные мною на Ферме, мы обменялись едва ли дюжиной слов, а гомосексуальных домогательств было и того меньше. Когда я уехал, они дружно перевели дух.

Каждый день Доктор два или три раза уделял мне по часу. Он и в самом деле почти не задавал мне вопросов личного свойства; наши разговоры состояли главным образом из его филиппик в адрес профессиональной медицины, ничего не смыслящей в том, что касается паралича, а также обвинений в мой адрес, ибо состояние мое целиком и полностью было следствием дурного характера и неправильного развития моих умственных способностей.

— Вы заявляете, что в целом ряде ситуаций оказывались не способны сделать

выбор, — сказал он мне однажды. — А я утверждаю, что эта неспособность только теоретически может быть приписана самой ситуации при отсутствии человека, который делает выбор. При наличии конкретного субъекта подобное просто немыслимо. Но поскольку в вашем случае невозможность выбора все же имела место, винить в этом нужно не ситуацию, а отсутствие субъекта. Возможность выбора есть основа основ нашего существования: доколе вы не выбираете, вы и не существуете. Все, что мы делаем, ориентировано на выбор и на действие. И неважно, является ли это действие более мотивированным, нежели бездействие, или менее мотивированным; важно то, что оно бездействию противоположно.

— Но почему человек обязан выбрать именно действие? — спросил я.

— Нет такой причины, — сказал он, — как и нет причины предпочесть бездействие. Вас нужно лечить просто потому, что вы в конце концов норму предпочли аномалии, а не потому, что одно состояние по определению лучше другого. Весь мой курс на первых порах будет направлен на то, чтобы вы научились отдавать себе отчет в факте собственного существования. Неважно, будете ли вы действовать конструктивно или хотя бы просто последовательно, главное, чтобы вы действовали. Неважно, в нашем с вами случае, достоин ваш характер восхищения или же порицания — если вы уверены, что у вас вообще есть характер.

— Я одного не понимаю, — сказал я, — по какой такой причине вы, Доктор, сделали свой выбор и принялись нас, несчастных, лечить.

— Не ваше дело, — ответил мне Доктор.

Вот так оно и поехало. Меня обвиняли, прямо или косвенно, во всех смертных грехах, от умственной нечистоплотности и тщеславия до того, что меня, собственно, просто не существует. Если я пытался протестовать, Доктор умозаключал: мои протесты указывают на то, что я признаю его утверждения верными. Если я просто сидел, молчал и мрачно слушал, он умозаключал: мой мрачный вид есть свидетельство того, что я признаю его утверждения верными.

— Ну ладно, — я наконец решил сдаться. — Все, что вы сказали, чистая правда. От первого до последнего слова.

Доктор выслушал меня с непроницаемым выражением лица.

— Вы сами не знаете, что говорите, — сказал он. — Такой вещи, как правда, вообще нет в том виде, в каком вы себе это представляете.

Эти, по всей видимости, бессмысленные собеседования не были единственным моим занятием на Ферме. Перед каждым приемом пищи я вместе с остальными пациентами занимался под руководством миссис Доки своего рода гимнастикой. Для самых дряхлых упражнения были очень простыми — кивать головой или сгибать и разгибать руки, — хотя отдельные старички выделывали просто чудеса акробатики: один джентльмен, лет семидесяти от роду, оказался мастером лазать по канату, а две старушки довольно живо крутили сальто. Каждому из нас миссис Доки предписывала свое; моей специальностью были произвольные, однако же безостановочные движения. Даже и во время еды, когда любые сложные движения были по понятным причинам исключены, я должен был все время крутить пальцем или притаптывать ногой. А еще мне было велено всю ночь ворочаться с боку на бок: требование, должен заметить, отнюдь не лишенное оснований, потому что я и без того всю жизнь ворочался по ночам, даже во сне — с самого раннего детства.

— Движение! Движение! — восклицал, едва ли не патетически, Доктор. — Вы должны постоянно *осознавать*, что вы движетесь!

Существовали особые диеты и, для многих пациентов, особые медикаментозные курсы. Я узнал о существовании Пищевой Терапии, Медикаментозной Терапии, Хирургической Терапии, Динамической Терапии, Информационной Терапии, Разговорной Терапии, Сексуальной Терапии, Агапотерапии, Терапии Занятости и

Терапии Суеты, Терапии Добродетели и Терапии Порока, Теотерапии и Атеотерапии — и, наконец, Мифотерапии, Философической Терапии, Скриптотерапии, а также великого множества всяких иных терапий, применяемых к здешним пациентам в различных сочетаниях и последовательности. С точки зрения Доктора, на свете нет ничего, что не оказывало бы на человека терапевтического, антитерапевтического или же неопределенного воздействия. Он своего рода суперпрагматик.

В конце последнего нашего собеседования — было решено, что я, пробы для, вернусь в Балтимор, и мы посмотрим, вернется ли ко мне мой ступор, а если вернется, то как скоро, — Доктор снабдил меня набором инструкций.

— В вашем конкретном случае, — сказал он, — в Бога верить не показано. Вера будет способствовать упадку духа. Но, пока мы вам чего-нибудь не подберем, неплохо бы уверовать в какую-никакую философскую систему. Почему бы вам не почитать Сартра и не заделаться экзистенциалистом? Это заставит вас не сидеть на месте, покуда не найдется что-нибудь более подходящее. Читайте «Всемирный альманах»: это вам вместо требника. Найдите себе работу, в дневные часы, предпочтительно на производстве, не слишком квалифицированную, но и не слишком простую, чтобы вы во время работы могли связно думать. Так, чтобы надо было выполнять не одну операцию, а несколько разных, друг за другом. По вечерам выходите в город; найдите себе компанию, играйте в карты. От покупки телевизора я бы советовал на время воздержаться. Если захочется почитать что-нибудь кроме «Альманаха», читайте исключительно пьесы — никаких романов, никакой документалистики. Делайте гимнастику, постоянно. Почаще ходите пешком, и на большие расстояния, но только всегда идите к заранее намеченной точке, а как только доберетесь до нее, тут же поворачивайте обратно к дому. И подыщите себе другую квартиру; лишние воспоминания вам ни к чему. Не женитесь и не заводите постоянных связей: если не хватит духу на проституток, займитесь пока мастурбацией. И, самое главное, действуйте импульсивно: не позволяйте себе раздумывать над альтернативами, иначе вы пропали. Вы не настолько сильны. Если альтернатива чисто пространственная, выбирайте то, что слева, если временна́я, следуйте порядку очередности. Если ни то ни другое не подходит, выбирайте по первым буквам, в алфавитном порядке. Сие суть принципы Левосторонности, Первоочередности и Алфавитной Последовательности; есть еще и другие, совершенно случайные, однако не бесполезные. Всего доброго.

— До свидания, Доктор, — сказал я, слегка задохнувшись, и собрался идти.

— Если будет еще один приступ, свяжитесь со мной сразу же, как только придете в себя. Если ничего не случится, приезжайте через три месяца. Мои услуги обойдутся вам в десять долларов за визит — за первый я с вас денег не возьму. Собственно говоря, ваш случай мне не слишком интересен, Джейкоб, как и тот вакуум, который у вас вместо личности. Это *ваша* проблема. И помните: движение, постоянное движение. Будьте engage[1]. Вмешивайтесь во все, во что только можно.

Я вышел, слегка ошалевший, и сел на автобус в Балтимор. Там, будучи наконец предоставлен самому себе, я получил возможность решить: что же я, собственно, думаю о Докторе, о Ферме Ремобилизации, о бесконечном списке всяких Терапий и о моем ко всему этому отношении. Одно было ясно как божий день: Доктор практиковал либо вообще вне закона, либо же где-то на самой грани. Сексуальная, к примеру, Терапия — одно только название чего стоит — вряд ли могла быть одобрена Американской медицинской ассоциацией. Потому-то, вне всякого сомнения,

---

[1] Ангажированный, вовлеченный, участвующий; доброволец, волонтер (*франц.*). Поскольку речь только что шла об экзистенциализме и о Сартре, возможна пародийная аллюзия на позицию, занятую этим французским мыслителем в 40—60-х годах.

его заведение так часто и переезжало с места на место. Он был явный чудак — хотя, скорее всего, и не бездарный, — а потому невольно возникал вопрос, есть ли у него хоть какая-то лицензия и имеет ли он вообще право практиковать. Поскольку — если не обращать внимания на все его умствования — от прочих его пациентов я весьма и весьма отличался, трудно было не предположить, что я для него представляю некий особенный интерес: тогда он, вполне возможно, несостоявшийся психоаналитик. Или, в худшем случае, гибрид шарлатана и пророка — Отец Небесный, Сестра Кенни и Бернарр Макфадден в одном лице (все они, заметим, были фигуры весьма впечатляющие), с присовокуплением народного целительства и салонного фрейдизма, — который тянет потихоньку свой полулегальный гешефт, дом отдыха для престарелых эксцентриков; и все-таки смеяться над ним не хотелось, он был человек сильный, и его наблюдения слишком уж часто били в точку. Короче говоря, мне так и не удалось составить сколь-нибудь определенного мнения ни о нем самом, ни о его Ферме, ни о методах лечения.

Доктор и впрямь более чем странный. Я продолжал тешить себя мыслью, что просто не даю пропасть хорошей шутке, но тем не менее перебрался из «Брадфорда» на Ист Чейс-стрит, подальше от центра; нанялся сборщиком на линию по сборке «шевроле» на Бренинг-хайвей, где я при помощи пневматического ключа крепил болтами рессоры на левой стороне шевролетного шасси, и вступил в профсоюз. Я начал читать Сартра, но у меня тут же возникли определенные трудности с применением его идей в конкретных ситуациях. (Как, спрашивается, при помощи экзистенциализма вы можете решить дилемму: брать вам завтрак с собой на работу или покупать его в заводском кафетерии? Нет, я решительно не философского склада человек.) Я поигрывал в покер с такими же, как я, сборщиками, регулярно ходил пешком от Чейс-стрит до моря и обратно и посещал второразрядные киношки. В силу собственного темперамента я и без Доктора был чаще всего атеист; запрет на женщин также не лег на меня тяжким грузом, потому что я, как правило, не слишком сексуально озабочен. Я правовернейшим образом исповедовал Принципы Левосторонности, Первоочередности и Алфавитной Последовательности (хотя бывали случаи, когда я затруднялся с выбором, который из них применить к данной конкретной ситуации). И вот уже два года я регулярно, раз в три месяца, езжу консультироваться на Ферму Ремобилизации. Дальнейшие рассуждения на тему, как и почему я подписался на странный этот альянс, который чаще всего приносит мне одни обиды и внутреннее неудобство, я считаю излишними — надеюсь, что всякий интересующийся причинами и поводами индивид найдет в вышеизложенном вполне достаточный материал для размышлений на эту животрепещущую тему.

Остановился я, насколько помнится, на том, как я сидел в Комнате Директив и Консультаций, в сентябре 1953 года, и ждал Доктора. Настроение в то утро у меня было необыкновенное; по большей части, переступая порог Фермы, я почти «внепогоден», и беспогодность, на мой взгляд, не худшее состояние для того, чтобы слушать советы, но в то утро, пусть я и не испытывал волнения или особенных каких-то чувств, погода все-таки была. Я был сух, и ясен, и уверен в себе, по некой неведомой мне причине мой ум был цепок и остер, и ни следа неловкости. С точки зрения метеорологии мое состояние можно было квалифицировать как sec supérieur[1].

— Как ваши дела, Хорнер? — добродушно спросил Доктор, входя в комнату.

— Спасибо, Доктор, лучше не бывает, — беззаботным тоном ответил я. — А вы как?

---

[1] Великая сушь (*франц.*) — показатель, соответствующий крайне высокому уровню атмосферного давления.

Доктор сел на место, расставил колени и, не ответив на мой вопрос, критичнейшим образом всего меня оглядел.

— Преподавать начали?

— Нет еще. С той недели. Два курса грамматики и два — композиции.

— Вот как. — Он покатал во рту сигару. Интересовал его я сам, а не то, что я скажу. — Вам не следовало бы преподавать композицию.

— Все сразу не бывает, — жизнерадостно ответил я, вытянул ноги к нему под стул и закинул руки за голову. — Такие были условия, все или ничего, и я согласился. — Доктор оценил положение моих рук и ног.

— Как зовут этого самоуверенного типа, с которым вы изволили подружиться? — спросил он. — Тоже тамошний преподаватель? Н-да, гонора ему не занимать!

Я покраснел: мне вдруг пришло в голову, что я и *впрямь подражал* Джо Моргану.

— С чего вы взяли, что я кому-то там подражаю?

— А я такого вовсе и не говорил, — улыбнулся Доктор. — Я только спросил, кто этот уверенный в себе человек, с которым вы, судя по всему, успели свести довольно близкое знакомство.

— Не ваше дело, сэр.

— Ого. Что ж, прекрасно. Жаль, что вы не можете позаимствовать эту манеру раз и навсегда — тогда бы вам мои услуги больше и не понадобились! Но для этого ваше состояние еще недостаточно стабильно, Джейкоб. К тому же — ведь вы не можете так себя вести, когда вы в его обществе, не правда ли? И тем не менее я рад, что вы научились принятию роли. Вы, вероятнее всего, подготовили этот сюрприз специально для встречи со мной: человек с характером этого вашего приятеля никогда не позволил бы полоумному чудику с охапкой идиотских методик над собой измываться, а?

— Вы правы, Доктор, — сказал я; и пар из меня понемногу вышел весь.

— Это лишний раз доказывает, что вы, и с терапевтической точки зрения тоже, готовы к переходу на Мифотерапию — поскольку, сами того не сознавая, уже ее практикуете. Но было бы лучше, если бы вы четко себе представляли, что́ вы, собственно, делаете, чтобы не ляпнуться по незнанию. Насколько помню, я некоторое время назад рекомендовал вам заделаться экзистенциалистом. Вы читали Сартра?

— Кое-что, не все. Честно говоря, я вряд ли родился экзистенциалистом.

— Вы уверены? Ну что ж, теперь это уже не слишком важно. Мифотерапия построена на двух допущениях: что человеческая экзистенция предшествует человеческой эссенции, если оба эти термина и в самом деле хоть что-нибудь означают; и что человек волен не только выбирать свою эссенцию, но и менять ее по своему усмотрению. И то и другое — недурные экзистенциалистские посылки, а истинны они или нет, для нас в данном случае не важно: в вашем случае они *полезны*.

И он стал объяснять основы Мифотерапии.

— В жизни, — сказал он, — не бывает персонажей, по сути своей основных или второстепенных. С этой точки зрения вся беллетристика, все биографические и большая часть историографических сочинений лживы насквозь. Всяк есть герой своего собственного романа. «Гамлета» можно пересказать от лица Полония и озаглавить «Трагическая история Полония, гофмейстера датского». Вряд ли он сам считал себя второстепенным персонажем в чьей-то там чужой истории. Или, допустим, вы шафер на свадьбе. С точки зрения жениха, он и есть тут главное действующее лицо; всем прочим, в том числе даже и невесте, уготовано играть свиту. С вашей же точки зрения, вся эта свадьба — не более чем проходной эпизод в увлекательнейшей истории *вашей* собственной жизни, а жених с невестой играют в

массовке. И вы сами *принимаете роль* второстепенного персонажа: вам, может быть, просто нравится *притворяться* фигурой менее значительной, чем — и вы это прекрасно знаете — вы есть на самом деле, как это делает Одиссей, когда, преображенный, теряется среди свинопасов. И каждый участник свадебной церемонии видит себя именно протагонистом, который снизошел до того, чтобы зайти посмотреть на спектакль. В таком ракурсе беллетристика не ложь, а истинное воплощение свойственного человеку способа искажать действительность.

Далее, мы ведь не только главные действующие лица наших собственных историй, мы еще и сценаристы и отводим всем прочим участникам роль второстепенных персонажей. Но, поскольку ни одна человеческая жизнь не является, как правило, последовательным изложением одного и того же сюжета, нам постоянно приходится придумывать героя заново, а заодно — в соответствии с ним — и множество второстепенных ролей для всех остальных участников. Это общая закономерность. Если человек изо дня в день, с утра до вечера предстает в одном и том же образе, это означает, что либо он напрочь лишен воображения, вроде актера, способного играть одну-единственную характерную роль, либо же воображение у него настолько всеобъемлющее, что он во всякой частной жизненной ситуации видит эпизод некоего огромного сверхсюжета и способен таким образом все эти ситуации искажать, чтобы один и тот же герой был в состоянии с ними справиться. Но это в высшей степени нетипично.

Этот способ наделять людей ролями есть мифотворчество, а когда он применяется — осознанно или бессознательно, в целях защиты или повышения статуса собственного эго, — он и становится Мифотерапией. Вот мы и подошли к сути вопроса: ступор, каковой нашел на вас на вокзале, возможен исключительно в том случае, если по тем или иным причинам человек, его испытывающий, отказался от Мифотерапии. Тогда, на скамейке, вы не были ни главным, ни второстепенным действующим лицом: вы вообще не были действующим лицом. И, поскольку с вами такое однажды произошло, мне приходится объяснять вам вещи, с которыми другие люди рождаются. Это вроде как заново учить паралитика ходить.

Теперь: значительная часть так называемых жизненных кризисов случается именно оттого, что роль протагониста, принятая человеком для какой-то конкретной ситуации или ряда ситуаций, не отвечает ситуации, пришедшей ей на смену, или — что дает нам тот же результат — оттого, что человеку просто недостает воображения, чтобы исказить, приспособить новую ситуацию к прежней роли. Это сплошь и рядом происходит с родителями, когда вырастают их дети, или с любовниками, когда один из них начинает охладевать к другому. Если новая ситуация слишком значима, чтобы ее можно было игнорировать, человек может стать шизофреником — последняя, так сказать, маска — или просто невротиком. Как только вы начинаете говорить о человеческой цельности, данное обстоятельство нельзя не принимать во внимание, потому что цельный человек — это человек, верный тому сценарию, который он для себя написал.

Как я уже сказал, ваше состояние слишком нестабильно, чтобы позволить вам играть все время одну и ту же роль — и воображение у вас тоже не бог весть, — так что справляться с кризисами вам будет проще всего, меняя сценарии по ходу, столько раз, сколько потребуется. С этим вы справитесь; только не забывайте, вам необходимо постоянно отдавать себе отчет в том, что́ вы в данный момент творите, чтобы не оказаться вдруг совсем без сценария или в сценарии, не подходящем к данной ситуации. Очень, кстати, было неплохо для начинающего: как вы сегодня сюда вошли — уверенно, чуть ли не с вызовом — и приписали мне роль шарлатана. Но вы должны научиться мгновенно менять маски: на тот случай, если мне вдруг каким-то образом удастся сделать вашу стартовую позицию проигрышной. Допу-

стим — это всего лишь первое пришедшее на ум предположение, — вы могли бы представить меня, ну, скажем, Мудрым Старым Ментором, этаким Гибридом Нестора и Макиавелли, а себя — Простодушным Но Подающим Надежды Молодым Протеже, юным Александром, который в один прекрасный день применит все полученные знания на практике и уйдет много дальше, затмит учителя своего и наставника. Суть уловили? Или — идейка дрянная, но на крайний случай сойдет — Негодующим В Глубине Души Молодым Человеком, который терпит бредни Престарелого Дурика, но ни за что на свете не позволит ему задеть себя за живое. А дрянная она потому, что, если вы когда-нибудь попробуете надеть эту маску, вы тем самым отрежете себе путь к знаниям.

Для вас необычайно важно отдаваться каждой роли всей душой. И не думайте, что там, в глубине, под маской есть что-то еще: ни черта там нет. *Эго* означает *я*, *я* означает *эго*, а эго по определению есть маска. Там, где отсутствует эго — вроде как у вас тогда, на скамейке, — там отсутствует «я». Если у вас иногда появляется ощущение, что ваша маска лишена *искренности* — словечко-то какое! — так это просто потому, что одна из ваших масок никак не сочетается с другой. Нельзя же напяливать по две за раз. Отсюда конфликт, а конфликт между масками, как и отсутствие маски, есть источник иммобилизации. Чем острее вы сможете драматизировать ситуацию и четче определить собственную вашу роль и роли каждого из участников, тем в большей вы будете безопасности. С точки зрения Мифотерапии абсолютно безразлично, играете вы в данном случае главную роль или же второстепенную — до тех пор, пока она четко прорисована; однако, в силу общей природы вещей, роль вы берете на себя, как правило, все-таки главную. Ну, теперь скажите что-нибудь вы.

Я не мог.

— Говорите! — приказал Доктор. — Действуйте! Войдите в роль!

Я честно попытался хоть что-нибудь придумать, но у меня ничего не вышло.

— Черт вас подери! — взвился Доктор. Он пинком отправил стул куда подальше, прыгнул на меня, свалил на пол и принялся молотить что есть силы.

— Эй! — завопил я, ошарашенный этим внезапным нападением. — Прекратите сейчас же! Какого черта! — Преимущество и в силе, и в весе было на моей стороне, и мне довольно скоро удалось его с себя сбросить. Мы стояли друг против друга, отдуваясь, с трудом переводя дыхание.

— Полегче на поворотах, вы! — во мне проснулся боевой дух. — А то ведь можно и по-настоящему схлопотать, я больше шутки шутить не буду!

— Что у вас тут такое происходит? — миссис Доки осторожно приоткрыла дверь и заглянула к нам в комнату. Вот с ней бы мне лучше не связываться, подумал я.

— Нет-нет, ничего особенного, — улыбнулся Доктор, отряхивая беленькие брючки от колен и ниже. — Маленький курс Взбучкотерапии специально для Джейкоба Хорнера. У нас все в порядке. — Она закрыла дверь. — Ну что, продолжим наш разговор? — спросил Доктор, и глаза у него блеснули. — Речь у нас шла о возможности схлопотать, и тон у вас был очень мужественный.

Но у меня как-то разом пропало настроение участвовать во всем этом цирке. И желание видеть этого старого идиота тоже — по крайней мере, на ближайшие три месяца.

— Или, может быть, вы на сегодня сыты Старым Чудиком по горло, а?

— Интересно, — проворчал я, пробуя на вкус чувство внутренней неловкости, — а что о вашей Ферме сказал бы местный вайкомикский шериф? Представляете, приезжает вдруг полиция и начинает выяснять насчет Сексуальной Терапии?

На Доктора мои угрозы впечатления не произвели.

— И наведете их, конечно, вы? — он был сама любезность.

— Думаете, не наведу?

— Понятия не имею, — сказал он, все так же мило улыбаясь.

— Думаете, пороху не хватит?

Этот мой вопрос, по какой-то не вполне очевидной для меня причине, явно его расстроил: он посмотрел на меня в упор.

— Да нет, не думаю, — быстро ответил он. — За вами не застрянет. Мне искренне жаль, если моя методика ремобилизации по-настоящему вас задела. Я хотел как лучше. Видите ли, вы и *в самом деле* снова впали в ступор.

— Дерьмо собачье! — медленно ухмыльнулся я. — Вы сами и вся ваша чушь насчет ступоров.

— Нет, и правда, Хорнер, на сегодня *хватит*! Вон отсюда! Надеюсь, что следующий ступор посетит вас в машине, по пути домой, на скорости шестьдесят миль в час! — Он уже почти кричал. — Убирайтесь, вы, недоумок хренов!

Его гнев, по всей видимости непритворный, оказавшийся на поверку, конечно же, очередной его маской, и только, мигом рассеял мой собственный.

— Извините меня, Доктор, — сказал я. — Что-то на меня такое нашло, больше это не повторится.

Мы обменялись улыбками.

— Ну отчего же? — рассмеялся он. — Есть такие ситуации, в которых терять над собой контроль не только приятно, но и полезно с терапевтической точки зрения. — Он подобрал и раскурил потерянную в схватке сигару. — Последние несколько минут продемонстрировали нам два весьма небезынтересных явления, Джейкоб Хорнер. Но я ничего не могу вам о них сказать до следующего вашего визита. А теперь, до свидания. Не забудьте расплатиться с миссис Доки.

И он вышел вон, спокойный и чистый как стеклышко, а несколько секунд спустя вышел и я: Немного Взвинченный Но Уверенный В Себе.

Глава седьмая

Танец секса: даже если б не было иной причины согласиться

Танец секса: даже если б не было иной причины согласиться с Фрейдом, как притягательна, как зазывно чарует нас идея, что весь водевиль мироздания, весь головокружительный круговорот истории —лишь причудливый брачный танец. Что диктаторы жгут на кострах евреев, а бизнесмены голосуют за республиканцев, что кормчие стоят у кормил, а леди играют в бридж, что барышни штудируют грамматику, а молодые люди — инженерное дело только лишь по велению Великой и Всеобщей Генитальности. Когда нахлынет вдруг желание видеть вещи в комплексе, что нас утешит, что даст нам надежную точку опоры, когда бы не простая мысль: одна на всех, но пламенная страсть, нелепый маленький коитус — лишь он в ответе за рожденье городов и монастырей, параграфов и поэм, спортивных состязаний и военных тактик, метафизики и гидропоники, профсоюзов и университетов. Кто из нас не пришел бы в восторг, выпади ему возможность сказать туристу из далеких галактических пределов: «На нашей планете, сэр, особи мужского и женского пола имеют обыкновение совокупляться. Более того, им нравится совокупляться. Но в силу самых разных причин они не могут заниматься этим, когда хотят, где хотят и с кем только хотят. Вот потому-то и возникла вся эта суета, которую мы с вами наблюдаем. А потому, стало быть, и возник наш мир». О, взгляд воистину терапевтический!

Мои занятия должны были стартовать седьмого сентября, в роскошный синий

день, хрусткий, как накрахмаленные блузки барышень, дружными рядами вошедших в мой класс и нервически рассеявшихся по местам. Стоя за кафедрой, ровно в восемь часов утра, в свежевыглаженном костюме и с подбородком, выскобленным едва ли не до блеска, я чувствовал, как у меня ходят ноздри, вдыхая, на манер самца-оленя по весне, тугой, ощутимый запах плоти, возбужденной и вымытой мылом, подхихикивающей и влажной; бедра мои дернулись, и я зевнул, яростно. Были и юноши, зеленые, худые, безусые и жизнерадостные, они поводили плечами, они вертелись и ерзали от одной только близости молоденьких грудок и попок, налитых, будто свежие, с легкой зеленцою персики. В первый день семестра воздух в классе наэлектризован сексом, как озоном после летних гроз, и мы все это чувствовали, хоть и не все природу чувства понимали: румяные лапочки елозили на своих сиденьях и натягивали юбки пониже на белые, мурашками пошедшие коленки; свежие, как на пружинах заведенные юнцы то горбились, то расправляли плечи и проводили наскоро рукой по стриженым затылкам; я сложил руки на груди, напряг ягодицы и, подавшись чуть вперед, дал краешку стола тихо лечь мне на ширинку подобием ласковой руки. Раннее синее утро есть эротичнейшее время суток, начало школьного семестра есть эротичнейшее время года; и я не знаю, кем нужно быть, чтоб не кивнуть об эту пору в сторону Фрейда.

Мы оценивающе друг друга оглядели. И я сказал, коротко, сжато, как настоящий профессионал:

— Я Джейкоб Хорнер, прошу любить и жаловать; мой кабинет в комнате двадцать семь, здесь рядом, за углом, добро пожаловать. Расписание присутственных часов на двери кабинета.

Затем я дал список текстов и краткое представление о курсе; ну и хватит на сегодня, вполне достаточно. Наша с ними игра — я в роли ученого мужа, они в роли прилежных студентов (они записали мое имя и номер кабинета с таким торжественным видом, как будто я продиктовал им Ключ к Тайне Тайн) — была настолько шита белыми нитками, мы так откровенно играли в школу, что любая попытка дать настоящий урок выглядела бы совершенной нелепостью. Да у любого нормального мужика, окажись он перед этакой вот батареей любопытных грудок и деликатесных попок, ладонь сама собой начнет оглаживать округлости в пространстве; и желание послать по адресу все церемонии и игры и взять этих славных девочек в оборот прямо здесь и сейчас становится просто невыносимым. Чтó, интересно, сказала бы нация, если бы в сентябрьское некое утро всякий что ни есть в стране молодой преподаватель выкрикнул свербящее в мозгу: «К черту всю эту чушь, мужики: хватайте их, пока не разбежались!» — о мысль утешительная!

— На сегодня все. Купите книги, и в следующий раз, в диагностических целях, начнем прямо со словарного диктанта.

Вот именно! Надиктую им для разгона сотню слов, достаточно быстро, чтобы они не отрывались от тетрадей, а сам, вознесшись над столом, буду всем сердцем ловить и принимать в себя каждый вздох заполняющего комнату Женского Начала (храни вас Бог, американские начальные школы, где маленьких девчушек приучают занимать передние ряды!). Может быть, тогда, налюбовавшись вволю, я и впрямь смогу вести занятия. Ибо точно так же, как человеку следует сперва привыкнуть к мебели, прежде чем спокойно усесться читать в своей комнате, нужно хорошенько переварить это обилие девических аксессуаров, чтобы обрести способность сосредоточить внимание на трезвых предписаниях английской грамматики.

Четырежды я повторял литургию, слово в слово — в восемь и в девять утра, потом в два и в три пополудни. Перерыв я провел в кабинете, нянчил, застыв за столом, великолепную эрекцию и взглядом собственника перебирал шеренги юных прозелиток, марширующих мимо двери. Мне ничего не оставалось делать, кроме

как прокручивать за разом раз ленивый сон, полуденную грезу об абсолютной власти — как у Нерона, как у Калигулы, власти, которая способна забить кабинет под завязку сменными составами первокурсниц, горячих и покорных, — о плотоядные мечты преподавателей!

К четырем часам, когда мой первый рабочий день подошел к концу, танец настолько успел меня захватить, что я уже испытывал боль чисто физическую. Я зашвырнул в машину пустой кейс и помчался через весь город прямиком к школе, чтобы выкопать из-под земли мисс Пегги Ранкин; пара-тройка вопросов в кабинете директора, и я как раз успел ее поймать на выходе из учительской.

— Поехали! — сказал я, с трудом переводя дыхание. — У меня к тебе очень важное дело!

Она меня узнала, вспыхнула и начала нести в знак протеста нечто невнятное.

— По-ехали! — я улыбнулся как мог широко. — Ты не представляешь, насколько это важно! — Я схватил ее за руку и мигом вытащил на улицу.

— В чем дело, Джейк? Куда мы едем?

— Куда прикажешь, — сказал я и открыл для нее дверцу.

— Джейк, ради всего святого, ты что, опять пытаешься просто-напросто меня снять? — у нее прямо-таки челюсть отвисла.

— *Просто*? Что ты имеешь в виду? Девочка моя, тут все не так просто, как тебе кажется.

— Ну конечно! Нет, это чистая фантастика! Ты мне скажи, Христа ради, за кого ты меня принимаешь?

Я поставил ногу на педаль газа.

— Так мы куда едем, к тебе или ко мне?

— Ко мне! — она была в ярости. — И на полной скорости! Я никогда в жизни не встречала такого чудовища! Ты же просто *чудовище*!

— Я не просто чудовище, Пегги: я, *кроме прочего,* и чудовище тоже.

— Нет, ты все-таки мерзавец! Вот самая твоя суть — ты совершеннейший мерзавец! Ты настолько поглощен собой, что даже намека на уважение к кому бы то ни было другому у тебя не осталось! Здесь налево.

Я повернул налево.

— Четвертый дом с правой стороны. Приехали.

Я припарковал машину.

— А теперь посмотри на меня, Джейк. *Посмотри* на меня! — она уже почти кричала. — Ты что, не понимаешь, что я такое же человеческое существо, как и ты? Да как ты *вообще* осмелился посмотреть мне в глаза после всего, что было? Даже если б ты настолько набрался наглости, чтобы просто позвонить и извиниться, даже и это было бы, наверно, слишком, но *такого*...

— Слушай, Пегги, — я был краток и прямолинеен. — Ты говоришь, что я тебя не уважаю. Это потому, что я не стал тогда, в Оушн-Сити, льстить тебе, а потом не извинился, а вчера вечером не позвонил и не договорился о сегодняшней встрече?

— Ну конечно! А *ты* думал почему? В тебе же ни на грамм обычной человеческой порядочности, даже и вежливости ни на грамм! Я... я не знаю, что сказать! Да ты и не мужчина вовсе после этого.

— Так, — сказал я мрачно, — объясняю один раз, повторяться не буду: мне казалось, ты достаточно взрослая, чтобы безо всяких пояснений понимать вещи, которые в пояснениях не нуждаются.

— Ты о чем это?

— Боюсь, Пегги, я тебя переоценил, — печально сказал я. — Встретив тебя, я было подумал, что ты и есть та Женщина, которой показалась мне с первого взгляда. Но, видишь ли, ты, судя по всему, обыкновенная беспросветная серость.

Она лишилась дара речи.

— Ты что, не понимаешь, — улыбнулся я, пересиливая тупую боль в мошонке, — что секс для меня значит, может быть, куда меньше, чем для всех тех мужчин, которых ты знала раньше?

— *Боже* ты мой!

— Я получаю от него удовольствие, как получал бы, наверное, удовольствие от большого количества денег, но мириться ради этого со всякой чепухой я не намерен.

— Ни даже намека на обыкновенное уважение к женской гордости!

— Вот-вот, в самую точку, — спокойно сказал я, — обыкновенное уважение, обыкновенная вежливость, обыкновенное то, обыкновенное се. А теперь собери все это вместе, и ты получишь обыкновенную интрижку, а вот этого-то мне и не надо. Ты, наверное, и впрямь не та женщина, которая мне нужна, Пегги, хотя какое-то время я готов был поклясться в обратном. Женщине, которая мне нужна, дела нет до обыкновенного к ней уважения: ей нужно уважение необычайное, а это означает такие отношения, где никто никому не станет делать обыкновенных, человеческих, как ты говоришь, поблажек.

— Я тебе не верю, — сказала Пегги растерянно и с тревогой в голосе.

— Ты сама себе противоречишь, — сказал я тихо. — Разве ты не понимаешь, что весь этот цирк собачий, вся эта лесть, галантность — весь тот театр, который мужчина закатывает для женщины — и есть *неуважение*? Любая ложь — неуважение, а разве это все не ложь? Рыцарский кодекс есть выдумка мужчин, которые не дают себе труда воспринимать женщину всерьез. В тот самый миг, когда мужчина и женщина начинают играть в эти игры, они перестают думать друг о друге как о полноценных человеческих существах: они потому и берутся играть по правилам, что не хотят глядеть своим партнерам прямо в лицо. Что, конечно же, отнюдь не лишено смысла, если думать только о сексе. Теперь, когда все равно уже слишком поздно, я даже могу сказать тебе, Пегги, что ты была единственной женщиной в моей жизни, которую я пытался уважать и принимать серьезно, по большому счету, так же, как я принимаю себя самого. Никакой лжи, никаких мифов, никаких поблажек, никакого лицемерия. Тот единственный возможный для меня вариант отношений с женщиной, которая была бы мне так же интересна по вертикали, как и по горизонтали.

Пегги разразилась нервным смехом.

— Я бы на твоем месте не стал над этим смеяться, Пегги, — сказал я глухо.

— Бог ты мой! — она никак не могла остановиться. — *Бог* ты мой!

Я повернулся к рулю боком и аккуратнейшим образом врезал ей справа, в скулу. Ее голова, откинутая ударом, стукнулась об оконное стекло, и она тут же начала плакать.

— Вот видишь, я все еще принимаю тебя всерьез, — сказал я.

Тихий стон.

— Попытайся понять меня, Пегги, я *не настолько озабочен*, чтобы просто укладывать женщин в постель. Я как-нибудь обойдусь. Но я никому не позволю швырять мои Кардинальные Ценности мне же в лицо! Я не привык бить женщин. К черту женщин. Мне нужен человек женского пола, к которому я смог бы относиться так же серьезно, как к себе самому. Если тебя это не устраивает, выкатывайся отсюда, но не смей смеяться над единственным мужчиной, который за всю твою жизнь в первый раз попытался отнестись к тебя на равных.

— Джейк, ради бога! — захлебнулась Пегги и рухнула лицом мне в колени. Новые потоки слез. — Как ужасно быть женщиной!

Я потрепал ее по затылку.

— Наше общество даже искренность заставляет звучать как самую большую ложь.

— Джейк?

— Что?

Загар успел сойти, а потому глаза у нее казались еще более красными, чем тогда, в июле.

— Я умру, если ты скажешь, что уже слишком поздно.

Я пригладил ей волосы.

— Я ведь ударил тебя, не так ли? А это уж совсем не по-рыцарски.

— И слава богу! — Она глянула в зеркало, оценила распухшую щеку. — Пусть бы она никогда, никогда не прошла!

— Знаешь, Пегги, я ведь и в самом деле *просто* подвез тебя домой, — сказал я, поигрывая ручкой дверцы. — Когда я смогу с тобой встретиться?

Вот теперь ее и впрямь как будто громом поразило.

— Джейк?

— Что?

— Господи, Джейк, *сейчас*! Ты просто обязан пойти ко мне прямо сейчас!

Я мысленно отдал честь Джо Моргану, il mio maestro[1], и еще раз — доктору Фрейду, поименователю космической сей свистопляски; и мы проследовали в квартиру мисс Ранкин. И pas de deux, и entrechat[2], и все такое. Начало было многообещающее, вот только захочу ли я обещания выполнять?

Ты сослужил мне славную службу в тот день, и жаль, что настал вечер, вечер первого моего по-настоящему подпольного визита к Ренни, а я уже не был готов стать тобою, Джо Морган, или другим каким-нибудь танцором. Секс никогда не играл в моей жизни особо значимой роли. Интервалы между женщинами затягивались надолго, и даже полное отсутствие постели меня, как правило, не слишком беспокоило. Эротическое вдохновение, вроде того, что я испытывал большую часть моего первого рабочего дня, посещало меня достаточно редко и быстро рассасывалось. И после первой удачно отыгранной сцены я был обыкновенно более чем труден на подъем — примерно как среднестатистический евнух.

И все же у Ренни, вероятно, в ночь нашего первого с ней адюльтера, вскоре после того как мы сыграли с ней в тайный сыск, сложилось обо мне совсем иного рода мнение — истинного вдохновения, подобающего пылкому любовнику, мне достичь трудно, но я таки в конце концов его достиг, — однако вечером, по пути к ней, я о таких своих способностях даже и не думал. И не было во мне ни усталости, ни скуки, ни печали; ни возбуждения, ни свежести, ни счастья: я был просто мирное животное, лишенное желаний и страстей.

Изначальный акт был результатом образцово-неизбежного стечения обстоятельств. Три дня спустя после шпионской нашей авантюры Джо отправился в Вашингтон (ему нужно было поработать в библиотеке Конгресса) и перед самым отъездом попросил меня на время его отсутствия составить Ренни компанию — просьба вполне морганистическая. Я так и сделал и всю вторую половину дня играл с мальчишками. Никакой *необходимости* выполнять его просьбу не было, но не было в том и ничего предосудительного. Ренни безо всякой задней мысли спросила, не останусь ли я к обеду, и я остался, хотя, опять же, никаких причин отказаться от привычного ужина в ресторанчике не существовало. Мы едва обменялись парой фраз. Один раз она сказала: «Мне очень не хватает Джо», — но я так и не нашелся,

---

[1] Моему учителю (*итал.*).

[2] Па-де-де; антраша (*франц.*).

что ей ответить, и, честно говоря, не понял, что же она, собственно, имела в виду. После обеда я вызвался проследить за вечерней ванной мальчишек, потом состряпал им на ночь сказку и уложил их спать. Я мог уйти сразу, но и в том, чтобы остаться еще ненадолго и выпить с Ренни эля, тоже не было ничего экстраординарного. Говорили мы ни о чем и не слишком связно — больше молчали, но мы часто молчали с ней вдвоем и не испытывали при этом неудобства, и я, честное слово, мало что помню из нашего с ней разговора, кроме того, что Ренни пожаловалась на усталость и поблагодарила меня за помощь.

Я хочу сказать, что, если смотреть объективно, не было никакого осознанного действия, ни слова, ни жеста, который бы ясно означил желание — ни с ее, ни с моей стороны. Я, конечно, не могу не признать, что Ренни в тот день выглядела более чем привлекательной. В ней разом были и усталость и сила: движения тяжелые и свободные, как у рабочего, который только что отстоял две смены кряду; вечером она по большей части сидела, почти не двигаясь, и часто, моргнув, оставляла глаза закрытыми на полные полминуты, а потом открывала их, широко, и переводила дыхание. Мне это нравилось, очень нравилось, но на этакий слегка отстраненный манер, и желание сексуального свойства, если оно вообще возникало, носило тот же более или менее абстрактный характер. Мы мало говорили о Джо, а о том, что мы видели в окошко гостиной, и вовсе не было сказано ни слова.

Потом, в половине десятого или около того, Ренни сказала: «Я, наверное, приму душ и пойду спать, Джейк», а я сказал: «Конечно». Чтобы добраться до ванной, ей нужно было пройти через примыкавший к гостиной небольшой предбанник; и мне, чтобы взять куртку, нужно было подойти к вешалке в этом же предбаннике, — что же удивительного в том, что мы одновременно встали и вышли в этот самый предбанник. А там, когда она, уже на пороге ванной, обернулась ко мне, кто с уверенностью скажет, что «Доброй ночи!» не вертелось у нее на кончике языка — и у меня тоже? Случилось так, что мы обнялись прежде, чем успели двинуться каждый своим путем — но, думаю, даже замедленная съемка не смогла бы выявить, кто сделал первое движение, — а после (я не сказал бы, что это было *неизбежно*) мы, идучи каждый своим путем, оказались в одной постели. Но если бы мы взялись вдруг анализировать наши первые шаги — за себя могу ручаться: и в мыслях не было, — мы к тому времени наверняка пришли бы к одному и тому же выводу, а именно, что первый шаг уже сделан — неважно кем. Я говорю об этом просто потому, что случай-то в общем типический — такое часто бывает с людьми, рассуждающими о своем поведении в ситуациях, о которых им впоследствии приходится сожалеть: можно смотреть на небо с утра и до самой полуночи или двигаться вдоль спектра от инфракрасного до ультрафиолетового, и никогда у вас не получится ткнуть пальцем в конкретную точку, где происходит качественное изменение; никто не может сказать: «Именно *здесь* сумерки стали ночью, или синий — фиолетовым, или невинность — виной. Вот так же точно можно докопаться до самых глубин и не найти того слова или жеста, на которые с полным на то основанием можно было бы возложить ответственность за происшедшее, проникнуть так глубоко, что ты вдруг понимаешь: а изменение-то уже произошло и успело стать историей, и дальше тебя несет по инерции, согласно чувству неизбежности происходящего, согласно чувству запоздалости, в которое ты, по большому счету, даже и не веришь и которое в силу тех или иных причин считаешь вообще не относящимся к делу.

Я бы мог проиллюстрировать сей феномен на примере данного конкретного случая буквально шаг за шагом — ну, скажем, до той самой точки, когда рога на супружеском челе Джо Моргана стали свершившимся фактом; но деликатность, к коей я зачастую наклонен, не позволяет. Мы провели бессловесную, бурную ночь, полную трудных поз, и сплетений, и содроганий, и как таковая она была хороша на

вкус, но вот описывать ее было бы скучно; принимая во внимание соседей, я уехал затемно.

Этим я и ограничусь — сознательно ограничусь — в описании нашего адюльтера: он не слишком много для меня значил. Я не имел ни понятия, что там творится в душе у Ренни, ни, до поры до времени, желания туда заглянуть, пробившись сквозь ее обычную неразговорчивость, но моя собственная душа, я в этом уверен, была пуста. И дело не в беспогодности; во мне существовало сначала общее, а после специфическое желание в сочетании со вполне определенным, хотя и не выходящим за некие рамки чисто мужским любопытством: другими словами, мне хотелось совокупиться, потом мне хотелось совокупиться с Ренни и вдобавок хотелось знать не только «какова она в постели», но и какой будет та наша близость (я не имею в виду близость сексуальную), которая, как я предполагал, возникнет в результате полового акта. Хотя я чаще всего не только необщителен, но, пожалуй, даже и замкнут, я вполне в состоянии проявлять повышенный и постоянный интерес к тому или иному человеку, иногда даже к двум сразу.

Вот и все. Иных каких-либо чувств или мыслей, за исключением вышеизложенных, внятных едва наполовину, не было. Ренни оказалась партнером, склонным в постели к атлетизму, на мой тогдашний вкус, пожалуй, даже несколько чрезмерному, и более чем удовлетворила мои желания как общего, так и специфического свойства, а любопытство удовлетворилось само, тем фактом, что со временем его удовлетворят непременно. Я не могу провести мое участие в процессе по разряду односторонней выгоды, как немотивированное — я знаю, зачем в каждый конкретный момент совершал то или иное действие, — но я бы назвал его разом специфически (если не в общем смысле) непредумышленным и совершенно нерефлексивным. Тот парень, который все это совершил, желал и действовал, а не мыслил.

На следующий день меня одолела охота почитать пьесы, коих несколько томов я по совету Доктора позаимствовал из библиотеки колледжа, и больше я сей эпизод не почтил ни единою мыслью. Это был эпизод не важный, незначащий и — для меня лично — лишенный каких бы то ни было следствий. Я не слишком люблю читать, но если на меня находит стих, читаю запоем; четыре дня я едва выходил из дому, чтобы поесть, и прочел семь больших сборников — общим счетом от семидесяти до восьмидесяти пьес. Следующий день после того, как я перевернул последнюю страницу, был первый день занятий, день этой главы, и тогдашнее могучее эротическое возбуждение было вызвано, по-моему, вовсе не пятидневной давности постельным подвигом, а скорее освобождением от тягостной диеты из чужих страстей.

Вечером, после ужина, я почувствовал себя черепахой или даже скорее лишайником и, если бы меня оставили в покое, просидел бы, покачиваясь в кресле, запеленутый в уютное оцепенение, до самого сна. Эта инертность, которую должно отличать как от беспогодности, так и от ступора вроде тогдашнего, на вокзале, носит характер слегка эйфорический — мозг мой не опустошен и не застыл в мертвом штиле, но рассредоточен, и населяющий его безалаберный народец беглых мыслей копошится на фоне всеобъемлющей, космической *уверенности*, почти реальной и на ощупь, и на слух, которую я могу сравнить разве что с текстом «Я чую ветерок, иных планет дыханье» из Второго струнного квартета Шёнберга или, ежели убавить эзотерики, ничего не теряя при этом в точности образа, с атмосферными шумами в радиоприемнике, когда регулятор громкости стоит на полную. Из такого состояния я в принципе могу выйти по собственной воле, но не слишком часто хочу. И случилось так, что разрушил его, как и в случае с июльской манией, телефонный звонок от Ренни.

— Джейк, мне кажется, будет лучше, если ты ко мне приедешь, — сказала она. — Нам нужно повидаться.

— Хорошо. — Никакого особого желания ехать у меня не было, если не брать в расчет чувства смутного, описанного выше любопытства. — Когда?

— Прямо сейчас. Джо у скаутов.

— Хорошо.

Я с готовностью узрел на горизонте возможность отполировать то украшение, которое мы утвердили на ясном челе Джо, и по дороге к Морганам с некоторым даже рвением пытался получить удовольствие от иронического фона ситуации: ведь Джо, как-никак, был у скаутов. Но ничего не вышло. И в самом деле: я был раздражен, мне совсем ничего не хотелось; я чувствовал себя обычным, нормальным человеком и рабом условностей; я *хотел* чувствовать себя нормальным человеком; а вот думать о себе *не хотел*. И может быть, именно по этой причине, в первый раз с тех пор, как встретил Морганов, я ощутил вдруг упоительное чувство вины.

И, вслед за первым этим чувством, вина прихлынула тяжкою мощной волной, у меня закружилась голова, рот сам собой приоткрылся, на лбу и ладонях выступил пот и даже начало слегка подташнивать. Батюшки, да что же я такое делаю? И боже ж ты мой, что я наделал? Кошмар. Неужто Джейкоб Хорнер умудрился обмануть единственного человека, которого он мог считать своим другом, а потом еще и усугубил вину, сокрывши сам факт преступления? Я мучился, как никогда еще не мучился в жизни. И более того, страдания мои были порядка наполовину безличного: я не был уверен, что вижу, слышу, ощущаю Джейкоба Хорнера, страдающего от душевных мук. А если бы ощутил, то увидел бы наверняка лицо, похожее на лицо Лаокоона.

Мгновенное принятие на себя огромного груза вины раздавило меня. Мне захотелось повернуть назад или, еще того лучше, ехать и ехать вперед, убраться прочь из Мэриленда и не возвращаться. Чувство было новое, но у меня не хватило сил, или смелости, или, может быть, элементарной широты кругозора, чтобы испытать по этому поводу хотя бы обыкновенное любопытство, с которым я чаще всего воспринимаю подобные — редкие — эмоционально насыщенные моменты. Но и на то, чтобы сбежать, у меня тоже не хватило духа. Я припарковался напротив дома Ренни, подождал немного, а потом пошел к двери. Я и понятия не имел, что буду делать дальше: вот только на повторное злодеяние я был ну никак не способен.

Ренни отворила дверь, белая как полотно. Увидев меня, она попыталась что-то сказать, но поперхнулась и тут же залилась слезами.

— Что случилось, Ренни? — Я взял ее за плечи и обнял бы, просто для того, чтобы дать нам обоим возможность хоть как-то успокоиться, но она в ужасе отпрянула и упала на стул. Она была просто сама не своя, и я от этого еще острее почувствовал тошноту: меня прошиб холодный пот, колени ослабли, и я подумал, что меня вот-вот вырвет.

— Нет, это просто чертовщина какая-то, Ренни! — голос у меня сорвался. Она посмотрела на меня, но сказать ничего, наверное, просто не смогла, и у меня на глаза навернулись слезы. Пришлось сесть. — Господи, почему такая *слабость*! — сказал я. Я совершил по отношению к Джо колоссальную несправедливость, и это оказалось очень больно. Я представил его себе на встрече бойскаутов, и никогда еще он не стоял предо мной таким красивым и сильным. — О чем, черт побери, я только *думал*? А сам я в это время *где был*?

Ренни закрыла глаза и мотала головой из стороны в сторону. Немного погодя она чуть-чуть успокоилась и вытерла глаза тыльной стороной запястья.

— Что нам дальше делать, Джейк?

— Он уже знает?

Она покачала головой и прижала ко лбу согнутую в запястье руку.

— Он в Вашингтоне работал как проклятый, чтобы набрать материала на много

времени вперед, а когда приехал домой, — она захлебнулась, — он был со мной такой ласковый, как никогда раньше. Мне хотелось умереть. А когда я подумала... что носила его ребенка, когда это все случилось...

Я изнывал от стыда.

— Знаешь, что я сделала? Я пошла сегодня утром к доктору и попросила эрготрат, чтобы у меня был выкидыш. Он так на меня кричал. Он меня знал совсем еще маленькой, и он очень разозлился, и сказал, что мне должно быть стыдно.

— Ох, боже ты мой.

— А потом оказалось, что эрготрат мне вовсе и не нужен. У меня после обеда началась менструация. Никакой беременности не было; просто задержка.

Она опять стала плакать; судя по всему, тот факт, что она не была беременна, каким-то образом усугубил ситуацию.

— А Джо? Ты скажешь Джо? — спросил я.

— Не знаю, — ответила она как-то тускло. — Я даже и *представить* себе не могу, как это я ему вдруг скажу. Боже, мы ведь никогда, никогда ничего друг от друга не скрывали! Эти пять дней... это какая-то пытка, Джейк. Приходилось все время делать вид, что мне весело и хорошо. И, клянусь тебе, единственная причина, по которой я не покончила с собой, — ведь так бы я еще сильнее его обманула.

— А как, по-твоему, он это воспримет?

— Не знаю! И это самое страшное. Он может сделать все что угодно, может просто посмеяться, а может взять и застрелить нас обоих. Ужаснее всего то, что я и в самом деле понятия не имею, *что* он сделает — ведь никому из нас такое и во сне бы привидеться не могло! Ты думаешь, надо ему сказать?

— Я тоже не знаю, — ответил я; чувство вины настолько меня придавило, что я вдруг испугался.

— Ты его боишься, правда? — спросила Ренни.

Хорошо, что она об этом спросила: хотя упрек в ее голосе был едва обозначен — истинный-то смысл вопроса заключался в том, что она сама тоже боится, — но это был фундаментальный, может быть самый фундаментальный, упрек, который один человек может бросить другому. И я тут же взял себя в руки.

— Я боюсь насилия, — сказал я. — Я всегда опасался насилия в любом его виде, даже чувств, если они чересчур агрессивны. Но ты должна понять: если речь идет о чем-то по-настоящему важном, я и на йоту не отступлю, чтобы избежать насилия. Страх и трусость — вещи разные. Если я не хочу, чтобы ты ставила в известность Джо, так это потому, что насилие возможно и я его боюсь, но я и пальцем не пошевелю, чтобы убедить тебя этого не делать. Человек не в состоянии избавиться от страха, но быть или не быть ему трусом, он решает сам.

Я говорил искренне; по крайней мере в ту минуту мне так казалось. В обычных обстоятельствах я не трус, если меня не захватят врасплох. Но вот слабость, дурацкая слабость: слабостью было забраться к Ренни в постель, это первое; не сказать Джо об этом сразу же — еще одна слабость; и слабость же — бояться теперь, что он узнает. Одно дело боязнь насилия; но страх, что он во мне будет разочарован, страх неприятия или даже презрения с его стороны был не менее сильным — и я чувствовал, что бояться такого рода вещей, на которые в иные времена я плевал бы с высокого дерева, тоже слабость. И я все мог понять и простить себе, кроме изначальной слабости, кроме бездумного предательства по отношению к Джо, потому что одна слабость рождает многие слабости, так же как сила рождает силу; но изначальной слабости прощения нет. И мне было плохо.

Еще немного погодя Ренни сказала:

— Джо вернется через несколько минут.

Я встал, чтобы уйти.

— Ренни... господи, так все по-дурацки вышло. Делай, как знаешь.

Она на меня даже и не взглянула.

— А я не знаю, что делать. Я иногда просыпаюсь утром с радостным таким чувством: он — а мы всегда спим обнявшись... — Ее вдруг как будто и впрямь придавило, физически, на несколько секунд. — А потом я все вспоминаю, против воли, и тогда мне хочется умереть. Или вовсе не просыпаться. Я будто даже не верю, что это вообще случилось. Я, наверное, так и не успела поверить, что это было *на самом деле*. Этого *не могло* случиться, Джейк: я ведь не могла с ним так поступить.

— Вот и я чувствую то же самое, — сказал я. И чуть было не взялся ей объяснять, как ему будет больно, если он узнает, но вовремя остановился, из страха: вдруг она подумает, что я пытаюсь ее отговорить — как оно, по сути, и было, — и именно поэтому все ему и расскажет. А я меньше всего на свете хотел, чтобы она ему рассказала.

— Делай так, как считаешь нужным, — сказал я. — И постарайся быть сильной.

Я ушел и поехал обратно к себе на квартиру. Пробовать спать или читать смысла не было никакого: шанса ускользнуть в чужой мир или иным каким способом избавиться от своего собственного, который взял меня за глотку, попросту не существовало. Я мог думать только о Ренни, о том, что она сейчас под одной крышей с Джо, может, даже в одной постели; и о том, насколько ей достанет сил сопротивляться его объятиям, его привычке спать, прижавшись к ней, его этой новой, неожиданной нежности. И моя душа была полна разом и глубочайшего сочувствия к Ренни, которую именно я загнал в этот угол, и страха, что вот сейчас она ему все и расскажет. Он пришел, должно быть, минут через десять после моего ухода, не позже — я подумал, что еще чуть-чуть, и мы бы столкнулись в дверях, и меня прошиб пот.

Потом мне пришло в голову, что, с учетом моего глубочайшего сочувствия к Ренни, нежности и общей обеспокоенности ее самочувствием, я мог бы, наверное, пойти к Джо и сам ему во всем признаться. И каждая уходящая минута лишний раз уличала меня в самом настоящем мошенничестве. Итак, мне, судя по всему, придется признать, что я и *вправду* трус: я прелюбодей, обманщик, я предаю друзей и, ко всему вдобавок, трус. После этого откровения я снова обрел способность смотреть на себя со стороны; я смотрел и видел, что не желаю замечать телефона, у самой у кровати, в изголовье, — телефона, по которому можно прямо сейчас позвонить Джо Моргану; и что у дверей стоит «шевроле», на котором я за несколько минут могу до него доехать. Трусость, судя по всему, разрастается не хуже слабости. Усилие воли, необходимое для того, чтобы совершить элементарное движение — снять трубку, — нет, это оказалось выше моих сил. Заодно со способностью оценивать себя со стороны вернулось и любопытство. Я положил руку на трубку и некоторое время с интересом изучал красного как рак индивида с бегающими глазами, который так и не смог ее снять.

Глава восьмая

Такой вины не вынести никак и такого к самому себе презрения

Такой вины не вынести никак и такого к самому себе презрения. Сон тут был не в помощь, потому что спать сверх положенного я был категорически не способен. И не было под рукой ни грандиозного какого-нибудь начинания, ни духовных потрясений, чтобы избавить меня от этой злой напасти. Я был сам себе противен, и это мешало мне переваривать пищу, которая комом ложилась на дно желудка; и

отравляло мой дух, так что попытки отвлечься — книги, кино — отдавали истерикой, а игра в профессора оборачивалась горьким фарсом. И словно бы нарочно, в полном соответствии с настроением, три дня подряд лил дождь: добежав от автомобиля до парадного и от парадного до автомобиля, человек успевал промокнуть насквозь; в аудиториях пахло мокрой одеждой, мелом и затхлостью; студенты сонно пялились в окна. Меня тошнило от собственного голоса, долдонящего этаким свихнувшимся попугаем какую-то чушь о наречиях и предлогах; и никто меня не слушал. А оставшись в комнате наедине с собой, я впадал в помешательство.

Неделя подобного самоотторжения довела бы меня, наверное, до самоубийства: по правде говоря, большую часть времени я именно об этом и думал. Я завидовал всякой мертвой твари — жирным земляным червям, которые попались кому-то под ноги и остались лежать на мокрых дорожках, животным, чье мясо я поедал за обедом, людям, тихо истлевающим на кладбищах, — но все никак не мог найти способ покончить с собой, такой, чтобы мне на него достало смелости.

Стендаль утверждает, что однажды отложил самоубийство из чистого интереса к современной политической ситуации во Франции: он хотел посмотреть, что будет дальше. Меня, помимо трусости, останавливали соображения того же порядка — с тех пор как мы в последний раз виделись с Ренни, Джо в колледже так ни разу и не появился. Ширли, секретарша доктора Шотта, довела до общего сведения, что он болен, однако выйдет на работу если не завтра, то послезавтра. Его отсутствие рождало во мне мучительное состояние неопределенности: он что, на самом деле болен, или Ренни ему таки сказала? И какова взаимосвязь между ее признанием и его отсутствием? И, что самое важное, как он на это отреагировал? Вопросы были те еще, однако, хотя меня бросало в дрожь от одной только мысли о том, что рано или поздно придется столкнуться с ним лицом к лицу, они же, проклятые эти вопросы, служили своего рода противовесом желанию свести счеты с жизнью; я не мог убить себя по крайней мере до тех пор, пока не получу на них ответа: ведь в противном случае я никогда не узнаю, так уж ли *необходимо* было лезть в петлю.

На третий день, после обеда, Джо пришел в колледж и отчитал свои вторые часы. Повстречав его случайно в коридоре, на перемене, я побледнел; оттого что времени у нас хватило только поздороваться, нервы мои разыгрались еще сильнее. Он был совершенно спокоен, мое же смятение, должно быть, можно было углядеть за милю. Понятия не имею, как я умудрился довести до конца последнюю пару.

В четыре часа я отправился в свой кабинет, чтобы проверить первую партию сочинений, и буквально через несколько минут вошел Джо. Двое других преподавателей, мои, так сказать, соседи по кабинету, ушли домой. Джо сел на краешек соседнего стола.

— Как оно? — спросил он.

Я затряс головой, изнемогая от желания объяснить ему все как есть, прежде чем он успеет сказать, что он в курсе; но к тому времени я был уже совершенно деморализован, я поставил на себе крест и ничего, кроме смутной возможности — а вдруг он еще не знает, — видеть не желал и не мог. До тех пор пока эта возможность существовала, признаться не было сил, хотя я прекрасно понимал: едва она исчезнет, мое признание лишится всякого смысла.

— Первый, так сказать, урожай, — сказал я, не отрывая глаз от стопки сочинений. — Как ты себя чувствуешь? Ширли говорит, ты был болен.

— Ага, — сказал Джо. Его лицо, вне всяких сомнений, тут же расшифровало бы для меня эту реплику, но я не мог смотреть ему в лицо. Я притворился, будто изучаю сочинение, отчаянно надеясь, что это «ага» ничего особенного не означает.

— Ну, а ты как? — спросил он; ни следа сарказма — любопытство, и ничего, кроме любопытства. У меня немножко отлегло.

— Да, в общем, как обычно.

— Не простудился? Такие дожди...

— Да нет. Меня никакая простуда не берет. — Я чуть не рассмеялся вслух: такое облегчение! Стыд придет позже, сомневаться не приходится, но сейчас-то! Каким таким чудом я вывернулся? Он не знает! И я от всей души поблагодарил про себя Ренни — я почти что любил ее в тот момент.

— А с тобой что стряслось? — спросил я, куда ровней и радостней. — Мононуклеоз? Гонорея? — И даже осмелился поднять на него глаза, чтобы поглядеть, как он среагирует на мою скромную шутку.

— Хорнер, — проговорил он с болью в голосе, — скажи ты мне, ради Христа, ты зачем трахнул Ренни?

Меня словно по голове ударили: перед глазами поплыло и желудок свернулся кукишем. На пару секунд я в прямом смысле слова потерял дар речи. Он ждал и разглядывал меня со странным, как мне показалось, выражением лица — восхищение с отвращеньем пополам.

— Черт, Джо... — еле вытолкнул я. При первом же звуке собственного голоса, от чисто физического усилия сказать хоть что-нибудь, я покраснел, вспотел как мышь и глаза заволокло слезами. Мне нечего было сказать.

Джо отправил очки по переносице вверх.

— Почему тебе этого захотелось? Причину, назови мне причину.

— Джо, я не могу сейчас говорить.

— Можешь, — сказал он ровным голосом. — И будешь говорить именно сейчас, а не то я повышибу из тебя все твое дерьмо.

Вот в этом, я бы сказал, был двойной тактический просчет: подвела, так сказать, прямая натура. Во-первых, пусть даже угроза насилия меня испугала, она тут же вызвала во мне желание защищаться, а если желание защищаться и есть симптом нечистой совести, оно же угрызения совести и заглушает: у преступника, решающего, как бы ему увернуться от наказания, нет времени размышлять о безнравственности совершенного им деяния. А во-вторых, как мне кажется, вообще-то говоря, единственная возможность добиться от кого бы то ни было правдивых ответов на свои вопросы и быть при этом уверенным, что ответы правдивые, — это создать хотя бы видимость, что любой ответ будет принят со всей душой, и никаких наказаний.

— Я *не хотел* этого делать, Джо. Я не знаю, почему я это сделал.

— Чушь собачья. Тебе, может быть, и *не нравится* то, что ты сделал, но раз ты сделал, значит, хотел сделать. Человек из всего, что ему хочется сделать, делает в конце концов только то, за что он готов принять на себя ответственность. А как ты *думал* тогда, почему тебе этого захотелось?

— Я не думал, Джо. Если бы я вообще о чем-нибудь думал, я бы этого не сделал.

— Ты что, думал, мне это понравится? За кого ты меня принимаешь?

— Я не думал, Джо.

— Ты старательно работаешь под дурачка, Хорнер, и меня это раздражает.

— Может, я и вел себя, как дурак, но никаких обдуманных намерений не было. Я не знаю, какие у меня могли быть неосознанные мотивы, но они были неосознанные, и я ничего о них не знаю и знать не могу. — И, мысленно добавил я, не могу нести за них ответственность. — Но клянусь тебе, сознательных мотивов не было никаких.

— Ты что, *не хочешь* нести ответственность? — недоверчиво спросил Джо.

— Хочу, Джо, поверь мне, хочу, — сказал я, покривив душой лишь отчасти. — Но я же не могу говорить о причинах, которых нет и не было. Ты хочешь, чтобы я их выдумал?

— Что ты себе вообразил насчет меня и Ренни, а, скажи ты мне, ради бога? — Джо явно начал злиться. — Я просто в ужас прихожу, когда представлю себе, что́ ты должен был думать о наших с ней отношениях, коли уж осмелился выкинуть этакий номер! Я знаю, ты много над чем у нас смеялся — и мне приходилось многое тебе прощать, всякое там дерьмо собачье, потому что ты мне был интересен. Ты что, решил, мол, Ренни легкая добыча, раз уж я держу ее на коротком поводке, так, что ли? А легкая добыча означает, что играть по-честному уже не обязательно? И ты всерьез рассчитывал настолько ее от меня отколоть, что она такое вот станет держать в тайне?

— Джо, ради бога, я знаю, что напакостил сверх всякой меры! И не пытаюсь защищать ни ложь, ни супружескую измену.

— Но ты виновен и в том и в другом. Почему ты так поступил? Неужели ты считаешь, мне есть дело до того, что ты там думаешь насчет седьмой заповеди? Мне плевать на супружескую неверность и на обман как на греховные деяния, Хорнер, но мне совсем не плевать на то, что ты поимел Ренни, а потом попытался заставить ее скрыть это от меня. Послушай, я чихать на тебя хотел. Ты утратил всякие права — если тебе казалось, что они у тебя есть, — на мою дружбу. С этой точки зрения ты для меня больше не существуешь. Очень может быть, что и Ренни тоже, но тут я ничего не могу сказать наверняка, пока не узнаю всего, до мельчайших подробностей. Я хочу услышать твой вариант истории, если он у тебя есть. Ренни я уже выслушал — только этим и занимался последние три дня. Но память у нее не абсолютная и, как и у всех прочих, избирательная. Естественно, то, что я услышал, выставляет ее во всей этой истории в самом выгодном — по возможности — свете, а тебя в самом невыгодном. Не забывай, *меня же там не было*. Ренни вовсе не пытается играть в невинность, но мне нужны все факты и все возможные интерпретации фактов.

— Джо, что я могу тебе сказать?

Он легко соскочил со стола.

— Я зайду к тебе после ужина, — сказал он. — Будет лучше, если Ренни останется на этот раз в стороне. И не переживай, Джейк, — добавил он с толикой презрения в голосе, — стрелять я в тебя не стану. О насилии бы даже и речи не было, если б Ренни не сказала, что ты этого ждешь.

Я поужинал, хотя кусок не лез в горло. Но как бы то ни было, мысль о самоубийстве в голову больше не шла. И словно специально, чтобы отметить перемену внутренней погоды, дождь начал понемногу слабеть и к шести часам совсем стих, хотя небо оставалось все таким же мрачным. Я даже поймал себя на том, что провожу недавнее жуткое чувство вины по списку прочих моих слабостей и точно так же начинаю о нем сожалеть. Не то чтобы я стал проще относиться к совершенным мною прегрешениям — совращение жен близких друзей и затем попытка ввести их самих в заблуждение были, с моей точки зрения, злом (в тех случаях, когда я обладал какой бы то ни было выраженной точкой зрения), — однако я стал к ним относиться *иначе*. Теперь, когда все вышло наружу, мне и впрямь стало легче, а то обстоятельство, что теперь я имел дело непосредственно с Джо, сдвинуло фокус моего внимания с переживания вины на необходимость что-то предпринять, чтобы сохранить элементарное уважение к себе. Если я собираюсь жить дальше, мне придется жить с самим собой, а поскольку большую часть времени я был животное моральное, спасательные работы приобретали теперь первостепенное значение. Что сделано, того не воротишь, но прошлое в конечном счете существует исключительно в памяти тех, кто думает о нем в настоящем, и, значит, в тех интерпретациях, которые по ходу возникают. В этом смысле никогда не поздно с прошлым что-нибудь

сотворить. Не то чтобы я хотел переиграть инцидент заново, à la Москва, в выгодном для себя ключе: вся трудность была в том, что не было у меня ни желания оправдываться, ни возможности что-либо объяснить. Джейкоб Хорнер, у которого теперь чесались руки защищаться до последнего патрона, не имел ничего общего ни с тем придурком, который залез по глупости в кровать Джо Моргана с его же собственной, Джо Моргана, женой, ни с тем, что изводился стыдом и тайными страхами несколько дней спустя: этот Джейкоб Хорнер был объектом неприязни и отвращения со стороны Джо Моргана — Хорнер теперешний и все, друг другу в затылок, будущие Хорнеры. И, хорошо это или плохо, сей индивид раскаивался в совершенном — и глубоко раскаивался, — но сопли жевать намерения не имел.

Джо явился ко мне на квартиру чуть после семи, и по тому, как он присел на один из моих гротескных стульев, я понял, что он чувствует себя не слишком уютно. Сам факт, что он пришел сюда, вместо того чтобы пригласить меня к себе, хотя, конечно же, это было единственно возможное решение, показался мне еще одной тактической ошибкой — по крайней мере, манера у него была иная, куда мягче, нежели днем. Но, как он сам непременно возразил бы мне, будь я вправе делать подобные замечания вслух, Джо по самой своей природе был чужд всякой тактики. Ему было попросту не интересно вчинять мне какой бы то ни было иск, а оттого и строительство оборонительных сооружений становилось делом куда более трудным, если и не безнадежным.

— Позволь, я объясню тебе мою позицию, Джейк, — начал он.

— Господи, Джо, твоя позиция, наверное, единственная из всех не нуждается ни в каких объяснениях!

— Ничего подобного. И то, что ты не понимаешь, почему она нуждается в объяснении, есть часть твоего неверного понимания нашей с Ренни ситуации.

— Джо, я прекрасно понимаю, что ты имеешь полное моральное право измутузить меня по самое мое... или даже вовсе вышибить мне мозги. Я сознаю свою вину.

— А мне до твоей вины нет дела, — сказал он. — И вообще вся эта песенка насчет твоей виновности и моего права ссать кипятком есть не что иное, как попытка упростить проблему. Ты делаешь вид, будто весь сыр-бор у нас горит из-за нарушенных заповедей, и потому позволяешь себе не воспринимать все это всерьез — ведь мы оба с тобой прекрасно знаем, что заповеди абсолютом не являются. Мне не интересно никого и ни в чем обвинять. Если бы ты по-настоящему нас понял, ты бы и это принял к сведению — хотя, конечно, если бы ты по-настоящему нас понял, ничего подобного бы не случилось.

— Да уж, дорого бы я дал, — сказал я с жаром.

— Не говори глупостей. Единственный плюс в этой ситуации, если можно говорить о плюсах, — то, что реальные проблемы, о существовании которых я даже и не догадывался, вышли на поверхность. Ты только не забывай, что ни сам ты, ни твои трудности меня теперь совершенно не трогают. Если это задевает твое чувство собственного достоинства, я могу тебе сказать одно: твое чувство собственного достоинства не есть предмет моей наипервейшей заботы. Если я смогу объяснить тебе суть проблемы, нашей с Ренни проблемы, может быть, ты поймешь, что имеет отношение к делу, а что нет.

И он объяснил:

— Самая важная в мире вещь для меня — можно, наверное, сказать, один из моих абсолютов — это отношения между Ренни и мной. Ренни уже рассказала мне все, что могла вспомнить из того, что рассказывала тебе о нас во время ваших верховых прогулок. То, что она тебе это рассказывала, тоже одна из моих проблем, но поскольку уж она все равно это сделала, наверное, будет лучше, если ты услышишь и мою версию тоже.

Ты знаешь, что я встретил Ренни в Нью-Йорке, когда учился в Колумбийском. Меня привлекало в ней то, что она была самая *самодостаточная* девушка из всех, кого я когда-либо видел; а может быть, и вообще единственная — наша культура не слишком часто производит таких на свет. Она многим нравилась, но было такое впечатление, что ни популярность, ни даже дружба ей совсем не нужны. Если она когда-нибудь и чувствовала себя одинокой в те времена, то просто потому, что не всякий раз осознавала эту свою самодостаточность, — и к тому же ей наверняка не слишком часто бывало одиноко. Это меня в ней и привлекало. До Колумбийского я был в армии, а до армии, в колледже еще — в студенческом братстве, и в достаточной степени наскакался по бабам, чтобы не путать один вид влечения с другим. А ты — ты многих успел осчастливить, а, Джейк?

— Не так чтобы слишком, — честно ответил я.

— Я спросил только для того, чтобы уточнить, не относится ли к делу — в твоем случае — эта путаница разных видов влечения. Возможно, это скорее относится к Ренни: она ведь до меня ни с кем не спала.

Меня так и передернуло от стыда и раскаяния.

— Вот из-за этой ее самодостаточности, которую, как мне показалось, я в ней углядел, я и решил, что смогу выстроить с ней те самые отношения, она тебе о них рассказывала, — более или менее постоянную связь. Они были бы возможны только между двумя независимыми людьми, каждый из которых уважал бы в должной мере самодостаточность другого. Тот факт, что мы не были *нужны* друг другу с точки зрения обычных «основных» инстинктов, как раз и означал, казалось мне, возможность чертовски хорошо состыковаться в иных, более важных для меня плоскостях. Но ты, я думаю, уже все это слышал. Тут, кстати, и объяснение, почему я был удивлен и встревожен, когда узнал, что Ренни тебе все это рассказывала, там, в сосновой роще — не потому, что интимность сама по себе чего-то там стоит: интимность была мерой той свободы, которую мы с ней, как нам казалось, делили вдвоем.

Только постарайся понять, что я не придерживаюсь каких-то там строгих теорий насчет сексуальной морали, упаси бог. Но мы вроде как оба молча уговорились, что секс на стороне так же исключен для нас, как, скажем, ложь или гомосексуальные связи: нам они просто были без надобности. И у меня не только нет и не было четкой философской позиции в вопросе о сексуальной морали — даже и чувств, автоматически возникающих в этой связи, тоже не было. А вот у Ренни были. И очень сильные. Не думаю, чтобы она была в состоянии защищать свои позиции на чисто рациональном уровне — это, по большому счету, вообще невозможно в отношении какой бы то ни было этической программы. Может, сказалось семейное воспитание. Но она была резко против супружеской неверности, и этого было вполне достаточно, чтобы определить нашу дальнейшую стратегию совместного существования: это ее чувство не вступало в конфликт ни с одной из моих основополагающих идей и к тому же вполне встраивалось в ту картину, которую мы для себя нарисовали, — все оставалось только между нами.

Таков был мой идеальный портрет Ренни: самодостаточность, сила (я многое мог бы тебе порассказать о том, какая она сильная) и ориентация на интимность. Согласно моему представлению о Ренни, того, что случилось, произойти не могло никак. Согласно ее представлению о себе самой — тоже. Однако все-таки произошло. Поэтому даже сейчас нам трудно поверить в *реальность* случившегося: ведь мы вынуждены признать не только сам факт ее поступка, но и тот факт, что она этого *хотела,* — ты же не думаешь, что я стану обвинять тебя в изнасиловании. А признание этих фактов требует скорректировать наше общее представление о том, кто такая Ренни, и сейчас мы не понимаем, как любой из возможных вариантов совместить с теми отношениями, которые, казалось нам, между нами существуют.

А эти отношения именно и определяли ценность всех остальных аспектов наших с ней жизней — всего, что бы мы ни делали. Это куда важнее для меня, чем стать великим ученым или еще кем угодно, столь же великим. Если нам придется от этого отказаться, все остальное теряет смысл. И я тут не в эмоции играю — это самая последовательная и полная картина, которую я только могу сейчас себе представить, исходя из того, что мы с Ренни делали все это время, и из того, что на данный момент все остается в подвешенном состоянии, покуда мы не решим, как нам оценить случившееся. И Ренни считает так же. Именно об этом мы и говорили все три дня напролет, и нам об этом еще говорить и говорить, если, конечно, она не покончит жизнь самоубийством, пока я тут с тобой беседую.

Я был весь перед ним как на ладони.

— Джо, мне так жаль.

— Но к делу-то этого не подошьешь! — рассмеялся он не то чтобы слишком весело. — Единственная причина, по которой меня интересует твоя доля участия во всей этой истории, причина, по которой я, собственно, и спрашиваю тебя, почему ты это сделал и что такого ты увидел в нас с Ренни, что дало тебе повод попробовать ее на прочность, — я просто хочу знать, в какой степени твои действия повлияли на ее действия.

— Джо, клянусь, я принимаю на себя всю ответственность, в полной мере, за все, что случилось.

— Но помочь мне, я вижу, ты не хочешь. Ты в полной мере принимаешь ответственность за тот факт, что ей в первый раз в жизни было с тобой до конца? Ты что, сам себе поставил засос на плечо? Твою мать, я же тебе говорю, Ренни в невинную овечку играть не собирается! То, чего мы с ней друг от друга хотим, невозможно до тех пор, пока мы, каждый из нас, не будет действовать совершенно свободно — или не *притворимся*, что действуем свободно, даже если и подозреваем, что на самом деле это не так. Почему ты с таким упорством продолжаешь играть в эти игры, Джейк? Ведь я же откровенен с тобой настолько, насколько это вообще возможно. Один раз в жизни, бога ради, брось ты все свое актерство и поговори со мной честно и просто!

— Я стараюсь как могу, Джо, — сказал я и почувствовал себя еще хуже прежнего.

— Но ты же отказываешься забыть о себе хоть на минуту! Чего ты хочешь? Если ты пытаешься вызвать во мне сочувствие, понимание, клянусь тебе, ты выбрал не тот способ. Я не знаю, какой способ тот, но знаю, что единственный твой шанс — быть со мной сейчас абсолютно искренним.

— Думаю, тебе сейчас все покажется неискренним — кроме того, что ты хочешь услышать, а я не знаю, что ты хочешь услышать, иначе давно бы сказал. Задавай вопросы, а я буду на них отвечать.

— Зачем ты трахнул Ренни?

— Я *не знаю*!

— Какие, как тебе кажется, у тебя могли быть причины?

— Не могу назвать тебе ни единой, которая была бы похожа на правду.

— Зараза, Хорнер, нельзя же просто что-то *делать*! Что было у тебя на уме?

— Ничего у меня на уме не было.

У Джо заходили желваки.

— Послушай, Джо, — взмолился я. — Тебе придется смириться с мыслью, что люди — может быть, за исключением тебя самого — не для каждого своего поступка выстраивают предварительно иерархию причин. Во всякой автобиографии всегда найдутся две-три вещи, которых они тебе не смогут связно объяснить. И когда такое случается, человек выдумывает для них разумные причины — в твоем слу-

чае они, наверное, начинают сыпаться как горох, едва ты успеешь подумать о том, что секунду назад сделал, — но только задним числом, Джо.

— Хорошо, — Джо отступать не собирался. — Но если даже согласиться с тем, что ты сейчас сказал, я все равно считаю: разумные основания нужно подводить подо все, даже и задним числом, и человек обязан отвечать за свои поступки — и за свои разумные основания, если хочет оставаться существом нравственным.

— Тогда изволь пойти немного дальше и признать, что иногда человек даже и осознать случившегося не в состоянии. Просто ничего не идет на ум. Тебя не устраивает, что я в полной мере готов принять на себя ответственность, и, когда я отказываюсь от всякой ответственности, тебя это тоже не устраивает. Но в данном конкретном случае я не вижу, что у нас посередке.

Я прикурил сигарету. Я нервничал, я был одновременно счастлив и несчастлив, оттого что, несмотря на нервозность, чувствовал себя отменно, мыслил ясно, и мне нравилась моя способность последовательно выдерживать роль, которая, меня вдруг осенило, была, конечно, дерьмовата на вкус и на ощупь, но, скорее всего, неизбежна. Так и есть, я знал, что это всего-навсего роль, но не был уверен, что, вывернись я сейчас наизнанку, это тоже не будет, в свою очередь, роль, а никакой другой приемлемой роли я для себя не видел. И если, что само по себе весьма вероятно, большего сделать никто не может — уж я во всяком случае, — почему бы тогда и не означить данное положение вещей термином *искренность*.

— Все это к делу не относится, — сказал Джо. — Меня не интересует, как ты оцениваешь меру своей ответственности. Я хочу знать, что случилось, и уж тогда я сам позабочусь, как распределить ответственность, примешь ты ее или нет. Когда тебе пришла на ум идея, что ты, пожалуй, смог бы уложить Ренни в койку?

— Не знаю. Может, когда мы уже очутились в постели, может, сразу, как только я вас увидел, а может, где-то в промежутке. Я вообще об этом не задумывался.

— Что она такого сделала или сказала, что идея возникла?

— Я вовсе не уверен, что идея вообще *была*. В тот день, когда ты уехал, я же был у вас, с обеда и до самого вечера, и всякое сказанное —или не сказанное — ею слово мог интерпретировать как знак готовности лечь со мной в постель или, наоборот, как отсутствие знака. А я, сдается мне, вообще в тот день ничего интерпретировать не собирался.

— О чем вы говорили?

— Господи, да я же никогда не помню разговоров! Разве Ренни тебе не рассказывала?

— Конечно, рассказывала. Ты правда не помнишь или опять играешь под дурачка?

— Я правда не помню.

— Ну и какого же черта мне теперь делать? — Джо дошел до крика. — Ты клянешься, что у тебя не было никаких осознанных мотивов. А неосознанных ты, соответственно, не осознаешь. Рационально оценивать случившееся ты не хочешь. Действия Ренни ты никак сознательно не интерпретировал. И разговоров ты тоже не помнишь. Мне что, согласиться с Ренни и признать, что ты попросту не существуешь? А что еще делает человека человеком, за вычетом всех этих вещей?

Я пожал плечами.

— Я мог бы кое-что добавить к этому списку.

— Не утруждай себя. Разве ты не понимаешь, Хорнер: если ты сможешь меня убедить, что Ренни действовала в основном по твоей указке, ничего хорошего в этом не будет, потому что она вроде как не должна легко идти на поводу. А если ты докажешь мне, что никак или почти никак не влиял на ее поступки, тут опять же не будет ничего хорошего, потому что это не совпадает с образом *нашей* Ренни. Так

что я вовсе не пытаюсь решить проблему, просто сняв с себя всякую ответственность. Проблема в том, что я не знаю и не могу знать точно, какую проблему должен решать, пока не разобрался, что случилось и почему оно случилось именно так, а не иначе — в каждой мелочи.

И тут я почувствовал себя достаточно сильным, чтобы сказать:

— Мне кажется, у тебя изрядно бы поубавилось проблем, имей ты хоть чуточку уважения к ответу: «Я не знаю». Такой ответ может быть чертовски честным, Джо. Когда близкий человек ни с того ни с сего вдруг делает тебе больно и ты спрашиваешь: «Скажи мне, бога ради, зачем ты это сделал?» — а он отвечает: «Я не знаю», — такой ответ, по-моему, заслуживает уважения. А если это говорит тебе человек, которого ты любишь и которому веришь, и если он искренне раскаивается в том, что сделал, тогда, я думаю, на этом и вовсе можно порешить.

— Но если человек тебе такое сказал, — ответил мне Джо, — если он *вынужден* был такое сказать, как ты можешь после этого судить, оправданы ли та любовь и то доверие, благодаря которым, по твоим словам, на том и можно порешить?

И в самом деле — как? Я мог бы ответить ему, что представить, как я бы дошел до такого вопроса, я просто не в состоянии, зато вполне способен представить себе в этой ситуации человека по имени Джо Морган.

— Нет, Джейк, так дело не пойдет, — сказал Джо и как-то вдруг засобирался. — Если это и есть твой ответ, не знаю, как смогу с тобой дальше общаться, а если это еще и ответ Ренни, не знаю, как я смогу дальше общаться и с Ренни тоже. Такой ответ просто не вписывается в космос Джо Моргана. Может быть, я в неправильном космосе, но только в нем я вижу возможность наладить по-настоящему серьезные отношения. А еще тебе, наверное, следует знать, что Ренни едва ли не во всем винит только тебя.

Не могу сказать, что это меня совсем не удивило, но я только наморщил лоб и сделал уголком рта что-то вроде быстрого звука «ц».

— Не вижу, почему бы тебе ей не поверить, — отчеканил я.

— А ты считаешь, что на нее это очень похоже, не так ли? *Женщины*, они вроде как и должны таким образом поступать, а?

— У меня нет определенного мнения по этому поводу, — сказал я. — Или нет, я скорее придерживаюсь обоих мнений сразу.

После этого моего заявления Джо дернулся, сжал кулаки и вышел вон.

Я мог бы сказать, что этот разговор меня разбередил, но точнее было бы, наверное, другое слово: он оставил меня в состоянии крайнего возбуждения, и мандраж мой был от возбужденности, а не от чувства вины, тот самый мандраж, который остается обыкновенно после долгих и сложных споров, — он не то чтобы приятен, но и неприятным его не назовешь, он бодрит, он освежает голову, он возникает после всякой дуэли двух разных артикуляций, двух способов выражать себя, где дуэлянты ставят на кон базисные ценности и где игра — даже если это всего лишь игра — всегда идет всерьез.

Артикуляция! Ты, с точки зрения Джо, была бы *моим абсолютом,* если бы я вообще мог таковой иметь. Как бы то ни было, только в отношении тебя я чувствовал порою, и не раз, то, что полагается, наверное, испытывать по отношению к абсолютам. Претворять пережитое в речь — то бишь классифицировать, подводить под категории, под концепции, под грамматику, под синтаксис — всегда и всюду означает предавать пережитое, фальсифицировать его; но только с таким вот преданным и оболганным опытом и можно иметь дело, а только имея с ним дело, чувствуешь себя человеком, который жив и шевелится. Вот потому-то, когда мне вообще случалось об этом думать, я отзывался на прециозный этот обман, на это ловкое, искусное мифотворчество с тем отчаянным весельем сердца, с каким работает

любой художник. Когда мои мифорежущие бритвы бывали остро отточены, какая же славная была игра — сечь направо и налево, рубить реальность в капусту.

Во всех прочих смыслах я в гробу ее видал, эту самую артикуляцию.

Глава девятая

Во что, среди прочего, я не счел нужным посвящать Джо Моргана

Во что, среди прочего, я не счел нужным посвящать Джо Моргана (поскольку это означало бы, что я и дальше намерен сам себе рыть яму): мне по временам не составляло труда придерживаться, с великолепно сбалансированным равнодушием, противоположных, или по меньшей мере противостоящих точек зрения на один и тот же факт. Если принять во внимание общую мою психическую ригидность, это у меня получалось, пожалуй, даже слишком легко. Так, мне казалось, что Доктор — шизик, но и умница тоже; что Джо блестящ и что он нелеп; что Ренни разом сильная и слабая; и что Джейкоб Хорнер — сова, павлин, хамелеон, осел и попугай, сбежавший из средневекового бестиария, — великан и в то же время карлик, полнота и вакуум, и восхищения достоин, и презрения. Если бы я попытался втолковать все это Джо, он бы тут же занес полученные данные в разряд доказательств того, что я попросту не существую: мне же казалось, что из данного обстоятельства с одинаковым успехом можно сделать как этот, так и прямо противоположный вывод. Я пускаюсь в объяснения с одной-единственной целью: сделать предельно ясным смысл слов, когда я говорю, что разом был шокирован и ни капли не был удивлен, что мне было противно и приятно, что ощутил я и возбуждение, и в то же время скуку, когда, на следующий вечер после описанного выше разговора, ко мне на квартиру явилась Ренни. Лекции в тот день я отчитал на славу, ловко жонглировал герундиями, частицами и инфинитивами, и собственное красноречие снабдило меня впрок полярными чувствами вины и полной при том беспечности в отношении дела Морганов.

— Мать моя женщина! — сказал я, когда ее увидел. — Давай, давай заходи! Тебя что, уже успели отлучить от церкви?

— Я сюда ехать не хотела, — коротко сказала Ренни. — Я вообще не хотела тебя больше видеть, Джейк.

— Вот оно как. Но люди-то, они ведь делают только то, что желают сделать.

— Джейк, это Джо меня заставил. Он мне сказал, чтобы я шла к тебе.

Здесь, по сценарию, должна была взорваться бомба, но у меня в тот день настроение было не взрывоопасное.

— И за каким, прости за любопытство, чертом?

Ренни отыграла дебют недрогнувшей рукой, мрачновато и твердо, но вот теперь она запнулась и не смогла или не захотела ответить на мой вопрос.

— Он выгнал тебя из дому?

— Нет. Ты что, не понимаешь, зачем он меня сюда прислал? Пожалуйста, не заставляй меня объяснять! — На грани слез.

— Если честно, понятия не имею, Ренни. Мы должны переиграть сцену преступления на более внятный для анализа манер, так, что ли?

Что ж, на этом ее самоконтроль вышел весь; и она, понятное дело, принялась мотать головой. И так уж вышло, что Ренни показалась мне невероятно привлекательной. Просто до ужаса. Она явно многое пережила, перестрадала за последние несколько дней, и, как в случае с усталостью и силой, это придавало ей невырази-

мое очарование, свойственное порой глубоко страдающим женщинам. Во мне шевельнулось нежное, на любовь похожее чувство.

— Это все такой кошмар, я просто места себе не нахожу, — сказал я и положил ей руку на плечо. — Ты и представить себе не можешь, как я переживаю за Джо, и за тебя еще того сильней. Но по-моему, он пытается из всего из этого устроить какой-то балаган, тебе не кажется? Большей нелепости, чем прислать тебя сюда, и выдумать не выдумаешь. Это что, такой вид наказания?

— Никакой нелепости тут нет, это ты их всюду ищешь, — сказала Ренни со слезами в голосе, но очень убежденно. — Конечно, *для тебя* по-другому и быть не может, ты же никогда не принимал Джо всерьез.

— Да в чем дело-то, скажи ты мне, ради бога!

— Я не хотела тебя больше видеть, Джейк. И сказала об этом Джо. Он пересказал мне все, что ты ему тут наговорил вчера вечером, и сперва мне показалось, что ты все врал. Ты ведь, наверное, догадываешься, как я тебя ненавидела все это время, начиная с того момента, как ты ушел от меня утром; когда я рассказывала об этом Джо, я ничего не упустила — ни единой детали, — но только я во всем винила тебя.

— Ну и ладно. У меня все равно нет на этот счет своей точки зрения.

— Но я не могу тебя больше винить, — продолжила Ренни. — Это слишком просто и ничего не решает. У меня, должно быть, тоже нет своей точки зрения — и у Джо.

— Да иди ты!

— Он просто подавлен, совершенно подавлен. И я тоже. Но он не собирается уходить от решения проблемы или, скажем, принимать абы какое решение, чтобы залатать пробоину. Ты не представляешь, он как одержимый! Мне иногда казалось, что мы за эту неделю оба сойдем с ума. Просто пытка какая-то! Но Джо скорее даст разрезать себя на кусочки, а проблему подменять не станет. Поэтому я здесь.

— Почему?

Она повесила голову.

— Я сказала ему, что не смогу тебя больше видеть, неважно, виновен ты или нет. Он рассердился, сказал, что это мелодрама, что я ухожу от ответственности. Мне даже показалось, что он опять меня ударит! Но он, наоборот, успокоился — он даже занялся со мной любовью — и объяснил мне, что, если мы вообще собираемся из этой передряги выпутываться, надо быть предельно осторожными и не позволять себе выдумывать какие-то версии, которые помешают нам смотреть фактам в лицо. Самое лучшее, что мы можем сделать, это брать и брать факты приступом, чем чаще, тем лучше, и плевать на синяки и шишки. Он сказал, что на данный момент мы потерпели поражение, и единственный шанс хоть что-то спасти, это ни на минуту не оставлять проблему. Я сказала ему: еще несколько дней такой жизни, и я умру, а он говорит: я, может быть, тоже, но другого пути нет. Ты, наверное, и это находишь нелепым, ведь правда?

— Точка зрения отсутствует, — сказал я, имея в виду множественность точек зрения.

— Чего сейчас никак нельзя делать, считает он, так это терять тебя из виду или дать тебе потерять из виду нас. Поэтому он меня сюда и привез. Отказ видеться с тобой — уход от темы.

— Что ж, я чертовски рад тебя видеть, но, должен сказать, я всей душой за то, чтобы вообще не затрагивать тем, которые, с одной стороны, причиняют боль, а с другой — рождают вопросы без ответов. А ты — нет?

Она — да, вся как есть, это было видно невооруженным глазом.

— Нет, — решительно сказала она. — Я целиком согласна с Джо.

— Ну, чем тогда займемся? Поговорим о философии?

Голова из стороны в сторону.

— Джейк, Христа ради, скажи мне *честно*, что ты думаешь о Джо.

— Я честно придерживаюсь целого ряда мнений, — улыбнулся я.

— Каких, например?

— Ну, во-первых — не по силе ощущения, — он само благородство.

Ренни разом засмеялась и заплакала.

— Он благороден, смел, силен, больше, чем кто бы то ни было, кого я знаю. А его несчастья — это несчастья рассудка, интеллекта и цивилизованности, потому что он квинтэссенция всех этих вещей. И во всех Соединенных Штатах равного ему не найти. Я серьезно.

Ренни настолько растаяла, что, будь у меня такое желание, я мог бы обнять ее сейчас без малейшего с ее стороны протеста.

— Во-вторых, — сказал я, — он нелеп просто донельзя. Ничтожество. Клоун, софист и невежа. Самонадеянный, мелочный, нетерпимый, не без жестокости и даже, прости, не без глупости. Он пользуется логикой и детской этой игрой в честно-благородно и как дубинкой, и как щитом одновременно. А можно смотреть на него просто как на помешанного, на маньяка, который вбил себе в голову не первой свежести сказку насчет интеллекта, каковой в состоянии решить все проблемы.

— Но ты же прекрасно знаешь, что́ он мог бы тебе на это ответить!

— Конечно, он может отстаивать свои позиции и свой метод, только вот разрешить с его помощью и ко всеобщей радости данную конкретную проблему не в состоянии. Но все эти картинки существовать могут только вместе, потому что они — крайности. И последняя из моих точек зрения, которой я придерживаюсь ничуть не в ущерб двум первым: он и из того и из другого теста, всего понемногу, а по большей части он просто обычный такой, ничем не примечательный сукин сын, и место ему скорее не в трагедии, а в фарсе, и там он более забавен, нежели жалок. Этакий слегка отдающий гротеском персонаж, не слишком щедро наделенный очарованием или даже просто привлекательностью. Дурковат и ужасно наивен. Таков наш Джозеф во всей красе и славе. Не тот человек, которого стоило бы принимать всерьез по той простой причине, что даже и позицию свою он представляет отнюдь не блестяще и не слишком последовательно. Хочу только добавить, что все это я вполне отношу и к собственной персоне, и много чего еще к ней отношу сверх сказанного.

— Джейк, ты же знаешь, он мог бы ответить на все твои обвинения.

— Не сомневаюсь. Но красота конструкции в том, что, мог бы или не мог, не играет роли. Это ведь не обвинения, Ренни, — точки зрения. И самое главное, не вздумай возводить на меня напраслину: мне ведь нравится Джо, честное слово.

— Ты так свысока о нем говоришь.

Я рассмеялся.

— Еще одно из моих мнений: я по большинству параметров куда ниже Джо, но при этом, по большинству же параметров, много выше. А теперь скажи мне прямо: что было у Джо на уме, когда он отправлял тебя ко мне?

— Нам пришлось признать, что, хотя именно ты все и закрутил, я могла бы не позволить тебе влиять на меня, если бы сама не хотела оказаться под твоим влиянием. Ты воспользовался моей слабостью, такой уж был момент, но ведь ты же меня не насиловал. Я не могу отрицать правоту Джо, когда он говорит: если ты оказалась с ним в конце концов в постели, значит, по большому счету, ты этого *хотела*, и не важно, что сейчас тебя воротит от одной даже мысли… Он спросил, как бы я отреагировала три недели назад, если бы он тогда предложил мне с тобой переспать, и мне пришлось сказать: «Я не знаю». Тогда он спросил, а как бы я отреагировала

на то же предложение сейчас, и я сказала ему, что меня это пугает и противно. А он сказал, что подобных реакций нам следует опасаться, потому что они замутняют виденье проблемы. Мы должны быть максимально честными по отношению к тем вещам, в которые верим, и не смешивать их с тем, во что, как нам кажется, сейчас надежней или безопасней верить, и действовать мы должны исключительно в соответствии с истинными нашими постулатами, чтобы всегда знать, на чем мы стоим. И скорее всего — Джо так сказал, — я верю, что спать с другими мужчинами, или по крайней мере с тобой, правильно, хочу я это признавать или не хочу, раз уж я все равно так сделала.

— Матерь божья!

— Джейк... он послал меня сюда сделать это еще раз.

— Но ведь ты же с ним не согласна, правда?

Конечно, она была не согласна, как и с необходимостью ни в коем случае не уходить от темы, но уже заставила себя согласиться с ним в этом, а значит, и во всем остальном. Она помолчала чуть-чуть, потом ответила:

— Мне это совсем не нравится, Джейк! Во мне просто все переворачивается, как подумаю... Но это как с моим отношением к тебе. Никто не должен мне указывать. Джейк, я совсем потерялась! Я не такая сильная, как Джо, и даже не такая, как ты. Я не настолько сильная, чтобы со всем этим сладить!

Такие дела. Мне пришло на ум, что выбранная Джо позиция, хотя она и строилась против всякой логики (единственная измена Ренни, ясное дело, отнюдь не обязательно означала *принципиальную* приемлемость для нее секса на стороне, будь то в принципе или в моем конкретном исполнении; в лучшем случае отсюда можно было сделать вывод, что ей захотелось этого по крайней мере один раз), давала мне шанс достать Ренни до самого донышка — при желании. Было большое такое искушение закруглить разговор и сказать: «Ну что ж, голубушка, вот тебе койка»; но я в тот день не был настроен мучить женщин вообще и Ренни в частности.

— Так ты хочешь спать со мной или не хочешь? — спросил я.

— Нет! Чего я точно не хочу, так это еще раз оказаться с тобой в постели!

— Джо просто чокнулся. Послушай, а он у нас часом не извращенец?

— Валяй, выдумывай. И не нужно будет напрягаться, чтобы его понять.

— Нет, мне положительно нравится твоя логика, — рассмеялся я. — Кто бы и что бы про него ни сказал, она все сведет на нет. Вот это самое и еще та твоя идея, мол, он настолько силен, что может себе позволить быть даже карикатурой на самого себя, — с такими оборонительными сооружениями ни до кого не доберешься.

— Но в его случае и то и другое верно, — очень настойчиво.

— Во сколько он за тобой заедет?

— Мы решили, что после ты сам отвезешь меня домой, — бойко сказала Ренни.

— После того как мы оба кончим?

— Перестань, пожалуйста!

— Ну что, тогда поехали? В смысле, домой?

Она посмотрела на меня в полной растерянности.

— Он же не будет тебе всякий раз учинять допрос с медосмотром, или как? — ухмыльнулся я. — Да и проверить ничего не сможет. Все, что тебе нужно сделать, это поклясться скаутской присягой, что мы честно исполнили свой долг.

Вот здесь-то она впервые по-настоящему разглядела дилемму, перед которой оказалась: или ей придется лечь со мной в постель, чего ей не хотелось, или соврать Джо, чего ей также совсем не хотелось; третья альтернатива — утвердить свою собственную позицию, просто-напросто отказавшись следовать в русле его большой политики, — была ей, очевидно, не по силам.

— Господи! А что бы ты сделал на моем месте, Джейк?

— Послал бы его к чертовой матери! — бодро сказал я. — Во-первых, я бы сюда не поехал. Но раз уж я здесь оказался, я бы на твоем месте, ни секунды не поколебавшись, наврал бы ему с три короба. И побольше кровавых деталей. Скажи, что мы пять раз душили друг друга в объятиях и еще два раза совершили грех содомский. Он сам напросился. Голову даю на отсечение, что больше он тебя ко мне не пошлет, если ты, конечно, распишешь ему небо звездами. Это же старый фокус — избавиться от дурного закона, доведя его до абсурда.

Ренни куснула костяшку кулака и коротко мотнула головой.

— Я не смогу ему солгать. И лечь с тобой в постель — тоже не смогу.

— Тогда пошли его к черту.

— Ты просто не понимаешь, как это все на него повлияло, Джейк. Он не сумасшедший; я даже и невротиком его назвать не могу. Мне кажется, он думает сейчас более ясно и напряженно, чем когда-либо. Но для него это вопрос жизни и смерти. Для нас обоих. Это наш самый серьезный кризис.

— Что он сделает, если ты скажешь, что не можешь с ним согласиться в одном-единственном данном конкретном случае?

— Что угодно. Он может просто встать и уйти — навсегда, а может застрелиться или перестрелять нас всех. Я даже могу себе представить, как он везет меня обратно к тебе, сразу же, и сам приходит вместе со мной, чтобы убедиться...

— Чтобы убедиться, что ты проделаешь все то, что должна хотеть проделать? Ренни, это же смешно!

— Он подумает, что я окончательно его предала. Сдалась и опустила руки.

— Господи ты боже мой, ну пойдем тогда в постель. Если уж ты не можешь притвориться, что принимаешь его всерьез, давай и в самом деле примем его всерьез. Я тебе гарантирую, что больше он тебя сюда посылать не станет. — Я встал. — Давай-ка, милая моя: ты сможешь пересказать ему все то, что я нарисовал тебе раньше, и говорить будешь чистую правду. Закатим старине Джо урок с наглядной демонстрацией материала.

— Да как ты и *думать*-то об этом можешь? — закричала Ренни.

Честно говоря, чувства у меня — впрочем, как обычно — были самые разноречивые. Ренни переживала классический конфликт между тем, чего тебе хочется, и тем, что ты считаешь должным, — вернее, между нежеланием дальнейших супружеских измен и нежеланием врать Джо Моргану; в моем же конфликте оба варианта, во-первых, были для меня вполне приемлемы, а во-вторых, мне разом хотелось и того и другого. Я был бы рад навсегда отделаться от всякого дальнейшего участия в этой истории, разрушившей нестандартные отношения между Морганами (каковыми отношениями, кстати говоря, я был готов восхищаться, но примерить их всерьез на себя, при моей-то смене настроений — нет уж, увольте), и в то же время в данном случае я был готов помочь Джо: потому, что обещал свою помощь, а также потому, что одна добрая доза этого лекарства должна была заставить его выписать другой рецепт. Кроме того, хотя по временам я ничего не имею против толики садизма в сексе, у меня был не тот настрой, чтобы устраивать Ренни пытку, а постель для нее была бы сейчас пыткой; но при этом, как я и сказал уже раньше, меня к ней тянуло, и тянуло всерьез. Чувство вины — так уж вышло, хотя в его уместности я до сих пор ничуть не сомневался — куда-то подевалось в суматохе, вызванной мелодраматическим жестом Джо. Я был слишком удивлен и заинтригован развитием событий, чтобы вспоминать лишний раз о своей виновности.

— Я не стану занимать позиций, — твердо сказал я. — Я тоже ухожу от темы, но только через задницу. Что бы ты ни сделала, я — за.

— Я не могу в постель! — взвыла Ренни.

— Тогда поехали домой.

— Я *не могу*! Пожалуйста, ну *пожалуйста*, Джейк, спусти меня с лестницы или изнасилуй! Я ничего не могу сделать сама!

— А я не собираюсь принимать за тебя решения, — сказал я.

И это тоже, наверное, был своего рода садизм, зато все по-честному; я и в самом деле не смог бы от всей души сделать ни того, ни другого, а вполдуши лучше сидеть тихо, нежели делать драматические жесты. Ренни, скорчившись на стуле, заливалась слезами полных две минуты; ей было по-настоящему плохо.

Твою мать, а сколько всяких иных путей можно было придумать. Очень может быть, подумал я, что в конечном счете Морганы погибнут просто от недостатка воображения. Я глянул на Лаокоона: гримаса была отстраненной и безо всяких намеков.

Глава десятая

Сентябрьское самоедство Ренни зрелище собой являло не самое приятное

Сентябрьское самоедство Ренни зрелище собой являло не самое приятное — по большей части, ибо хоть она и говорила, что, мол, личность не является ценностью в силу одной только своей уникальности, но я-то чаще всего не получаю удовольствия, усугубляя несчастья ближних, в особенности когда они на самом деле ближние. Гуманизмом здесь и не пахнет: на человечество как общность мне в высшем смысле наплевать, и душевное состояние отдельных знакомых индивидов, ну, скажем, Пегги Ранкин, также нимало меня не волнует. Это просто описание моих реакций — выстраивать аргументацию в защиту данного положения я бы никак не взялся.

Беда, наверное, в том, что, чем больше мы знаем о конкретном человеке, тем труднее становится приписать ему тот или иной характер, который позволил бы в пиковых ситуациях эффективно с ним взаимодействовать. Короче говоря, практиковать Мифотерапию становится все труднее, поскольку закрывать глаза на явную неадекватность предписанных ролей уже не получается. Экзистенция не просто предшествует эссенции: в случае с человеческими существами она скорее бросает эссенции вызов. И едва ты узнаешь человека настолько близко, что можешь составлять о нем противоречивые суждения, Мифотерапия приказывает долго жить и воскресает ненадолго, лишь когда ты не совсем в себе, забыл с утра проснуться.

Бывало и такое, но редко. Заключительная часть описанного выше вечера складывалась следующим образом: когда я наконец отнес Ренни в постель (подивившись, какая она все-таки тяжелая), мне это удалось по той простой причине, что, к худу или к добру, острота и ясность чувств сильно померкли, и оттого я смог драматизировать ситуацию как эпизод в романтической мистерии смыслов. Джо был Разум, или Бытие (в качестве сценической площадки я использовал космос Ренни); я был Иррациональное, или Не-Бытие; и мы сражались не на жизнь, а насмерть за обладание Ренни, как Бог и Сатана за душу Человека. Это чистой воды онтологическое манихейство не выдержало бы, конечно, никакой серьезной критики, зато обладало тремя достоинствами: можно было не наделять Ренни специфической, ей одной — а не всякой Душе Человеческой — присущей эссенцией; можно было попирать законы брака с поистине мефистофельским наслаждением; и, наконец, можно было не задумываться о мотивах, поскольку я осуществлял, так сказать, суть сути, эссенцию эссенции. Не станете же вы требовать, чтобы Сатана анализировал свои поступки?

Что же касается Ренни, она к тому времени была едва ли не в параличе и, кажется, с некоторым даже облегчением позволила мне навязать ей роль Человечества; какая там разыгрывалась драма *у нее* в душе, я понятия не имею. После я отвез ее домой.

— Не зайдешь на минутку? — деревянным голосом спросила она.

Но мое желание играть в мистерию ушло за сексуальным пылом вслед, и я был холоден как овощ.

— Да нет. Как-нибудь в другой раз.

А в общем, я испытывал к Морганам некое расплывчатое чувство жалости, особенно к Ренни. Джо в конечном счете весьма последовательно отстаивал собственную позицию, а это всегда как-то успокаивает, даже если данная позиция не ведет ни к чему иному кроме проигрыша, кроме беды, как в случае с игроком в бридж, когда он блестяще разыгрывает безнадежную партию, или в случае с Отелло, любовь которого лишена мудрости, но все же это любовь, и какая! Но у Ренни-то вообще не было больше никакой позиции, чтобы, отталкиваясь от нее, она могла вести себя последовательно или непоследовательно, а по складу своему, в отличие от меня, в твердой точке опоры она нуждалась для элементарного самосохранения.

Она приходила ко мне три раза в сентябре и один раз в октябре. Первый визит я уже описал. Второй, на следующей неделе, в среду, был совершенно в ином роде: Ренни казалась разгоряченной, сильной, не без толики радостного этакого куража. Мы сразу же, с юным пылом, бухнулись в постель — и она до того распоясалась, что принялась надо мной подтрунивать, мол, почему это муж у нее энергичней в сексе, чем любовник, — а потом выставила принесенную с собой кварту калифорнийского мускателя и оживленнейшим образом монологизировала целый час или около того.

— Бог ты мой, какая я все это время была дура! — смеялась она. — Тоже, развесила сопли, ну прямо как школьница!

— В смысле?

— И с чего это я вообще всю эту бодягу приняла близко к сердцу? Знаешь, что со мной случилось прошлой ночью?

— Нет.

— Я подскочила в три часа утра — сна ни в одном глазу, у меня так каждую ночь, с тех пор как все тут у нас закрутилось. Обычно меня сразу начинает трясти, и я либо сижу до утра в поту и в корчах, или бужу Джо, и мы с ним начинаем по сотому разу перебирать все заново. Ну вот, прошлой ночью я проснулась как обычно, луна сияет, Джо спит — он прямо как подросток, когда спит, — и, черт его знает почему, пока я на него смотрела, он начал во сне ковырять пальцем в носу! — Она хихикнула, а потом рыгнула, нечаянно и тихо, от вина. — Извини, пожалуйста.

— Ничего страшного.

— Ну, и я вспомнила про ту ночь, когда мы подглядывали за ним в окошко гостиной, только тут меня это никак не задело, а, наоборот, показалось смешным, ну прямо до чертиков! Вся эта чертова кутерьма показалась мне смешной до чертиков — и то, как мы ее воспринимаем. Джо показался мне недорослем, который пытается из ничего раздуть трагедию, а ты, ты — просто полным неудачником. Ты сердишься? — Она рассмеялась.

— Нет, конечно.

— А я сама — сопливая девчонка, которая вечно хнычет и позволяет двум придуркам издеваться над собой из-за какой-то чертовой ерунды. У меня возникает похожее чувство, когда я позволяю детям низвести себя до их уровня. Часто бывает: они весь день дерутся и кричат, а я настолько от них устаю, что под конец сама начинаю кричать и плакать, а потом всегда чувствую себя ужасно глупо, и даже

становится стыдно — слегка. Как только взрослые люди могут устраивать из-за эдакой малости такой вот балаган? Тем более если у них у самих семья, дети?

— Бедный маленький коитус, — улыбнулся я. Если честно, хорошее настроение Ренни рождало во мне чувства совершенно противоположного порядка: чем счастливее она выглядела, тем больше я мрачнел, и чем явственней она склонялась к легкому, едва ли не легкомысленному восприятию ситуации, тем черней сгущались тучи на личном моем горизонте.

— Это же нонсенс — принимать всерьез такую мелочь! О ней и задумываться-то не стоит, не то что затевать развод! Да я могу переспать хоть с сотней разных мужиков и не стану при этом относиться к Джо ни на каплю иначе!

— Оно конечно, — я сварливо перебил ее гимн свободе, — ничто не серьезно, не важно само по себе, но становится серьезным, если ты сам готов принять его всерьез. И я не вижу особого повода смеяться над чужой серьезностью.

— Да перестань ты, в конце-то концов! — воскликнула Ренни. — Ты прямо как Джо, ничуть не лучше. По-моему, все наши беды оттого, что мы слишком много думаем и слишком много говорим. Говорим, говорим, а получается в результате полная чушь, которая тут же исчезла бы, если бы все попросту заткнулись. — Она опрокинула очередной стакан — уже четвертый или пятый по счету, тогда как я все еще нянчил свой первый. — Знаешь, что я думаю? Я думаю, ничего подобного в жизни бы не случилось, не будь у нас такого количества свободного времени. Правда-правда. Ты вот клянешься и божишься, что понятия не имеешь, как во все это влез, а я вот думаю, ты во все это влез просто от скуки.

— Да брось ты.

— А что, амбиций у тебя никаких, ты не слишком занят, красавцем тебя тоже не назовешь, живешь только для себя. Мне кажется, ты целыми днями сидишь вот так, качаешься в своем этом кресле, подремываешь и придумываешь всякие пакости исключительно потому, что тебе скучно. Мне кажется, ключик-то к тебе элементарный: тебе просто-напросто скучно.

— Я не просто то или се, Ренни, — вяло отозвался я. — Мне, может быть, *среди прочего* и скучно тоже, но мне никогда не бывает *просто скучно*. — Ренни, ясное дело, пыталась учинить сеанс любительской Мифотерапии: всякий, кто начинает говорить о людях с точки зрения подбора ключиков, занимается откровенным мифотворчеством, поскольку таинство души человеческой через ключики не объяснить. Но я был слишком мрачен, чтобы расщедриться по поводу ее сюжетослагательских дерзновений на что-нибудь кроме самых поверхностных замечаний.

— А *мне* кажется, тебе просто скучно; и мне плевать, что ты по этому поводу думаешь. Мне вообще больше нет дела до того, что вы оба думаете обо всем об этом или там обо мне: я вас больше всерьез принимать не намерена. Я даже и думать об этом перестала.

— Весьма неглупо с твоей стороны.

— Что, задело? — рассмеялась она. — Правда ведь, всякий интерес пропадает, если мне больше не будет больно? Ну и черт с тобой! Мне больше не будет больно. Что это ты такой надутый, а? Можно подумать, ты в штанишки наделал или еще чего хуже. — Ей самой стало смешно, и она пьяненько хихикнула. — У Джо сегодня утром вид был точь-в-точь такой же — насупился, что твой пророк библейский. Я испортила вам игру, вот вы теперь и дуетесь. Да перестань ты строить козью морду, и давай мы с тобой напьемся, а нет, так отвези меня домой.

Я докончил стакан и налил себе еще.

— Ты, надеюсь, понимаешь, что я не поверил ни единому твоему слову. Смело, конечно, но не убеждает.

— У тебя просто духу не хватит поверить, — съехидничала Ренни.

— И у меня не хватит, и у тебя не хватит, даже под прицелом.

— Давай мели, — заявила Ренни. — А мне плевать.

— А еще я не думаю, что Джо хоть что-нибудь знает.

— И плевать.

— Он ведь не станет сидеть с мрачным видом. Он хлопнет дверью, и все дела.

— Это тебе так кажется. Мы слишком тесно связаны. Я вообще в толк не возьму, и чего я, собственно, паниковала: да разве такая вот малость может нам с Джо помешать? Для этого нужен кто-нибудь посильнее, чем ты, Джейк. Ты же ничего про нас, про Джо и про меня, не знаешь. Ничегошеньки.

— Я уже говорил тебе в прошлый раз, чтобы ты послала его к черту.

— Я еще, может, вас обоих пошлю к черту.

— Замечательно, девочка моя, но когда будешь приводить приговор в исполнение, не забудь про его коронный хук левой.

Эта моя последняя фраза протрезвила ее стакана на три, не меньше.

— Не думаю, что Джо еще когда-нибудь меня ударит, — серьезно сказала она.

— Тогда скачи скорей домой, пока ты под мухой, щелкни его по носу и скажи, что не станешь больше принимать всерьез всякую чушь вроде вашей с ним половой жизни, — предложил я. — Скажи ему, что все проблемы оттого, что он слишком много думает.

— Джейк, он больше не станет меня бить. Никогда.

— Он свернет тебе к чертовой матери челюсть. Только скажи ему, что он ведет себя как школьник! Он дух из тебя вышибет, и ты это прекрасно знаешь. Ну, давай, я составлю тебе компанию. Если ты права, ка-ак мы все начнем тут хохотать, и фыркать, и утирать друг другу сопли. А потом соединим по-братски руки, и все наши беды прикажут долго жить.

Ренни окончательно протрезвела.

— Я тебя ненавижу, — сказала она. — Ты ведь даже на минуту не дашь мне побыть хоть вполовину, хоть чуточку такой счастливой, как раньше. Даже и притвориться счастливой я не имею права.

И (mirabile dictu[1]) едва она помрачнела, как я был исцелен — ее былая легкость перешла ко мне, и я налил себе еще стакан мускателя.

— Вот теперь ты доволен, да? — почти навзрыд.

— Н-да, хорошо быть извращенцем. Мне правда очень жаль, Ренни.

— Ты правда счастлив как задница! — сказала она, мотая головой из стороны в сторону.

Но такие случайные приступы бодрости у Ренни и такая ненужная жестокость с моей стороны бывали нечасто. Как второй ее визит не был похож на первый, так и третий (и последний в сентябре) ничего общего не имел со вторым. К этому времени я уже достаточно увлекся образовательным процессом, и причину моих настроений все чаще и чаще следовало искать в аудитории. В тот день, в последнюю пятницу сентября, я был проницателен, изобретателен, остер как бритва просто потому, что с утра у меня была грамматика и объяснял я правила управления падежными формами местоимений: редкостное чувство благоденствия и ясности, если и не прямо-таки просветления, приходит к человеку, когда он может не только сказать вслух, но и понять от и до, что местоименное дополнение ставится при переходном глаголе в родительном падеже при отрицании или при указании на часть предмета, во всех же *иных* случаях правомерен исключительно винительный падеж. Я поделился данным наблюдением с полной аудиторией юных ученых и торжественно подвел черту.

---

[1] Странно сказать *(лат.)*.

— «Я могу принять *решение*, а могу и не принимать никаких *решений*»! Вопросы есть?

— Эй, послушайте, — раздался вдруг голос нарушителя спокойствия — в заднем ряду, где же еще, тот самый стервец, которого я уже пообещал себе непременно завалить за наглость на первом же зачете, — а что появилось раньше — язык или учебник по грамматике?

— Что вам угодно, Блейксли? — спросил я, отказываясь принять участие в игре по его правилам.

— Ну, у меня такое ощущение, что люди научились говорить куда раньше, чем принялись писать учебники, а задача учебников — объяснить, каким таким образом разговаривают люди. Вот, например, если моему соседу по комнате звонит по телефону приятель, я его потом спрошу: «Чего он хочет?» И любой здесь в аудитории спросит точно так же: «Чего он хочет?» Я готов поспорить, что девяносто процентов населения вообще в этом случае скажут: «Чего ему надо?» И никто, совсем никто не сформулирует вопрос: «Что, собственно говоря, ему угодно?» Спорим, даже и вы так не скажете? Оно ведь и звучит как-то странно, разве не так? — Аудитория осклабилась. — А поскольку предполагается, что у нас демократия, так раз уж никто кроме горстки ученых чудиков никогда не скажет: «Что, собственно говоря, вам угодно?», зачем притворяться, что мы все идем не в ногу, а они — в ногу? Почему не поменять правила?

Вылитый Джо Морган: дорожки следует прокладывать там, где ходят люди. Я возненавидел его всеми фибрами души.

— Мистер Блейксли, вы ведь, должно быть, едите жареного цыпленка руками?

— Чего? Да, конечно. А вы — нет?

Класс, увлеченный дуэлью, захихикал, но после этой его последней откровенно хамской выходки они уже не так однозначно болели за нахала Блейксли.

— Ну а бекон за завтраком? Руками или вилкой, мистер Блейксли?

— Руками, — ответил он с вызовом. — Ну конечно, руки ведь были раньше вилок, так же как язык — раньше всех этих ваших учебников.

— Но позвольте заметить, не *ваши* руки, — холодно улыбнулся я, — и, бог мне свидетель, не ваш английский язык! — Класс дружными рядами перешел под мои знамена: предписательная грамматика одержала победу. — Все дело в том, — подытожил я, обращаясь уже ко всей аудитории, — что, будь мы до сей поры дикарями, мистер Блейксли имел бы полную волю есть как свинья и не нарушал бы при этом никаких правил, потому что правил не существовало, и он бы мог вопрошать: «Звучит как-то странно, разве не так?» хоть каждые пять минут, и никто бы не обвинил его в безграмотности, поскольку грамотности — правил грамматики — попросту не было. Но как только устанавливается определенная система правил, будь то правила этикета или грамматики, и как только она принимается за норму — имеется в виду некий идеал, а не среднестатистическая норма, — вы получаете свободу нарушать их в том и только в том случае, если согласны, чтобы все прочие смотрели на вас как на дикаря или на совершенно безграмотного человека. И не важно, сколь бы догматическими или противоречащими здравому смыслу ни были эти правила, они — некая всеобщая условность. А в случае с языком есть и еще одна причина следовать любым существующим правилам, даже самым что ни на есть идиотским. Мистер Блейксли, что означает для вас слово *лошадь?*

Вид у мистера Блейксли был мрачнее некуда, но он ответил:

— Животное. Четвероногое животное.

— Equus caballus, — согласился я, — непарнокопытное травоядное млекопитающее. А что означает алгебраический символ «икс»?

— Икс? Все что угодно. Это неизвестное.

— Прекрасно. В таком случае мы можем приписать символу «икс» любое значение, по нашему с вами усмотрению, при условии, что в данном уравнении его значение останется неизменным. Но ведь *лошадь* есть точно такой же символ — некий шум, производимый нашим речевым аппаратом, или определенная система черточек на доске. И, теоретически, мы также можем приписать ему любое значение. Ну, предположим, мы с вами условимся, что слово *лошадь* станет для нас означать *учебник по грамматике*, тогда мы будем иметь право сказать: «Откройте вашу лошадь на двадцатой странице» или «Вы принесли сегодня на занятия свою лошадь?» И оба прекрасно друг друга поймем, как вы считаете?

— Ну да, конечно. — Всей своей душой мистер Блейксли не хотел со мной соглашаться. Он чувствовал какой-то подвох, но деваться ему было некуда.

— Что вполне естественно. Но больше никто нас понять не сможет — на этом основан любой шифр. И тем не менее в конечном счете нет такой причины, по которой *лошадь* не могла бы во всех случаях жизни означать учебник по грамматике, а не Equus caballus: значения слов по большей части связаны с формой совершенно условным и сугубо произвольным образом; обычная историческая случайность. Но соглашение о том, что слово *лошадь* будет означать именно Equus caballus, было достигнуто задолго до того, как мы с вами вообще получили право голоса, и если мы хотим, чтобы наша речь была внятной для достаточно широкого круга людей, мы должны соблюдать соглашения. Нам придется говорить *лошадь*, когда мы имеем в виду Equus caballus, и *учебник по грамматике*, когда мы имеем в виду вот этот скромный предмет на моем столе. Вы можете не соблюдать правил, если вам не важно, поймут вас или нет. А вот если это вам *все-таки важно*, тогда единственный способ стать «свободным» от правил — настолько ими овладеть, чтобы они сделались вашей второй натурой. Есть такой парадокс: в любом сложно организованном сообществе человек обычно свободен в той мере, в которой он освоил существующие правила и нормы. Кто в большей степени свободен в Америке? — спросил я в заключение. — Человек, бунтующий против всех и всяческих установлений, или же человек, который следует им всем настолько автоматически, что никогда о них даже и не задумывается?

Вопрос, конечно, на засыпку, но я, собственно, не собирался никого ни в чем убеждать; я пошел на вы, чтобы спасти предписательную грамматику от грязных лап нечестивого мистера Блейксли и, буде то представится возможным, уничтожить между делом его самого.

— Но, мистер Хорнер, — раздался юношеский голос — само собой, из первого ряда, — разве люди не стараются постоянно делать то или иное все лучше и лучше? А для того чтобы совершенствоваться, обычно приходится менять правила. Если бы никто и никогда не восставал против правил, не было бы никакого прогресса.

Я благосклонным взором оглядел бойкого юного прозелита: в эту почву я могу внести любую дозу конского дерьма, и только плодороднее будет.

— Здесь мы сталкиваемся еще с одним парадоксом, — сказал я ему. — Во все времена бунтарями и радикалами становятся люди, которые не могут не замечать, что правила зачастую являются сугубо произвольными — а в конечном счете все они произвольны, — и которые терпеть не могут произвольных правил. Таковы сторонники свободной любви, таковы женщины, курящие сигары, или те чудики из Гринич-виллидж, которые принципиально не желают стричься, да и вообще любые реформаторы. Но величайшим бунтарем в любой общественной системе является человек, который насквозь видит произвольность норм и социальных установлений, но настолько презирает, настолько ни в грош не ставит окружающее его общество, что с улыбкой принимает всю эту чертову гору чепухи. Величайший бунтарь — тот, кто ни за что на свете не станет менять общественных установлений.

Во как. Бойкий юноша, голову даю на отсечение, не на шутку расстроился, для остальной аудитории это была китайская грамота, я же к достигнутому состоянию остроты и проницательности прибавил еще и легкий привкус улыбчивого парадокса. Состояние продержалось весь день: я вышел из школы этаким Янусом, созерцающим амбивалентность бытия, и, сквозь ласковое равновесие вселенной, сквозь вездесущие полярности стихий, зашагал к дому, туда, где в девять вечера Ренни застала меня в кресле-качалке, и я все еще улыбался другу моему Лаокоону, чья гримаса была — сама красота.

Ренни нервничала, но нервничала тихо. Мы поздоровались, и она еще с минуту неловко постояла среди комнаты, прежде чем сесть. Я понял: достигнута некая новая стадия.

— Что теперь? — спросил я.

Вместо ответа, она дернула щекой, а правой рукой сделала неопределенный жест.

— Как Джо?

— Все так же.

— Ага. А ты?

— Не знаю. Схожу потихоньку с ума.

— Похоже, Джо не слишком тебя доставал, а?

Она посмотрела на меня. Отвела взгляд.

— Он Бог, — сказала она. — Он просто Бог, и все.

— Я так и понял.

— Всю эту неделю он был… ну просто лучше некуда. Не сравнить с тем, каким вернулся из Вашингтона, — тогда он был сам на себя не похож. Знаешь, можно подумать, что все забыто, что вообще ничего не было.

— А почему бы и нет? Я сам именно так себя и чувствовал на следующий же день после...

Она вздохнула.

— Ну, я и сказала как-то мимоходом, что мне бы не хотелось сюда больше ездить — что я не вижу в этом смысла.

— Понятно.

— Он не сказал ни слова. Он просто посмотрел на меня, долгим таким взглядом, и мне захотелось умереть прямо там же, на месте. А сегодня ночью он сказал, что уже привык принимать это как часть меня, хотя и не совсем понимает, как оно так получилось, но что он больше станет меня уважать, если я буду последователен в своих действиях, чем если вздумаю от них отречься. А потом он сказал, что не видит нужды больше говорить об этом, ну, в общем, вот и все.

— Так, господи, а в чем же дело, проблема решена, или я чего-то не понимаю?

— Проблема в том, что я ему не поверила и, даже если поверила, сама себя больше не узнаю.

— Ничего страшного. Со мной так чуть не каждый день.

— Но Джо-то, он всегда узнаваем. И ничего не получится, пока я не смогу стать такой же цельной, как он, и все свои поступки видеть так же ясно, как он видит свои. Джо, он всегда узнаваем.

Я улыбнулся:

— Почти всегда.

— Ты про то, когда мы за ним подглядывали? О, господи Иисусе! — Она качнула головой. — А знаешь что, Джейк? Мне кажется, лучше бы я ослепла, прежде чем посмотрела тогда в окно. С этого все и началось.

Сладостное чувство парадокса.

— Или ты могла бы сказать: на этом все и кончилось. Но начаться либо кончиться оно могло только для человека по фамилии Морган. Для человека по фами-

лии Хорнер ничего подобного не случилось. В моей вселенной всяк отчасти шимпанзе, в особенности когда он один, и никто особо не удивляется тому, что творят другие шимпанзе.

— Джо не такой.

— А тебе не приходило в голову, что человек, который признает, что все мы попросту валяем дурака, — может быть, он из нас из всех самый трезвый?

Сладостное, сладостное чувство парадокса!

— Мы с Джо в этом смысле повторили, по-моему, подвиг Марселя Пруста, — с печалью в голосе сказала Ренни. — Мы рассматривали ситуацию со всех точек зрения, какие только могли придумать. Иногда мне кажется, я ничего так глубоко не понимала в жизни, а иногда — вроде как в прошлый раз, когда я была у тебя, или вот сейчас — до меня вдруг доходит, что я ни сейчас, ни вообще когда бы то ни было ничего, ровным счетом ничего не понимала, не понимаю и, наверное, уже не пойму. Сплошной туман. И меня всю просто наизнанку выворачивает, даже если вроде бы и не от чего.

— А что Джо последнее время обо мне думает?

— Я не знаю. Не думаю, что он все еще тебя ненавидит. Может, ему больше неохота с тобой видеться, только и всего. Он считает, что ты играешь роль, очень на тебя похожую.

— На меня которого? — рассмеялся я. — А как насчет тебя?

— Наверно, я все так же тебя презираю, — спокойно сказала Ренни.

— Всего насквозь?

— Насколько глаз хватает.

Меня пробрало, с головы до пят. До этой фразы Ренни сегодня была мне безразлична, теперь же я вдруг проникся к ней жгучим интересом.

— Это что, с тех самых пор, как мы оказались в одной постели?

— Я уже не знаю, Джейк, что было тогда, а что я придумала потом; сейчас мне кажется, ты мне с самого начала не понравился, но, скорее всего, это не так. Было у меня к тебе странное такое чувство, по крайней мере с тех пор, как мы начали ездить верхом, и, насколько я теперь могу судить, это была неприязнь. Или нет, отвращение, так будет точней. Я не верю в предчувствия, но, клянусь тебе, уже тогда, в августе, мне казалось, что лучше бы ты вовсе не попадался на нашей дороге, хоть я и не могу объяснить почему.

Я почувствовал себя в двух шагах от вершины, я мыслью обнимал миры, и ни облачка на горизонте; стоглазый Аргус был в сравнении со мной подслеповат и темен.

— Спорим, я знаю одну такую точку зрения, до которой вы с Джо не додумались, а, Ренни?

— Мы перепробовали все, — сказала она.

— Но не эту. А по Закону Экономии она куда как хороша, поскольку при минимуме исходных посылок объясняет максимум известных фактов. Проще некуда, Ренни: это был не секс — это была любовь. То, что ты чувствовала и в чем никак не хотела себе признаться — ты в меня влюбилась, Ренни.

— Ты прав, — выдохнула она, подарив меня злым, едким взглядом.

— Есть же такая вероятность. Я это не из тщеславия говорю. По крайней мере, *не только* из тщеславия.

— Да нет, я не то имела в виду, — сказала Ренни, и фраза далась ей не без труда. — Я имела в виду… неправда, что я никогда об этом не думала.

Вот теперь у нее в глазах и впрямь читалось отвращение, только неясно, к кому или к чему.

— Черт меня побери совсем!

— Что, среди прочего, меня и довело до ручки, — сказала Ренни. — Мысль о том, что я в тебя влюбилась, никак не идет из головы, и еще всякие мысли: что я тебя презираю и что вообще, по идее, не могу испытывать к тебе каких-либо чувств просто потому, что ты не существуешь. Ты ведь понимаешь, о чем я. Я не знаю, которая из них — правда.

— А если они все вместе именно и есть — правда, а, Ренни? И коли уж на то пошло, может быть, не я не существую, а Джо?

— Нет, — она медленно покачала головой. — Я не знаю.

— Вряд ли стоит бояться мысли, что ты испытываешь ко мне чувство, похожее на любовь. Это же никак не скажется на твоем отношении к Джо, если тебе, конечно, не захочется поиграть в романтику. Да и вообще я не вижу, как и на чем это может сказаться, разве что весь этот сюжет станет чуть менее загадочным, и противности в нем тоже сильно поубавится.

Но Ренни все это явно пришлось не по вкусу.

— Джейк, я не смогу сегодня лечь с тобой в постель.

— Ну и ладно. Давай я отвезу тебя домой.

В машине я наклонился к ней и осторожно ее поцеловал.

— Мне кажется, это просто здорово. Хотя, конечно, смешно до чертиков.

— Вот тут ты, пожалуй, прав.

— А Джо ты об этих своих чувствах не докладывала?

— Нет. — Она потупилась. — И не смогу. В том-то вся и беда, понимаешь, Джейк, — сказала она и посмотрела мне прямо в глаза. — Я все так же его люблю, сильнее, чем он или кто угодно может вобразить, но того, что было раньше, нет. Кончилось. Дальше так нельзя. Даже если на самом деле я тебя и не люблю, сама возможность — то, что я ни в чем не уверена, — убивает все на свете. И это не решает никаких проблем: это и *есть* проблема. Ты можешь себе представить, что я чувствую, когда он говорит, будто принимает наши с тобой отношения — и пытается жить как ни в чем не бывало? Это ложь, все, насквозь, одна сплошная ложь — с той самой минуты, когда я призналась себе, что в принципе могу в тебя влюбиться.

— Только… Ренни, ничего не нужно ломать.

— А все уже сломалось, все, что у нас с Джо раньше было, и прекрасней этого ничего и никогда еще не бывало между мужчиной и женщиной. Там не может быть места ни для лжи, ни для дозированных чувств. Такое ощущение, будто меня обокрали на миллион долларов, Джейк! Если бы я его застрелила, и то, наверное, было бы легче!

— Хочешь, я войду с тобой вместе? — спросил я.

— Нет.

— А тебе не приходит в голову, что ты просто-напросто откладываешь все на потом?

— Я откладываю на потом все, что только могу, — сказала она, — и чем дальше, тем лучше. Я в полном тупике, и это единственное, на что я сейчас способна.

— Джо тоже мог до этого додуматься, — сказал я. — Он никогда не боялся крайностей.

— Мне это безразлично.

— Я просто не вижу никакого тупика. В моем мире тупиком бы тут и не пахло.

— Меня это не удивляет, — сказала Ренни. Плакала она или нет, я так и не понял, в машине было темно. Должно быть, плакала. Мы еще немного посидели молча, потом она открыла дверцу.

— Господи, Джейк, я понятия не имею, куда все это катится.

— Как, собственно, и Джо, — настроение у меня пошло вверх. — Он сам мне об этом сказал, прямо с порога.

— Только, бога ради, попытайся запомнить одну простую вещь: если я вообще тебя люблю, я не *только* люблю тебя. Честное слово, я тебя еще и ненавижу, со всеми твоими мерзкими потрохами!

— Я запомню, — сказал я. — Спокойной ночи, Ренни.

Она не ответила, она просто вошла в дверь, а я отправился домой, чтобы покачаться немного и поразмышлять над новой реальностью. Я был польщен сверх всякой меры — я всегда легко и с некоторой даже чрезмерностью откликался на любое проявление добрых чувств со стороны тех людей, которыми восхищался или хотя бы просто за что-то их уважал. Однако... н-да, может показаться, что я слишком вдаюсь в тонкости, но ведь знаток, он по природе буквоед. Дело в том, что даже в тогдашнем моем состоянии ничего особенно парадоксального я в чувствах Ренни не наблюдал, и это мне было обидно. Знаток (каковым я и был примерно с половины десятого утра) от парадокса — если этот парадокс достоин вызвать у него легкую улыбку, что, собственно, и позволяет нам признать в нем знатока, — так вот, от парадокса он ожидает чего-то большего, нежели простой двусмысленности, вызванной нечеткостью тех или иных языковых средств; в идеале парадокс должен представлять собой захватывающее дух противоречие концептов, чья истинная совместимость постигается исключительно посредством тонких и изящных умозаключений. Видимая противоречивость чувств Ренни по отношению ко мне, боюсь, являла собой — как и все мои внезапные, диаметрально противоположные чувства, коими я привык развлекаться на досуге, — всего лишь ложное противоречие, чей корень в языке, а не в скрытых за его символической природой концептах. Я, честно говоря, совершенно уверен, что испытываемые Ренни чувства не были ни противоречивыми, ни даже особо сложными: а были они монолитны и просты, как, впрочем, и любое чувство, но, так же как и любое чувство, носили характер сугубо уникальный и частный, и все беды начинались там и тогда, где она пыталась навесить на них ярлык в виде простенького какого-нибудь существительного вроде *любви* или *отвращения*. Вещи можно обозначить через существительные, только если вы согласны игнорировать их исконные друг от дружки отличия; но эти отличия, если почувствовать их достаточно глубоко, именно и заставляют нас ощущать неадекватность существительных и приводят любителя (но не знатока) к убеждению, что он столкнулся с парадоксом, с противоречием, тогда как в действительности речь идет всего лишь об иксах, которые отчасти лошади, а отчасти учебники по грамматике, но ни то и ни другое целиком. Приписывать имена вещам — то же самое, что приписывать людям роли: вы по необходимости искажаете суть вещей, однако искажение это необходимо, если вы хотите справиться с сюжетом; для знатока же, для ценителя это источник чистой радости.

Значит, Ренни любила меня и при том ненавидела! Так давайте скажем, что она привела меня к иксу и что радости ей это не доставило.

За этот месяц я, конечно, несчетное количество раз видел Джо в колледже, хотя общаться мы и не общались. Была бы такая возможность, я бы и вовсе его избегал, и не потому, что стал меньше уважать, восхищаться им или к нему охладел — совсем наоборот, да плюс еще чувство симпатии и сострадания, — а просто потому, что при одном его виде меня тут же охватывали смущение и стыд, вне зависимости от того, что я чувствовал минуту назад. Чтобы не сожалеть о прошлых своих грехах — как это лихо удавалось Джо, — нужно по меньшей мере ощущать себя цельной личностью, а вот это-то у меня, среди прочего, никогда и не получалось. И в самом деле, тот конфликт между различными индивидуальными точками зрения, который Джо считал едва ли не основой своей концепции субъективности, я бы еще развил, поскольку субъективизм предполагает личность, а там, где в одной душе личностей как минимум несколько, вам обеспечен все тот же самый конфликт, только на

сугубо внутриведомственном уровне, и каждая из ваших личностей будет претендовать на столь же неопровержимую точку зрения, на какую, по системе Джо, претендуют обыкновенно индивиды и социальные институты. Иными словами, насколько я могу судить из собственного опыта, индивид индивидуален в той же мере, в которой атом при ближайшем рассмотрении оказался атомистичен: его еще можно делить и делить, а субъективизм никак не возможен до тех пор, пока вам не удастся локализовать субъект. И уверяю вас, если бы не это досадное обстоятельство, я обеими руками подписался бы под Моргановой этикой. Но поскольку уж оно имеет место быть, то, если я утверждаю, что иногда согласен с этой этикой, а иногда нет, непоследовательности здесь не больше, чем, скажем, во фразе: «Некоторые люди согласны с Морганом, а некоторые нет». Точно так же, когда я сталкивался с Джо в коридоре, или в кафетерии, или в кабинете, мне становилось очень стыдно за все то горе, которое я ему причинил, — и в глубине души я не только сожалел о совершенном прелюбодеянии, но и отказывался признавать саму возможность такого поступка: я чувствовал, что ни за что на свете не сделал бы того, в чем оказался замешан этот самый Джейкоб Хорнер, и не желал иметь с вышеозначенным придурком ничего общего. Однако из чистого чувства чести (которое кое-кому из всей моей компании Хорнеров все-таки было присуще) я об этом плюрализме помалкивал, опасаясь, что Джо может усмотреть тут очередную увертку.

Только один раз за весь сентябрь у нас вышло что-то вроде разговора. Дело было в самом конце месяца, он просто увидел, что я в кабинете один, и зашел на пару слов. Выглядел он как всегда: свеж, подтянут, умен и остер.

— Мистер Макмэхон жалуется: лошади, мол, набирают лишний вес, — сказал он. — Ты что, окончательно решил поставить на уроках верховой езды крест?

Я покраснел.

— Мне показалось, курс окончен.

— А как насчет продолжить? Их ведь приходится гонять, выгуливать, а у него на это совсем нет времени.

— Да нет, пожалуй. Я вроде как потерял к этому делу интерес, да и Ренни — не думаю, чтобы это доставило ей большое удовольствие.

— Ты серьезно потерял интерес? А почему ты думаешь, что она...

Я не смог отследить в его тоне ни намека на злую волю, но отделаться от ощущения, что меня умышленно ставят в идиотское положение, тоже не мог.

— Ты ведь прекрасно знаешь, почему, а, Джо? Как тебе только в голову такое пришло? — Мне вдруг стало обидно за Ренни. — Мне очень неловко читать тебе мораль, но я все в толк не возьму, почему ты с таким упорством давишь ее и давишь, а ведь ей и без того уже несладко, Джо.

Он пихнул очки по переносице вверх.

— Ты за Ренни не переживай.

— В смысле, поздновато я спохватился? Согласен. Вот только я никак не могу понять, зачем ты заставляешь ее приходить ко мне на квартиру, если это, конечно, не хитрый такой способ наказания.

— У меня и в мыслях нет кого бы то ни было наказывать, Джейк; и ты это знаешь. Я просто пытаюсь ее понять, только и всего.

— Ты что, не понимаешь, что она все эти дни — на одних нервах? Я вообще удивляюсь, как она до сих пор держится.

— Она сильная женщина, — улыбнулся Джо. — Тебе, наверное, даже и представить трудно, что в каком-то смысле последние несколько недель у нас с ней были самыми счастливыми за долгий, долгий срок.

— И как вам это удается?

— Ну, во-первых, едва все завертелось, я тут же отложил диссертацию, и мы

стали гораздо больше времени проводить вместе. Мы говорим с ней о нас много больше, чем вообще когда-либо говорили, по необходимости — ну, и все такое.

У меня просто дух захватило.

— По ней не сказать, чтобы она лопалась от счастья.

— Я о другом счастье, должно быть, не о том, которое ты имеешь в виду. Естественно, о *беззаботности* и речи быть не может; но разве беззаботность и счастье — одно и то же? Дело в том, что мы очень плотно и безо всякой предвзятости с ней общаемся и пытаемся забраться друг в друга настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Здесь у нас все просто замечательно. И гуляем мы теперь подолгу и часто, потому что не собираемся гробить свое здоровье из-за всей этой неразберихи. Мы, должно быть, даже стали с ней ближе, чем раньше, вне зависимости от того, решаются наши проблемы или нет.

— Ты в этом уверен?

— Ну, я уверен, что нам удалось многое *прояснить* за это время. В первую очередь это касается целого ряда вещей, которые, оказывается, связывают нас, и всерьез, и о которых мы раньше даже понятия не имели, так что, очень может быть, мы не расстанемся с ней, даже если и не все придет в норму. Вряд ли я смогу уважать ее так, как прежде, — было бы странно с моей стороны, согласен? Во всяком случае, я не смогу уважать ее за то, за что привык уважать. Но держится она молодцом. Чертовски сильная — большую часть времени, и я это в ней ценю. А как тебе все эти дни моя подружка Ренни, что ты о ней думаешь?

— Я? — Я и думать не думал, что я там о ней думаю, по крайней мере после ее откровений двухдневной давности. Так что соображать приходилось по ходу дела, и очень быстро. — Ну, не знаю, — я попытался выиграть время.

— У тебя, наверное, было несколько странное представление о нас — раньше. И мне бы очень хотелось знать, что ты думаешь о ней теперь. Тебя не раздражает, что она иногда сама не знает, какие испытывает чувства?

Я откинулся на спинку стула и принялся созерцать кончик красного карандаша, которым правил упражнения по грамматике.

— Честно говоря, — сказал я, — может так оказаться, что я в нее влюблен.

— Правда? — быстро спросил он, и глаза у него загорелись.

— Я бы не удивился. Пару дней назад это была бы чистая правда. Теперь я уже не настолько в этом уверен, но и в обратном я не уверен тоже.

— Это же замечательно! — рассмеялся Джо; мне кажется, он имел в виду: *Это очень интересно*. — Ты поэтому и полез к ней в постель, тогда, в самый первый раз, да? Что же ты сразу не сказал?

— Нет. Тогда я этого не чувствовал.

— А Ренни об этом знает?

— Нет.

— А как она к тебе относится?

— Какое-то время назад презирала. А вот на прошлой, что ли, неделе, сказала, что ей все равно.

— Она тебя любит? — спросил он, улыбаясь.

Я, конечно, много раз говорил, что Джо работал безо всякой задней мысли, но вот поверить в отсутствие двойного дна в человеке почти невозможно. Великая, наверное, с моей стороны несправедливость, что я не смог поверить открытой улыбке и ясному лику Джо, но, каюсь, не смог.

— Я почти уверен, она до сих пор меня презирает, — ответил я.

Джо вздохнул. Он сидел на вращающемся стуле, со мной рядом; теперь он водрузил ноги на стоявший прямо перед ним стол и закинул руки за голову.

— А тебе никогда не приходило на ум, что винить во всем происшедшем, быть

может, стоило бы именно меня? Массу всего можно было бы достовернейшим образом объяснить, если исходить из мысли, что в силу той или иной извращенной логики я сам все взял да и подстроил. Просто возможное объяснение, среди прочих. А, как ты думаешь?

— Извращенность? Ну, не знаю. Если я в чем и вижу извращенность, так это когда ты раз за разом отправляешь ее ко мне.

Он рассмеялся.

— Пожалуй, когда я вас обоих друг к другу подталкивал, это можно было бы и впрямь объяснить извращенностью — теперь, когда мы знаем, что из этого получилось, — но если некая доля извращенности там и была, то неосознанная. Однако ты же это не всерьез: я, мол, заставляю Ренни приходить к тебе сейчас, потому что я извращенец. Я просто ее проверяю, испытываю. Она должна решить раз и навсегда, что она чувствует в отношении тебя, и меня, и себя самой, а ты ведь не хуже моего, наверное, знаешь, что, будь ее воля и не гоняй я ее к тебе, она постаралась бы вычеркнуть все из памяти, и чем быстрее, тем лучше.

— А тебе не кажется, что ты попросту расковыриваешь раны?

— Да, пожалуй. Конечно, именно этим я и занимаюсь. Но в данном случае мы не можем позволить им затянуться, покуда не установим, что это за раны и насколько глубоко повреждена ткань.

— А мне всегда казалось, что единственно правильный метод — это лечить раны, причем любыми средствами.

— Ты чересчур увлекся образом, — улыбнулся Джо. — Это ведь не физическая рана. Если ты прекратишь обращать на нее внимание, она, быть может, и перестанет давать о себе знать, но в отношениях между двумя людьми такого сорта раны не лечатся простым игнорированием факта — и если ты так поступишь, они откроются сами. — Он переменил тему. — Так, значит, ты любишь Ренни?

— Не знаю. Было такое чувство, раз или два.

— А ты бы женился на ней, не будь она за мной замужем?

— Я не знаю. Честно.

— А как бы ты поступил, если бы оказалось, что наилучший выход — некая постоянная связь между тобой и Ренни? Я имею в виду треугольник без всяких там замешанных на тайнах и ревности конфликтов?

— Не думаю, что это выход. Я-то, может, и смог бы так жить, но ты или Ренни — навряд ли. — И заметил не без интереса, что при одном только упоминании о женитьбе и о постоянной связи на меня вдруг накатилась усталость. Нет, все-таки забавно быть извращенцем! На роль мужа я никак не годился.

— Согласен. А где, в таком случае, выход, а, Джейк? Давай, твоя очередь.

Я покачал головой.

— А может, мне вас обоих застрелить? — осклабился он. — Я уже кольт припас, сорок пятый, и дюжину патронов впридачу. Когда нам с Ренни в первый раз пришла в голову такая мысль — это когда я три дня отлынивал от школы, я раскопал в подвале старенький свой кольт, зарядил его и положил на полочку в чулане, ну, знаешь, в гостиной, на случай если кому-нибудь из нас захочется пострелять — в себя или в кого другого.

Я вдруг страшно встревожился. Н-да, а не в Джо ли Моргана я в конце концов влюбился? Он встал и дружески хлопнул меня по плечу.

— Ответа нету, а?

Я опять же покачал головой.

— Будь я проклят, Джо, если я знаю, что сказать.

— Ну, короче говоря, — сказал он, потягиваясь и направляясь к двери, — он все еще там, в чулане. А вдруг пригодится.

Кольт сорок пятого калибра, принятый на вооружение в армии Соединенных Штатов в качестве личного стрелкового оружия, — пистолет большой, тяжелый и вида весьма устрашающего. Его отдача отбрасывает руку вверх, а толстая свинцовая блямба, которой он стреляет, лупит с такой силой, что сшибает человека с ног. Образ жуткого этого монстра полностью овладел моим воображением дня на три — на четыре, едва только Джо о нем упомянул: я думал о нем, должно быть, параллельно Джо и Ренни, которые тоже думали, как он лежит, как глыбится на чуланной полке, день и ночь, пока они анализируют и разбирают по кусочкам каждую мельчайшую деталь адюльтера, — и ждут кого-нибудь, кто примет, наконец, решение. Немудрено, что Ренни по ночам не спится! Вот и меня одолела бессонница, как только сей механизм эдак походя был вброшен в наш сюжет. Даже в моей собственной комнате он возвещал о себе сгустившимся, едва ли не зримым воплощением Выбора: сам факт его существования, по сути дела, изменил условия игры и придал моим размышлениям на заданную тему тот привкус сиюминутной значимости, который, я в этом уверен, Морганы почувствовали сразу, я же, в силу изолированности — если и не иных каких причин, — был от него до времени свободен.

Этот пистолет снился мне по ночам, и днем он мне грезился тоже. Воображение рисовало его крупным планом, с фотографической точностью, он был тяжелый и плоский и лежал в темноте на полочке в чулане, а сквозь дверцу доносились голоса Джо и Ренни, которые все говорили без остановки, день и ночь. И говорили, говорили, говорили. Я слышал только интонации: Ренни — сдержанность, отчаяние, истерика, поочередно; Джо рассудителен и спокоен, без вариантов, час за часом, пока сама эта спокойная его рассудительность не становилась безумием, ночным кошмаром. Я клянусь: ничто и никогда не заполняло мою голову настолько плотно, как образ этого кольта. Он являлся мне в разнообразии смыслов никак не меньшем, чем Лаокоонова улыбка, но только если каждый помножить на окончательность и неотвратимость. Именно эти, последние, ингредиенты и сообщали кольту жуткую жизнеспособность. Он был со мной всегда и везде.

И когда, немного времени спустя, я столкнулся с этим пистолетом нос к носу, в собственной комнате, в которой он и так уже не первый день обитал на манер проклятого духа, это было похоже на кошмар, ставший явью; по сей причине я и побледнел, и почувствовал слабость в коленях, потому что в принципе я пистолетов не боюсь. Ренни пришла в восемь, а перед тем, примерно за час, позвонила и сказала, что ей необходимо со мной встретиться, и, к немалому моему удивлению, с ней вместе прибыл Джо, а вместе с Джо прибыл кольт, в бумажном пакете. Ренни, должно быть, недавно плакала — щеки бледные и глаза припухли, — но у Джо вид был вполне жизнерадостный. Первое, что он сделал, едва заметив, что я с ним поздоровался, — вынул пистолет из пакета и осторожно положил его на маленький стоячок под пепельницу, каковой, в свою очередь, водрузил в самой середине комнаты.

— А вот, Джейкоб, и наш маленький друг, собственной персоной, — засмеялся он. — Все, что есть в нашем доме — твое.

Я — издалека — оценил пистолет, хихикнул в ответ на плоскую полушутку-полужест и, как уже сказал чуть выше, побледнел. Машинка была что надо, точь-в-точь по мерке моих ночных кошмаров, и вид у нее был — мрачная решимость. Джо следил за моим лицом.

— Как насчет пива? — спросил я. Чем старательнее я пытался скрыть тревогу — меньше всего на свете мне сейчас хотелось чувствовать именно тревогу, — тем явственней различал ее в собственной манере и в голосе.

— Дело хорошее. Ренни? Ты будешь?

— Нет, спасибо, — откликнулась Ренни, и голос у нее был прямо как у меня.

Она присела на заваленный всяким хламом стул у окна, а Джо — на краешек моей чудовищной кровати, так что, когда я открыл бутылки и занял единственное оставшееся пригодное для сидения место, кресло-качалку, мы самым идиотским образом образовали правильный равносторонний треугольник, с пистолетом в центре. Джо заметил это в ту же секунду, что и я: за его усмешку ручаться не стану, но моя-то вышла кривой и безрадостной.

— Итак, что стряслось? — спросил я его.

Джо толкнул очки по переносице и закинул ногу за ногу.

— Ренни беременна, — ровным голосом сказал он.

Если ты спал с женщиной — неважно при каких обстоятельствах, — в подобных новостях всегда есть что-то от удара лошадиного копыта. Пистолет еще подрос в размерах, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы собраться и сообразить: мне-то беспокоиться как бы и не о чем.

— Поздравляю!

У Джо на лице висела все та же, отнюдь не ласковая, улыбка, Ренни разглядывала коврик на полу. Минута молчания.

— А в чем, собственно, дело? Что не так? — спросил я, пытаясь выяснить, чего мне бояться.

— Ну, скорее всего, в том, что мы не уверены, кого, собственно, имеет смысл с этим поздравить, — сказал наконец Джо.

— Почему? — я зарделся. — Вы что же, боитесь, что отцом могу оказаться *я*?

— Я, по большому счету, ничего не боюсь, — сказал Джо. — Но отцом можешь оказаться и ты.

— Фу ты, Джо, поверь мне, тебе тут совершенно не о чем беспокоиться, — и я не без удивления посмотрел на Ренни, которой, на мой взгляд, не стоило бы выдумывать лишние сложности.

— Ты хочешь сказать, что всякий раз предохранялся. Я это знаю. Я знаю даже, сколько раз тебе приходилось это делать и какие именно контрацептивы ты предпочитаешь, Джейкоб.

— Так в чем же дело-то, черт побери?

— Дело в том, что и я тоже всякий раз использовал контрацептивы — и, если уж на то пошло, те же самые.

Я сомлел. Пистолет.

— Следовательно, — продолжил Джо, — ежели, как меня уверяет мой нежный друг Ренни, наш треугольник никогда не был прямоугольником и если не врет ее акушер, когда говорит, что презервативы дают гарантию примерно на восемьдесят процентов, поздравления можно считать взаимными. Фактически, при прочих равных, у нас один шанс из четырех, что отец именно ты.

Ни голос Джо, ни светлое его чело не выдавали, в каком таком свете он эту вероятность рассматривал.

— А ты уверена, что и в самом деле беременна? — спросил я у Ренни. И, к вящей моей печали, голос мой на этой фразе дрогнул.

— У меня... у меня большая задержка, — сказала Ренни, два или три раза прочистив горло. — И последние два дня меня постоянно тошнит.

— Ну, знаешь, тебе не так давно уже казалось, что ты залетела.

Она покачала головой.

— Там я сама себя накрутила. — Ей пришлось подождать секунду, прежде чем она смогла сказать что-то еще. — В тот раз я хотела забеременеть.

— Сомневаться особо не стоит, — сказал Джо. — И строить на сомнениях надежды. Если срок в пределах месяца, акушер, конечно, не станет давать гарантий, но Ренни свои симптомы знает.

Я вздохнул — неопределенно, ведь Джо еще даже и намеком не дал понять, что он чувствует.

— Н-да, это несколько усложняет дело...

— Ты так считаешь? И какие ты здесь видишь новые сложности?

— Мне кажется, все от вас зависит, от того, как вы сами на это смотрите.

— Да брось ты. Послушай, Хорнер, тебе придется наконец определиться. Ренни от меня на том же расстоянии, что и от тебя.

— Нам, наверное, нужно было подумать о такой возможности, — рискнул я заметить.

— То есть ты хочешь сказать, что это *мне* нужно было подумать, прежде чем посылать Ренни к тебе? Я и рассматривал самые разные варианты. Но это вовсе не означает, что я должен быть в восторге, если она беременна твоим ребенком. И мне такая перспектива, да будет тебе известно, ни хрена не нравится, и ничего подобного я не хотел и не ждал. Но вот о возможности этого я думаю прямо с той минуты, когда впервые услышал, что ты ее трахнул. А если вы не думали, то, извините, это ваша собственная дурь.

— Я вообще о таких возможностях стараюсь не думать, — и я улыбнулся печально. — Если все холостяки только об этом станут думать, ох и одинокая у них будет жизнь.

— Боже упаси.

Я пожал плечами. Мне было неясно, насколько я вправе испытывать раздражение: ситуация была уж слишком запутанная. Мы опять помолчали. Джо неторопливо жевал на большом пальце ноготь, Ренни по-прежнему гляделась в коврик, а я все пытался изгнать пистолет из поля зрения и вообще из головы.

— Ну, и что ты предлагаешь, а, Джо?

— Ты мне это перестань, — взвился Джо. — Это не только мой ребенок. Что *ты* предлагаешь?

— А что я могу предложить, если даже не знаю, собираетесь вы его оставить у себя, или отдать на усыновление, или еще чего. Ты прекрасно знаешь, я оплачу акушера, и клинику, и все такое, и дальше буду помогать, если ты решишь его оставить, а если на усыновление, тоже сделаю все, что в моих силах. Если б я сам мог его вырастить и воспитать, так бы и сделал.

— Но блевать-то ты за Ренни не сможешь, и схватки родовые тоже ведь напополам не разделишь.

— Нет, здесь от меня вряд ли будет толк.

— Ты слишком все упрощаешь, даже когда говоришь, *если я,* мол, *приму решение оставить ребенка*. Ты перекладываешь ответственность на одного меня. Обещаешь взять на себя расходы, но дело-то не в этом, и ты это прекрасно знаешь. Перевести проблему в план практический, деньги там, туда-сюда, милый мой, слишком просто. Я был бы тебе весьма признателен, если бы ты просто взял на себя свою долю ответственности. Только не бей себя пяткой в грудь и не тяни все это гребаное одеяло на собственную задницу. Тоже слишком просто.

— И как же это сделать — взять на себя свою долю ответственности? — спросил я. — Объясни, я готов.

— Тогда, бога ради, займи хоть какую-нибудь позицию и держись ее, чтобы мы знали, с кем имеем дело! И не отбрасывай мячик мне. Как *тебе* кажется, что я должен делать? Скажи Ренни, что́ ты хочешь, чтобы она сделала, и чего ты хочешь от меня, а потом мы тебе скажем за себя. И вот тогда, с божьей помощью, можно будет наконец взяться за дело всерьез!

— Джо, у меня четких мнений нет, — твердо сказал я. Беда была, конечно, в том, что у меня их было слишком много. Я болел за всех за нас разом.

Джо соскочил с кровати, схватил пистолет и направил его мне в лицо.

— А если я тебе скажу, что спущу курок, будут у тебя мнения по этому поводу?

К горлу у меня подкатила тошнота.

— Валяй, жми собачку.

— Зараза; значит, ты вообще никогда и ничего не сможешь решить. — Он положил пистолет назад на подставку. Ренни наблюдала за этой сценой со слезами на глазах, но плакала она не по нам.

— А что *ты* собираешься делать? — спросил ее Джо достаточно резко, и, когда она покачала в ответ головой, я заметил, что глаза у него тоже подернулись влагой, хотя выражение лица не изменилось. Нет, не было против меня альянсов: всякий плакал о своих печалях.

— Мне все равно, — сказала Ренни. — Делайте что хотите.

— Вашу мать! — заорал Джо, и слезы потекли у него по щекам. — Я не собираюсь думать ни за него, ни за тебя. Думай сама, или я больше знать тебя не знаю! Я не шучу!

— Я не хочу этого ребенка, — сказала ему Ренни.

— Хочешь отдать на усыновление?

Она покачала головой.

— Не выйдет. Если я буду носить его девять месяцев, я все равно его полюблю, а я не хочу его любить. Я не хочу носить его девять месяцев.

— Прекрасно; вот тебе пистолет. Стреляйся.

Ренни посмотрела на него, печально.

— Я так и сделаю, если ты этого хочешь, Джо.

— Какого *хрена* я хочу!

— Ты считаешь, что нужен аборт, так, Ренни? — спросил я.

Ренни кивнула.

— Я хочу избавиться от этого ребенка, я не хочу этого ребенка носить.

— Ну и где, скажите на милость, вы собираетесь в этой чертовой дыре найти врача, который станет делать аборт? — с омерзением в голосе спросил Джо. — Это вам не Нью-Йорк.

— Я не знаю, — ответила Ренни. — Но я не собираюсь вынашивать этого ребенка. Я его не хочу.

— Ну что, пойти опять к доктору Уолшу, как в прошлый раз, и пусть он над тобой поиздевается в свое удовольствие, так что ли? — предложил Джо. — Да он тебя с лестницы спустит! Я вообще не верю, чтобы во всем этом графстве был хотя бы один специалист по абортам.

— Я ничего не знаю, — сказала Ренни. — Я знаю только, что либо сделаю аборт, либо застрелюсь. Джо, я решила.

— Да, звучит, конечно, смело, но, Ренни, если смотреть правде в глаза: ты кого-нибудь здесь знаешь, кто делает аборты?

— Нет.

— И в Балтиморе никого не знаешь, и в Вашингтоне, и вообще нигде. И знакомых, которым приходилось через это пройти, их ведь у тебя тоже нет, не так ли?

— Нет.

— Прекрасно. Значит, ты говоришь, что сделаешь аборт или застрелишься. Допустим, начать придется с завтрашнего дня: что ты собираешься предпринять, чтобы найти специалиста?

— Я не знаю! — и Ренни разрыдалась.

— Черт тебя побери совсем, если и нужно было когда-нибудь нам всем думать ясно, сейчас самое время, но ты думать ясно не желаешь. Ты только ставишь либо — либо, хотя ни одно из этих «либо» в действительности даже и невыполнимо.

Ренни тихо вскрикнула и бросилась к стоячку, но, поскольку я не хуже Джо понимал, к чему идет дело, я успел ее упредить. И нырнул головой вперед из кресла, пытаясь дотянуться до кольта. Достать я его не достал (физическая координация движений никогда не была моей сильной стороной), но сумел в падении уцепиться кончиками пальцев за стоячок и опрокинул его вместе с пистолетом и со всем на свете на себя. Ренни, по инерции, ударила меня носком туфли по голове, да так, что потемнело в глазах, и тоже бухнулась на колени. Она рванулась было за пистолетом, который шлепнулся мне на левое плечо, а потом сполз куда-то под мышку, но я успел перекатиться на живот, закрыв пистолет от нее, а потом сам до него дотянулся, а ее блокировал спиной и локтями, покуда не встал. Отнять у меня пистолет она не стала даже и пробовать, а просто пошла, села обратно на стул и закрыла лицо руками. Меня била дрожь, я оставил стоячок лежать где лежал, а пистолет придержал при себе.

— Вы, ребята, с ума посходили, — сказал я.

Джо так и не двинулся с места, хотя ему это, судя по всему, далось нелегко.

— Ну-ка, Хорнер, объясни, почему, — он тоже был взвинчен.

— А пошел ты, — сказал я. — Ты что, хочешь, чтобы она себе башку к чертовой матери снесла?

— Я хочу, чтобы она думала сама за себя, — ответил мне Джо. — А у тебя, раз уж ты ее остановил, должно быть, появилось некое мнение. Или ты просто не хотел, чтобы в комнате был бардак? Может быть, ты считаешь, что нам лучше отправиться к себе домой и уж там стрелять сколько влезет, а?

— Ради всего святого, Джо, ты любишь свою жену или нет?

— Это не аргумент. А *ты* ее любишь? Ты поэтому ее остановил?

— В данный момент я никого не люблю. Я думаю, что вы оба — психи.

— Перестань говорить вещи, в которых мало чего смыслишь. Ты что, с большей охотой заставил бы ее родить ребенка, которого она не хочет?

— Срать я хотел на все ваши дела, но пистолет я вам не отдам.

— Ты городишь полную чушь, — со злостью сказал Джо. — Ты отказываешься думать. Ты продолжаешь говорить про *всех нас*, хотя прекрасно знаешь, что это натяжка. Ты говоришь, что тебе нет дела, что́ и как будет с Ренни, но при этом отнимаешь у нее возможность выбора. Ты изо всех сил мешаешь внести ясность.

— Да ты-то, черт тебя подери, чего хочешь? — заорал я.

— Я хочу, чтобы ты четко себе представил, что относится к делу и что к делу не относится! — яростно отчеканил Джо. — Люди действуют, когда готовы действовать, независимо от того, насколько ясно они мыслят, и если мне вздумается пришить тебя, Хорнер, я знаю, за что я тебя пришью: ты настолько умудряешься все запутать, что нам приходится сначала действовать, а потом уже рассуждать, — да еще за то, что в такой сложной ситуации исключаешь свободу выбора.

— А что в таком случае не относится к делу?

— Твое дурацкое стремление все упрощать не относится к делу, это во-первых; вопросы ко мне *как к мужу* по поводу моей позиции; обращение к нам с Ренни как единому целому, будто мы тут заговор против тебя затеяли; то, что ты мешаешь ей действовать; несешь какую-то чушь об извращенцах и психах.

— Мама родная, Джо, да если бы я не прыгнул, она была бы сейчас *мертвая*! Ты этого, что ли, добивался?

— А мы тут, Джейк, не в игрушки играем! Забудь все фильмы, которые ты видел, и все романы, которые ты читал. Все забудь, кроме этой самой проблемы. От всего от прочего только муть и ни хрена не видно. И перестань пялиться на меня, точно я какое-то чудовище! — он окончательно вышел из себя и кричал уже в голос. — Если есть на свете человек, который просто и ясно обо всем этом думал, так это я! Могу тебе сообщить, если тебе это интересно, что, пусти Ренни пулю в лоб, мы с

тобой тоже могли бы сейчас быть мертвы, оба; но я все равно останавливать ее не стал и не стану. Ты вообще до сих пор не встречал человека, который любил, который мог бы любить человеческое существо женского пола, Хорнер: все, кого ты знал, любят только красивые картинки в собственных дурацких башках. Если бы я не любил Ренни, думаешь, я сидел бы вот так и глядел, как она рванула к пистолету? Христа ради, Хорнер, *разуй глаза*! Один-единственный раз в жизни разуй ты свои чертовы глаза и постарайся понять другого человека!

— Ты хочешь, чтобы я положил пистолет обратно?

— *Прекрати спрашивать меня, чего я хочу*!

Я не знал, что и делать.

— На, — сказал я и вручил пистолет Джо. — Если ты такой задвинутый на своих идеях, давай, клади его на место сам.

Джо взял кольт и недрогнувшей рукой протянул его Ренни.

— Вот, — сказал он мягко, ухватившись за спинку ее стула. — Он тебе нужен?

Ренни покачала головой, даже не посмотрев в его сторону.

— А может, она хочет, чтобы ты ей оказал эту маленькую услугу? — спросил я, и яду не пожалел, но так при этом разволновался, что даже голова закружилась.

Джо глянул на меня.

— Ты хочешь, чтобы я тебя застрелил, а, Ренни? — саркастически спросил он. Она опять покачала головой. Джо поднял с пола стоячок, положил на него пистолет и вернулся назад, на кровать.

— Итак, Джейк, ты решил, что ребенка мы оставляем. Будут еще какие мнения?

Говорить я не мог. И только покачал, как Ренни, головой. Когда имеешь дело с человеком, который безоглядно воспринимает следствия своих идей и готов идти вдоль намеченных линий до конца, до последних пределов, это деморализует.

— Судя по всему, мнений больше нет, — презрительно бросил Джо. Он встал и принялся надевать плащ. — Ты домой поедешь? — обратился он к Ренни.

— Послушай, Джо, — спохватился я, когда они были уже в дверях. — А если бы у Ренни *получилось* найти специалиста, что бы ты тогда сказал?

— О чем ты? Какая разница, что бы я там ни сказал?

— Я имею в виду, как бы ты отнесся к мысли о том, что она и вправду может сделать аборт?

— Мне это не нравится, — Джо был прям как стрела. — Если бы это была действительно профессиональная операция в хорошей клинике и если бы выполнил ее квалифицированный специалист, тогда никаких возражений, но так не бывает. У Ренни прекрасное здоровье, а в этом городе она сможет найти разве что какого-нибудь полудурка, у которого руки растут из задницы и который изуродует ее на всю оставшуюся жизнь. — И он повернулся, чтобы уйти.

— Я попробую найти специалиста, — сказал я, — и если специалист будет и в самом деле хороший, за операцию плачу тоже я.

— Чушь собачья, — сказал Джо.

Глава одиннадцатая

На следующий день, рано утром, глаза мои вдруг открылись сами собой

На следующий день, рано утром, глаза мои вдруг открылись сами собой, и я вскочил с кровати в холодном поту с ужасным ощущением, что Ренни умерла. Я тут же позвонил Морганам и не поверил своим ушам, когда трубку сняла Ренни собственной персоной.

— Извини, что разбудил тебя, Ренни. Черт, я вдруг испугался, что ты уже застрелилась.

— Нет, я не застрелилась.

— Послушай, — умоляющим голосом попросил я. — Обещай, что не станешь этого делать, хотя бы некоторое время.

— Я ничего не могу обещать, Джейк.

— Но ты обязана, черт тебя побери!

— С какой стати?

— А с такой, если уж до всего остального тебе дела нет, что я тебя люблю. — Это была неправда, по крайней мере в том понимании, в котором любая лишенная смысла фраза правдой не является, как не является она и неправдой. Я даже не уверен, что я, собственно, имел в виду, когда поставил Джо в известность о своих нежных чувствах к Ренни, и уж во всяком случае в теперешнем моем заявлении смысла не видел никакого.

— Вот и Джо говорит то же самое, — съязвила в ответ Ренни.

— Да, замечательно, давай на том и порешим: он так сильно тебя любит, как я никогда и никого любить не смогу. Он так тебя любит, что готов позволить тебе стреляться за милую душу, а мне ты настолько безразлична, что и стреляться я тебе тоже не дам.

Ренни повесила трубку. Я набрал номер еще раз. На сей раз у телефона был Джо.

— Ренни не хочет с тобой говорить. То, что ты сказал минуту назад, глупость — или откровенная провокация.

— Извини. Слушай, Джо, ты думаешь, она покончит с собой?

— А мне откуда знать?

— Побудешь сегодня с ней дома, а? И проследишь, чтоб ничего такого не случилось? Всего один день, пожалуйста.

— И не подумаю. По одной простой причине. Если я начну ее пасти, завтра она точно застрелится.

— Значит, ты этого *не хочешь*, ведь правда?

— Это к делу не относится.

— Всего один день, Джо! Понимаешь, я, кажется, смогу кое-что для нее придумать, если ты не дашь ей сегодня отправиться на тот свет.

— У тебя есть знакомый специалист? Почему ты вчера ничего не сказал?

— Я не уверен. У меня-то у самого нет, но я знаю несколько человек в Балтиморе, у которых вполне может оказаться знакомый доктор. И я хочу побыстрее до них дозвониться. Заставь ее пообещать, что она не станет дергаться, пока я все не выясню.

— Ренни моим приказам не подчиняется и подчиняться не станет.

— Еще как станет, и ты это прекрасно знаешь. Скажи ей, что доктор у меня есть, но мне нужно с ним созвониться и обсудить условия.

— Нет, с нами этот номер не пройдет.

— Всего один день, Джо!

— Не вешай трубку, — сказал он. — Ренни? — Я услышал, как он ее позвал. — Ты собиралась сегодня стреляться?

Я услышал, как Ренни спрашивает, зачем мне это знать.

— Хорнер говорит, что у каких-то его балтиморских друзей может быть знакомый специалист по абортам, — сказал Джо. Я был готов убить его за то, что он сказал ей правду. — Он собирается им звонить и что-то там выяснять.

Ренни ему ответила, но я не расслышал.

— Она говорит, что ее все это не интересует, — сказал Джо.

— Слушай, Джо, я обзвоню всех, кого только смогу. Может быть, аборт даже и не понадобится. Я постараюсь раздобыть немного эрготрата. Самый простой и надежный способ. Скажи ей, что мне нужны на это сутки и что я либо привезу ей эрготрат, либо наверняка с кем-нибудь договорюсь.

— Ладно, скажу, — согласился Джо и повесил трубку.

Теперь: это была не то чтобы правда — честно говоря, это была совсем неправда, — что у меня в Балтиморе есть друзья, которые могут знать специалиста по абортам, потому как друзей у меня не было ни в Балтиморе, ни в других местах. И вот я начал обзванивать всех по очереди вайкомикских врачей, в алфавитном порядке. Первому из них я сказал: «Здравствуйте. Меня зовут Генри Демпси. Мы не так давно приехали в ваш город и личным врачом обзавестись пока не успели. Ну, короче говоря, моя жена попала в очень неприятную историю: у нас уже есть двое детей, а она, кажется, опять забеременела. Она у меня дама здоровая — с физической точки зрения никаких проблем, но, видите ли, с *психическим* здоровьем у нее не все в порядке. Если честно, то она состоит под наблюдением у психиатра. И я, право слово, думаю, что еще одни роды — это для нее будет слишком.

— Да что вы говорите? — ответил мне доктор. — А как фамилия вашего психиатра?

— Вы его, наверное, не знаете, — сказал я. — Он из Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, где мы жили раньше. Банкс. Доктор Джозеф Банкс.

— А ваша жена что, ездит на свиданья с психиатром в Уайт-Плейнс? — доктор был сама невинность.

— Я ведь уже сказал вам, доктор, мы только что переехали и не успели еще подыскать себе нового психиатра.

— Ну, это не моя специальность.

— Я знаю, сэр; да, в общем, не о том и речь. Я боюсь, как бы из-за этой беременности она не покончила с собой, пока я найду другого психиатра. Она в жутком состоянии. Если честно, я думал, может, вы выпишете ей эрготрат или еще что-нибудь этакое. Я знаю, так не полагается, но случай уж больно отчаянный. Вот пройдет годик-другой, она придет в себя, и будут у нас тогда еще и дети — все будет; мы, знаете ли, не хотели заводить *большую* семью, но три, даже четыре ребенка это, по-моему, в самый раз. А вот эта ее беременность, она может нам все поломать.

— Мне очень жаль, мистер Демпси, — ледяным тоном сказал доктор. — Но я этого сделать не могу.

— Ну пожалуйста, доктор! Я же не прошу вас выходить за рамки закона. Я привезу вам аффидевит[1] от доктора Банкса из Уайт-Плейнс, заверенный по всей форме. Этого будет достаточно? Он возьмет на себя всю ответственность.

— Нет, мистер Демпси, я понимаю, вы попали в весьма затруднительную ситуацию, но я вам ничем помочь не могу.

— А разве не сказано в законе, что вам разрешено принимать должные меры, если жизнь женщины под угрозой?

— Боюсь, это не в законе так сказано: это люди в городе привыкли считать, что в законе так сказано, и, если уж на то пошло, здешние жители настроены против искусственного прерывания беременности, так же как и я сам, и не важно, медикаментозный это аборт или хирургический. Кроме того, если проблемы у вашей жены по психической части, я бы не стал так уж категорически утверждать, что речь идет о жизни и смерти.

— Именно так! Доктор Банкс вам подтвердит!

— Извините, мистер Демпси. Всего хорошего.

---

[1] Письменное свидетельство, подтвержденное торжественной присягой.

Я обкатал эту историю на всех врачах, которые значились в телефонной книге — вернее, на тех, кто вообще стал меня слушать, — вот только мифического моего психиатра я переселил из Уайт-Плейнс в Филадельфию, на случай, если придется туда ехать, чтобы поставить настоящий штемпель на письме с фальшивым свидетельством. Кроме того, сверившись с филадельфийским телефонным справочником в холле гостиницы «Полуостров», я изменил имя психиатра с Джозефа С. Банкса на Гарри Л. Зигриста, самого настоящего практикующего психиатра, которого я выудил из этой самой книги. Но мне отказали все до единого. Нервы у меня начали сдавать: мне так хотелось действовать в рамках законности и я, как правило, настолько боялся дурного мнения о себе даже самых случайных людей, которых я знать не знал и на которых мне по большому счету было глубоко плевать, что правдоподобно рассказать свою продуманную до мельчайших подробностей историю я смог, по-моему, всего один раз, и с каждым следующим отказом повторять ее становилось все труднее.

Доктор номер семь, однако, к моему невыразимому облегчению, отнесся к этой моей байке более или менее благосклонно. Звали его Мортон Уэллек, и, судя по голосу, он был несколько моложе прочих своих здешних коллег.

— Итак, мистер Демпси, — сказал он мне, когда я оттарабанил свой монолог, — вы отдаете себе отчет, что врач, который согласился бы помочь вашей жене, взял бы на себя колоссальную ответственность?

— Да, конечно, доктор Уэллек. И если существует законный способ принять ответственность целиком на себя, я сделаю это с радостью.

— К сожалению, такого способа нет. Я, однако, весьма вам сочувствую, а закон гласит, что, в случае серьезной угрозы для жизни пациента, могут быть предприняты определенные шаги — по усмотрению лечащего врача. Вы признаете, что физическое здоровье миссис Демпси беспокойства не вызывает, следовательно, весь вопрос в том, действительно ли ее психическое состояние настолько серьезно, насколько это представляется вам. Такие вещи бывает необычайно трудно доказать, если кому-нибудь взбредет в голову сделать из этого проблему, а я могу сказать вам по секрету, что кое-кто из моих старших коллег здесь, в Вайкомико, — им только дай возможность раздуть скандал из случая вроде вашего. Я, честно вам скажу, по характеру не камикадзе.

Но я уже уловил в тоне доктора Уэллека проблеск надежды.

— А, скажем, нотариально заверенный аффидевит от доктора Зигриста не мог бы сыграть роль волшебной палочки? — умоляющим тоном спросил я. — Он обещал мне всяческую помощь.

— Не исключено, — согласился доктор Уэллек. — Конечно, я должен сперва сам обследовать миссис Демпси, хотя бы просто для того, чтобы убедиться, что она и в самом деле беременна! — Мы оба рассмеялись, я — более натянуто, чем он. — И еще я, пожалуй, задал бы ей несколько вопросов, хотя я, понятное дело, не психиатр.

— Разумеется. Я немедленно отправлю ее прямо к вам в приемную. — Я поднял очи горе, истово надеясь, что доктор Уэллек в городе недавно.

— Так и сделаем, — сказал он, — и, будьте любезны, попросите доктора Зигриста позвонить мне из Филадельфии. Мы решим, нужен ли аффидевит, и, надеюсь, он детально опишет мне случай миссис Демпси.

Перспектива мчаться с места в карьер в Филадельфию и изображать из себя психиатра привела меня в ужас, но это, судя по всему, был единственный выход.

— Хорошо, — согласился я, — я позвоню ему, как только освобожусь, и попрошу перезвонить вам.

— Вот и славно, — сказал доктор Уэллек. И помолчал немного. — Надеюсь,

вы понимаете, мистер Демпси, я ничего не могу обещать. Вайкомико и хренова туча других таких же городишек горой стоят за матушку-природу. В основном, конечно, виноваты здешние врачи, все это старичье: тут, наверное, лет сто уже не делали абортов, по крайней мере легальных. Если забыть на время о профессиональной этике, они, между нами, просто шайка старых пердунов. И если вся эта свора плюс кое-какие местные религиозные сообщества пронюхают что-нибудь насчет такого вот дельца, они же с того бедолаги, который, в смысле, сделает аборт, с живого шкуру сдерут. Мы не всегда имеем возможность быть настолько либеральными, насколько некоторым из нас того хочется.

— Я прекрасно вас понимаю, доктор, но речь действительно идет о жизни и смерти.

— Ну что ж. Посмотрим, что я смогу для вас сделать.

Манера, в которой говорил со мной доктор Уэллек, давала некоторые основания надеяться, что его не сложно будет обвести вокруг пальца. Во-первых, он чересчур разговорчив: трое из моих собеседников вообще отказались что бы то ни было обсуждать по телефону, а прочие — по части болтливости — и рядом с доктором Уэллеком не стояли. Дальше: из того, как сложился наш разговор, я заключил, что в конкурентной борьбе с более старшими местными врачами ему приходится нелегко, может быть просто потому, что он в городе недавно. А с профессионалом, который в телефонном разговоре с совершеннейшим незнакомцем начинает вдруг проезжаться на счет своих коллег, возможны, я так понимаю, самые неожиданные сделки.

Но вот Филадельфия! Одно дело фальшивое письмо — в письме я могу быть кем угодно, — однако даже сыграть по телефону роль Генри Демпси мне оказалось едва-едва по силам: что уж говорить о Гарри Л. Зигристе? Но и времени тоже не было: на часах уже десять, а Филадельфия в двух с половиной часах езды от Вайкомико. К счастью, день был субботний — занятий нет, а библиотека в колледже открыта. Я тут же заехал в библиотеку, взял первый попавшийся под руку учебник по патопсихологии и помчался в Филадельфию. Не успел я проехать и десяти миль, как мне пришло в голову: если придется отправлять аффидевит из Филадельфии, его непременно нужно будет отпечатать на машинке, а найти в чужом городе пишущую машинку дело почти невозможное. Я развернулся и, не обращая внимания на дорожные знаки, рванул назад, к себе на квартиру. Добрался я туда уже после одиннадцати.

Всем, кого это может касаться, писал я, отчаянно лепя на ходу фразы: Сьюзен Бейтс Демпси, двадцати восьми лет, жена Генри Дж. Демпси из города Вайкомико, Мэриленд, являлась моей пациенткой с 3 августа 1951 года по 17 июня 1953 года включительно; вскоре после означенного числа мистер и миссис Демпси выехали из Филадельфии на постоянное местожительство в Вайкомико. Миссис Демпси стала моей пациенткой по настоянию ее мужа и ее лечащего врача, доктора Эдварда Р. Райса, Филадельфия, после часто повторявшихся приступов тяжкой депрессии. Будучи в подавленном состоянии, дважды угрожала покончить жизнь самоубийством, а один раз даже порезала себе кухонным ножом запястья. Обследование выявило в случае миссис Демпси явные тенденции к маниакально-депрессивному психозу, тем более опасные, что в течение периода обострения объектом враждебного отношения со стороны пациентки неоднократно становились двое ее малолетних детей, хотя в обычное время она и выказывает себя как вполне компетентная и даже образцовая мать. Миссис Демпси страдает навязчивой идеей, выражающейся в страхе потерять привязанность супруга: во время депрессивной стадии уверена, что рождение двух сыновей на-

несло непоправимый ущерб ее женской привлекательности, что проявляется в негативном отношении к детям. Тем не менее, поскольку речь идет именно о враждебном отношении, а не об открытой агрессии и поскольку периоды депрессии чередуются с периодами интенсивной и даже радостной жизнедеятельности, в диагнозе я склоняюсь скорее к неявной форме маниакально-депрессивного психоза, нежели к паранойе.

За время лечения амплитуда маниакально-депрессивного цикла у миссис Демпси выказала явственную тенденцию к снижению, угрозы самоубийства, как и угрозы в адрес детей, прекратились вскоре после начала регулярных психотерапевтических процедур. Сбалансированное лечение обещает в данном случае весьма положительные результаты, и в случае продолжения оного состояние больной, вероятнее всего, должно стабилизироваться. Когда чета Демпси покидала Филадельфию, я рекомендовал продолжить начатое лечение, однако в личном разговоре с мистером Демпси объяснил, что срочности здесь никакой нет. Тем не менее я рекомендовал также избегать беременности до полного излечения миссис Демпси, поскольку именно предшествующие предродовые и постродовые периоды во многом и стали причиной ее теперешнего состояния.

Я считаю, что в данный период времени незапланированная беременность может иметь результатом критический рецидив заболевания; больная вполне в состоянии вернуться к навязчивой идее самоубийства как к альтернативе вынашиванию плода; я уверен также, что она способна привести угрозы в исполнение, даже при немедленном возобновлении психиатрического вмешательства. Я со всей категоричностью рекомендую, в целях сохранения здоровья как детей миссис Демпси, так и ее собственного, прервать ее беременность на возможно более ранней стадии.

Я подмахнул письмо: *Гарри Л. Зигрист, Д. М.*[1], сунул его в конверт и скатился вниз, к машине. По дороге я остановился только один раз, съесть ленч и подзубрить насчет маниакально-депрессивного психоза; в самом начале четвертого я уже стоял в телефонной будке в аптеке «Пенн-Велан» на Уолнат-стрит в Филадельфии и набирал по междугородней вайкомикский номер доктора Уэллека. Руки у меня тряслись; я был мокрый как мышь. Когда я услышал голос секретарши доктора Уэллека и оператор велел опустить шестьдесят центов, я уронил четвертак на пол, и у меня едва хватило духу подобрать его и попросить к телефону доктора Уэллека.

— Прошу прощения, доктор Зигрист, — сказала секретарша, как только я представился. — Доктор Уэллек сейчас в клинике.

— Экая досада! — доктор Зигрист был разочарован, и он был хамоват. — А связаться с ним вы, понятное дело, не в состоянии.

— Боюсь, что нет; сегодня после обеда он в хирургии.

— Черт знает что! — я испытал невероятное чувство облегчения, я готов был прыгать от радости, что мне не придется с ним говорить, но в то же время мой план был под угрозой срыва.

— Если хотите, я попрошу его перезвонить вам, как только он вернется из клиники.

— Ну уж нет, так дело не пойдет, — сварливым тоном сказал я. — У меня сегодня первый день отпуска, и мы с миссис Зигрист намерены весь октябрь провести на Бермудах. Слава богу, мистер Демпси успел до меня дозвониться — мы уже запирали парадное! Еще бы часок — и ищи-свищи. Вы понимаете, дело, конечно, отлагательств не терпит, но у меня самолет через два часа, а где я буду эти

[1] Доктор медицины.

два часа, одному богу известно. Доктор Уэллек, он ведь *выпишет* эрготрат, не правда ли? Иначе все может очень плохо кончиться.

— Ему нужно сперва переговорить с вами, доктор Зигрист.

— Да знаю, знаю. Ладно, слушайте, я велю своей секретарше отпечатать аффидевит, пока я здесь, — дело-то плевое, сами понимаете. — заверю его у нотариуса, отправлю вам срочной почтой, и все такое. Ччерт, поговорить бы, конечно, с вашим доктором Уэллеком! — сказал я раздраженно. — Случай настолько серьезный, что ждать можно чего угодно. Миссис Демпси, она, знаете ли, может выглядеть абсолютно нормальной, а через минуту вышибет себе мозги, если уже этого не сделала. Я со всей ответственностью заявляю, что доктор Уэллек обязан дать ей эрготрат, и чем скорее, тем лучше. Сегодня же вечером, если будет такая возможность; в крайнем случае, завтра утром. Я уже договорился с мистером Демпси, что он передоверит свою жену заботам одного из моих коллег, пока я не вернусь, но сперва придется разобраться с этим.

— Я сразу же обо всем сообщу доктору Уэллеку, — сказала секретарша, и, судя по голосу, впечатление я на нее произвел.

— Будьте так любезны, а завтра утром он непременно получит мой аффидевит.

— Сэр, а не могли бы вы дать мне ваш бермудский адрес, на случай, если доктор Уэллек захочет с вами связаться?

Вот черт!

— Мы с миссис Зигрист остановимся в «Принс-Джордж-отеле», — сказал я, искренне надеясь, что такой там есть.

— Так, «Принс-Джордж». Спасибо, сэр.

— И пожалуйста, передайте доктору Уэллеку, чтобы он этот эрготрат затолкал в миссис Демпси как можно скорее. Я из-за этакой дури пациента терять не намерен. Человек, конечно, должен быть осмотрительным, но, честное слово, будь я на его месте, она бы уже сейчас отдыхала после аборта. Ежу понятно, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и суицид там — из каждой щели. Ну, до свидания.

Я повесил трубку и чуть не упал в обморок. Так, с этим справились, но впереди-то еще того хуже. Нотариуса я разыскал в помещении ломбарда, двумя кварталами ниже по Уолнат-стрит (которая, боже упаси, тоже ведь могла оказаться участком настоящего доктора Зигриста), и сразу же переступил порог, пока мои нервы окончательно не разыгрались. Такая уж у меня судьба, я всегда выгляжу чуть старше собственного возраста, но не знаю, кем нужно быть, чтобы принять меня за дипломированного психиатра. К тому же разыгрывать из себя невесть кого лицом к лицу с человеком, которого обманываешь, куда труднее, чем заниматься этим по телефону. И наконец, я не был уверен, что нотариусы не требуют какого-нибудь удостоверения личности, прежде чем перейти непосредственно к печатям и клятвам. Я принял самый светский вид, на какой только был способен, и спросил у клерка, где тут, собственно, нотариальная контора: он тут же перенаправил меня к столу заместителя директора в другой конец комнаты.

— Оч-приятно, — улыбнулся мне замдиректора, коренастый лысый мужичонка с жеваной сигаркой во рту и в очках с металлической оправой.

— Моя фамилия Зигрист, — добродушнейшим образом начал я, — Гарри Зигрист. Где-то у меня тут должна быть бумажка, которую надо бы заверить, если я, конечно, не оставил ее в приемной, — я улыбнулся и начал не спеша перебирать карманы. — Ага, вот ты где, пакость такая мелкая, — я выудил письмо из внутреннего кармана пальто, развернул и наскоро его просмотрел. — Ммм-*хмм*. Теперь ваша очередь, сэр.

Замдиректора так же бегло прочитал документ.

— Вот блин, — сказал он. — Да она настоящая ведьма, а, док?

— У нас еще и не такие попадаются, — ухмыльнулся я.

— Ха! — сказал нотариус. — Видели бы вы, какие сюда дурики забредают. Вы бы на них себе состояние сделали.

Я все ждал, когда же он попросит меня удостоверить личность Гарри Л. Зигриста.

— Вот уж, право слово, — сказал нотариус, задумчиво и отстраненно. — Черте что там у них в головах творится. Н-да... — он начал рыться в ящике стола. — Вам не трудно будет чуть-чуть приподнять правую руку, а, док?

Я поднял, он тоже.

— Ну, короче говоря, клянетесь ли вы перед Богом и бла-бла-бла, и все такое? — спросил он, продолжая шарить другой рукой в столе.

— Клянусь.

— Оно, в общем, без разницы, клянетесь вы или нет, если я не найду эту чертову печать, — радостно сказал он. Перед глазами у меня поплыло — найти в чужом городе нотариуса настолько циничного и настолько доверчивого и после этакой удачи споткнуться о самый что ни на есть пустяк?

— А, вот она где, — сказал он, едва не по плечо ушедши в стол. Он шлепнул на мое письмо положенный штемпель и расписался закорючкой. Потом подозвал двух близсидящих клерков, чтобы те расписались за свидетелей. — И нечего всякую дрянь читать, глаза сломаете, — сказал он им. — Поставьте ваши «Джон Каляймаля» где положено, и свободны. — Они поставили. — Ну, доктор, вот и все дела: с вас полтора бака.

Я вынул бумажник, расплатился, стараясь, чтобы мое собственное удостоверение личности не попалось ему на глаза, и вышел вон с письмом в руках; письмо я опустил в первый же почтовый ящик. Филадельфией я был сыт по горло: времени четыре часа, и нужно срочно ехать домой. В общем и в целом я был восхищен свершенными мною деяниями, но четыре вещи не давали мне покоя. Во-первых, я не знал, поверит ли доктор Уэллек в мой на живую нитку сшитый аффидевит, в котором, насколько я мог судить, любой человек с высшим медицинским образованием, не дай бог со степенью, сразу же обязан углядеть подделку; во всяком случае было весьма вероятно, что, зародись только у него какие-никакие сомнения, скоропалительный отъезд доктора Зигриста тут же превратит сомнения в скепсис, а если подозрительности у него хватит на то, чтобы взять да и набрать номер приемной настоящего доктора Зигриста, я пропал. Во-вторых, я умышленно не оставил Уэллеку собственного номера, а в вайкомикском телефонном справочнике, естественно, никаких Генри Демпси не было и в помине; невзирая на тот факт, что существуют в мире люди без телефонов, сама невозможность связаться со мной, буде ему еще до моего повторного звонка этого захочется, также может навести его на подозрения. Третье неизвестное было хуже всего: даже если все пойдет как надо и Уэллек согласится выписать эрготрат, может так оказаться, что в городе он отнюдь не новичок и знает Ренни. И наконец, пусть и здесь все сойдет гладко, существовала еще одна опасность: во всем, что касается абортов, я полный профан, но нельзя ведь исключить возможность, что ему потребуется по той или иной причине поместить Ренни в клинику, раз уж операция у нас легальная, и даже если он сам ее ни разу в жизни в глаза не видел, кто-нибудь из персонала наверняка с ней знаком.

Едва добравшись до квартиры, я тут же позвонил Уэллеку, прямо домой.

— Ах, это вы, мистер Демпси, — в голосе был неприятный холодок, — а я уже пытался до вас дозвониться.

— Извините меня, доктор. Мы еще не успели обзавестись телефоном, и приходится использовать хозяйский. Я бы и раньше вам позвонил, но вот решил свозить жену на природу, ей, знаете ли, не мешает иногда отвлечься.

— Тут доктор Зигрист звонил из Филадельфии.

— Правда? Вот здорово! Я едва успел его перехватить, он уезжает куда-то в отпуск. Он вам все объяснил?

— Мне с ним переговорить не удалось. Я был в хирургии. Он говорил с моим секретарем и обещал прислать аффидевит. Насколько я понял, он самым настоятельным образом рекомендует аборт.

— Фу-ты, — и я рассмеялся. — Вы представить себе не можете — как камень с души.

— Да-да. Он что-то такое говорил моему секретарю насчет сегодняшнего вечера, но, боюсь, я не смогу дать вашей жене эрготрат, пока не буду иметь на руках аффидевит. Если он отправил его срочной почтой сегодня днем, самое позднее к понедельнику, к утру, он будет у меня.

— Ну и прекрасно.

— Дайте мне номер вашего домовладельца, и, как только придет аффидевит, я тут же дам вам знать; доставите миссис Демпси ко мне в приемную.

— Видите ли, мой домовладелец не слишком любит, когда мне звонят по его телефону, да к тому же это и не его ума дело. Лучше, чтобы он вообще ничего не знал, такой, знаете, сплетник. Может, лучше я вам позвоню?

— Наверное, вы правы. Оно, конечно, ничего незаконного, но лишний шум ни к чему. Позвоните мне в понедельник часов около двенадцати, и, если будет аффидевит, я назначу вам на после обеда.

— Чудесно.

— Да, и еще. Есть такая официальная форма на случай стерилизаций, абортов и так далее. Вам с женой придется обоим ее подписать и заверить у нотариуса. Если хотите, можно сделать это в понедельник, в первой половине дня. Формы возьмете у меня в приемной, у секретаря.

— Хорошо. Договорились. Доброй ночи, доктор.

Еще один документ, еще один нотариус, еще одна проблема на мою задницу — но к этому времени мне было уже все равно. Усталый и торжествующий, я отправился к Морганам, чтоб доложить о своих успехах. Уже на пороге меня вдруг пробрал холодок: я целый день черт знает где мотался — а вдруг уже слишком поздно? Дверь открыл Джо.

— А, привет, Джейк. Неважно выглядишь.

— С Ренни все в порядке?

— Она все еще с нами, если ты об этом. Давай заходи.

Ренни натирала воском кухонный пол. Меня она едва заметила.

— Ну, думаю, дело улажено, — сказал я, старательно изображая невозмутимость. — Если ты не передумала насчет аборта, Ренни, можешь получить свой укол эрготрата в понедельник после обеда.

Джо никак на эту новость не отреагировал. Ренни, с навощенной тряпкою в руках, вышла в дверной проем и прислонилась к косяку.

— Хорошо. Куда нужно ехать? В Балтимор?

— Не-а. Прямо здесь, в городе. Только не говори мне, что ты знакома с доктором Мортоном Уэллеком.

— Доктор Уэллек. Нет, я его не знаю. А ты, Джо?

— Что-то слышал. Приехал года два назад. Хочешь сказать, что этот говнюк занимается абортами?

— Ничего подобного, — сказал я не без гордости. — У него совершенно открытая частная практика, и врач он, насколько я знаю, не из худших. И все будет сделано строго в рамках законности. Никакой партизанщины, все просто и по правилам.

— Ну, и как же ты все это умудрился устроить? — спросил Джо.

— Признаться, я не говорил ему почти ничего, кроме правды. Я сказал, что у тебя уже двое детей и ты была бы не против — потом — завести еще, но сейчас настолько подавлена беременностью, что приходится опасаться, как бы ты чего над собой не сделала. Хотя, конечно, легенда слегка пообросла подробностями.

— Какими подробностями, Джейк? — озадаченно спросила Ренни.

— Ну, в общем, пришлось помутить воду. Начнем с того, что ты теперь моя жена — на время, конечно. Миссис Генри Дж. Демпси, из филадельфийских Демпси.

— Что?

День, полный приключений, бродил в моей крови, и я рассыпался соловьем, расписав им во всех подробностях телефонные звонки, поездку в Филадельфию, письмо, перевоплощения доктора Зигриста и, на сладкое, замдиректора ломбарда. Они внимали удивленно.

— Итак, все, что осталось теперь сделать мистеру и миссис Демпси — подмахнуть в понедельник утром эту самую бумажку, заверить ее у нотариуса, и дело в шляпе. Ни суеты, ни маеты, получишь свой укол и можешь смело обо всем забыть.

Джо с интересом воззрился на Ренни.

— Бред какой-то, — тут же сказала она.

— Правда, фантастика? — осклабился я, все еще надеясь, что мои уши лгут.

— Это просто чудовищно!

— Но ведь ты согласна, да?

— Конечно нет. Без вариантов.

— Без вариантов! Боже ты мой, Ренни, да я сегодня наизнанку вывернулся, чтобы все это устроить, а ты говоришь: без вариантов. Ничего не случится, я тебе клянусь!

— Не в этом дело, Джейк. Я просто не стану больше лгать. Даже если бы не нужно было ничего подписывать и говорить, все равно это ложь. Тебе стоило бы догадаться, что для меня такие вещи неприемлемы.

И вся конструкция рухнула. Джо даже бровью не повел, но я почувствовал, сколь велико единение их душ. В котором для меня места не было.

— Ну и хрен с тобой, стреляйся тогда на здоровье! — заорал я. — Я для нее носился весь день как проклятый, а она, видите ли, еще не решила, делать ей аборт или нет. Тогда не хрена было вчера оперетту разыгрывать.

Ренни улыбнулась.

— Джейк, я и *в самом деле* застрелюсь, как только станет ясно, что аборта ты устроить не в состоянии. Это было не актерство. Мне не важно, кто это сделает, и где, и как все это будет выглядеть, но я не стану врать, и принимать участие во вранье, и притворяться кем-то другим тоже не стану. Я никого не знаю, Джо тоже. И если бы ты не сказал, что у тебя кто-то есть на примете, я не стала бы так долго ждать. — Она провела рукой по животу, туда и обратно. — Я не хочу этого ребенка, Джейк. Он может оказаться твоим.

Она говорила совершенно искренне. Я в отчаянии обернулся к Джо, но Джо глядел уклончиво. Я снова ощутил меж ними вязкую субстанцию единства. Мне вдруг пришло в голову: а что, если напасть на них прямо сейчас, предъявить им обвинение в романтизме, поднять на смех их идиотское чувство чести — видит бог, оно того заслуживает, — и преизрядная часть моей души уже готова была с радостью ринуться в бой, но больше я в такую тактику не верил: они уже приняли решение, и решение это от моих наскоков, чего доброго, станет только тверже.

— Ты пока этого не делай, а, Ренни, — устало сказал я. — Я еще что-нибудь соображу.

— Что еще ты можешь сообразить, Джейк? Если бы у тебя и в самом деле

были какие-то варианты, стал бы ты затевать такую нелепую авантюру, как сегодняшняя, а? Ты считаешь, если достаточно долго будешь тянуть резину, я передумаю? Ты ошибаешься, Джейк.

— А как насчет мальчиков? О них ты подумала, или им тоже светит по дырке в голове?

— Ты задаешь вопросы, на которые не имеешь права, — сказал Джо.

— Джейк, хватит в игрушки играть, — сказала Ренни. — У тебя на самом деле что-то есть, или ты опять врешь?

— Есть, — твердо сказал я. — У меня есть одна знакомая, здесь, в городе, и у нее были аборты, один или два. Не будь я на нервах, сразу бы о ней и вспомнил. Завтра же ее разыщу и выясню, где она их делала.

— Я тебе не верю, — сказала Ренни.

— Чистая правда, клянусь.

— Тогда — как ее зовут? И давай без фокусов.

— Пегги Ранкин. Учительница, английский в средней школе.

Ренни тут же подошла к телефону и сверилась со справочником.

— 8401, — сказала она. — Я ей сейчас позвоню и сама все узнаю.

— Ты что, с ума сошла? Она не замужем. И станет незнакомому человеку рассказывать такие вещи по телефону?

— Тогда звони ты. Прямо сейчас. Вы с ней, видно, неплохо знакомы, раз ты в курсе.

— Ты требуешь невозможного. С женщинами так нельзя — с остальными женщинами, по крайней мере. Я встречусь с ней завтра, и к вечеру ты все будешь знать.

— Мне кажется, ты опять финтишь, Джейк.

— Протри глаза, чтоб не казалось! Тебя что, так тянет к пистолету, что ты не в состоянии подождать двадцать четыре часа? — Я был в таком отчаянии, что, казалось, вот сейчас меня разорвет на куски, но Джо наблюдал нас все так же бесстрастно. На письменном столе у телефона лежали раскрытые книги — блокноты и книги: он продолжал работать над диссертацией!

Ренни задумалась на несколько секунд.

— Я подожду до завтра, до вечера, — сказала она и снова принялась натирать в кухне пол.

Ренни попала в самую точку, заподозрив меня в тактике проволочек и саботажа, но больше на эту карту ставить смысла не было. Я, конечно, и понятия не имел, делала ли Пегги Ранкин хотя бы раз в жизни аборт, более того, у меня не было ровным счетом никаких оснований надеяться, что она захочет мне помочь, даже если сможет, потому как с того самого раза, в начале сентября, я ее и в глаза не видел. Она мне звонила — тон был сперва окрыленный, потом оскорбленный и, наконец, умоляющий — за последнюю пару недель не раз и не два, но я был тверд как кремень. На следующее утро, в воскресенье, я ей позвонил.

— Это Джейк Хорнер, Пегги. Мне нужно увидеться с тобой по очень важному делу.

— А я тебя видеть не желаю, — сказала она в ответ.

— Пегги, но это и в самом деле чрезвычайно серьезно, поверь мне, пожалуйста.

— Ага. Ровно месяц прошел, правда, забавно?

— Послушай, речь вовсе не о том. Я пытаюсь помочь одному человеку, которому эта помощь очень нужна.

— Да, ты же у нас специалист по гуманитарной помощи.

— Пегги, ради бога! Я не стану притворяться, что думал о тебе днем и ночью, но положение и впрямь отчаянное. Я понимаю, что у тебя нет причин оказывать мне какие бы то ни было услуги.

— Это ты верно подметил.

— Ну все, все, ты положила меня на обе лопатки. Ты, может статься, вообще ничем не поможешь этим моим друзьям, даже если очень захочешь, но ситуация настолько аховая, что я на все готов, только бы они выбрались. Твои условия.

— Чего ты от меня хочешь?

— Только-то и всего, чтобы ты позволила поговорить с тобой несколько минут. Я же сказал, ты, может быть, даже и не в состоянии будешь помочь, но есть и другая вероятность, и я не хочу ее исключать.

— Что это за друзья?

— Я не могу сказать по телефону. Мы можем сегодня с тобой увидеться?

— Джейк, если это очередной твой фокус, честное слово, я тебя убью.

— Никаких фокусов! — с пылом отчеканил я. — Ко мне это вообще не имеет отношения. Когда к тебе подъехать? Чем быстрее, тем лучше.

— М-да. Ну, ладно. Давай приезжай прямо сейчас. Но, Джейк, Христа ради, не вздумай фокусничать.

— Ни боже мой.

Я отправился к ней сию же секунду; встретила она меня подозрительней некуда: было такое впечатление, будто она ждет, что вот сейчас я начну ее лапать.

— Лучше было бы вообще не пускать тебя в дом, — нервически выговорила она. — В чем дело?

— Жена одного из моих сослуживцев беременна, и, Пегги, она собирается покончить жизнь самоубийством, если не сможет вовремя сделать аборт.

Пегги окаменела.

— И за помощью ты решил обратиться ко мне! Ну ты и сволочь!

— Ты не так поняла. Они оба мои хорошие друзья, и они знать не знают, где тут найти специалиста.

— А я, стало быть, знаю? А почему бы ей, интересно, не родить этого ребенка, раз она замужем? — Последняя фраза — не без горечи.

— У нее уже двое, и, честно говоря, не слишком ясно, кто отец этого, последнего. Понимаешь, она в совершенном отчаянии. Муж все знает. Она оступилась, только и всего.

— Джейк, скажи мне честно, это твоя работа?

Вопрос, похоже, был из породы ключевых: ее готовность помочь могла зависеть от того, что я отвечу, а я понятия не имел, какой ответ она хотела бы услышать.

— Да, Пегги, ты угадала. — Я поставил ва-банк на честность и посмотрел ей прямо в глаза. — Это самая большая глупость за всю мою жизнь, а она теперь надумала стреляться. Я у них там все перевернул вверх дном. И единственное, чего я теперь хочу — попытаться хоть что-то исправить.

— И когда ты вдруг решил заняться исправительными работами?

— Два дня назад. Если я не найду способ помочь им до сегодняшнего вечера, будет поздно. Больше тянуть нельзя.

— Не станет она стреляться, — презрительно сказала Пегги. — Если бы каждая женщина в порыве раскаяния пускала себе пулю в лоб, меня бы не было в живых по меньшей мере с июля месяца.

— Станет, Пегги, она — станет. Она бы уже умерла, если бы я ее вовремя не остановил, и умрет наверняка завтра утром, если я ничего не сделаю.

— И много ты готов для нее сделать?

Я все еще смотрел ей прямо в глаза.

— Я же сказал, что пытаюсь хоть что-то исправить.

— Ты имеешь в виду *данную* ситуацию.

— Я имею в виду все возможные ситуации.

— Есть такие ситуации, где уже ничего исправить нельзя.

— Очень может быть. Но я постараюсь.

— То есть?

— Я не знаю, Пегги. Дело не слишком для меня привычное. Пока я пытаюсь делать только то, чего от меня хотят другие. Я же сказал — назови свои условия.

Пегги какое-то время молча на меня смотрела.

— Кто эта женщина?

— Ренни Морган. Ее муж преподает историю в колледже.

Но Пегги явно была сосредоточена на собственной персоне.

— И ты подумал, что уж кто-кто, а я наверняка делала раньше аборты. Конечно, именно так ты и подумал, или я не права?

— Ничего я не думал. Просто была надежда: а вдруг ты знаешь кого-то, у кого был аборт, или слышала о каком-нибудь специалисте.

— Ну а если и в самом деле слышала?

— Я уже говорил, что у тебя нет никаких причин оказывать мне услуги и, я так понял, до Ренни Морган тебе тоже особого дела нет — а может, она тебе и вовсе неприятна, я не знаю. Одно тебе могу сейчас сказать — это мой последний шанс спасти ее от самоубийства, и я на все готов, лишь бы только ты мне помогла.

— Ты ее, наверное, очень любишь.

— Возможно, хотя мне это неизвестно. Ты знаешь специалиста, Пегги?

Она выдержала паузу и сказала:

— Да, знаю. Мне самой пришлось его искать два года назад.

— Кто он?

— Я еще не решила, Джейк, стану ли тебе помогать.

— Послушай, — я постарался выжать из себя всю возможную и невозможную искренность, до капли, — тебе незачем лишний раз отстаивать свои позиции; я все понял. И торговаться тоже не придется; ты сама себе выпишешь чек.

— Да, я могла бы, наверное, тебе помочь, — сказала Пегги, — этот человек, он все еще здесь, и он свое дело знает. Его обычная цена двести долларов.

Мне показалось, что будет не лишним подойти поближе, положить ей руки на плечи и, чуть подавшись вперед, заглянуть в глаза. Так я и сделал.

— А твоя? — с подобающей ноткой спокойствия и твердости.

— Знаешь, Джейк, цена ведь может оказаться очень высокой! Ты в отчаянии день или два, но я-то… у меня это длилось полных пятнадцать лет!

— Говори.

— Зачем? Как только ей сделают операцию, ты опять меня бросишь.

— Ты хочешь, чтобы я на тебе женился, да, Пегги?

— Да, это моя цена, — сказала она.

— Я так и сделаю.

— Да, пожалуй. А что ты сделаешь потом? Пошлешь меня к черту или будешь мучить всю оставшуюся жизнь?

— Не сказал бы, что это наилучшие выходы из трудного положения,— усмехнулся я.

— Но ведь ты же меня просто возненавидишь, Джейк. Мужчина не может любить женщину, которая силой гонит его под венец.

— А ты попробуй — вдруг у меня получится.

Пегги вся была на нервах, взбудораженная тем, что ей удалось-таки загнать меня в угол, и немного ошалевшая от собственной смелости.

— А разве я могу тебе верить, Джейк? У меня же нет ни единого повода тебе доверять.

— Я знаю.

— И при этом ты говоришь, что на сей раз все будет честно?

— Именно.

— Ты меня не любишь.

— Я никого не люблю. Но я достаточно долго прожил холостяком, и, даже если забыть об этой операции, столько тебе задолжал, что хватит не на год и не на два.

Пегги стряхнула мои руки с плеч и принялась качать головой, ни дать ни взять Ренни Морган.

— Ну почему с тобой всегда так, а, Джейк? Даже когда ты добрый, ты все равно ставишь меня в дурацкое какое-то, унизительное положение.

— Погоди, погоди, успокойся. Давай я сам сделаю тебе предложение. Я решил, что хочу на тебе жениться. И если когда-либо в жизни я говорил искренне, так это сейчас.

— Но ведь ты никогда раньше не был искренен со мной, разве нет?

— Был, только что. Я бы сегодня на тебе женился, если бы в воскресенье можно было где-нибудь оформить документы. Мы их оформим завтра, а в среду поженимся.

— Ты сказал, она будет ждать только до вечера.

— Сказал. Тебе придется всего лишь сообщить ей, что ты знаешь нужного человека. Можешь прямо сейчас ей и позвонить. Я думаю, этого будет достаточно. Скажи, что по личным причинам, или там еще по каким, ты не сможешь назвать его имени до среды. Если она согласится ждать, я буду на седьмом небе от счастья.

— А если не согласится, что тогда?

Еще один ключевой вопрос, но тут за правильным ответом далеко ходить не нужно.

— Если она не согласится, что ж, я больше ничего не смогу для нее сделать, но я не вижу, как это может повлиять на мои перед тобой обязательства. Ты сделаешь все, о чем я просил, и я сделаю все, что обещал.

Тут Пегги, изнуренная борьбою чувств, ударилась в слезы.

— Я женюсь на тебе и буду любить тебя так, как только смогу любить женщину, — до самой смерти, — я произнес слова присяги.

Она все плакала и плакала, пока я не начал беспокоиться. Нужно было сделать что-то еще, и немедленно. Скажем, если ее обнять: это решит дело или, наоборот, окончательно все испортит? Я отчетливей некуда понимал, что сейчас любое сказанное мною слово, любой жест — или не сказанное слово и не сделанный вовремя жест — могут убедить ее вдруг в полной моей искренности — или неискренности. Пегги Ранкин! Черт подери это мое дурацкое воображение, слишком богатое, чтобы использовать его в практических целях, для предугадывания человеческих поступков: независимо от того, сколь глубоко и долго я знал своих ближних, я мог представить и обосновать самые что ни на есть противоположные их реакции на одни и те же — почти любые — раздражители. Вот вроде как с этим поцелуем: сочтет она его доказательством того, что я безбожно переигрываю, или, наоборот, симптомом глубочайшей искренности — того, что мне уже плевать, заподозрит она меня во лжи или нет? А если я не двинусь с места, примет ли она мое бездействие как свидетельство того, что я отказываюсь дальше тянуть дурацкую эту волынку и настолько уверен в собственной победе, что не желаю даже снизойти до еще одного маленького жеста, — или же что в порыве глубочайшей искренности я боюсь даже пальцем пошевелить: а вдруг она таки примет мое предложение за гнусную уловку?

Я взял ее лицо обеими руками и притянул к себе. На долю секунды она замешкалась; потом ответила на долгий нежный поцелуй.

— Слава богу, ты поверила мне, Пегги, — тихо сказал я.

— Нет.

— *Что?*

— Я не поверила ни единому твоему лживому слову, с той самой минуты, как ты переступил порог. И почему я сразу не повесила трубку, когда услышала твой голос? Сделай милость, убирайся вон.

— Но, боже мой, Пегги! Ты просто обязана мне поверить!

— Если ты не уберешься, я буду кричать. Я не шучу.

— Ты что, не веришь, что Ренни Морган собирается пустить себе пулю в лоб? — закричал я.

Она и в самом деле завопила во весь голос, и мне пришлось зажать ей ладонью рот. Она лягалась, молотила меня кулаками и попыталась укусить за руку. Я толкнул ее обратно в кресло и сел — верхом — ей на колени, чтобы нейтрализовать ноги, а свободной рукой схватил за горло. Силенок ей было не занимать, и я едва-едва удерживал ее на месте — с Ренни у меня и этого бы не вышло.

— Все гораздо серьезней, чем тебе кажется! Я сказал, что женюсь на тебе, и я не шутил, и готов это повторить, хотя, честное слово, сию же секунду задушу тебя к чертовой матери, если ты откажешься мне помочь.

Глаза у нее стали совершенно круглыми, я отнял руку и, едва она опять принялась голосить, как следует сжал ей глотку — без дураков, вогнав большой и указательный пальцы в ямки по обе стороны горла.

— Перестань! — просипела она. Я тут же убрал руки, испугавшись — а вдруг у нее и в самом деле что-нибудь там сломается. Она хватанула воздуха, со скрежетом, на всхрипе.

— Как зовут специалиста? — я не дал ей опомниться.

— Да не было, не было специалиста, — держась за горло, сказала она. — Не знаю я никаких специалистов! Я просто хотела...

Я врезал ей от всей души и выбежал вон.

Все, полный тупик: был я с ней честен или нет, врала она сама или говорила правду, не имело теперь никакого значения. Я поехал домой и уселся в кресло-качалку. Была уже половина двенадцатого. Соломинок, за которые имело смысл цепляться, не осталось ни одной, силы у меня кончились, я был опустошен и выжат как тряпка. Я было попытался напрячь воображение и выдумать еще какую-нибудь лихую комбинацию, но в голову шла одна только Ренни, как она молча направляется из гостиной в чулан, и до сцены этой осталось не то десять, не то восемь часов. Джо, вероятнее всего, будет сидеть за письменным столом, уткнувшись в тетрадку. Наверное, он услышит, как Ренни отложит в сторону — газету? — и пойдет к чулану. А он так и будет тупо смотреть в тетрадку, не видя ни слова, или, может статься, повернет голову и проследит, как она откроет дверь в чулан. Мальчики спят себе в дальней комнате. Ренни, конечно же, не станет возвращаться в гостиную. Там, в чулане, где от Джо ее отделит приотворенная дверь, она возьмет с полки кольт, снимет с предохранителя, приставит дуло к виску и тут же спустит курок, прежде чем металлический холодок ствола чуть правей и выше глаза успеет вызвать у нее рвотный рефлекс. Да, а сначала она, скорей всего, сядет на пол.

Дальше моя фантазия отказывалась меня пускать, потому что мне еще ни разу в жизни не приходилось видеть убитого человека — в луже крови, и все такое. Часа, наверное, два — где-то до половины второго — эта сцена раз за разом прокручивалась у меня в голове, до точки взрыва. Крутые меры: я мог отправиться туда и — что, ворваться в дом и схватить пистолет? И что я с ним буду делать? Они даже с места не встанут, просто будут сидеть и смотреть на меня, а Ренни вечером выдумает что-нибудь другое. Скрутить Ренни руки и, если получится, удерживать силой? Что, всю жизнь? Позвонить в полицию и сказать им, что женщина вот-вот покончит жизнь самоубийством? А они что смогут сделать? Ренни тихо-мирно сидит дома и

читает газету, Джо трудится за письменным столом. Сказать ей, что я договорился насчет аборта — с кем? На когда? Сказать ей — что?

Амплитуда кресла сошла понемногу на нет. Кроме образа Ренни с кольтом у виска и образа свинцовой блямбы, затаившейся в глубине железного своего дупла, — и это был даже не образ, а некая физическая напряженность, вроде жужжания или гула за ушами, — ничего другого в голове не осталось. Мой мочевой пузырь был переполнен: надо было бы сходить в ванную, но я не пошел. Через какое-то время в ванную идти перехотелось. Я попытался запустить *Пепси-кола в точку бьет*, но после первого куплета забыл начать второй. Желание помочиться вернулось — и куда сильней, чем прежде. Я никак не мог решиться встать.

Внизу кто-то врубил радио, и я вскочил. Было три часа: мне казалось, я не мог себя заставить встать и отправиться в ванную полминуты, не больше, а прошел час с четвертью! Минутой позже я скатился с лестницы и прыгнул в машину; я пронесся мимо дома Морганов на скорости шестьдесят миль в час — из города, вон, в сторону Вайнленда и дальше, на Ферму. В холле миссис Доки увязывала шпагатом какие-то коробки из гофрированного картона.

— Где Доктор? Я должен видеть его прямо сейчас.

Она мотнула головой в глубь дома. Я прошел через приемную — там были свернутые рулонами ковры, составленная в кучу мебель и снова коробки, коробки, коробки.

— Вы чем-то расстроены, — едва меня увидев, проницательно подметил Доктор. Одетый в черный шерстяной костюм, он читал воскресную газету на задней веранде, которая с наступлением холодов превращалась в некое подобие солярия. К счастью, он был один: пациенты в большинстве своем либо грелись на солнышке у переднего крыльца, либо сидели в приемной. — Присаживайтесь.

— У меня сегодня днем опять было что-то вроде приступа, — сказал я.

— Обездвиженье? — Он отложил газету и посмотрел на меня более внимательно. — Значит, вы манкируете терапевтическими курсами.

— Да нет, я бы вам сразу так и сказал. Хотя — последнее время я был очень занят.

Снаружи было прохладно, пожалуй что даже и холодно, но солнце сияло вовсю, и над заболоченной речушкой позади дома неподвижно висела поймавшая встречный ветер большая скопа. Я не знал, с чего начать.

— Если это и в самом деле так, — недоверчиво сказал Доктор, — тогда я отказываюсь понимать, с чего это вы вдруг потеряли способность двигаться.

— Я, кажется, могу вам объяснить. Я был занят тем, что пытался разрешить две-три возникшие в последнее время проблемы.

— Н-да. На сей раз, боюсь, мне придется ознакомиться с сутью этих ваших проблем, поскольку они возникли уже после того, как мы начали курс лечения. Может, переместимся в Комнату Директив и Консультаций?

— Я все могу вам рассказать прямо здесь. Это не займет много времени.

— Нет. Мы пойдем в Комнату Директив и Консультаций. Идите вперед — заглянете по пути к миссис Доки, чтобы она была в курсе, где мы, — а я сию минуту вас догоню.

Я так и сделал; чуть погодя он вошел в комнату и сел напротив меня. Он переоделся в белую докторскую тужурку.

— Ну, выкладывайте.

Я поставил колени прямо, руки скрестил на груди и рассказал ему о моем скоротечном романе с Ренни и тех последствиях, к которым он привел. Получалось это у меня на удивление гладко — до той поры, пока я придерживался фактов и не

пытался вникать в чьи бы то ни было мотивы. Труднее всего было с глазами: Доктор, как обычно, наклонился вперед и, гоняя из угла в угол рта незажженную сигару, все время пялился мне прямо в лицо; я попытался сосредоточиться сперва на его левом глазе, потом на правом, потом на лбу, на переносице, на кончике сигары — и мне было жутко неудобно, оттого что я не в состоянии удержать взгляд на одном и том же месте больше чем на несколько секунд. Я в деталях рассказал ему, как искал врача, — даже о свидании с Пегги Ранкин и то не забыл. Выговорился, и словно гора с плеч упала.

— О том, что Ренни передумает, нечего и мечтать, — наконец подытожил я. — Если я не смогу ей сообщить ничего определенного, она покончит с собой сегодня же вечером, а я исчерпал все возможности сегодня к половине двенадцатого утра. После этого, собственно, и наступил паралич, и длился примерно час с четвертью, покуда кто-то на первом этаже не включил радио на полную громкость. Она застрелится через пять-шесть часов!

— Такие, стало быть, у нас представления о тихом и спокойном образе жизни, да? — раздраженно рявкнул Доктор. — Я говорил вам, чтобы вы избегали всяческих сложностей! Я говорил, я особо настаивал на том, чтобы вы не связывались с женщинами! Вы что, думали, я тут с вами в бирюльки играю? Вы развлекаться сюда ко мне ездили?

— Я не знаю, сэр.

— Знаете, еще как знаете. Вы с самого начала считали меня шарлатаном, чудиком или еще того хуже. Мне это было ясно с первого нашего свидания, но я позволял вам держать ваше мнение при себе, покуда вы делали все, что вам скажут, потому что в вашем случае подобный аттитюд сам по себе не лишен терапевтического смысла. Но как только вы начали пренебрегать моими рекомендациями, данный аттитюд стал более чем опасен, что мы, собственно, в настоящий момент и наблюдаем.

— Так точно, сэр.

— Вы хоть понимаете, что, делай вы все, как вам было сказано, вы бы тут сейчас не сидели? Если бы вы штудировали свой «Всемирный альманах», не думали ни о чем, кроме уроков грамматики, и свято следовали правилам Левосторонности, Первоочередности и Алфавитной Последовательности — особенно в том случае, если бы вы считали их абсурдными и тем не менее соблюдали, — ничего бы с вами не случилось, и не было бы никаких проблем.

— Доктор, если честно, я в последнее время больше думал о Морганах, чем о себе.

— И что из этого вышло! Я не велел вам заводить друзей! Вам не следовало думать ни о чем, кроме вашего ступора.

Самое бы время сказать ему о причине моего визита, но он все говорил и говорил.

— Совершенно очевидно, что перед нами иной, чем прежде, тип паралича. Тогда, на вокзале, вас обездвижила невозможность сделать выбор. Этот случай меня заинтересовал, и я его лечил. Но теперь вы просто-напросто загнали себя в тупик — вульгарное, идиотское положение, даже никакая и не дилемма, и, нате вам, из-за этого идет насмарку вся проделанная работа.

— Доктор, я прошу прощения — женщина собирается покончить жизнь самоубийством.

— Если ее муж после этого пристрелит еще и вас, вам это пойдет только на пользу. Мифотерапия... Мифотерапия избавила бы вас ото всех возможных видов вовлеченности, если бы вы только дали себе труд неукоснительно ее практиковать. Собственно говоря, этим вы и занимались, но только выбрали себе — как после-

дний идиот — самую невыгодную роль. Даже роль негодяя и то бы подошла, но только настоящего, без страха и упрека! Но вам взбрело в голову играть кающегося грешника, причем именно тогда, когда посыпать голову пеплом уже не было никакого смысла, — а лучшей роли, чтобы вогнать вас в полный паралич, я и представить себе не могу. Вот уж воистину! — вскричал он, разойдясь не на шутку. — Ваш случай был самым любопытным за годы и годы моей практики, а вы мне все изгадили!

Он полных две минуты молча жевал сигару и глядел на меня в упор злыми черными глазами. А я физически ощущал, как утекает время.

— Не могли бы вы...

— Молчать! — раздраженно рявкнул он. — Если она и в самом деле покончит с собой, на вас это окажет крайне антитерапевтическое воздействие. Пожалуй, даже катастрофическое. Во-первых, вас может убить ее муж или, чего доброго, вы сами застрелитесь, рецидивчик-то у вас не из приятных. Обе эти возможности я мог бы предотвратить, оставив вас на Ферме, но он может пустить по вашему следу полицию, как только обнаружит, что вы исчезли, а мне тут только полиции не хватало. Как же вы все испакостили! Два года работы псу под хвост — из-за дурацкой какой-то интрижки!

— А вы не могли бы сделать ей укол эрготрата, а, Доктор? — быстро спросил я.

Доктор даже вынул на секунду сигару изо рта, чтобы поуничижительнее на меня глянуть.

— Дорогой вы мой, из каких таких соображений я стал бы держать здесь эрготрат? Вы что, всерьез считаете, что эти леди и джентльмены совместными усилиями способны кого-нибудь зачать?

Я покраснел.

— Ну... может, вы могли бы выписать рецепт?

— Не пытайтесь выглядеть большим идиотом, чем вам это на роду написано. С тем же успехом вы его можете выписать собственноручно.

— Господи. Я не знаю, что делать.

— Хорнер, перестаньте валять дурака. Вы приехали сюда просить меня сделать ей аборт, а не болтать об иммобилизации.

— А вы сделаете? — умоляющим голосом спросил я. — Я заплачу любые деньги.

— Вздор. А если я запрошу семь тысяч долларов? Вы хотели сказать, что готовы отдать долларов, ну, скажем, в пределах пятисот. А поскольку, едва я закончу операцию, вы тут же забудете о необходимости расплатиться, реальная сумма, скорее всего, сведется к сотне, ну, к двум. Если я не ошибаюсь, у вас ведь на руках больше-то и нет?

— У меня сейчас около двухсот семидесяти пяти долларов, Доктор. И я вам с радостью их отдам.

— Хорнер, я не занимаюсь подпольными абортами. За всю свою жизнь я их сделал, наверное, не больше десятка, и это было очень давно. Согласившись, я поставлю на карту, во-первых, это вот мое заведение, во-вторых, будущее благополучие моих пациентов и, в-третьих, собственную свободу. И что, по-вашему, ради двухсот семидесяти пяти долларов стоит рискнуть? Или ради пяти тысяч, если уж на то пошло?

— Мне больше нечего вам предложить.

— Есть, и если вы это сделаете, я сделаю барышне аборт.

— Я согласен на любые условия.

— Еще бы. Другое дело — собираетесь ли вы сдержать свое слово. Я намерен переменить дислокацию Фермы — вы, конечно, обратили внимание, какой у нас в холле и в приемной бардак. В виде исключения мы на сей раз переезжаем по

собственной воле, а не потому, что нас к этому вынуждают; я нашел местечко получше, в Пенсильвании, и в среду мы отсюда снимемся. Миссис Доки должна была с вами завтра связаться — но раз уж вы все равно здесь... Если бы не переезд, насчет аборта можно было бы и не заикаться; но поскольку нас все равно здесь скоро не будет, я сделаю его сегодня же ночью.

Меня от неожиданности прошибла слеза, и я ни с того ни с сего рассмеялся.

— Лучше всего было бы просто дать вам для барышни катетер. Она бы походила с ним денек-другой, начались бы схватки, и — выкидыш обеспечен. Плюс, конечно, сильное кровотечение, но тут уж ни одна больница ей в приеме не откажет, в порядке экстренной медицинской помощи. А нравится мне этот вариант потому, что ей не нужно было бы сюда приезжать; однако дело это нескорое, схватки могут начаться только в среду, а катетер в матке доставит ей такие незабываемые ощущения, что она, глядишь, и без того пустит себе пулю в лоб. Привезете ее сегодня ночью сюда, я вычищу зародыш, и все дела.

— Привезу, конечно, привезу. Господи, как здорово!

— Ничего здорового. Дело это грязное и неприятное до крайности, но я возьмусь за него — как за последнюю возможность спасти ваш случай. Взамен вы не только отдадите мне все ваши деньги — этот переезд вылетит мне в копеечку, — но и сами уволитесь с работы и поедете с нами. Мне это нужно по двум причинам: во-первых, и это главное, для того, чтобы успешно вернуть вас в график терапевтических процедур, я должен иметь вас под рукой двадцать четыре часа в сутки; во-вторых, мне понадобится молодой мужчина — пока мы окончательно не устроимся на новом месте, у нас будет масса тяжелой физической работы. Это и будет ваш первый терапевтический курс. Трудотерапия. Может, цена чересчур высока?

Я вспомнил о старичках в дормитории.

— Не тяните резину, Хорнер, — сурово сказал Доктор, — я ведь могу и передумать. Ваш случай — это мое хобби, и я им увлечен, но не до одержимости, а вы раздражаете меня едва ли не чаще, чем забавляете.

— Я согласен, — сказал я.

— Превосходно. Сегодня ночью я сделаю ей аборт. По случаю воскресенья деньги отдадите чеком. Завтра скажете в колледже, что уходите с работы, а в среду утром будьте на вайкомикском автовокзале, терминал «Грейхаунд», в восемь тридцать. Там встретитесь с миссис Доки и кое с кем из пациентов — и отправитесь с ними вместе на автобусе.

— Хорошо.

— Стоит вам объяснять, что́ я могу сделать, чтобы принудить вас сдержать слово или по крайней мере заставить горько раскаяться, если вы его все-таки нарушите?

— Нет необходимости, Доктор, — сказал я. — У меня больше просто нет сил. И слово я сдержу.

— Вот и мне тоже так кажется, — он улыбнулся, — безотносительно к силам. Ну что ж, на том и порешим. — Он встал. — Пациенты ложатся в девять. Барышню доставите в половине десятого. Не светите фарами в окна и не поднимайте шума, а то вы мне весь дом перебудите. И чек привезете вместе с банковской книжкой, чтобы я мог убедиться, что он выписан на всю имеющуюся сумму. До свидания.

Я вышел; в холле миссис Доки все так же флегматично увязывала шпагатом картонные коробки.

— Доктор мне объяснил насчет переезда, — сказал я ей. — Похоже, я еду с вами, по крайней мере на какое-то время.

— Ясно, — рыкнула она, даже не подняв ко мне лица. — Встречаемся ровно в восемь тридцать. Автобус отходит в восемь сорок пять.

— Буду, — сказал я и почти бегом кинулся к машине. Дело шло к пяти.

Глава двенадцатая

Я стоял у Морганов в гостиной, не сняв плаща, потому как вовсе и не ожидалось, что я останусь

Я стоял у Морганов в гостиной, не сняв плаща, потому как вовсе и не ожидалось, что я останусь к ужину или зачем-нибудь еще. И Джо и Ренни были в кухне, готовили, не торопясь, детям ужин. Настроение у них, судя по всему, было превосходное, и они, видимо, даже шутили.

— Ну, и где ты был на этот раз? — спросила Ренни.

— Я все устроил, — сказал я.

— Тебе нужно всего лишь навсего успеть на ближайший рейс до Ватикана, — подхватил Джо, подладившись под мой голос и под мою усталость с облегчением пополам, — и объяснить по прибытии, что ты сожительница Папы Римского.

— Я раз и навсегда официально заявила, что больше врать не стану, — рассмеялась Ренни.

— Я заеду за тобой в девять, — сказал я. — Нам назначено на полдесятого. И это будет не эрготрат.

Улыбка на лице у Ренни как-то вдруг увяла; она даже побледнела немного.

— Ты что, действительно кого-то нашел?

— Да. Он врач, сейчас на пенсии, содержит в Вайнленде реабилитационный центр.

— Как его фамилия? — спросил Джо; он тоже перестал улыбаться.

— Он пожелал остаться неизвестным. Я думаю, его можно понять. Но врач он хороший. До того как я сюда приехал, мы уже несколько лет были знакомы. По правде говоря, на преподавательскую работу я устроился именно по его совету.

Вид у них был слегка ошарашенный.

— Никогда не слышала, чтобы в тех краях был центр реабилитации, — с сомнением в голосе сказала Ренни.

— Просто он не слишком жалует посторонних — и пациентам так спокойней, да и сам он негр, а клиентура у него исключительно белая. Мало кто о нем знает.

— Он хороший специалист? — неуверенно спросил Джо. К этому времени они уже оба стояли у кухонной двери, в проеме.

— Это не важно, — быстро сказала Ренни и вернулась к плите.

— Соберешься к девяти? — спросил я.

— Соберусь.

— Ты тоже, наверное, захочешь поехать? — я посмотрел на Джо.

— Не знаю, — как-то тускло сказал он. — Позже решу.

Было такое впечатление, будто я им что-то испортил.

Едва я вернулся домой, впервые за последние несколько дней расправив плечи, началась реакция не только на недавнюю суету, но и на всю и всяческую взятую мною на себя ответственность. Почувствовать облегчение от того, что удалось-таки предотвратить самоубийство Ренни, было несложно, куда труднее было вывести из этого всего некую мораль, а я именно и хотел вывести для себя мораль. Я хотел, чтобы эта авантюра научила меня — по отношению к самому себе — следующему: что каких бы там расплывчатых и подвижных — если рассуждать абстрактно — этических норм я ни придерживался, но играть сколь-нибудь последовательно одну и ту же роль (быть «настоящим», в терминологической системе Ренни) и, значит, глубоко входить в жизни других людей, не причиняя при этом вреда — не только им, но и собственному спокойствию, — я не способен; что мои не поддающиеся рациональному объяснению вспышки совестливости и жестокости, состра-

дательности и цинизма — проще говоря, все та же моя неспособность выступать достаточно долго в одном амплуа — могут в равной степени причинять боль не только окружающим, но и мне самому; и что эта вот непоследовательность сводит на нет мою способность подолгу и со спокойствием душевным пребывать в неприятных для меня ситуациях — каковой способностью обладает, к примеру, Джо. Не то чтобы я постоянно нуждался в друзьях или стремился их завести, но разве не ясно (и этому я тоже хотел бы себя научить), что, принявши во внимание мой собственный, особый вариант личной целостности, я, ежели вообще говорить о друзьях, должен избегать вовлеченности — должен оставить их в покое.

Урок несложный, но читать самому себе мораль я, похоже, так пока и не научился. Я чувствовал все сразу: нелепость ситуации, и облегчение, и замешательство, и злость, и неловкость, и сентиментальную привязанность к Морганам, и раздражение — а зачем они такие идиоты, а зачем я такой идиот, — плюс судорожный коктейль из прочих разных чувств, включая полное безразличие ко всей этой дурацкой ситуации.

Кроме того, я ни капли не устал ни от собственной персоны, состоящей из более мелких и частных персон, ни от самой этой моей маленькой тайны. И хотя, по правде говоря, я не собирался держать данное Доктору слово и ехать за ним в Пенсильванию, я все же написал доктору Шотту записку с известием о том, что увольняюсь: играть в ответственность мне в самом деле надоело, и я дозрел до желания оставить и Вайкомико, и Морганов. В новом городе, с новыми друзьями, даже и с новым именем — может, у меня и выйдет *изобразить* на публику достаточную долю цельности, чтоб притвориться личностью и жить с миром в мире; может, при наличии определенной актерской выучки и практики... Может, я женюсь на Пегги Ранкин; возьму ее фамилию; сделаю ей ребенка. Я улыбнулся.

Без нескольких минут девять я заехал за Ренни — они с Джо как раз заканчивали поздний ужин при свечах.

— Есть что отметить, — сухо сказал Джо. Он тут же включил свет, задул свечи, и я увидел, что на ужин у них были сосиски в тесте и кислая капуста. Джо предоставил Ренни возможность самой надеть плащ и занялся посудой.

— Это надолго? — спросил он меня.

— Не знаю, Джо, — мне стало вдруг ужасно неловко. — Не думаю, чтобы слишком.

— Я готова, — сказала Ренни. Вид у нее был еще тот: бледная, руки дрожат. Джо дотронулся до ее лица губами, включил кран и принялся мыть тарелки.

— Ты не едешь? — спросил я.

— Нет.

— Ну, значит... — начал было я; Ренни уже шла к дверям. — До скорого.

Мы вышли наружу. Ренни нелепою своей припрыжкой протопала вперед меня к машине и открыла дверцу прежде, чем я успел ей помочь. Она пару раз шмыгнула носом, но сумела загнать слезы в какой-то свой дальний угол. Я вырулил на вайнлендскую трассу.

— Да уж, нечего сказать, попали в переплет, — сочувственно сказал я. Она молча глядела в окно. — Извини, что так все получилось.

Она была непроницаема. И я вдруг остро ощутил, насколько же она одинока, со всем тем, что уже с ней случилось и что ей еще предстоит пережить, — фундаментальным, окончательным одиночеством всякого попавшего в экстремальную ситуацию живого существа. Оно никогда не бывает до конца взаправдашним, это одиночество, но есть такие моменты в жизни, когда оно подступает вплотную, и вот тогда, в машине, я понял, насколько Ренни далека от Джо, и от меня, от ценностей, мотивов, от мира и от истории — одинокий зверь, загнанный, попавший в западню.

И Джо, там, дома, моет тарелки. Одинокие звери! И нет таких причин, таких решений или философских систем, в которые мы бы сумели заткнуть себя без остатка, так, чтобы хоть малая наша часть не осталась снаружи — удивляться и быть одинокой.

— Он правда хороший доктор, — минутою позже сказал я.

Ренни окинула меня непонимающим взглядом, как если бы я вдруг заговорил на иностранном языке.

— Ренни, может, отвезти тебя назад, домой?

— Если ты отвезешь меня домой, я застрелюсь, — хрипло сказала Ренни.

Когда до конца проселка, шедшего от дороги к Ферме, осталось совсем немного, я выключил фары и тихо въехал во двор. Я, конечно, объяснил Ренни, что Доктор просил меня не тревожить пациентов, но, боюсь, что эдакая театральность не прибавила ей присутствия духа. У входа в дом я взял ее под руку: она дрожала. Миссис Доки и Доктор ждали нас в приемной. Оба тут же весьма недвусмысленно уставились на Ренни, причем у миссис Доки выражение лица было откровенно презрительным.

— Добрый вечер, миссис Морган, — сказал Доктор. — Начать можем прямо сейчас. Миссис Доки проводит вас в Комнату Процедур.

Не говоря ни слова, миссис Доки направилась к Комнате Процедур; Ренни, после секундного колебания, тоже вдруг встрепенулась и пристроилась к броненосцу в кильватер. У меня на глаза навернулись слезы. Я не слишком понимаю разницу между состраданием и любовью: наверное, то, что я чувствовал к ней, было чистой воды сострадание.

— Вы привезли с собой чек и банковскую книжку? — требовательным тоном спросил Доктор.

— Да, — я вручил ему книжку. На предпоследнем корешке была проставлена итоговая сумма: двести восемьдесят семь долларов тридцать два цента; следующий чек был выписан на всю эту сумму без остатка и подписан. — Я не знал, на чье имя выписывать.

— Имя я и сам впишу. Ну что ж, тогда за дело. Я хочу, чтобы вы при сем присутствовали, в воспитательных целях.

— Нет уж, я лучше здесь подожду.

— Если вы хотите, чтобы я сделал ей аборт, — сказал Доктор, — тогда идите со мной и смотрите от и до.

Делать было нечего, я пошел. Доктор нацепил свою белую куртку, и мы прошли в Комнату Процедур. Ренни уже лежала на столе, накрытая простыней по самое горло. Я было испугался, что она станет возражать против моего присутствия, но она не подала ни единого знака. Миссис Доки бесстрастно стояла у стола. Доктор вымыл руки и убрал простыню у Ренни с живота.

— Ну-с, давайте сперва убедимся, что вы и в самом деле беременны.

Она вздрогнула, резко, судорожно, едва его пальцы коснулись ее. Минуту или около того спустя, когда Доктор надел резиновые перчатки, смазал пальцы и начал внутреннее обследование, она принялась плакать, всхлипывая и хватая ртом воздух.

— Вы мне это прекратите, — сварливо сказал Доктор. — Вам уже приходилось рожать детей. — Немного погодя он спросил у нее: — Как вам кажется, каков ваш срок? — Ренни промолчала, и больше он ни о чем ее не спрашивал. — Ладно, можем приступать. Пожалуйста, расширитель и кюретку, — сказал он, обращаясь к миссис Доки, та пошла к стерилизатору и стала звякать какими-то инструментами; рыдания стали глубже и громче. Ренни извернулась на столе и даже попыталась приподняться.

— Лежать, и лежать тихо! — резко прикрикнул на нее Доктор. — Вы мне тут всех перебудите.

Ренни снова откинулась назад и закрыла глаза. Как только Доктор принял из рук миссис Доки блестящую кюретку, у меня к горлу подкатила тошнота; и я решил смотреть на Ренни, на ее лицо, а не туда, где шла операция.

— Затяните ремни, — сказал Доктор, снова обращаясь к миссис Доки. — Вам наверняка и раньше приходилось это делать. — Ренни перетянули в районе диафрагмы широким кожаным ремнем. — Так, теперь вы держите правую ногу, а вы, Хорнер, левую. Поскольку акушерские проблемы нас тут редко беспокоят, специального кресла у нас, сами понимаете, нет.

Он поднял Реннины ноги и растянул их в стороны. Миссис Доки схватила правую и прижала голень к своему бедру, а я, весьма неохотно, взялся за левую.

— Прости меня, Ренни, — сказал я.

Ренни стонала и мотала головой. Еще чуть позже — Доктор, должно быть, как раз пустил кюретку в дело, но я не глядел и точно сказать не могу — она стала кричать и попыталась вырваться.

— Держите ей ноги! — рявкнул Доктор. — Она же всю себя изрежет! Хорнер, сделайте с ней что-нибудь!

— Ренни... — На большее я оказался не способен. Она была напугана; мне даже показалось, что она меня больше не узнает. Из глаз у меня текли слезы, лицо Ренни плыло. На долю секунды она расслабилась, пытаясь взять себя в руки, но тут же — еще одно движение кюретки? — закричала опять и рванулась кверху.

— Ладно, — Доктор раздраженно поглядел на миссис Доки. — Кюреткой тут делать нечего. Отпустите ногу и заставьте ее замолчать.

Миссис Доки толкнула голову Ренни назад, на стол и зажала ей рот. Ренни несколько раз отчаянно лягнула освободившейся ногой — Доктор отлетел в сторону, опрокинувши по дороге стул, и выругался. Я невольно поднял глаза и увидел кровь: кровь на простыне под Ренни, кровь у нее на бедрах, кровь на перчатках Доктора. Тошнота поднялась прямо к горлу, и у меня едва хватило сил ее перебороть.

— Кровотечение она себе уже устроила, — сказал Доктор миссис Доки. — Подержите ее еще минутку, я приготовлю наркоз.

Я начал чувствовать Ренни — ее страх. Она снова затихла и смотрела на меня умоляющим взглядом.

— Уберите руку, — сказал я миссис Доки. — Она не будет кричать. — Миссис Доки осторожно отняла ладонь, но было видно, что она в любой момент готова вернуть ее на место.

— Джейк, я боюсь, — тихо, сквозь слезы и дрожь, сказала Ренни. — Он делает мне больно. Я не хочу бояться, но ничего не могу с собой поделать.

— Доктор, как вы считаете, еще можно остановить операцию? — спросил я через всю комнату: Доктор в дальнем углу прилаживал резиновую трубку к двум стоящим на металлической тележке баллонам.

— Смысла нет, — отозвался он. — Я бы давно уже все сделал, если бы не эта ее дурь.

— Ренни, ты хочешь домой?

— Да, — она опять расплакалась. — Только пусть он сначала закончит. Я пытаюсь держать себя в руках, но у меня ничего не получается.

— Ну, об этом мы сейчас позаботимся, — сказал Доктор; все его раздражение вдруг как рукой сняло. Он подкатил баллоны с газом к изголовью стола. — Вы, голубушка моя, так скакали, что я едва не проткнул вам матку. А теперь расслабьтесь.

Ренни закрыла глаза. Доктор отдал маску миссис Доки, которая, не без злорадного удовольствия, прижала ее ко рту и к носу Ренни. Доктор тут же отвернул оба краника, и с тихим ровным шипением газ пошел в маску.

— Дышите глубже, — сказал Доктор, щурясь на манометры.

Ренни глубоко вдохнула — два, три, пять раз, как если бы только и мечтала потерять сознание. Дрожь утихла, и ноги постепенно расслабились.

— Проверьте пульс, — сказал Доктор.

Но едва только миссис Доки свободной рукой дотронулась до запястья Ренни, ту будто вывернуло наизнанку — и вырвало прямо в маску. Секундой позже раздался жуткий чавкающий звук и следом еще один. Глаза у нее наполовину приоткрылись, быстро, один раз.

— Бронхоскоп! — резко сказал Доктор, сдергивая маску вон. Лицо у Ренни посинело: чавкающий звук исчез. — Хорнер, снимите ремень! Быстро!

Я вцепился в ремень и никак не мог сквозь слезы разглядеть застежку. Внутри у Ренни что-то громко булькнуло, как будто взорвалось под спудом.

— *Бронхоскоп!* — крикнул Доктор.

Миссис Доки добежала наконец до стола с длинным, на трубу похожим инструментом, Доктор вырвал инструмент у нее из рук и начал втискивать его Ренни в рот. Все лицо у нее было в рвоте, и под головой, на волосы, тоже натекла маленькая лужица. Лицо потемнело еще больше; глаза открылись, зрачки бессмысленно метались. У меня поплыло перед глазами.

— Готовьте кислород! — приказал Доктор. — Хорнер, пульс!

Я схватил Ренни за руку. Может, и был один-единственный удар в самом начале — и больше ничего.

— Я его не слышу! — закричал я.

— Нет, — сказал потускневшим голосом Доктор. Он вынул бронхоскоп у Ренни из горла и отложил его в сторону. — Кислород не нужен, миссис Доки. — Миссис Доки медленно подошла к столу, посмотреть.

Вот эту картину мне и пришлось запомнить навсегда: темная Комната Процедур, если не считать единственной яркой лампы над самым столом; мертвая Ренни с перепачканным лицом, широко открытыми глазами и ртом; рвота капает из лужицы у нее во рту в другую, у нее под головой; широкий черный кожаный пояс, расстегнутый наконец, лежит на простыне, под которой грудь Ренни и ее живот; нижняя часть тела обнажена, окровавлена, ноги неловко и вяло свисают с края стола.

— Ф-фу ты, — выдохнул Доктор.

— Как это случилось? — спросила миссис Доки.

— Она, наверное, перед тем как ехать сюда, плотно поела, — ответил он. — О чем только люди думают. Глотнула эфиру, ее вырвало, а потом она все это вдохнула в легкие. Этакая чушь!

Я был настолько ошарашен, что не мог даже плакать. Меня словно обухом по голове ударили, и я чудом успел нашарить сзади стул, на который и упал.

— Соберитесь, Хорнер; так дело не пойдет.

Ответить не получилось. Я плавал где-то на грани между головокружением и тошнотой.

— Пойдите лягте в приемной на кушетку, — приказал Доктор, — и задерите ноги кверху. Это пройдет. Мы ее обмоем, а потом вам придется ее отсюда забрать.

— Куда? — у меня началась едва ли не истерика. — Что я буду с ней делать?

— Ну, отвезете обратно, домой. А что, вы думаете, мужу тело без надобности?

Я побрел к двери, но грохнулся в обморок через несколько шагов. Очнулся я в приемной на кушетке, и Доктор стоял рядом.

— Нате выпейте, — он протянул мне две таблетки и стакан воды. — А теперь слушайте внимательно. Дело серьезное, но все обойдется, если вы возьмете себя в руки. Мы перенесли ее в вашу машину. Не вздумайте дурить — избавиться от нее по дороге или что-нибудь вроде того. Я уже созвонился с мужем и сказал ему, что

она через некоторое время придет в себя после анестезии и отправится домой. Лучшее, что вы можете сделать, — привезти ее прямо домой и сказать мужу, что она умерла. Побольше паники. Скажите ему, что все было в порядке, а потом, на полдороге, ее вдруг начало рвать, и она задохнулась — вскрытие подтвердит ваши слова. Он позвонит в «Скорую помощь»; они, конечно, обнаружат последствия аборта, но здесь нет ничего страшного. Вам станут задавать вопросы; тоже не страшно. Не говорите им, где делали аборт, до завтрашнего утра; потом это уже не будет иметь никакого значения. Я с частью пациентов уеду сегодня же ночью, поездом, а миссис Доки останется и сделает все, что нужно будет сделать. Дом и телефон записаны на ее имя, и она скажет, что была одной из моих пациенток и сдавала дом под клинику. Вы моего имени не знаете, она назовет фальшивое и будет разыгрывать невинную овечку. Ни вас, ни ее привлечь к ответственности не смогут, а до меня им не добраться. Вот, возьмите, — он дал мне конверт. — Здесь вам на автобус и еще немного денег, хватит, чтобы прожить до среды. Планы у нас прежние. Вы встречаетесь с миссис Доки и с остальными пациентами на автовокзале, на «Грейхаунд», и если, паче чаяния, что-то изменится, она вам сообщит. Вы в состоянии вести машину?

Ответить ему я не смог: вернулось сознание, а вместе с ним вернулось горе и затопило меня с головой.

— Вид у вас почти нормальный, — отрывисто сказал Доктор. — Хорнер, виноваты мы все. Пусть нам всем это будет урок. Давайте, не сидите сиднем; чем быстрее все кончится, тем лучше.

Должно быть, таблетки и в самом деле подействовали: когда я встал, голова не кружилась. Я вышел и сел в машину. Ренни, свернувшись калачиком, лежала на заднем сиденье, одетая, умытая, с закрытыми глазами. Слишком многое случилось, чтобы думать, чтобы знать, какие чувства испытывать. Я автоматически довел машину до Вайкомико, подъехал к их дому.

Добрался я часам к одиннадцати. У дома было темно, в доме, кажется, тоже, и ни одной машины на шоссе. Я позвонил в дверь и, когда Джо открыл, сказал ему: «Джо, она умерла».

Он вздрогнул и толкнул очки по переносице вверх. На глазах у него выступили слезы и тут же покатились по обеим щекам.

— Где она?

— В машине. Ее начало рвать — от эфира, — и она задохнулась.

Он прошел мимо меня к машине. С трудом вытянул ее с заднего сиденья, отнес в дом и осторожно уложил на диван. Слезы все так же текли у него по лицу, но он не всхлипывал и вообще не издавал звуков. Я беспомощно стоял рядом.

— Как зовут доктора?

— Не знаю. Джо, богом клянусь, я его не покрываю. Я ездил к нему несколько лет, но он ни разу не назвался. Я все тебе объясню, потом, когда ты придешь в себя.

— Где он делает операции?

— Это недалеко от Вайнленда. Я объясню полицейским...

— Убирайся отсюда. Живо.

— Хорошо, — сказал я и ушел.

Остаток ночи я просидел в кресле, ждал звонка от Джо или из полиции, но так и не дождался. Мне до судорог хотелось самому позвонить в полицию, позвонить в больницу, позвонить Джо — но повода звонить куда бы то ни было никак не находилось. Я понятия не имел, что сейчас делает Джо; насколько можно было судить, ничего — так, наверное, и смотрит на нее, как она лежит на диване, и что-то для себя решает. Но я-то уже решил: не вмешиваться, пусть делает что хочет — пусть

даже убьет меня — без моего участия, раз уж помощью моей он пренебрег. Я собирался на все вопросы отвечать только правду — вот разве что Джо станет отвечать по-другому — и очень надеялся, что Доктор ошибся: я надеялся, что существует такая возможность, при которой в ответе могу оказаться именно я. Я жаждал ответственности.

Но никто не позвонил. Утром передо мной встала дилемма: идти сегодня в колледж или нет, и я решил идти. Может быть, там кто-нибудь что-нибудь знает — позвонить Джо я не осмелился.

Добравшись до колледжа, я прямиком направился в кабинет доктора Шотта, под тем предлогом, что мне надо просмотреть почту. Шотт был в предбаннике вместе с Ширли и доктором Картером, и по выражению их лиц было видно, что они уже знают о смерти Ренни.

— Доброе утро, — сказал я, не зная, как меня встретят.

— Доброе утро, мистер Хорнер, — на отчаянной какой-то ноте сказал доктор Шотт. — Мы только что получили кошмарное известие! Прошлой ночью внезапно скончалась супруга Джо Моргана!

— Что? — переспросил я, автоматически изобразив на лице удивление и шок. Похоже, о моем соучастии в этой смерти они ничего не знают: что ж, покуда я не знаю планов Джо, удивление вполне уместно.

— Кошмарное известие! — повторил доктор Шотт. — Такая молодая женщина, и двое маленьких детей!

— Как это случилось, сэр?

Он покраснел.

— Поймите меня, мистер Хорнер, я не в той ситуации, чтобы... Джо только что мне позвонил и говорил, конечно, не слишком вразумительно... Шок, знаете ли — жуткий для него шок! Она, кажется, умерла под наркозом, в больнице, вчера поздно вечером. Какая-то срочная операция.

— Ужасно, — сказал я, качая головой.

— Кошмарное известие!

— Давайте я позвоню в больницу, — предложила ему Ширли. — Может быть, они что-то знают.

— Нет-нет, — поспешно запротестовал доктор Шотт. — Нам не следут проявлять излишнего любопытства. Я сам позвоню Джо, попозже, и узнаю, не можем ли мы чем-нибудь помочь. Я просто ушам своим не поверил! Миссис Морган... такая молодая, здоровая женщина!

Было совершенно ясно: он знает больше, чем говорит, но что бы там такого Джо ему ни сказал, ко мне это не имело никакого отношения. Доктор Картер заметил у меня на глазах слезы и похлопал меня по плечу. Все знали, что у нас с Морганами вроде как дружба.

— Тут не угадаешь, — он вздохнул. — Благие умирают молодыми, может, это и к лучшему.

— А как же дети? — спросил я.

— Бог знает! Такая трагедия! — было не совсем ясно, что он, собственно, имел в виду.

— Пожалуй, нам вообще не стоит об этом рассуждать, — изрек доктор Картер, — пока мы не владеем всей полнотой информации. Для нас для всех это большое горе.

Я понял, что доктор Шотт уже успел поделиться с ним той информацией, которой владел сам.

Итак, в понедельник и во вторник я вел занятия так же, как обычно, хотя в душе моей зияла пустота и в этой пустоте носился дух тревоги. Во вторник после обеда

тело Ренни предали земле, но, поскольку официально объявить по данному поводу выходной администрация не имела права, доктор Шотт был на похоронах единственным представителем от колледжа. Мисс Баннинг прошла по кругу, собрала на венок: я дал доллар из той жалкой суммы, что оставил мне Доктор. В тот момент, когда Ренни опускали в могилу, я, кажется, рассказывал студентам про точку с запятой.

В колледже объявили, что миссис Морган, как выяснилось, умерла вовсе не под наркозом, а задохнулась от попавшего в дыхательные пути куска пищи и скончалась по дороге в больницу. Та же информация появилась и в газете во вторник утром — доктор Шотт, пожалуй, и впрямь был в местной общине фигурой весьма влиятельной. Кроме того, прошел слух, что мистер Морган увольняется с работы; все были согласны, что причиной тому стала нелепая смерть жены, — совершенно понятно, что Джо на время лучше изменить образ жизни. За детьми присматривали мистер и миссис Макмэхон, родители Ренни.

Чуть позже во вторник я узнал об истинном положении вещей от доктора Картера, который поймал меня за рукав, когда я в последний раз спускался по парадной лестнице Государственного учительского колледжа Вайкомико.

— Я знаю, вы дружили с Морганами, — заговорщицким тоном сказал он, уводя меня от стоявшей неподалеку кучки студентов, — так что стоит, наверное, рассказать вам, что там случилось на самом деле. Вы же не станете разносить сплетни.

— Нет, конечно, — поддакнул я. — А в чем дело?

— Мы с доктором Шоттом просто не знали, что и думать, Хорнер, — сказал он. — Такое впечатление, что миссис Морган скончалась в результате криминального аборта — где-то за городом, здесь поблизости.

— Не может быть!

— Боюсь, это правда. В больнице, куда ее отвез Морган, установили, что она задохнулась под наркозом, и обнаружили явные признаки аборта.

— Боже, стыд-то какой!

— Вот-вот. Доктору Шотту удалось замять дело, и полиция ведет расследование в тайне, хотя они пока все равно ничего не нашли. Морган клянется, что не знает ни имени врача, ни места, где была проведена операция. Говорит, что жена, мол, сама обо всем договорилась и что когда это все случилось, его там не было. Я не знаю, врет он или не врет; правды-то все равно не узнаешь.

— Господи ты боже мой! А его могут привлечь к ответственности?

— Нет, не выйдет. И еще одна неприятность: доктор Шотт, конечно, дело-то замял, но, по совести говоря, разве он может после такого держать Моргана в штате? История и без того скверная, — а что будет, если узнают студенты? Вы же понимаете, маленький колледж в маленьком городке вроде Вайкомико. Могут быть большие неприятности. Открою вам еще один секрет: он попросил Моргана написать заявление об уходе.

— Бедняга!

— Да, жаль, конечно. Но... вы ведь никому не скажете?

Я покачал головой.

— Ни единой живой душе.

Итак, возможности публично взять на себя ответственность мне, похоже, не дадут. Ренни лежит в могиле. Я в колледже, и репутация моя не пострадала, а Джо остался без работы.

Господи, как все нелепо, какие дыры всюду, и торчат клочки! Я прошелся по комнате; вздохнул прерывисто; застонал. Я мог, наверное, пойти и публично покаяться — но не будет ли это еще одним, последним, унижением для Джо, который изо всех сил старается лишить меня моей доли ответственности или, по крайней

мере, пытается сделать так, чтоб не делить свое горе со мной. Я мог, наверное, нести свой нелепый крест втайне, в Вайкомико или где-нибудь еще, женившись на Пегги Ранкин или послав ее ко всем чертям, под своим именем или под каким другим — но разве я таким образом не избавлю общество, в котором живу, от причитающегося ему по праву, и не есть ли это скрытый способ избежать публичного позора? И, если уж на то пошло, я никак не мог решить: женитьба на Пегги Ранкин будет с моей стороны актом милосердия или жестокости; и если я пущу полицию по следу Доктора, правильно это будет или неправильно? Я даже не мог решить, какие чувства я *должен* испытывать: внутри меня жила одна только боль, без образа и цели.

Я места себе не находил. Начинал писать письма, с дюжину, не меньше — Джо, в полицию, Пегги, снова Джо, — и ни единого не закончил. Пустое дело: я не мог сосредоточиться на одном каком-то состоянии, на одной мысли, чтобы обвинить, наконец, хоть кого-нибудь — Доктора, себя самого, кого угодно — или решить, как мне действовать дальше. Я выкинул в конце концов исписанные листки и бросился в кресло-качалку, измученный, пропитанный болью. Эта дурацкая неполнота, незаконченность заставляла меня ежесекундно бросаться из крайности в крайность; мои мышцы взывали к действию; но члены мои, как члены Лаокоона, стянули два страшных змея — Знание и Воображение, — и разрослись в гигантских пустотах времени, и не искушали более, а иссушали.

В конце концов я разделся, лег в темноте на кровать, хотя о сне не могло быть и речи, и вступил в неспешный — молча — диалог с моим старым и верным другом.

— Мы слишком далеко с тобой зашли, — сказал я Лаокоону. — Как только люди могут жить в этом мире?

Ответа не последовало.

Где-то посередине ночи зазвонил телефон. Я был гол как перст и, поскольку шторы не были задернуты, снял трубку в темноте. В трубке был голос Джо, сильный, чистый, тихий и прямо над ухом.

— Джейк?

— Да, Джо, это я. — Каждый мой нерв изогнулся и встал дыбом — кроме прочего, я тут же вспомнил и о пистолете на полочке в чулане.

— Ты в курсе?

— Да. Кажется, в курсе.

Пауза.

— Ну, и какие у тебя дальше планы? Что-то конкретное?

— Не знаю, Джо. Нет, наверное. Я подумал, что все теперь зависит от тебя, как ты решишь, так и будет.

Еще одна пауза.

— Я, должно быть, тоже уеду из города, — сказал я.

— Да? Что это вдруг?

Ни полтона выше, ни полтона ниже, и ни следа хоть каких бы то ни было чувств.

— Я не знаю. А как насчет тебя, а, Джо? Ты что теперь собираешься делать?

Он не заметил моего вопроса.

— Так, и что у тебя на уме, Джейк? Что ты обо всем об этом думаешь?

Я замешкался. Смятение полное.

— Господи, Джо… я не знаю, с чего начать, не знаю, что мне делать!

— Что?

Все тот же голос, чистый, тихий, у самого моего уха. Слезы потекли холодным ручьем по лицу, по горлу, дальше, на грудь, и меня прошибло вдруг жутким, вселенским холодом.

— *Я сказал, что я не знаю, что мне делать.*

— А.

Еще одна пауза, очень длинная; потом он повесил трубку, и я остался с мертвым аппаратом, в темноте.

На следующее утро я побрился, оделся, собрал вещи и вызвал такси. Ждал, качаясь в кресле, и курил сигарету. Погоды не было никакой. Через несколько минут шофер посигналил мне с улицы; я подхватил чемоданы и вышел, оставив бюст Лаокоона стоять, где стоял, на каминной полке. Машину, поскольку больше нужды в ней не предвиделось, я тоже оставил стоять, где стояла, на обочине дороги, и сел в такси.

— Терминал.

От переводчика

Как и Джейкоб Хорнер, главное и время от времени действующее лицо «Конца пути», свой путь во взрослую жизнь Джон Симмонс Барт-младший начал (после нескольких месяцев занятий в музыкальном училище по классу оркестровки и музыкальной гармонии) в Балтиморском университете Джонса Хопкинса, где специализировался в той же, что и Хорнер, весьма расплывчатой области знаний. Получив в 1951 году университетский диплом и оставшись в alma mater в магистратуре, Барт представил через год свой первый, до сих пор не изданный роман «Хитон Несса» и получил искомую магистерскую степень. После чего, не закончив работу над докторской, был вынужден, в связи с очередным прибавлением семейства, устроиться на преподавательскую работу на английское отделение Пенсильванского университета.

В 1955 году Барт пишет первую «пару» романов (в дальнейшем его тексты также будут появляться в основном тандемами): «Плавучую оперу» и «Конец пути», и с этой поры карьера университетского профессора Джона Барта попадает в зависимость от литературных успехов Джона Барта — известного писателя, признанного отца-основателя и законодателя вкусов для целого направления в американской литературе, получившего не вполне адекватное наименование «черного юмора». По крайней мере, каждый свой следующий академический пост Барт с завидной регулярностью получает после присуждения ему очередной литературной премии.

Традиция американского «черного юмора» в отечественный литературный обиход просачивалась исподволь. Еще в советские времена переводили — как фантаста — иногда и впрямь фантаста Курта Воннегута. «Поправку 22» (под названием «Уловка 22») Джозефа Хеллера «протащили» как сатиру на американскую армию, и то в сокращенном виде. В 90-е годы ситуация кардинально изменилась. Не знаю, простое это совпадение или жесткая взаимосвязь, но параллельно с выходом добившихся относительного коммерческого успеха переводов из Тома Шарпа, слабого английского эпигона американских авторов «черной комедии», стали появляться и действительно сильные вещи действительно сильных авторов: Патрика Донливи, Джозефа Хеллера, Доналда Бартелми, Томаса Пинчона, Джона Ирвинга и, наконец, Джона Барта.

«Конец пути» — наверное, самый «черный» роман Барта. Целиком построенный на провокации. На постоянных подножках читателю, привыкшему — по «романтической» традиции — идентифицировать себя с протагонистом; здесь подобная попытка обернется нарастающим чувством дискомфорта. Все ползет, на что ни поставишь ногу. И я с трудом могу представить себе человека, который, дойдя до последней страницы «Конца пути», с готовностью взялся бы его перечитывать.

Условия человеческого существования в мире Джона Барта можно свести, пожалуй (при всей условности этой операции), к названию его более позднего текста: «Затерянные в комнате смеха». Смех в комнате смеха — смех странный и самый,

наверное, близкий к истинной своей природе. Он не имеет ничего общего с тем, что мы ценим в смехе сегодня — с юмором, мягкой иронией, тем более с сатирой. Ирония и юмор — дети развитой личности, развлекающей себя (и прочих — по ходу) некоторым несовпадением личной точки отсчета с общепринятой. Сатира всегда социальна и утопична, она зубоскалит над миром уныло и тяжеловесно, ибо стремится его переустроить и потому прячет за кривой ухмылкой пророчество. В комнате смеха, напротив, мир издевается над человеком.

Отчего смешно? От того же, отчего бывает страшно. Когда возникает зазор между виденьем мира и истинной, не подлежащей именованию сутью, когда глянет в эту щель черный (для нас, дальтоников) глаз Бога — тогда смешно. Или страшно. Или же смешно и страшно разом.

Прямое утверждение этических — да и вообще каких угодно — императивов для Барта невозможно. Однако возможно преподнести их читателю через ту или иную ситуацию, способную «заразить» его ключевыми человеческими чувствами — беспомощностью, унижением и состраданием. Как в сцене смерти Ренни (отзвук «Госпожи Бовари» продолжает бродить по закоулкам литературной традиции) или в последнем не-разговоре между Джейком и Джо: два сидящих порознь в темных комнатах голых человеческих существа, соединенных черным телефонным кабелем, которым нечего сказать друг другу...

Город называется Вайкомико. Так и хочется перевести: «Что смешного?»

ЛИТературный гид

исчезающий

исчезающий те

исчезающий текс

исчезающий текст ис

исчезающий текст исче

исчезающий текст исчезающий

исчезающий текст исчезающий текс

исчезающий текст исчезающий текст исче

исчезающий текст исчезающий текст исчезающий исче

исчезающий текст исчезающий текст исчезающий исчезающий текст исчезающий т

исчезающий текст исчезающий текст исчезающий исчезающий текст исчезающий текст исчезающи

исчезающий текст исчезающий текст исчезающий исчезающий текст исчезающий текст исчезающий текст

исчезающий текст исчезающий текст исчезающий исчезающий текст исчезающий текст исчезающий исчезающий текст исчезающии текст исчезаю

исчезающий текст исчезающий текст исчезающий исчезающий текст исчезающий текст исчезающий текст исчезающий текст исчезающий текст исчезающий текст исчезающи

АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ

Вокруг, около и вместо

ТРИУМФ КОММЕНТАРИЯ

Художественное произведение с подстраничными сносками и комментариями выглядит не очень выигрышно. Это вроде как брак в работе. Если комментарии сделал сам автор, значит, он не справился с технической задачей — сказать нечто в самом тексте — и вынужден прибегать к вспомогательным средствам. Если же комментарии при подготовке к публикации делает издатель, это может нарушать замысел автора, состоящий в том, чтобы предоставить разбираться во всем самому читателю[1].

Другое дело — текст академический, издание научное. Здесь ситуация обратная: чем больше сносок и комментариев, тем книга выглядит солиднее, фундаментальнее. В известной серии «Литературные памятники» публикуемый художественный текст по объему порой уступает всему сопутствующему материалу: комментариям, статьям, библиографическим отсылкам. Происходит своего рода смещение центра тяжести: проза или поэзия внутри такой книги не остается чем-то самодостаточным, а становится прежде всего поводом для разговора о ней, предметом исследования и анализа. Читатель в данном случае проявляет интерес в первую очередь к комментариям, а основной, канонический текст парадоксальным образом превращается в иллюстрацию к ним.

Еще более наглядно подобное смещение читательского внимания проявляется при чтении научной литературы вообще, — например, специальных журналов. Давно подмечено, что читатель научной периодики в первую очередь смотрит на библиографию к статье. Действительно, опытному профессионалу достаточно взглянуть, на какие публикации автор ссылается, чтобы оценить не только то, стоит или нет читать данную статью, но и более или менее точно реконструировать ее содержание.

Публикуемый в этом выпуске «Литературного гида» роман Петера Корнеля «Пути к раю» представляет собой имитацию фундаментального академического исследования. В нем присутствует масса разъяснений, комментариев, интерпретаций, отсылок к другим авторам и подробных библиографических описаний использованных источников. Весь этот материал занимает более сотни машинописных страниц. Единственное, чего в нем нет — так это основного текста, который был якобы безвозвратно утрачен.

Парадокс? Безусловно. Разве могут комментарии иметь самодостаточную ценность в отсутствие самого текста? Оказывается, могут — с учетом сказанного выше. Просто читатель должен согласиться с не вполне привычной для него ролью и прочесть роман так, как читают научные отчеты, в которых основная часть формализована, стандартна, предсказуема и потому не так интересна, как все то, что ей сопутствует. Настраиваться нужно не на эмоциональное, а на аналитическое восприятие — и тогда чтение превратится в интеллектуальный «квест»[2] с открытым и неоднозначным ответом.

Впрочем, для читателя, следящего за отечественной литературой[3], произведение с подобной структурой — дело уже привычное. Пару лет назад премией «Антибукер» был отмечен роман Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик»[4]. Он состоит из нескольких сот комментариев[5], причем подавляющее их большинство относится

---

[1] Именно так поступает Умберто Эко, сознательно избегающий в своей прозе подстраничных комментариев (см. вступление Е. Костюкович к переводу романа «Остров Накануне», «ИЛ», 1999, № 2, с. 5).

[2] *Англ.* «quest» — род компьютерной игры. Строится по принципу «Поди туда, не знаю куда, и сделай то, не знаю что».

[3] И для того, кто ломал голову над набоковским «Бледным пламенем».

[4] Фрагменты его около десяти лет назад печатались в «Новом мире» (см. библиографию к публикуемому ниже эссе Е. Попова) и «Нашем современнике», а отдельным изданием роман вышел сравнительно недавно.

[5] Впрочем, не только: к роману прилагаются также и несколько рецензий на него, написанных вымышленными авторами (ср. «Абсолютный вакуум» Станислава Лема; об этом сборнике см. далее).

© А. Михеев, 1999

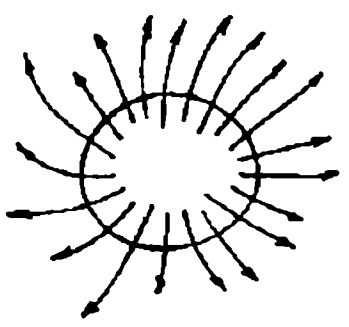
не к исходному тексту (который в окончательной редакции был — как малозначимый элемент — изъят из основного корпуса произведения), а к другим комментариям. А в прошлом году появилась повесть Евгения Попова «Подлинная история «Зеленых музыкантов»[1], где в свой ранее не публиковавшийся рассказ автор включил 888 сносок, совокупный объем которых оказался втрое больше текста самого рассказа[2].

Сходство этих текстов, конечно же, прежде всего чисто формальное. Если говорить о содержании комментариев, то в повести Попова они имеют характер большей частью информационно-ностальгический, в романе Галковского — рефлексивно-философский, а у Корнеля, как уже говорилось, имитируют те реальные академические отсылки к другим текстам, которыми сопровождается всякий фундаментальный научный труд. Это — различия очевидные, лежащие на поверхности; однако есть и другие, не сразу бросающиеся в глаза, но не менее важные.

МАГИСТРАЛИ И ЛАБИРИНТЫ

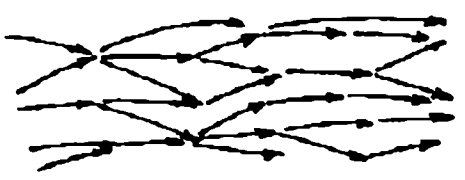
Рекомендуя роман Петера Корнеля журналу, Милорад Павич особо отмечал его нелинейность, то есть возможность читать текст не с начала и до конца, а вдоль и поперек, свободно переходя от фрагмента к фрагменту и выстраивая их в произвольном порядке. Этим, собственно, характеризуются и многие тексты самого Павича («Пейзаж, нарисованный чаем», «Хазарский словарь», «Вечность и еще один день»), хотя определенные сценарии чтения в них все-таки задаются. Существование других, помимо линейного, вариантов чтения действительно объединяет все упомянутые выше «тексты-комментарии»: повествование движется в них вовсе не по единственному, магистральному пути. Однако направление альтернативных путей в каждом отдельном случае при ближайшем рассмотрении оказывается разным.

В повести Попова комментарии представляют собой осколочную мозаику, которая, как в калейдоскопе, может сложиться в затейливый и живописный узор; любой фрагмент успешно соседствует с любым другим, и эффект возникает не за счет появления нового качества, а просто за счет количества все новых и новых ассоциаций, которые порождаются чуть ли не любым словом исходного текста. Если попытаться изобразить структуру повести Попова, то получится картинка, напоминающая схему движения пригородных поездов:



В центре здесь — основной текст, а от него отдельными лучами разбегаются не пересекающиеся друг с другом комментарии. Ассоциации (связанные прежде всего с воспоминаниями о прошлом) возникают в «Зеленых музыкантах» по самым разным направлениям, но каждый раз (по крайней мере, теоретически) предполагается возврат к исходному тексту, хотя фактически комментарии можно вполне успешно читать и подряд, не листая журнальные страницы взад-вперед.

Другое дело — «Бесконечный тупик». Здесь ассоциации цепляются друг за друга по цепочке, комментарии вырастают друг из друга, как ветви гигантского дерева, и графическая схема оказывается иной:

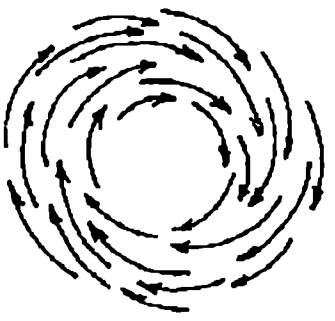


[1] «Знамя», 1998, № 6.

[2] С размышлениями Евг. Попова об этой повести вы можете познакомиться в его эссе «Отсутствие отсутствия».

Исходный текст при такой структуре повествования становится действительно излишним: если мы прошли вместе с автором долгий путь, то уже неважно, с чего он начинался; важно то, где мы находимся в данную минуту и куда мы движемся. И то и другое объясняется в названии: в каждый отдельно взятый момент мы находимся в тупике, но двигаться мы, если того захотим, будем бесконечно. И цели, разумеется, не достигнем никогда.

Вариант Корнеля — принципиально иной. В его формально не связанных ни с основным текстом (в силу его отсутствия), ни друг с другом комментариях есть тем не менее и повторяющиеся фрагменты (например, ссылки на одни и те же публикации), и — что важнее — повторяющиеся мотивы. Мы постоянно встречаем рассуждения о лабиринтах, спиралях и складках, о соотношении центра и периферии, о городской (и не только) топографии, о схожем строении разных природных объектов. Иллюстрирующий эти рассуждения визуальный ряд помогает нам догадываться, о чем идет речь, хотя абсолютно правильного ответа в этом «квесте», похоже, нет. Но самое любопытное то, что при попытке построить графическую структуру данного текста мы получаем картинку, весьма напоминающую те разнообразные объекты, которые в нем упоминаются:



Комментарии в совокупности образуют здесь не то лабиринт, не то водоворот, закручивающийся вокруг того места, где должен быть некий центр, некая цель, нечто материально отсутствующее, но фактически возникающее в силу того, что окружено это нечто огромным количеством намеков и подсказок. Как короля играет свита, так и здесь роль главного объекта играет контекст. Текст Корнеля — не центробежный, как у Галковского или Попова, а центростремительный. Комментарии ведут нас по кругу, и если мы выберем правильный путь, то сможем к обозначенному центру максимально приблизиться.

КНИГИ, КОТОРЫХ НЕТ

Разговор о несуществующих текстах как о реальных — это лишь на первый взгляд нечто экстравагантное и новое. В вышедшей недавно в Польше книге «Призрачная библиотека» приводится обширная библиография ненаписанных книг, принадлежащих вымышленным авторам[1]. Еще в 70-е Станислав Лем выпустил в свет два сборника — сборник рецензий «Абсолютный вакуум» и сборник вступлений «Мнимая величина»; упоминающиеся в них книги были придуманы самим Лемом. Автор признается, что он лишь развил идею, реализованную в новелле Борхеса «Анализ творчества Герберта Куэйна», имитирующей обзор творчества некоего якобы недавно скончавшегося писателя.

Среди отечественных авторов тему виртуальных книг давно и плодотворно разрабатывает Михаил Эпштейн. В этом «Литературном гиде» мы публикуем текст, подготовленный на основе материалов его глобального проекта «Книга Книг». Проект этот обращен и в прошлое, и в будущее. В своей ретроспективной части он посвящен анализу тех литературных и философских текстов, которые так и не были — хотя могли бы быть — написаны. Печальный опыт невоплощенности в прошлом множества идей автор учитывает в сегодняшней деятельности. Основное занятие Эпштейна — домысливание и дописывание, причем участвовать в этих процессах он предлагает всем желающим.

Впрочем, отсутствие в реальности тех или иных текстов еще ничего не значит. К некоторым из несуществующих книг проявляется не меньший интерес, чем к стоящим на полке. Второй том «Мертвых душ» для истории литературы важнее, чем второй том «Поднятой целины». В нереализованном или уничтоженном присутству-

[1] См. ниже рецензию Яна Гондовича в специальном выпуске рубрики «Среди книг».

ет тайна, которая исчезнет, если нечто утраченное будет найдено, а потенциальное — реализовано. Воплощенный и завершенный текст в каком-то отношении становится мертвым, а невоплощенный или неполный — остается живым.

Есть у темы отсутствующих текстов и другая сторона. Многие из написанных книг так и остаются непрочитанными, что в условиях сегодняшнего информационного обвала вовсе неудивительно. И даже о прочитанных книгах в памяти сохраняются, как правило, лишь самые общие представления. На бумаге тексты присутствуют, но в нашем сознании они неизбежно тают, оставляя после себя когда более, когда менее отчетливый след, — что, однако, отнюдь не мешает обсуждать эти тексты со знанием дела. Мы, собственно, оперируем не текстами, а знаками текстов[1]: в лучшем случае эти знаки соответствуют неким их дайджестам, в худшем — лишь связанным с текстами (и с их авторами) ассоциациям (говорим «Деррида» — подразумеваем «деконструкция», говорим «Бодрийар» — подразумеваем «симулякр»).

Исчезновение текста, таким образом, — это не просто ловкий трюк пытающихся удивить публику писателей, а процесс вполне объективный. Большинство вновь появляющихся текстов существует для нас лишь в отражениях — обзорах, критических статьях, библиографических перечнях. Вместо того, чтобы тратить ночь на чтение списка кораблей, мы заглядываем в комментарий и узнаем их точное количество. Справочники, словари, энциклопедии — вот наиболее ходовая сегодня литература. А «удовольствие от текста» становится изысканным деликатесом.

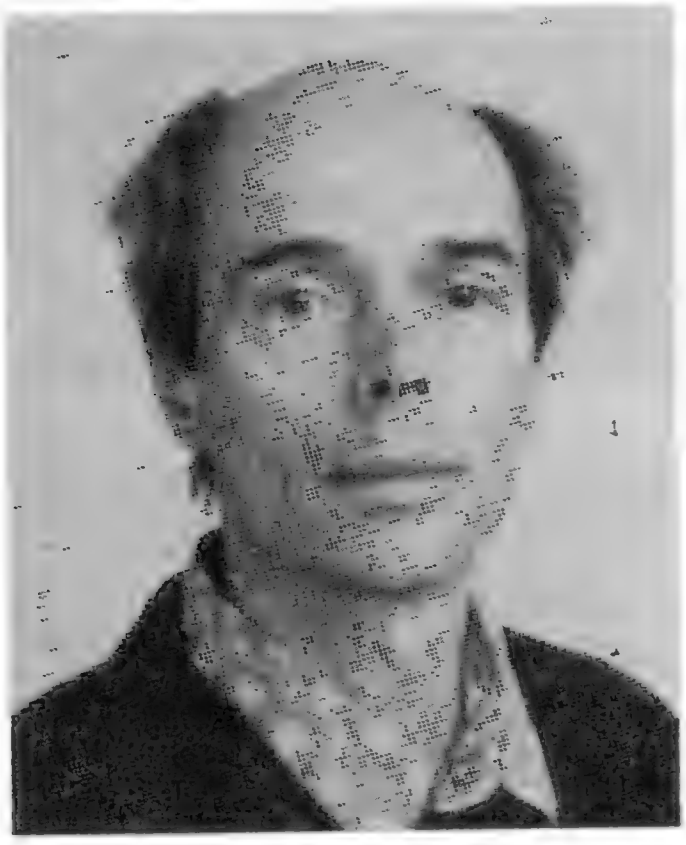
РЕВАНШ ТЕКСТА

Но обратите внимание на следующий парадокс: по ходу всех манипуляций с отсутствующими текстами — комментирования, рецензирования, обсуждения, дописывания — возникает не что иное, как новый текст. Литература возвращается в ином обличье: она осваивает, как это случалось и прежде, маргинальные жанры словесности, превращая в художественный текст то, что до сей поры существовало как вспомогательный материал. Предметом этой новой литературы являются другие тексты — и если нас давно уже не смущает то, что в прозе действуют вымышленные герои, мы также должны смириться с существованием вымышленных текстов.

Литература такого рода не совсем привычна и для неподготовленного читателя может показаться не вполне удобоваримой. В этих текстах действительно присутствует элемент интеллектуальной провокации. Но — еще раз обращаясь к компьютерным аналогиям — мы просто оказываемся в том пространстве, где начинается игра на «Level II», втором уровне. И всем, кто благополучно прошел «Level I», — добро пожаловать в извилистые лабиринты нашего «Литературного гида».

■

[1] Подробнее об этом см. публикуемое ниже эссе М. Эпштейна и его же статью «Информационный взрыв и травма постмодерна» («Книжное обозрение «Ex libris НГ», 04. 02. 1999).



ПЕТЕР КОРНЕЛЬ

Пути к раю

Комментарии к потерянной рукописи

Перевод со шведского Ю. ЯХНИНОЙ

Корнель и нелинейное письмо

Несколько лет назад я испытал настоящее восхищение, наткнувшись на один из нелинейных романов — если можно так назвать книгу Корнеля «Пути к раю». Я бы сказал, что это «роман в сносках». Как только это понимаешь, становится уже не важно, о чем этот роман: вас ведет вперед по его страницам желание пережить тот новый читательский опыт, который он вам предлагает. Итак, самого текста книги не было, существовали только сноски, комментарии к тексту. Нечто похожее на схолии, на толкования загадочного текста, который нам недоступен. На основе этих примечаний, помещаемых под чертой в нижней части страницы, мы можем только вообразить себе роман или что-то, что находилось над чертой. Сама по себе идея замечательна и реализована с такой фантазией, что каждый читатель может создать свою собственную, отличную от всех других книгу. Всему этому во многом способствовали и иллюстрации, которые шведский писатель приложил к роману, проявив себя прекрасным знатоком изобразительного искусства и эзотерики.

С 1987 года, когда была впервые опубликована книга П. Корнеля, прошло уже более десяти лет, за это время я предложил поэту Раше Ливаде напечатать ее в переводе на сербский в его знаменитом журнале «Писмо» (этот журнал — своего рода белградский собрат «Иностранной литературы»), что он и сделал.

Итак, как я уже сказал, прошло больше десяти лет, но время добавило новые аргументы в пользу произведения Корнеля. Благодаря этой книге он вошел в узкий круг современных писателей, пользующихся нелинейным письмом (nonlinear narratives) и создающих интерактивную литературу. Ибо что же такое «Пути к раю», как не одно из тех произведений, которые, избавившись от рабства линейности языка, открывают перед нами, читателями, возможность самим участвовать в создании определенного текста, возможность переместить процесс чтения на новый уровень. На уровень, где ветвятся наши мысли и наши сны, совершенно не линейные, в отличие от языка, на котором веками писали классики. Мне представляется, что благодаря этому перед Корнелем открыты двери в литературу XXI века.

МИЛОРАД ПАВИЧ

© Peter Cornell, 1987
© Ю. Яхнина. Перевод, 1999
© М. Павич. Вступление, 1999
© Л. Савельева. Перевод, 1999

Предисловие

Автора этой книги хорошо знали в Королевской библиотеке в Хумлегордене. Более трех десятилетий подряд его почти ежедневно можно было увидеть в тихом научном зале, где он сидел, погрузившись в исследования и раздумья. Говорили, что он работает над необычайно обширным проектом, над произведением, которое — как он однажды признался в доверительном разговоре — призвано выявить целый ряд до сих пор не замеченных связей.

Однако после его кончины, несмотря на тщательные разыскания, обнаружить эту работу так и не удалось. Тем не менее среди его бумаг была найдена рукопись, озаглавленная «Пути к раю. Комментарии». Таким образом, от капитального труда сохранился только научный аппарат.

Рукопись напечатана на машинке, на бумаге формата А 4. Она состоит из 122 разрозненных страниц, собранных в папку. Ни страницы, ни комментарии не пронумерованы. В настоящем издании я, однако, пронумеровал комментарии, сохранив тот порядок, который был в папке. С уверенностью утверждать, что этот порядок был окончательным, мы не можем — нельзя исключить и другую последовательность. Точно так же нам неизвестно, содержит ли рукопись весь комментарий к сочинению или только малую его часть. Некоторые графические изображения имелись в рукописи изначально, другие — преимущественно те, что иллюстрируют художественные произведения, упоминаемые в тексте, — добавил я сам.

Как единственному оставшемуся в живых другу и ученику писателя, мне осталось только опубликовать эти комментарии в надежде на то, что они дадут некоторое представление об общем характере утраченного произведения или хотя бы пробудят в читателе любопытство, подтолкнув его продолжить знакомство с литературой, на которую ссылаются комментарии.

Стокгольм, июнь 1987
Петер Корнель

I

1. Своего рода фантастические рассказы, «contes fantastiques autours des contes originaires» (*фантастические сказки вокруг изначальной сказки*). *Jurgis Baltrusaitis. «La quête d'Isis. Essais sur la légende d'un mythe», 1985 (Юргис Балтрушайтис. «Поиски Изиды. Эссе о легенде, связанной с одним мифом»).*

2. *Ibid.*

3. «Середина мира», «сердце мира». Эти понятия встречаются во всех культурах, даже если географическое или топографическое положение центра варьируется: это может быть страна, пещера, гора, башня или город. Все эти вымышленные места ведут свое происхождение от фантазий о Святой земле, которую Рене Генон описывал следующим образом: «Эта, в отличие от других, «Святая земля» — земля изобилия по смыслу санскритского слова «Paradesha», которое у халдеев приобрело форму «Pardes», а в западных странах «Paradis». То есть речь идет о земном рае, который является отправной точкой любой религии»[1]. Вот откуда все произошло, вот где было произнесено первое, животворящее Слово. См. *René Guénon. «Les gardiens de la terre sainte», 1929*, в *«Symboles fondamenteaux de la science sacrée», 1962* (*Рене Генон. «Стражи Святой земли»* в *«Основополагающих символах священного знания»*).

4. Быть может, это предмет, описанный Андре Бретоном в его «*Souvenirs du Paradis terrestre», 1953* (*«Воспоминания о земном рае»*), шероховатый камень, 10 х 9 см, названный по надписи на камне.

5. Рай, «парадиз», от староперс. *pairidaeza* в значении «огороженный сад, парк».

6. О парках как о местах, «где приходят в движение безумные мечты обывателей», см. *Louis Aragon. «Le paysan de Paris», 1926* (*Луи Арагон. «Парижский крестьянин»*).

---

[1] Все цитаты даются в переводе со шведского, кроме тех случаев, когда автор сам приводит их на языке оригинала. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

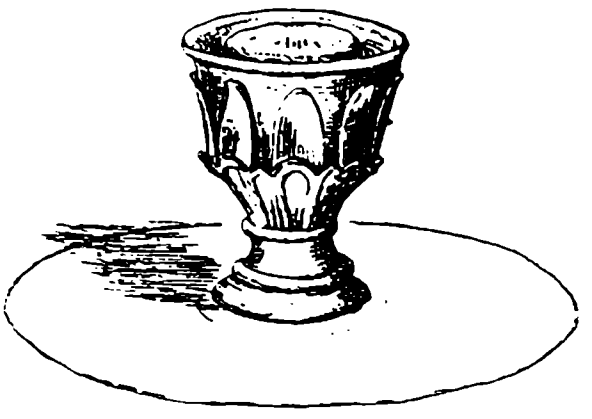
7. Заметим, он только *полагает* (sic!), что знает.

8. Ср. проф. Джанфранко Равази: «Поэтому такие определения, как центр, «рай», «пуп Вселенной», лежат в основе описаний Иерусалима. Эти определения могут прочитываться метафорически, как некий защитный круг, убежище, hortus conclusus». *Gianfranco Ravasi. «La Gerusalemme celeste», 1983 (Джанфранко Равази. «Небесный Иерусалим»).*

9. То есть считалось, что человек был создан в центре мира, в пупе земли, «omphalos». Мирча Элиаде воспроизвел многие из этих мифов, в том числе месопотамские и иудейские. Рай, где из персти был сотворен Адам, лежал, безусловно, в центре Вселенной. Рай был пупом земли. Согласно сирийской традиции, Адам был сотворен на том самом месте, на котором впоследствии должны были распять Христа. Подобных представлений придерживались и иудеи: в древнееврейских комментариях к Библии (*Midrash)* местом, где сотворен Адам, назван Иерусалим. Адам был погребен там же, где был создан, в середине мира, на Голгофе. Ср. *Mircea Eliade. «Le mythe de l'éternel retour», 1949 (Мирча Элиаде. «Миф о вечном возвращении»).*

10. О Мелхиседеке как о «царе мира», правящем Салимом и центром Земли, см. *René Guénon. «Le roi du monde», 1958 (Рене Генон. «Царь мира»),* а также Heb. 7 (*Послание к евреям, 7*).

11. Впрочем, следует отметить, что в Иерусалиме два места, а при халифе Абдаль-Мелике три религии могли претендовать на то, чтобы считать себя абсолютным центром мира. С одной стороны, была гора, которая служила основанием храма Соломона, — на ее вершине как раз и находился жертвенник; эта же самая гора позднее считалась местом, откуда вознесся на небо Мухаммед (Магомет). С другой стороны, была Голгофа и храм Гроба Господня, где по-прежнему находилась чаша с круглым камнем внутри, которая была отметиной середины мира. См. *Lars-Ivar Ringbom. «Graaltempel und Paradies, Kgl. Vitterhets historie- och antikvitetsakademiens handlingar», 1951 (Ларс-Ивар Рингбум. «Храм Грааля и Рай. Материалы Королевской академии литературы, истории и древностей»).*



«Омфалос» в храме Гроба Господня. По Роше.

12. О том же камне пишет Фредрика Бремер в своих путевых заметках о Палестине. «Здесь они [пилигримы] целуют большой мраморный шар, который они называют «каменный пуп», так как считается, что он лежит в середине мира». Впрочем, само место, храм Гроба Господня, вызвал у писательницы разочарование, которое нельзя не отметить: «Спектакль для детей, безвкусный и фальшивый. Здесь тебе не удается проникнуться благоговением, возвыситься духовно... Я пережила праздник Пасхи прежде всего у себя в душе». *Fredrika Bremer. «Lifvet i gamla verlden. Dagboksanteckningar under resor i söder- och österland», del III, 1861 (Фредрика Бремер. «Жизнь в Старом свете. Дневниковые заметки во время путешествий по южным и восточным странам», часть III).*

13. Здесь он имеет в виду известняковую гору Фавор в Галилее, вероятно от «tabbur», то есть пуп.

14. Но разве нельзя с таким же основанием утверждать обратное? Если Поль Сезанн охотно повторял один и тот же мотив, это вовсе не означает, что сам мотив был ему безразличен и служил всего лишь предлогом для поиска формы. Наоборот, быть может, его постоянное возвращение к могучей горе Сент-Виктуар вызвано тем, что этот мотив навевает ему какую-то настойчивую, хотя и неясную мысль. Может быть, за очертаниями

горы Сент-Виктуар маячит старинное представление о центре мира. А от этого первоисточника через Сезанна фантастический рассказ кругами расходится все дальше; так, Петер Хандке видит в определенном геологическом пункте этой горы свой собственный центр:

«В поисках связи я напал на еще один особенный след, по которому счел своим долгом идти, хотя и не знал, куда он ведет и вообще ведет ли он куда-либо. Все предшествующие месяцы каждый раз, когда я смотрел на картины, на которых Сезанн запечатлел свою гору, я обнаруживал этот след, пока он не стал для меня навязчивой идеей.

П. Сезанн. «Гора Сент-Виктуар со стороны Бибемю». 1898—1900.

Горный массив увиден с левой стороны, где он образует тройную вершину с ее пластами и складками в геологическом разрезе. Я читал о том, что другом юности Сезанна был геолог по имени Марион, который и позднее часто сопровождал художника, когда тот работал на пленэре. Когда я изучал карты горы и ее описания, мое воображение по какой-то непонятной причине постоянно кружило вокруг одного и того же места: это разлом между двумя различными породами. Он находится на дороге, которая, плавно поднимаясь вверх, ведет с запада к самому гребню и по сути дела представляет собой «точку», потому что линия гребня там разрывается, когда одна порода вклинивается в другую. В природе невооруженный глаз эту точку не различит, но на картинах художника она появляется снова и снова более или менее темным пятном; даже в карандашных набросках это вклинивание обозначено штрихами или хотя бы очерчено мягким контуром.

Именно это место и побудило меня снова поехать в Прованс — мне предстояла работа. Я надеялся найти ключ, и хотя рассудок отговаривал меня от этой затеи, я знал, что прислушиваться надо к голосу воображения». *Peter Handke. «Der Weg zum St. Victoire», 1980 (Петер Хандке. «Путь к горе Сент-Виктуар»).*

15. Гора Сент-Виктуар, увиденная со стороны Бибемю. Дориваль указывает, что Сезанн на склоне лет особенно любил заброшенные, пустынные места вроде забытой, полузаросшей каменоломни Бибемю. Там он обосновался на какое-то время, пока за несколько лет до смерти не оборудовал мастерскую на окраине Экс-ан-Прованса. Все его пейзажи периода Бибемю, по мнению Дориваля, отличаются «космическим характером геологической трагедии». *Bernard Dorival. «Cézanne», 1948 (Бернар Дориваль. «Сезанн»).*

16. Судя по всему, речь идет о произведениях американского скульптора Роберта Смитсона, которые он создавал в самых недоступных и отдаленных местах, таких, как Большое Солёное озеро в штате Юта, пустынные районы Техаса или Юкатан в Мексике — «пограничные области, лишенные фокуса», как говорил сам Смитсон. Последняя из названных работ — «*Spiral Hill*» (*«Спираль Холм»*) — установлена в старом песчаном карьере в Голландии.

Р.Смитсон. «Разорванный круг»; «Спираль Холм».

17. Сейчас уже почти доказано, что Зигмунд Фрейд в 1902 году поднимался на Везувий.

18. Ср. понятие «пассажей» в искусствоведческих трудах, посвященных Сезанну (*Андре Лот, Эрл Лоран* и др.). Сезанн упорно борется с прежним пространственным изображением на основе центральной перспективы, которая представляет собой статичную проекцию мира, где воображаемые линии сбегаются к одной и той же точке или фокусу в глубине. Изображение на основе центральной перспективы исходит из того, что художник рассматривает свой мотив под одним произвольным углом зрения. В этом случае художник неподвижен, он, так сказать, прикован к *одной* точке и не может даже повернуть голову, словно люди в пещере Платона.

С помощью «пассажей» Сезанн не дает зрителю потеряться в иллюзорной пространственной глубине — вместо этого задний план приближается к передней плоскости. Например, рукав какого-нибудь человека может приобрести тот же цвет, что драпировка на заднем плане, а очертания дерева — расщепиться и сблизиться с находящейся вдалеке горой; так возникают «пассажи», постоянные переходы от переднего плана к заднему, от поверхности к глубине. Глаз зрителя как бы странствует наугад взад и вперед по пространству картины; он фланирует. Или, говоря словами Андре Лота, по пейзажу Сезанна «можно совершить идеальную прогулку, не пешую, а духовную». *André Lhote. «Traité du paysage», 1939 (Андре Лот. «Рассуждение о пейзаже»).*

19. На которые он также ссылается во введении.

20. Пассажи в живописи развиваются почти одновременно с «пассажами» в крупных метрополиях. Эти последние так описаны в одном из путеводителей по Парижу 1852 года, цит. по: *Walter Benjamin. «Das Passagenwerk», 1983 (Вальтер Беньямин. «Пассажи»)*: «Покрытые стеклом и выложенные мрамором пассажи, одно из новейших изобретений индустриальной роскоши, бегут между скоплениями домов, чьи владельцы согласились сообща участвовать в этом предприятии. В переходах, куда свет проникает извне, по обе стороны расположены самые элегантные магазины, и таким образом каждый пассаж образует свой маленький город, свой мир, в котором любители покупок могут найти все, что им нужно. А для тех, кого застиг внезапный дождь, пассажи служат убежищем, пусть тесным, но защищенным пространством, где они совершают вынужденную прогулку на благо торговцам».

21. Несомненно, имеется в виду само движение в пассажах, циркуляция людей, денег и товаров. В своем романе «Парижский крестьянин» Арагон так описывает это пространство, где покупают, фланируют, где происходят неожиданные встречи: «Своего рода крытые галереи, которых много в Париже вокруг Больших бульваров и которые довольно невразумительно названы *пассажами*[1], словно в этих лишенных дневного света коридорах нельзя остановиться дольше чем на минуту».

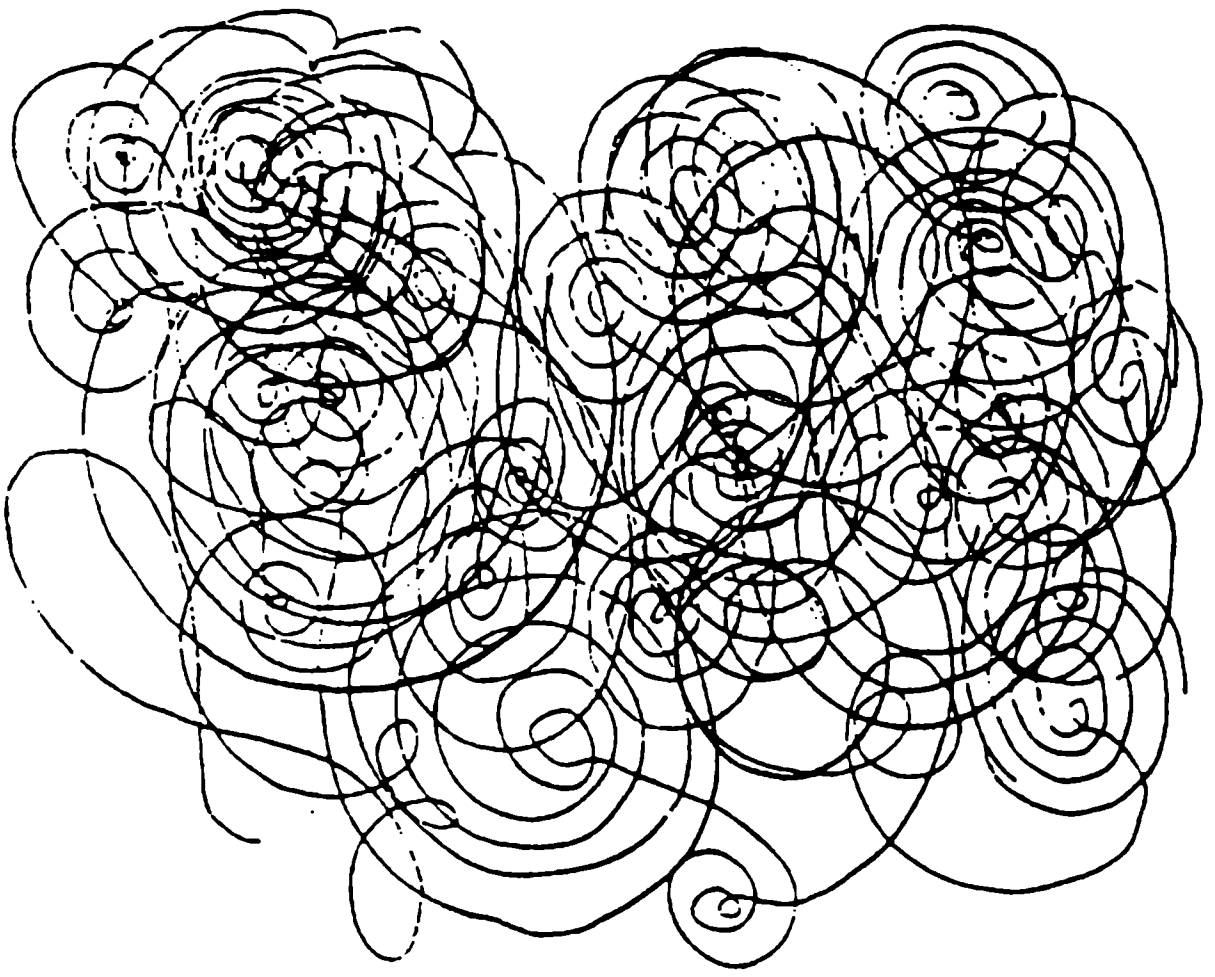
22. В обобщающей «*Книге*», которую собирался написать, но так никогда и не напи-

---

[1] Passage — переход, проход, прохождение (*франц.*).

сал Малларме, предлагались новые способы чтения. Читатель должен был отказаться от прямонаправленного, линейного чтения в пользу «нового способа чтения — одновременного». Начинать читать можно было с начала, но также и с конца. А страницы могли меняться местами, в соответствии со сложной системой, так что все время возникали новые комбинации и сочетания смыслов. Таким образом, в *«Книге»* не было ни начала, ни конца, никакого заданного устойчивого смысла, а только смысл, находящийся в непрерывном движении, как «подвижные кольца змеи». См. *Jacques Scherer. «Le «Livre» de Mallarmé», 1957 (Жак Шерер. «Книга» Малларме»).*

23. Можно подумать, странное движение по кругу: частности понимаются через целое, целое через частности. Так, самый процесс понимания, герменевтическая работа, у Хайдеггера, Гадамера и др. может быть описан как хождение по кругу, однако не по замкнутому, «circulus vitiosus», а как свободная циркуляция по все более широким окружностям в направлении все более широких горизонтов. Вот почему выражение «герменевтическая спираль» часто предпочитают выражению «герменевтический круг». Так, Адриан Марино считает, что «герменевтический процесс связан с циркулярным развитием. Он проходит различные круги, которые непрестанно выводят к ряду альтернативных связей, к отступлениям, к старым следам, обретающим новую достоверность, к доказательству «по спирали». *Adrian Marino. «L'Herméneutique de Mircea Eliade», 1981 (Адриан Марино. «Герменевтика Мирчи Элиаде»)*; см. также *Gerard Radnitzky. «Contemporary schools of metascience», 1977 (Джерард Радницки. «Современные школы метанауки»).*



24. На первый взгляд, их прогулки и шатания по Парижу бесцельны и определяются случайной прихотью. Сюрреалисты передвигаются словно бы автоматически. В 1926 году Арагон пишет: «Я жил по воле случая, в поисках случая, который оставался единственным божеством, сохранявшим свои чары». Но все-таки это не безусловная случайность, потому что сюрреалисты сознательно избегают всех достопримечательностей и живописных мест, привлекающих туристов. Они поворачиваются спиной к левому берегу и охотнее обретаются в более будничном Париже, в кварталах вокруг Оперы, где сосредоточена деловая жизнь и журналистика. Однако, по сути дела, эти кварталы — вулканическая почва, где много объектов: перекрестков, парков, статуй, вывесок, которые вызывают либо эйфорию, либо, наоборот, тягостное чувство. Андре Бретон хотел бы, чтобы была составлена карта, окрашенная особым эмоциональным отношением сюрреалистов к *месту:* приятные места на этой карте были бы помечены белым, отталкивающие — черным, а все остальные — серым. В этой географии есть удивительные магнетические узлы, такие, как Башня Сен-Жак, площадь Дофина, парк Бютт-Шомон, пассажи Оперы. Ср. *Marie-Claire Blanquart. «Paris des surréalistes», 1972 (Мари-Клер Бланкар. «Париж сюрреалистов»).*

25. *Ibid.*

26. Это утверждение исходит из ошибочного предположения, что центр всегда располагается на определенном фиксированном месте. Но у кочевых народов дело обстоит, естественно, по-другому. Элиаде приводит пример такого переносного *axis mundi,* священного столба у австралийского племени ахилпа. Куда бы это племя ни перемещалось, оно уносит столб с собой. Близость столба создает постоянное ощущение дома, через этот столб осуществляется и связь с небом. Но если столб рухнет, это равнозначно катастрофе, «концу света», возврату хаоса.

Антропологи Б. Спенсер и Ф. Дж. Джиллен наблюдали последствия такой катастрофы; представители племени, терзаемые смертельной тоской, бесцельно бродили как неприкаянные и наконец сели на землю, готовясь к смерти. *Mircea Eliade. «Le sacré et le profane», 1968 (Мирча Элиаде. «Священное и мирское»).* Ковчег Завета иудеев, вместилище Божественного присутствия, Шехины, также находился в непрерывном движении и приобрел постоянное место только после того, как по велению Соломона был построен храм.

27. Для Сальвадора Дали это пограничный город Перпиньян, являющийся, по мнению художника, центром мира, ибо здесь в XIII веке была определена величина метра, меры всех вещей. Дали также обнаружил, что железнодорожный вокзал в этом городе необъяснимым образом напоминает единственный сохранившийся рисунок Зигмунда Фрейда.

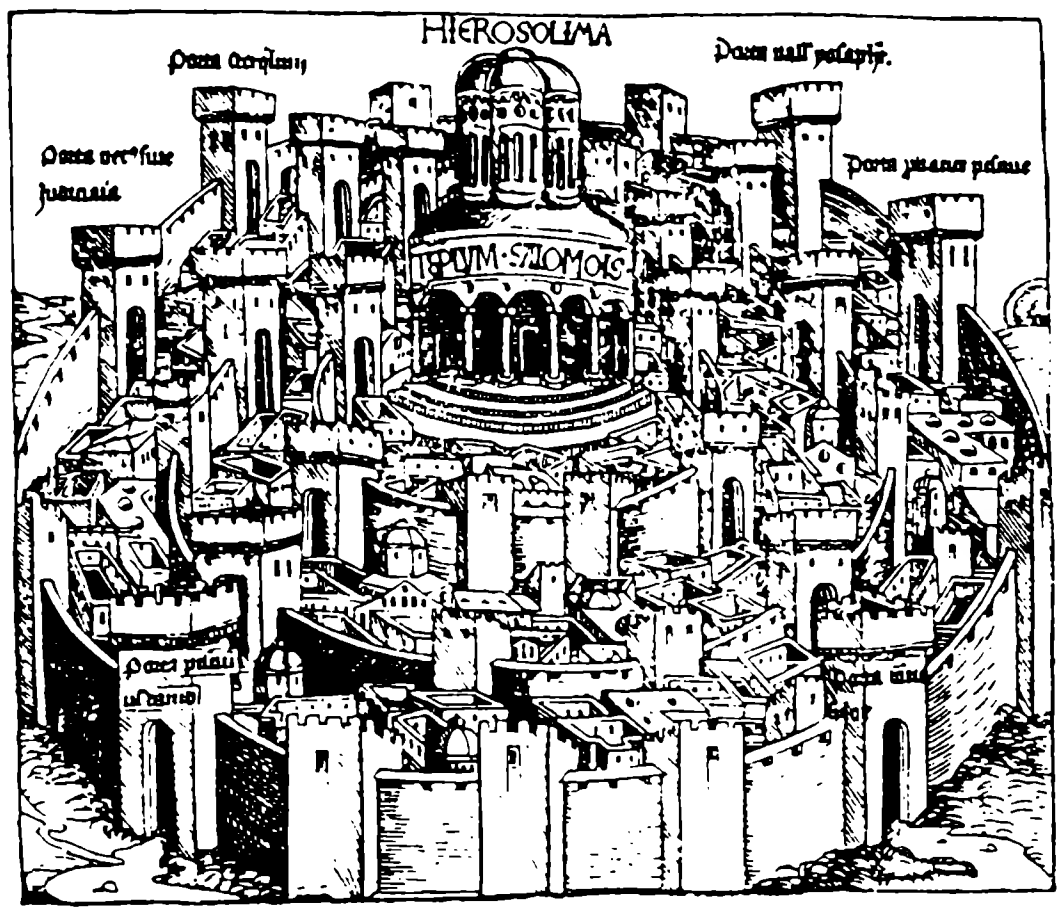
28. Вряд ли есть необходимость указывать, что центр может располагаться на периферии, представляя собой некий небольшой фрагмент. Марсель Пруст считал, что самая прекрасная на свете картина — вермеровский «Вид Делфта». Когда картина была выставлена в залах Жё де Пом в 1921 году, Пруст, несмотря на свою болезнь, захотел снова ее посмотреть. Это произошло за год до смерти писателя. Сохранилась фотография, запечатлевшая это посещение. Пруст оказался в полосе яркого солнечного света, он стоит, напряженно выпрямившись, словно участвуя в торжественной церемонии. Что видели его глаза? Пруст включил этот эпизод в свой роман «В поисках утраченного времени». В романе пожилой и больной писатель Берготт с трудом отправляется на выставку, чтобы увидеть эту картину Вермера, он тоже ее любит. Но на сей раз Берготта интересует не столько вся картина, сколько на первый взгляд незначительная деталь: небольшой фрагмент желтой стены. Сознание Берготта озаряется вдруг беспощадным восторгом. «Его голова кружилась все сильнее; словно ребенок, желающий поймать желтую бабочку, впивался он взглядом в драгоценную стену. «Вот так мне надо было писать», — думал он». Берготт вдруг ощутил, что его творчество стало слишком сухим и безжизненным, и он охотно променял бы все свои произведения на волшебную живопись этого желтого пятна.

Здесь есть перекличка с тем, как Ролан Барт в «Camera lucida» фокусирует «точку» (punctum) на фотографии, которая подчиняет его себе; эта точка обладает способностью наносить укол, пробивать дыру. Барта ведут к этой точке не системные построения, нет, эта «точка» застает его врасплох только тогда, когда он непредвзято скользит взглядом по изображению. И тогда «точкой» может оказаться нечто на первый взгляд столь незначительное, как пара башмаков на обочине группового портрета.

29. На средневековой гравюре изображен земной Иерусалим, несовершенное и бренное отражение Иерусалима небесного, созданного Богом одновременно с раем. В центре мы видим храм Соломона, окруженный несколькими рядами крепостных стен. Округлый город имеет форму спирали или лабиринта, задача которого как раз и состоит в том, чтобы охранять центр.

Ср. замечание Бернара Горсе в текстологических комментариях к манифесту розенкрейцеров XVII века: «Алхимик любит сравнивать свой труд с исполненным опасности путешествием в город, окруженный стенами». *Bernard Gorceix. «La Bible des Rose-Croix», 1970 (Бернар Горсе. «Библия розенкрейцеров»).*

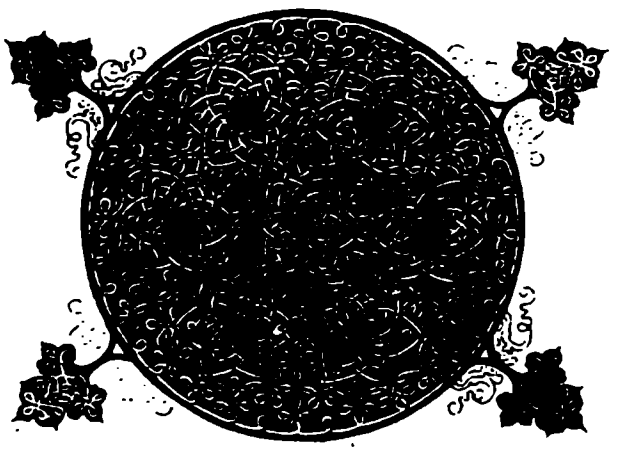
30. В Библии большие города — Вавилон, Рим и Иерусалим — часто сравниваются с женщинами. И в Старом, и в Новом Завете Иерусалим называется в женском роде, как



невеста, девушка или мать. В Откровении Иоанна, например, говорится о новом Иерусалиме: «приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». А Джанфранко Равази, *a. a.*, отметил аналогию, которую часто проводили между Иерусалимом и лоном женщины, и прежде всего беременной женщины. «Как мы видели, священное пространство — это материнское лоно, к которому относится идеальный regressus ad uterum (возвращение в материнскую утробу); там, где ты родился, ты находишь покой, безопасность, пищу, тепло, нежность; там ты живешь, как в раю». Ср. средневековые представления о матке, которая имеет форму лабиринта или спиралевидной раковины, еще присутствующие в некоторых анатомических рисунках Леонардо.

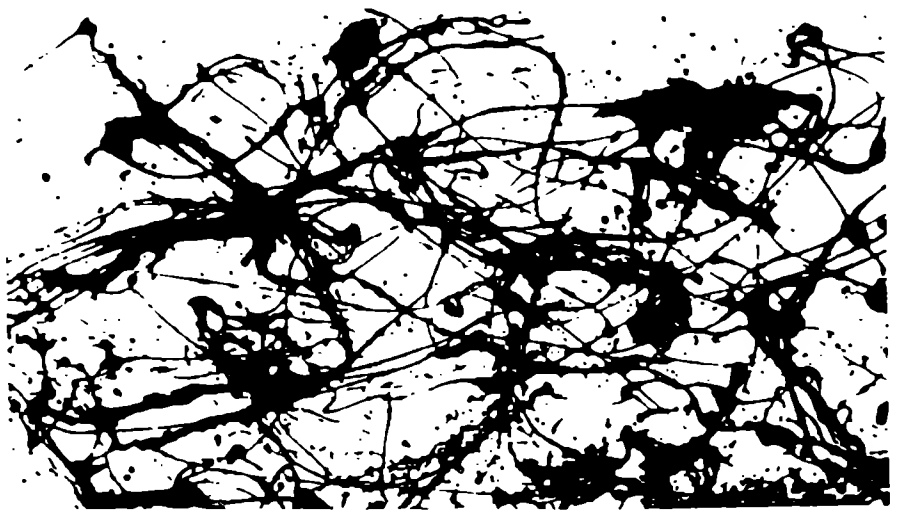
31. Улей.

32. «Узлы» без начала и конца, образующие лабиринты на рисунках Леонардо и Дюрера, можно рассматривать как карты Вселенной. Подобно более поздним рисункам, они являют собой своего рода иероглифы, на которые, быть может, повлияли знаменитые упражнения Леонардо в зрительных фантазиях: «погружение» в пятна сырости на стене или в другие фрагментарные формы. «Создается впечатление, что гравюры из Виндзорского собрания, символически представляющие мир как в его рождении, так и в его конечном катаклизме, тоже берут свое начало в подобных видениях». См. *Gustav René Hocke. «Die Welt als Labyrinth», 1957 (Густав Рене Хокке. «Мир как лабиринт»), A. K. Coomaraswamy. «The iconography of Dürer's knots» (А. К. Кумарасвами. «Иконография дюреровских узлов»)* в «*The Art Quarterly», 1944.*



Один из «узлов» Дюрера.

33. «Бесконечные лабиринты». Так определяет Паркер Тайлер большие абстрактные полотна Джексона Поллока, написанные в технике «дриппинга» около 1950 года. Следы стекающих и капающих красок образуют ритмическую, трудно обозримую каллиграфию, где один пласт накладывается на другой, и бесконечную, как космос или микрокосм. Из этой системы «множественных лабиринтов», наложенных один на другой, невозможно выбраться, и центр закамуфлирован и устранен умножением. «Обычный



лабиринт прост, в противность ему цветная нить Ариадны в созданном Поллоком мире струящихся нитей не может быть путеводной нитью, потому что у него она обычно сплетена с другими разноцветными нитями и сама частично перекрещивается с собой, так что ее невозможно распутать». Как в узлах вечности у Леонардо и Дюрера, так и в живописных полотнах Поллока нет центра. Ср. *Parker Tyler. «The infinite labyrinth» (Паркер Тайлер. «Бесконечный лабиринт»)* в *«Magazine of Art», 1950.*

34. Башляр приводит давние, древние фантазии ученых, описывает, как их удивляет сочетание жесткой, шершавой оболочки и ее содержимого, полного мягкой, влажной, органической жизни. Эти мечтатели любили проводить аналогию между раковиной и женским лоном, а более робкие среди них — между раковиной и «vagina dentata» («зубчатой вагиной»). Раковина очень часто используется как в обрядах, связанных с плодородием, так и в погребальных обрядах, она символ рождения к этой жизни или к другой. Подобные фантазии — поэтическая форма познания, Башляр описал их в *«La poétique de la rêverie», 1962 («Поэтика грез»)*: «Бывают грезы такие глубокие, грезы, которые помогают нам настолько глубоко погрузиться в нас самих, что они освобождают нас от нашей истории. Они освобождают нас от нашего имени. Это сегодняшнее одиночество возвращает нас к одиночеству изначальному. Изначальное одиночество, одиночество детства оставляет в сознании некоторых людей неизгладимые следы. И вся их жизнь становится восприимчивой к поэтическим фантазиям, к фантазиям, которым ведома цена одиночества».

Искать убежища в раковине, где можно спрятаться, уединиться, зализать свои раны, дожидаться своего времени, искать защиты — это фантазии регрессивные, во всяком случае в буквальном смысле слова. Улитка забивается в самую глубину спирали своей раковины. Подобным фантазиям предается французский писатель и керамист XVI века Бернар Палисси. В тексте, озаглавленном «Укрепленный город», он выстраивает воображаемый город, который должен обеспечить защиту от всех внешних опасностей. Образцом для такого города служит как раз раковина или, точнее, пурпурный моллюск. От торговой площади и дома губернатора, находящихся в центре города, спиралями вьются улицы, причем последняя спираль образует внешнюю стену города. См. *Gaston Bachelard. «La poétique de l'éspace», 1960 (Гастон Башляр. «Поэтика пространства»).*

35. Фантазии как трансформированная игра. Он имеет здесь в виду то место в работе Фрейда «Писатель и фантазия», где автор пишет: «Писатель проделывает то же самое, что играющий ребенок. Он создает мир фантазии, который он принимает всерьез...; прежде он *играл,* теперь он *фантазирует.* Он создает воздушный замок и предается тому, что мы называем мечтами наяву».

36. Возбудить процесс против фантазии, в противовес тому, к чему в *«Первом манифесте сюрреализма»* призывал Андре Бретон, а именно: «возбудить процесс против реализма».

37. «Потому что она испугала меня, сказав в разговоре об этой церкви, как говорила о других достопримечательностях, картинах и прочем: «Как бы мне хотелось посмотреть это вместе с тобой!» А я не в состоянии доставить ей это удовольствие. Красота радует меня, только когда я один, или представляю себе, что я один, и молчу». *Marcel Proust. «A la recherche du temps perdu. Sodome et Gomorrhe» (Марсель Пруст. «В поисках утраченного времени. Содом и Гоморра»).*

38. Как бы то ни было, Башляр все же утверждает в связи с «*Ностальгией*» Юнг-Штиллинга (*Jung-Stilling. «Heimveh»)*, что «путь во всех этих столь различных формах инициации всегда представляет собой лабиринт». И несколько позднее, говоря о теме масонства в *«Графине Рудольштадтской»,* Жорж Санд (*George Sand. «La comtesse de Rudolfstadt»*) пишет: «Всякая инициация есть испытание одиночеством. И нет большего одиночества, чем одиночество вымечтанного лабиринта». *Gaston Bachelard. «La terre et les rêveries du repos», 1948 (Гастон Башляр. «Земля и грезы об отдыхе»).* Ср. также *Mircea Eliade. «L'épreuve du labyrinthe», 1978 (Мирча Элиаде. «Испытание лабиринтом»*[1]*).*

39. Здесь имеется в виду «Мир как лабиринт и рай сердца», написанный Яном Комениусом (Коменским) в 1623 году. Ср. также изображение «Mundus» (мира) в большом иконографическом словаре Чезаре Рипы 1593 года «*Iconologia»,* основополагающем труде об аллегорических изображениях в европейском искусстве. В немецких изданиях XVIII века в словарь добавлен так называемый «fatto», факт, эпизод на заднем плане, подчеркивающий аллегорическое содержание картинки. На заднем плане «Mundus» мы видим лабиринт как символ земной жизни.

40. В Древнем Риме лабиринт был связан с основанием новых городов. После возведения стен начиналась конная игра, так называемая Троянская игра — тропы, по которым скакали всадники, образовывали схему лабиринта. Скачка по этому лабиринту носила характер магического действа, которым подтверждалась неприступность стен; они должны были стать такими же неприступными, как когда-то стены Трои, которые удалось взять только хитростью. Герман Керн прямо утверждает, что Троянской игрой «*Abwehrsfunktion* (курсив мой. — *П. Корнель*) *dieser Mauern auf magische Weise verstärkt werden»*[2]. Вот почему в римских мозаичных лабиринтах на побережье Средиземного моря и далее в глубь Европы можно найти изображения укрепленного города. См. *Hermann Kern. «Labyrinthe», 1982 (Герман Керн. «Лабиринт»).*

41. Иерусалим был одним из наиболее укрепленных городов средневекового мира. У его стен крестоносцы потеряли надежду когда-нибудь взять город. И тогда, рассказывают, к ним явился покойный епископ Адемар, предложивший им три дня поститься и босиком ходить процессией вокруг стен Иерусалима; если, мол, они проделают это с молитвой и покаянным сердцем, не пройдет и девяти дней, как они возьмут город. 8 июля 1099 года в путь вокруг стен Иерусалима отправилась торжественная процессия епископов, священников, конных, пеших и пилигримов, все босые. Меньше чем через неделю

---

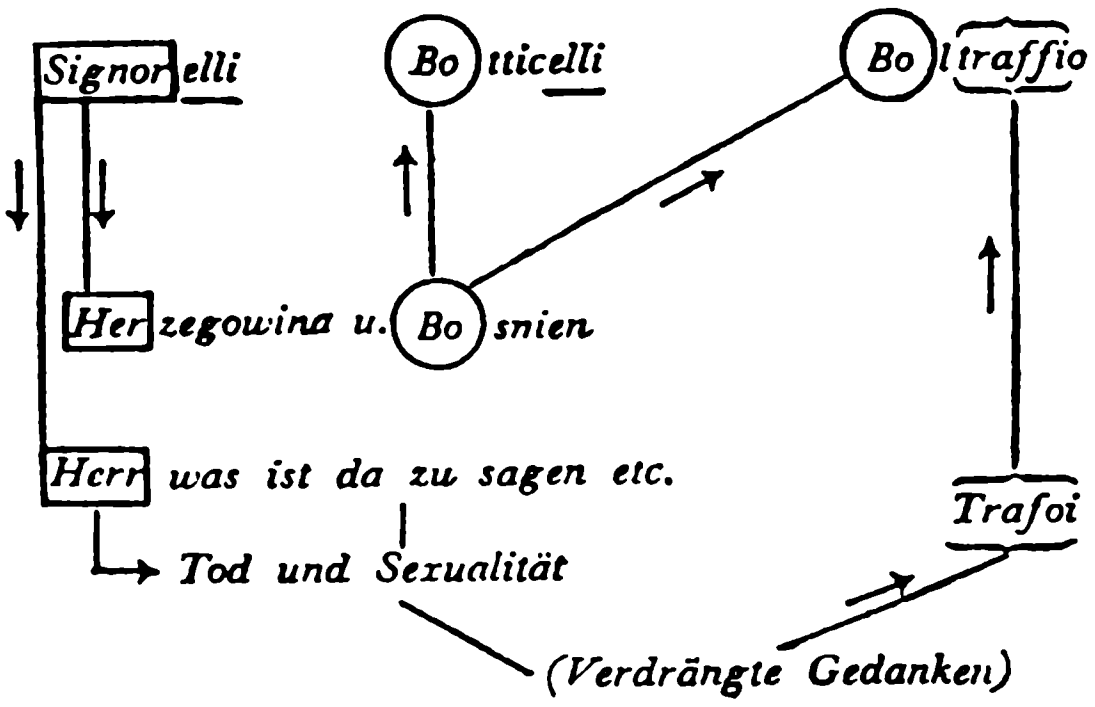
[1] Фрагменты см. в «ИЛ», 1999, № 4.

[2] Защитная функция этих стен должна была быть магическим образом усилена *(нем.)*.

город пал под натиском крестоносцев. *Paul Alfandéry. «La Chrétienté et l'idée de croisade», 1954 (Поль Альфандери. «Христианство и идея крестовых походов»)*; *Stephen Runciman. «A history of the Crusades», 1951—1954 (Стивен Рансимен. «История крестовых походов»)*.

42. Забывчивость имеет здесь охранительную функцию, играет роль защитного маневра, *Abwehr*. Защитные механизмы забвения часто принимают структуру лабиринта. В «Психопатологии обыденной жизни» Зигмунд Фрейд реконструирует внезапный провал в памяти. Он рассказывает, как однажды не смог вспомнить имя мастера, который в Орвьето написал великолепные фрески на тему Страшного суда: имя художника непонятным образом совершенно выпало из памяти Фрейда. «Когда я пытался вспомнить его имя — Синьорелли, память навязчиво подсказывала мне имена двух других художников — Боттичелли и Больтрафио, но я все время чувствовал, что это ошибка. Как только мне назвали правильное имя, я тотчас его вспомнил». Этот непонятный провал в памяти произошел с Фрейдом во время его поездки из Рагузы в Далмации в какой-то городок в Герцеговине. Фрейд разговорился с попутчиком и к слову спросил, был ли тот когда-нибудь в Орвьето и видел ли знаменитые фрески. А как раз перед этим они говорили о турецких нравах в Боснии и Герцеговине, и в связи с этим разговором была произнесена фраза: «Что ж, господин, значит, ничего не поделаешь». (Так стоически, по мнению одного врача, коллеги Фрейда, турки реагировали на самые неприятные медицинские предписания.) Упомянуто было также название местности Трафой (именно там Фрейд однажды узнал, что один из его пациентов покончил с собой из-за того, что сексуальное расстройство, которым тот страдал, оказалось неизлечимым).

Все эти слова вызвали у Фрейда неприятные ассоциации со смертью и сексуальностью, и он попытался избавиться от неприятного чувства, сменив тему разговора; именно поэтому он неожиданно задал вопрос о фресках в Орвьето. Реконструируя разговор, Фрейд отмечает: «Таким образом, я хотел что-то забыть. Само собой, я хотел забыть не имя художника из Орвьето, а нечто другое». И он выявляет все звенья, весь сложный механизм забвения и вытеснения в диаграмме, которая напоминает запутанную систему укреплений лабиринта:



43. Можно ли представить индийскую поездку Элен Смит как *Abwehrspsychose*, защитный психоз? Этим термином Теодор Флурнуа отсылает к ранней работе Фрейда и Брейера об истерии, когда в собственной книге *«Des Indes à la planète Mars», 1899 («Из Индии на планету Марс»)* ищет возможные объяснения запутанным визионерским рассказам Элен Смит о ее жизни в Индии XV века; «*Abwehr*, — пишет Флурнуа, — принимает у нее форму сомнамбулического романа». Ее удивительное сочинительство, стало быть, может иметь защитную, уводящую функцию, призванную должным образом оградить ее от вытесненных вулканических импульсов. Не была ли она, как позднее предположил Андре Бретон, просто-напросто страстно влюблена в Флурнуа, который проводил эксперименты во время многократных сеансов в Женеве? Впрочем, в библиотеке, которую оставил Фрейд, есть упомянутая книга Флурнуа, коллеги Фрейда по раннему детству психоанализа.

44. Откровенно нелепые утверждения, будто он в качестве курьера содействовал передаче секрета атомной бомбы, будто он участвовал в гражданской войне в Испании и пр. Врачи Гуннар Инге и Густав Юнсон в своем заключении от октября 1952 года отмечали, что «в картине симптомов Энбума, каким бы термином психиатрии их ни обозначать, важным компонентом, несомненно, является склонность к фантазерству». Об Энбуме как о фантазере см. в особенности *Arne Trankell. «Chef för grupp Norr. En dagdrömmares fantasier i skuggan av det kalla kriget», 1974 (Арне Транкель. «Шеф Северной группы. Фантазии мечтателя в тени холодной войны»).*

45. Были и другие причины для несогласий.

46. Благочестивым христианам, которые не могли предпринять утомительное, опасное и требующее больших расходов паломничество в Иерусалим, предлагалась альтернатива в больших соборах северной Франции — путешествие в миниатюре и в символической форме. В церквах Амьена, Арраса, Шартра, Пуатье, Реймса, Сен-Кантена и других городов часть нефа занимает лабиринт, выложенный инкрустацией из темно-синего и белого мрамора. В Шартре его диаметр не больше 13 метров, а длина пешеходной тропы около 260 метров. Окольными путями здесь можно добраться до Иерусалима в центре лабиринта. Чтобы восполнить отсутствие подлинного Иерусалима, кающийся должен был с чтением молитв и под пение псалмов на коленях проползти по дорожкам и проходам лабиринта до самой «середины мира». Вот почему церковные лабиринты часто назывались «Le chemin de Jérusalem», т. е. «Путь в Иерусалим». *Edmon Soyez* в своем исследовании «*Les labyrinthes d'églises», 1896 (Эдмон Суайе. «Церковные лабиринты»)* приводит также название «Дом Дедала» (в Шартре раньше была медная пластинка с изображением в середине лабиринта Тесея и Минотавра), а *Fulcanelli* в *«Le mystère des cathédrales», 1925 (Фульканелли. «Тайна соборов»)* упоминает еще обозначение «Лабиринт Соломона». См. также *Paolo Santarcangeli. «Il libro dei labirinti», 1967 (Паоло Сантаркандженли. «Книга лабиринтов»)*, а также *Герман Керн, а.а.*

47. «Он, очевидно, был поражен соответствиями между языческими и христианскими символами, касающимися религиозных представлений», — пишет Марсель Пруст о Джоне Рёскине в предисловии к своему переводу «Амьенской Библии» Рёскина (*John Ruskin. «La Bible d'Amiens»).* В примечании к этому наблюдению Пруст как раз ссылается на слова Рёскина о строителях соборов как о наследниках Дедала, «первого скульптора, который создал потрясающее изображение человеческой жизни» (т. е. лабиринт).

48. Явный анахронизм. В средние века выражение «крестовый поход» никогда не употреблялось; говорили о «пути в Иерусалим», о «переходе» или «паломничестве». Ср. *Régine Pernoud. «Les croisades», 1960 (Режин Перну. «Крестовые походы»).*

49. На средневековых картах Святую землю и Иерусалим мы находим в самом верху. Дело в том, что тогда считалось, что Восток как страна света расположен там, где теперь мы помещаем Север. Таким образом, средневековые крестоносцы полагали, что двигаются «вверх» к Иерусалиму. См. *Ларс-Ивар Рингбум, а.а.*

50. Имеется в виду покаяние, добровольное или вынужденное. Папы давали крестоносцам письменное отпущение грехов. От грехов и преступлений нередко освобождались участники паломничеств, например граф Тьерри, убивший архиепископа, или Ген-

рих II после убийства Томаса Беккета. Другим преступникам могло быть предписано идти в цепях и железах к Святому Иакову Компостельскому. Тут можно вспомнить один из самых странных и недооцененных рассказов К. И. Л. Альмквиста в его *«Книге Шиповника» (C. J. L. Almqvist. «Törnrosens bok»)*; рассказ называется *«Барон Юлиус К.»*. Несчастный барон совершил ранее паломничество в Палестину и теперь говорит своим изумленным попутчикам, что отныне путешествует с единственной целью — «заболеть». После смерти барона фрёкен Элеонора находит в его библиотеке записную книжку в черном переплете, озаглавленную «Мое паломничество»: «Я нашла в ней рассказы не только о Святой земле, но и о событиях в Швеции — земле людей, бедных, грешных людей».

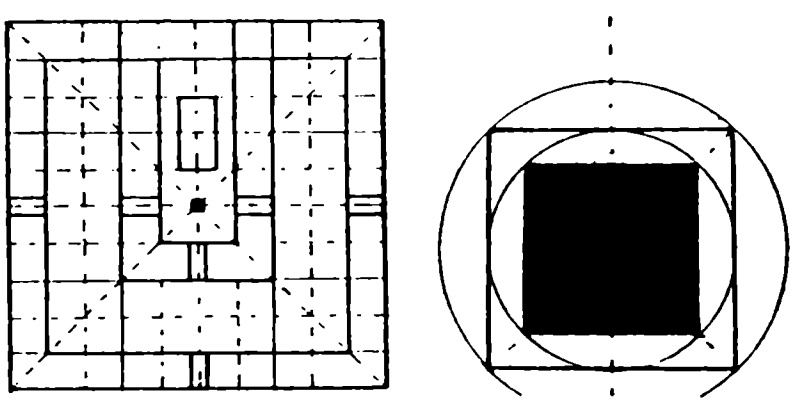
51. *Ibid.*

52. Здесь, к сожалению, даже не упомянут крестовый поход детей 1212 года — будем думать, это потому, что очень трудно провести грань между подлинным событием и его позднейшей мифологизацией. По-видимому, крестовый поход детей начался с того, что двенадцатилетний пастушонок по имени Этьен начал проповедовать возле церкви Сен-Дени в Париже. Этьен утверждал, что Христос явился к нему в видении и призвал его проповедовать новый крестовый поход. Судя по всему, Этьен обладал незаурядным ораторским талантом, и, когда он стал уверять, что Средиземное море расступится перед детьми, как некогда Красное море перед Моисеем, ему поверили.

Через несколько месяцев возле Вандома собралось 30 тысяч детей, и, видимо, среди них не было ни одного старше двенадцати лет. Терпя голод и всевозможные лишения, они двинулись через всю Францию на юг, к Марселю. Добравшись до города, они поспешили к пристани, чтобы увидеть, как перед ними расступится море. Этого не произошло, но, несмотря на свое разочарование, большинство остались ждать, и несколько дней спустя им предложили бесплатно переправить их в Палестину. В распоряжение детей предоставили семь кораблей.

После этого в течение восемнадцати лет о детях ничего не было слышно, пока наконец вернувшийся незадолго перед тем с Востока священник не сообщил, что два корабля с детьми потерпели крушение возле Сардинии; пять оставшихся кораблей захватили арабские пираты. Детей повезли в Северную Африку и там продали в рабство, некоторые даже стали товаром на невольничьем рынке в Багдаде. В этом городе восемнадцать детей погибли мученической смертью, отказавшись принять ислам. Маленькая группа, которой повезло, добралась до Каира — там дети служили толмачами, переводчиками и секретарями у правителя Египта. См. *Стивен Рансимен, а.а.*, а также *Поль Альфандери, а.а.*

53. Имеется в виду гора Мориа, где Авраам должен был принести в жертву Исаака. На этой горе со священной вершиной ас-Сахра был возведен храм Соломона. Заново он был построен Иродом, а потом на этом месте была сооружена мечеть. Строителем Соломонова храма называют обычно некоего Хирама — не путать с его тезкой, царем Тира. Иногда упоминают также другое имя — Адонирам. Размеры храма описаны сложно и подробно в Третьей книге Царств, 6 и во Второй книге Паралипоменон, 3—4. Площадь Святого святых была квадратной, 20 х 20 локтей, а так как высота потолка также равнялась 20 локтям, помещение представляло собой куб. Те же размеры Святого святых мы находим в видении, в котором храм предстал Иезекиилю (Иез. 40—43). Квадратным был и жертвенник во дворе перед восточными воротами храма. Жертвенник у Иезекииля имеет площадь 12 х 12 локтей, в храме Соломона 20 х 20, а в варианте Ирода 28 х 28 локтей.



Жертвенник по Иезекиилю (слева, в центре), он же в подробностях (справа). Из *Odilo Wolff. «Der Tempel von Jerusalem. Eine kunsthistorische Studie über seine Masse und Proportionen»*, 1913 (Одило Вольф. «Иерусалимский храм. Искусствоведческое исследование его массы и пропорций»).

Жертвенник венчает священную гору. Одило Вольф представил несколько схем устройства храма, на которых видны центральное расположение жертвенника и его геометрия.

54. Написано неразборчивым почерком, как черновик, и к тому же не закончено.

55. Расчеты Малларме для его «*Книги*»: 20 томов по 384 стр.; 384 : 4 = 96. 96 : 4 = 24 = числу участников каждого чтения, «сеанса». Группа из 24 человек делится на 3 = 8 человек в группе. Каждое место стоит 500 фр. 8 х 500 = 4000 фр. х 3 = 12 000 фр. Кратные числа от количества страниц 384 дают, по-видимому, повторяющуюся переменную: 384: 4 = 96; 384 + 96 = 480. 20 томов «*Книги*» должны были быть изданы в количестве 24 000 экземпляров = 480 000 экз. = 480 000 фр. И т. д.

Скрупулезные и запутанные подсчеты в «*Книге*» напоминают сложные указания о размерах, которые приводятся в видении Иезекииля о храме с его жертвенником и Святым святых. В «*Книге*» те же притязания на окончательное совершенство, которое *J. P. Richard* в своем исследовании «*L'univers imaginaire de Mallarmé*», *1961 (Жан Ришар. «Воображаемая Вселенная Малларме»)* переводит в геометрическую архитектуру: «В своей замкнутости «*Книга*» может свестись к *кубическому* совершенству: высота, длина и ширина могут оказаться равными и образовать фигуру, которая являет собой их точное формальное соответствие». Эта замкнутая законченность побуждает Ришара, пользуясь метафорой самого Малларме, сравнивать «*Книгу*» с надгробным камнем, замкнутым и имеющим выход в вечность. Но свободные, летучие страницы образуют динамичную противодействующую силу, которая, благодаря возможности бесчисленных комбинаций, взрывает камень. В одном из своих набросков к «*Книге*» Малларме пишет:

> чистота свет электр —
> — несмотря на
> отпечаток незыблемости, объем через эту игру становится подвижным — из смерти возникает жизнь.
>
> (Лист 191)

56. *Шерер, а. а.,* предлагает здесь параллелепипед.

57. *Ibid.*

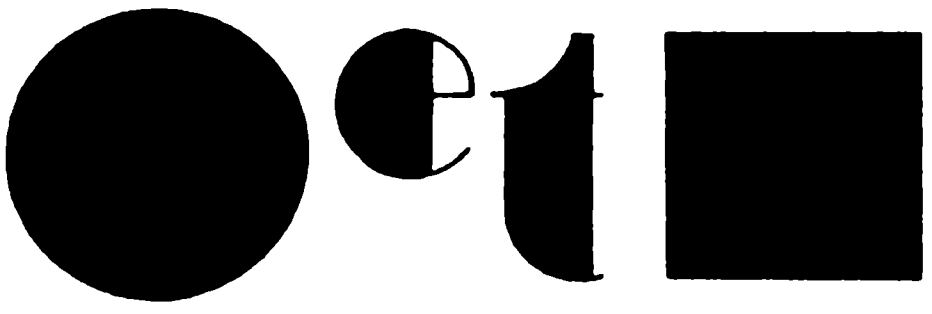
58. Квадрат и куб. На фотографиях Школы искусств «Уновис» в Витебске, где преподавал Малевич, мы видим, что его ученики нашивали на свои блузы черные квадраты, как эмблему нового времени. За несколько лет до этого Малевич написал «Черный квадрат» — ворота в супрематизм. Он называл его также «нагая икона нашего времени... царский сын». В то же время Малевич в туманных и непонятных выражениях раз за разом восхваляет родственника квадрата в трех измерениях — куб. Куб, говорит он, «это геометрический рай, символ новой вечности».

Могила Малевича, фото Суэтина, 1935.

Может быть, «Черный квадрат» следует воспринимать как след куба, упавшего гранью на плоскость. В фантастических рассуждениях того времени о еще невидимом четвертом измерении часто приводятся изображения падающих кубов, которые оставляют разнообразные следы в двух измерениях. Через эту встречу двух размерностей пытались наглядно изобразить аналогичную, хотя и трудно представимую встречу между третьим и четвертым измерением. В маленьком классическом произведении «*Flatland. A romance in many dimensions*» 1882 года *(«Плоская страна. Роман во многих измерениях»)* квадратный повествователь книги по имени A. Square (Э. Квадрат) попадает в тюрьму из-за своих еретических рассуждений о высшем измерении, которое существует над его собственной Плоской страной. В предисловии к книге, беседуя с существующим в трех измерениях издателем книги Эдвином Эбботом, учителем гимназии, англичанином, увлекающимся вопросами теологии, он подводит итог своей судьбы. Что произошло бы в собственной Объемной стране (Spaceland) Эбботта, если бы там кто-нибудь начал разглагольствовать о четвертом измерении? «Разве ты не отправил бы его за решетку? Отправил бы, и такова же моя судьба, потому что для нас, жителей Плоской страны, так же естественно отправить за решетку Квадрат, который предрекает третье измерение, как для вас, жителей страны Объемной, отправить за решетку Куб, который предрекает четвертое измерение». Так же как двумерные существа, обитающие на плоскости, мы не в состоянии представить, что феномен нашего хаотичного существования, да и сама смерть, может быть, всего лишь след более высокого и совершенного измерения. На первой выставке супрематизма в 1915 году, где Малевич выставил «Черный квадрат», можно было встретить много названий, в которые входило понятие «четвертого измерения».

Последним, посмертным произведением Малевича был его собственный надгробный камень. Он находится под Москвой, в маленьком поселке Немчиновка, и представляет собой куб, на котором нарисован черный квадрат. Ученик Малевича, Суэтин, сфотографировал надгробие сразу после смерти мастера в 1935 году, и эта фотография словно бы намекает на главную тему Малевича — отношение между низшим и высшим измерением. Суэтин сфотографировал надгробие, стоя прямо перед ним, так что оно выглядит как краеугольный камень супрематизма, «Черный квадрат», и хранит память о нем. И в то же время мы знаем, отойди Суэтин хотя бы на шаг в сторону, и мы увидели бы за углом более высокое измерение, геометрический рай. См. *Donald Karshan. «Behind the square: Malevich and the cube»* в *«Kasimir Malewitsch zum 100. Geburtstag, gal. Gmurzynska», 1978 (Доналд Каршен. «За квадратом: Малевич и куб». В книге «К столетию со дня рождения Казимира Малевича, гал. Гмурзинска»),* а также *Robert C. Williams. «Artists in revolution», 1977 (Роберт К. Уильямс. «Художники в революции»).*

59. Ср. основанную в 1930 году французским критиком Мишелем Сефором группу художников, представителей неопластицизма, «Круг и квадрат»; выдающимися членами этой группы были Мондриан, Вантонгерлоо и Торрес-Гарсиа. Соблюдая строжайшую геометрию, они стремились к безупречной чистоте и священному совершенству. Многие из них были сторонниками здоровой и воздержанной жизни, вегетарианцами и убежденными трезвенниками. Гуннар Экелёф встречал подобных конкретистов в Париже и называл их «инженерами-траппистами». Отто Г. Карлсунд также с изумлением рассказывает о своем впечатлении от посещения мастерской Мондриана: «Я помню, там не было ни пылинки, все сверкало чистотой. Стены были поделены на поля так же, как его картины».



60. Квадрат и куб. Здесь подразумевается видение нового Иерусалима в Откровении Иоанна (21, 16-17): «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий. Длина, и широта,

и высота его равны». Новый Иерусалим, кубический, минеральный и кристаллический, мыслится как конечная точка цикла. Начало, земной рай, наоборот, представляет собой сферу, растительную и органическую. И путь от круга к квадрату толкуется здесь как образ квадратуры круга.

61. В *«Путешествии на Восток» Жерара де Нерваля (Gérard de Nerval. «Voyage en Orient»),* написанном в 1851 году, путевые заметки рассказчика постоянно смешиваются с плодами романтического чтения. Непосредственные наблюдения и впечатления прерываются длинными фантастическими рассказами, вложенными писателем в уста различных персонажей, которых «я» рассказчика встречает во время своего путешествия. Один из таких персонажей, встреченный в каком-то из больших константинопольских кафе, на ста страницах повествует о царе Соломоне и Адонираме (или Хираме), неутомимом, гениальном мизантропе, построившем храм. Строительство храма, одного из семи чудес света, описано как колоссальное, сказочное предприятие, для осуществления которого в распоряжение Адонирама было предоставлено более ста тысяч ремесленников.

Но три предателя-подмастерья убивают Адонирама, потому что он отказывается открыть им тайну своего пароля. (Ремесленники были поделены на группы, и у каждой группы был свой пароль: у учеников — «Тувал-Каин», у подмастерьев — «Шибболет», а у мастеров — «Гиблим»). Потом убийцы хоронят тело Адонирама и отмечают место захоронения веткой акации. Через некоторое время могилу находят девять мастеров. Они выкапывают труп покойного и над его полусгнившим телом выкрикивают: «Махбенах!» (мясо отделяется от костей), и это слово становится новым паролем мастеров.

История о храме и убийстве Адонирама — краеугольный камень в масонской мифологии и ритуалах посвящения; в нервалевском «Путешествии на Восток» она свидетельствует о неугасающем интересе Нерваля ко всему романтическому, эзотерическому и фантастическому, что накручивается вокруг изначальной легенды.

62. Потерянное, забытое слово. Первородное, никем не услышанное слово Хирам унес с собой в могилу. «Махбенах» служил его временной заменой. Слово было изначально утрачено, но такой знаток, как Жан-Пьер Байар, считает, что именно поиски этого отсутствующего, «потерянного Слова» и есть живое ядро масонства. *Jean-Pierre Bayard. «La franc-maçonnerie», 1986 (Жан-Пьер Байар. «Франкмасонство»).*

63. Здесь мне трудно согласиться с рассуждением автора. Мягко выражаясь, довольно рискованно использовать «роман» Нерваля как научный источник по вопросам религии.

64. Нерваль отмечает соблазнительное сходство между обрядами друзов и масонов и считает, что это связано с общим происхождением от рыцарей храма — тамплиеров. Таким образом, христианские воззрения друзов — это память об эпохе тамплиеров на Среднем Востоке. Рассказчик в «Путешествии на Восток» ни минуты не сомневается в этой дерзкой генеалогии. «Друзские аккалы — это масоны Востока. Как тебе известно, здешнее масонство унаследовало доктрины тамплиеров». И поскольку рассказчик сам масон, ему удается избежать участи чужеземцев, для которых жизнь аборигенов остается закрытой, — его соглашается принять друзский шейх. «Я сообщил о своих званиях, по счастью, среди моих бумаг оказались прекрасные масонские дипломы, полные каббалистических знаков, известных жителям Востока. Когда шейх снова стал спрашивать, где

мой черный камень (знак, по которому узнают друг друга друзы), я объяснил ему, что французские тамплиеры были сожжены на костре и потому не могли оставить своих камней масонам, которые должны были стать их духовными наследниками. Ему пришлось поверить, что, вероятно, этим камнем и был тот самый «Бафомет», о котором шла речь во время процесса тамплиеров».

65. «Махбенах». Легенда рассказывает, что это слово выкрикивали ночью того дня, когда глава тамплиеров Жак де Моле был сожжен на площади Дофина в Париже. Семь сторонников Моле взяли по горсти пепла и бросили его в сторону королевского дворца, произнося «Махбенах!»

66. В то же время прибытие туда, куда ты стремился, парадоксальным образом может ощущаться как потеря. Нерваль пишет своему другу Готье, что для того, кто не бывал на Востоке, лотос по-прежнему остается лотосом, а для него после поездки он стал неким сортом лука.

67. Источники единогласно свидетельствуют о жестокости крестоносцев. Крестовый поход очень часто начинался с еврейских погромов на родине крестоносцев, например в городах Майнце, Вормсе или Кёльне: синагоги там были сожжены, многие тысячи евреев убиты. О беспощадном поведении крестоносцев при взятии Иерусалима в середине июня 1099 года очевидец рассказывает: «В час, который Спаситель наш Иисус Христос избрал, дабы ради грехов наших претерпеть крестную муку, наши рыцари, что стояли на посту возле укреплений, и среди них герцог Ле Годфруа, а также граф Эсташ и его брат, доблестно сражались с врагами. И в это же время один из наших рыцарей, по имени Лието, пошел на приступ городской стены. Защитники стены тотчас бросились бежать в город, наши преследовали, рубили и убивали их даже у самого храма Соломона, устроив там такую резню, что шагали в крови по самую щиколотку». Без всякой жалости были убиты даже те, кому франк Танкред предоставил убежище на крыше Соломонова храма (тогда мечети Аль-Акса). Затем начался повальный грабеж. Очевидец свидетельствует, что «почти весь город был завален телами убитых. Оставшиеся в живых мусульмане принуждены были вытаскивать своих мертвых за городские ворота и складывать их грудами, которые поднимались над крышами домов. Никто никогда раньше не слышал о такой бойне язычников и не был ее свидетелем. Костры горели длинными рядами, и одному лишь Господу ведомо, сколько их было». Резня в Иерусалиме потрясла мир. Город был очищен от мусульманского и еврейского населения. Многие местные арабы до этого готовы были видеть во франках силу, на которую можно опереться в регионе, но теперь все надежды на сосуществование рухнули. Это событие на долгие годы стало препятствием для христианско-мусульманского сотрудничества. См. *Friedrich Heer. «Kreuzzüge», 1969 (Фридрих Хеер. «Крестовые походы»).* См. также *Поль Альфандери, а. а., Режин Перну, а. а., Стивен Рансимен, а. а.*

68. Вторжение, которое носит характер изнасилования: священный город как женское начало, невеста или девушка.

69. «Собственно говоря, центр Пассейика — вовсе никакой не центр, это типичный обрыв или самый обыкновенный вакуум». Американский скульптор Роберт Смитсон каждый раз выискивал новые места, которые вызывали у него особенный ужас и которые он называл *sites (места)*. Речь тут шла не о пристрастии к прекрасным пейзажам или роскошным видам (то, что Андре Лот обычно отвергал как «esthètique sportive» — спортивную эстетику), но о заброшенных, пустынных, забытых местах, вроде Большого Солёного озера в Юте, «Американского Мертвого моря», о старых промышленных районах, каменоломнях, пустынях или о мрачном предместье в Нью-Джерси — Пассейике. Ставший теперь классическим материал о посещении этой захолустной дыры опубликован в 1967 году в журнале *«Артфорум»* под заголовком «Обход памятников Пассейика, в Нью-Джерси». С этнографической точностью, опираясь на фотографии, которые он сделал своим «кодаком», Смитсон подробно перечисляет недооцененные памятники этого города: старый мост, отслужившую свое землечерпалку с большими водоотводящими трубами, автостоянку. В конце концов он в раздумье останавливается перед ящиком с песком — «моделью пустыни». Весь текст пронизан особым напряжением, оттого

что Пассейик — это место, где прошло детство Смитсона, хотя об этом нигде не говорится. Совершая странствие в страну детства, художник находит мрачное, метафизическое место, которое в своей бесконечной унылости являет собой образ вечности, эоновой энтропии, олицетворяющий парадоксальный рай Смитсона. «Не заменил ли собой Пассейик Рим, как Вечный Город?» После смерти Смитсона в 1973 году — он погиб в авиакатастрофе, когда фотографировал с воздуха один из своих «земных» проектов, — многие почитатели художника совершали по его следам паломничество к его *sites,* все более мифологизирующимся.

70. «Лекции Аттербума», известные по сохранившейся в Королевской библиотеке рукописи, не слишком много времени уделяют своей основной теме — обзору истории крестовых походов. Пальмблад, хорошо знавший милую привычку друга, как правило, говорить совсем не о том, о чем он собирался говорить, поделился своими опасениями с Хаммаршёльдом еще 21 марта 1822 года. «Он собирается читать о крестовых походах, — пишет Пальмблад, — а рассуждает о теориях государственного устройства». *Carl Santesson. «Atterbomstudier», 1932 (Карл Сантессон. «Аттербумовские исследования»).*

Р.Смитсон. «Спираль Дамба».

71. Лишь немногие видели смитсоновскую *«Спираль Дамбу»*, так сказать, на месте, на труднодоступном Большом Солёном озере в штате Юта. Когда Смитсон увидел озеро с воздуха, он нашел, что извилистой формой оно напоминает одно из гигантских полотен Джексона Поллока, написанных в технике «дриппинга». В настоящее время могучая каменная плотина, или волнолом, почти не видна, потому что уровень воды поднялся, и она смутно просматривается под ней, словно подводная стена. Зато это произведение нам знакомо по фотографиям и документальному материалу, приложенному к эссе, которое написано самим Смитсоном, и по фильму, съемку которого он организовал в процессе работы над *«Спиралью Дамбой»*. Можно сказать, что этот материал образует то, что, если пользоваться терминологией самого художника, называется *nonsite*: имеющуюся документацию об отсутствующем *site,* иначе говоря, своего рода знак или символ изначального места. Те, кому довелось увидеть *«Спираль Дамбу»*, возможно, были разочарованы, потому что конструкция спирали из-за ее гигантских размеров видна только с воздуха. На месте это произведение представляет собой не столько объект чистого созерцания, сколько прежде всего нечто такое, через что можно пробраться, что в буквальном смысле слова можно пройти насквозь и что можно обойти, если идти по верху спирали длиной около 500 метров, направляясь к центру. «Смитсона безумно радовало, что зритель, дойдя до конца *«Спирали Дамбы»*, ничего там не находит», — говорит *John Coplans* в *«Robert Smithson, the Amarillo ramp»,* в книге *«Robert Smithson. Sculpture», ed. Robert Hobbs, 1981 (Джон Копленс. «Роберт Смитсон, пандус Амарилло»,* в книге *«Роберт Смитсон. Скульптура», ред. Р. Хобс).*

72. «Вместо того чтобы оплакивать отсутствие центра, разве нельзя согласиться с тем, что знак не соотносится с центром? К чему смиренно грустить о центре? Разве центр, это отсутствие игры и разнообразия, не есть другое название смерти?» И с другой стороны: «...разве жажда центра как функции игры не есть нечто такое, что не поддается разрушению? И при повторении или возвращении игры разве может призрак центра перестать взывать к нам?» Вопросы, заданные Жаком Деррида в *«Эллипсе», «Письмо и различие» (Jaques Derrida. «Ellipse», «L'écriture et la différence»,* 1967).

73. Слово, неразборчиво написанное от руки.

74. Хартман иллюстрирует свое рассуждение двумя буквенными лабиринтами, соответственно Йоста Аммана и Иоганна Каспара Хильтеншпергера. Последний построен на нескольких словах, взятых из апокрифической книги Иисуса сына Сирахова «Вся премудрость у Господа Бога...». Рисунок логоцентричен; каждое предложение устремлено вовне и может быть приведено назад к слову в центре. Именно там находится исток, истина и путеводная нить — строгий отец, возбраняющий отклонения, фланирование ради удовольствия и импровизированные вышивания. Первый рисунок, принадлежащий Йосту Амману, наоборот, лишен подобного центра. Здесь свободно и органично из «conte

originaire» (изначальной сказки) вырастает ряд «contes fantastiques» (фантастических сказок), и первоначальная сказка-источник зарастает так, что, пожалуй, ее невозможно найти. Во все стороны разбегаются новые значения, открываются неожиданные пути, как бы предлагаемые тому, кто странствует, не имея точного маршрута. «Слово пускают в

плавание по морю, это блудный сын, не имеющий надежды на возвращение». *Geoffrey Hartman. «Saving the text», 1981 (Джефри Хартман. «Спасение текста».).*

Разница между исходным текстом и его толкованием соответствует разнице между раввином и поэтом, говорит Жак Деррида в работе, посвященной поэту Эдмону Жабесу. А Ален Меджилл развивает это суждение в своей книге «Пророки крайности» (*Alan Megill. «Prophets of extremity», 1985).* «Толкование раввинов — это толкование ученых-талмудистов, которые проводят четкое различие между Писанием и Мидраши, — первое имеет для них несомненный приоритет, а второе они рассматривают как второстепенную переработку и расширение Священного писания. «Поэтическое» толкование такого типа, какое использует Жабес, — это нечто совсем иное. Здесь затушевывается, если не отбрасывается совсем, разница между «исходным текстом» и «текстом экзегетическим», так что само толкование начинает служить «исходным текстом». «...(Толкование) становится самоцелью, оно не ищет оправданий в попытке найти скрытый смысл в «исходном тексте».

75. В путевых заметках.

76. «Итерология» — термин, придуманный Мишелем Бютором для науки, которую он отчасти в порядке шутки создал или хотя бы эскизно очертил. Итерология изучает связь путешествия и путешественников с письмом, чтением и литературными жанрами. Читать и писать, как и путешествовать, означает с помощью ручки, глаза или фантазии совершать своего рода бегство — бегство между словами, в другие времена, в другие места. Во время путешествия люди очень часто читают, а может быть, и пишут, и сама форма путешествия может окрасить текст, и наоборот. Бютор противопоставляет друг другу два классических паломничества: с одной стороны, шатобриановский *«Путь из Парижа в Иерусалим»* 1811 года *(Chateaubriand. «Itinéraire de Paris à Jérusalem», 1811),* с другой — *«Путешествие на Восток»* Нерваля 1851 года. Эти две книги дают пример двух различных форм путешествия и письма. Шатобриан путешествует линейно и как бы имеет в виду центральную перспективу, ибо путь его, без сомнения, лежит к прославленным местам паломничества: Риму, Афинам и Иерусалиму (хотя, мог бы добавить Бютор, на обратном пути он фактически пронесся мимо Египта и Туниса). Его католическая вера не знает трещин и сомнений, и его самоуверенность так же бесстыдна, как его эгоцентризм. В Египте он разглядывает пирамиды только издали, однако посылает человека вырезать его имя на самой большой пирамиде рядом с именем Наполеона. Во время своего паломничества он видит то, что ожидает увидеть, то есть особенных неожиданностей для него нет. Даже одинокое безлюдье Иудейской пустыни ни на мгновение не может поколебать его невозмутимости. «Когда едешь по Иудее, вначале тебя охватывает скука; но по мере того как ты движешься от одиночества к одиночеству, а бескрайнее пространство ширится во все стороны, скука развеивается. Ты испытываешь тайный ужас, но он не только не подавляет твой дух, а, напротив, вселяет в тебя мужество и укрепляет твой дар». Шатобриан путешествует с намерением собрать материал для уже запланированного романа о христианских мучениках, он ни на мгновение не сомневается, что истина ждет его в Риме, Афинах и Иерусалиме, опорных столбах западноевропейской цивилизации.

Нерваль, наоборот, подвергает сомнению подобный маршрут и подобный способ познания. Он предпочитает циркулировать между местами, расположенными на обочине этой евроцентристской троицы и совершает длительное путешествие с главными остановками в Каире, Бейруте и Константинополе. Палестину он задевает только мимоходом. Восток Нерваля — неопределенное магнитное поле, лишенное центра и конечной точки. Центр в представлении Нерваля не имеет ничего общего с шатобриановской самоочевидностью —- он меланхоличен и текуч. «В Африке мы мечтаем об Индии, точно так же как в Индии мечтаем об Африке». Неутомимые скитания Нерваля придают его книге форму рапсодии, в ней неожиданно смешиваются разные уровни действительности и разные жанры. Нерваль как бы чувствует, сколь бесплодно достижение места назначения при том способе, каким путешествует Шатобриан, и при том, какие цели в путешествии он себе ставит, и потому сам тяготеет к периферии, к чтению, к смешанным

формам, к переплетению ислама, христианства, религии друзов, эзотерических мифов и будничных впечатлений. Ср. *Michel Butor. «Le voyage et l'écriture»* в книге *«Romantisme», 1972 (Мишель Бютор. «Путешествие и письмо» в книге «Романтизм»)* и *Gérard de Nerval. «Voyage en Orient» (Жерар де Нерваль. «Путешествие на Восток»)* с вступит. статьей *Мишеля Жаннере (Michel Jeanneret), 1980.*

77. Было обещано продолжение, но оно так и не появилось.

78. Утопическая, тотальная, сверхчеловеческая *«Книга»*, «в которую вливается весь мир». По-видимому, замысел книги сложился у Малларме уже в 1866 году. В письме, написанном в том году (и адресованном Т. Обанелю), мы находим первый намек на этот замысел. «Я заложил основу грандиозного произведения». Несколько недель спустя мы узнаем: «Я представляю себе, что для того, чтобы написать эти пять книг, которые вместе составят Произведение, мне потребуется двадцать лет». До самой смерти в 1898 году Малларме был занят мыслью о *«Книге»* и последние годы жизни по утрам работал над нею. Постепенно замысел разросся до двадцати томов, и структура книги, и работа над ней должны были опираться на сложные алгебраические расчеты. Само собой, абсолютный, окончательный вариант *«Книги»* так и не был завершен. Наброски и фрагменты сохранились (несмотря на определенно выраженное Малларме желание, чтобы они были сожжены) — они представляют собой сжатый, иероглифический эскиз на 202 страницах, которые с трудом поддаются расшифровке. Страницы эти разного формата; Малларме писал от руки — иногда чернилами, иногда карандашом. Текст редко расположен линейными строчками, слова и цифры сгруппированы так, что страницы напоминают своего рода закодированную поэтическую диаграмму. Некоторые страницы оставлены чистыми, причем часть из них сложена пополам, чтобы служить своеобразной папкой для остальных листов рукописи. В набросках можно проследить несколько мотивов: охота, погоня за наслаждениями, балы и фейерверки, но главным образом они посвящены форме и архитектонике *«Книги»*. Рукопись, кроме того, содержит ряд указаний о том, как потреблять *«Книгу»*, то есть как и в каких формах должно происходить ее чтение. Писатель намеревался сам читать *«Книгу»* во время так называемых «сеансов», по нескольку страниц за один раз, специально приглашенным слушателям, которые должны были быть поделены на группы из 24 или из 8 человек. Поскольку несброшюрованные страницы могли меняться местами и к тому же каждая страница давала возможность по крайней мере 10 различных толкований, *«Книга»* вмещала в себя огромное количество комбинационных возможностей. Вся ее структура отвергает попытку читателя составить о ней однозначное и определенное мнение: это мнение должно претерпевать различные метаморфозы. В одном месте рукописи сам Малларме дает не менее 3 628 800 возможных толкований (кстати, это число возникает в книге алхимика *Атаназиуса Кирхера «Великое искусство знания, или Сочетания» — Athanasius Kircher. «Ars Magna Sciendi sive Combinatoria», 1699)*. Число комбинаций основывается на точном расчете, в котором нет места случайности, — но случайность возвращается как бы с черного хода, потому что кто может предвидеть все 3 628 800 комбинаций и не оказаться застигнутым врасплох? Как всегда у Малларме, *«Книга»* находится в силовом поле между случайностью и расчетом.

«Книга» Малларме никогда не могла быть физически реализована. Но все же создается впечатление, что все другие работы писателя вращаются вокруг этого отсутствующего центра. Жак Шерер, который в 1957 году отредактировал и опубликовал эту рукопись, в предисловии писал так: «Величие Малларме берет начало в его глобальной *«Книге»*, на которую он был нацелен. Вершины его опубликованных работ омыты удивительным светом, невидимый источник которого — эта последняя незавершенная *«Книга»*. *Жак Шерер, а. а.* Ср. также *Gustav René Hocke. «Manierismus in der Literatur», 1959 (Густав Рене Хокке. «Маньеризм в литературе»).*

79. Нет, не в этой связи. Слова Жака Деррида относятся к произведению Эдмона Жабеса *«Книга отсутствующего» (Edmon Jabés. «Livre de l'absent»)*: «В процессе писания подсознательно рисуется и обнаруживается невидимый лабиринт в пустыне, город в песках».

80. Это в *«Бесцельном мире»* (1927) Малевич восклицает: «Никаких изображений действительности, только пустыня!»

81. Точнее, песчаная живопись Андре Массона конца 20-х годов. Массон расстилал на земле холст, выливал на него, разбрызгивал по нему клей, а сверху рассыпал песок, и все это очень быстро и без подготовительной работы. Джексон Поллок видел его работы в Нью-Йорке, где Массон нашел убежище во время второй мировой войны, и на него произвели большое впечатление идеи и автоматическая техника Массона. Но, описывая свой метод работы, Поллок указывает еще и на другой источник: «Когда я расстилаю холст на полу, я чувствую себя как бы ближе к картине, скорее даже как бы ее частью. Таким образом, я могу обойти ее кругом, работать сразу с четырех сторон и находиться *внутри* картины на манер, напоминающий песчаную живопись американского Запада». Выросший в Аризоне, Поллок был хорошо знаком с ритуальными песчаными картинами индейцев в районе Аризонской пустыни к югу от Юты и в Нью-Мехико. Эти картины часто, например у индейцев племени навахо, имели форму спиралей или лабиринтов, и создавались они, когда нужно было лечить, исцелять или при исполнении магического обряда плодородия. Важной частью обряда был танец. Во время танца песчаные рисунки разрушались, и к вечеру, по окончании обряда, рисунок стирался, смазывался.

Картины Поллока также напоминают след танцующего, чьи движения стремятся уравновесить, сломать статичные структуры, которые грозят обрести форму, противодействовать этим структурам. Струйки краски наслаиваются друг на друга, и так возникают его «multiple labyrinths» («множественные лабиринты»). В конце концов рождается огромный поток макрокосмической или микрокосмической энергии, в котором все — в одно и то же время гармония и постоянное движение. Автоматические, нонфигуративные и спонтанные формы Поллока имеют явные параллели в джазе, особенно в современном би-бопе. Это музыка, которую Норман Мейлер в своем эссе 1957 года *«Белый негр»* (*Norman Mailer. «The white negro»)* рассматривает как важнейшую предпосылку появления американского hipster, более плотского и темпераментного варианта европейского экзистенциалиста. Подобно американскому негру, хипстер создал свой тайный и гибкий аутсайдерский язык. Слова и быстрая, подвижная интонация придают языку многозначность, которая служит защитой от опасного и грозного окружения. Этот язык может выразить все, кроме неподвижности. Характеристику, которую Мейлер дает языку хипстеров, можно приложить к живописному языку художника-акциониста Поллока. «Это образный язык, но образный в том же смысле, что и нонфигуративное искусство, пронизанный диалектикой мелких, но интенсивных изменений, язык для микрокосма, в данном случае для человека, потому что этот язык непосредственно перенимает опыт у того, кто, проходя мимо, наращивает силу его движения, но не реалистической деталью, а абстрактно, так что тот скорее видится подвижной точкой в сплетении сил, а не статичной фигурой в кристаллизованом поле».

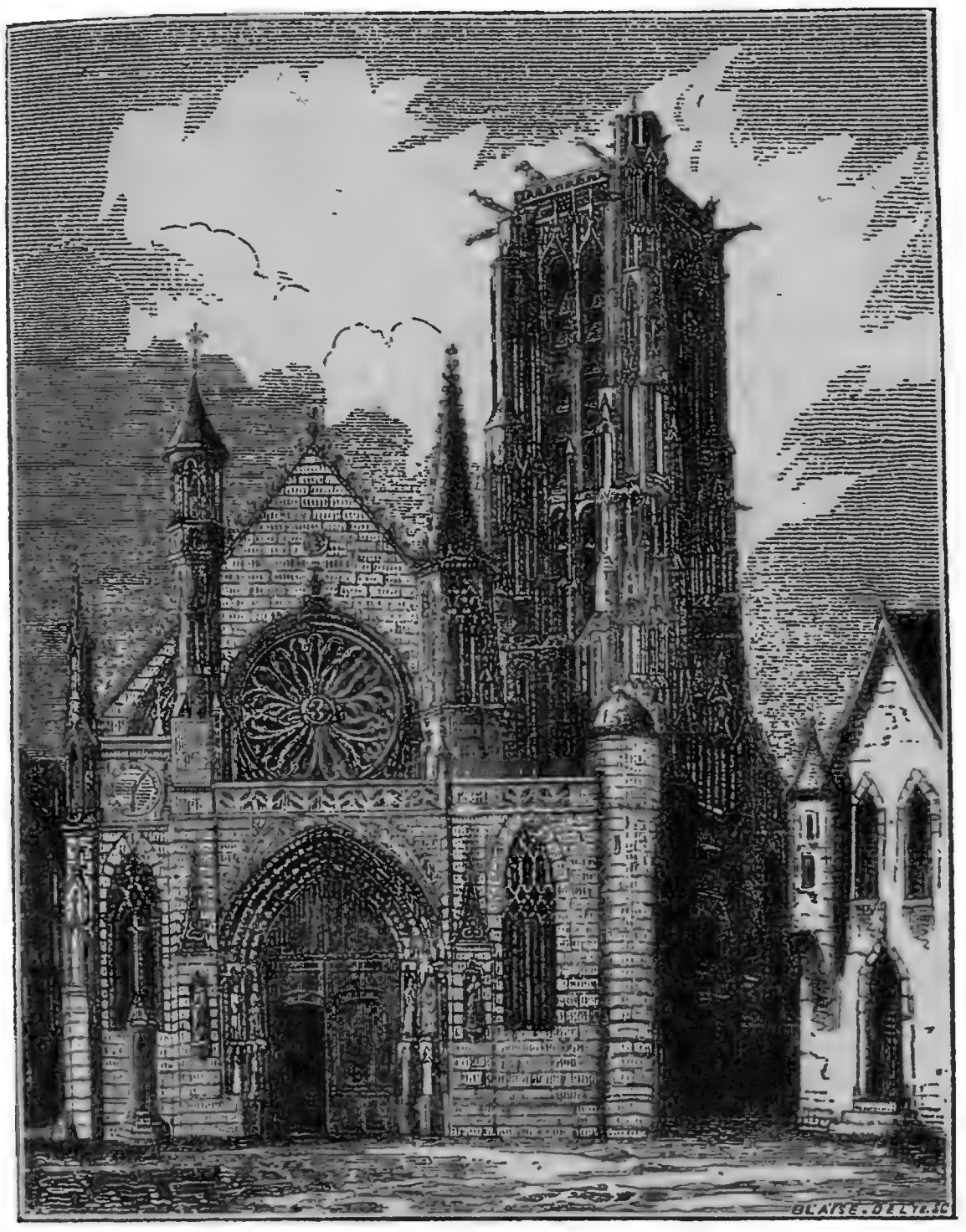
82. То есть след танца. Кереньи ищет происхождение лабиринта в турах танца. *(Kerenyi. «Labyrinthstudien», 1966 (Кереньи. «Исследования лабиринта»).* Плутарх (50—120 н. э.) тоже связывает лабиринт с танцем, но как бы выворачивает наизнанку причинно-следственную связь Кереньи. В своей биографии Тесея он рассказывает следующее: «Во время плавания из Крита в Афины Тесей причалил к Делосу. Здесь он принес жертву Аполлону и водил хоровод с юношами в так называемом «гераносе», который жители Делоса танцуют до сих пор; ритмические изменения и туры этого танца воспроизводили ходы и извилины лабиринта». Ср. скандинавское название «танец девушек».

83. Писатель здесь возмущается медлительностью раскопок, вообще вялым интересом ко всей археологической работе: «Уже в 1699-м в раскопках у Везувия были найдены древние надписи, указывавшие на город под названием Помпеи; но тогда посчитали, что нет оснований полагать, будто он был расположен в этом районе». *B. v. Beskow. «Ett besök i Pompeji», Svea XIII, 2, 1831 (Б. фон Бесков. «Посещение Помпей», Свеа XIII, 2).*

84. *Askelöfs papper, I. (Бумаги Аскелёфа, I).*

II

1. В Париже, перед тем как отправиться в паломничество к святому Иакову Компостельскому, пилигримы имели обыкновение собираться у готической церкви Сен-Жакла-Бушери, ее башня Сен-Жак до сих пор высится вблизи улицы Риволи между Шатле и Ратушей. Отсюда началось паломничество и легендарного алхимика Никола Фламеля (1330—1417), бедного писца, жившего поблизости от церкви. Однажды Фламелю случайно попался в руки огромный фолиант, который, по-видимому, написал иудейский каббалист Авраам Еврей. Книга содержала алхимические тексты, которые ни сам Фламель, ни его жена Перенелла, несмотря на все усилия, разобрать не сумели. Но на обратном пути из Сантьяго-де-Компостела Фламель, также случайно, познакомился с ученым старцем, который помог ему разобраться в загадочных картинках. Вскоре этот Мастер Канчес, христианин еврейского происхождения, умер. С помощью его указаний Перенелле и Фламелю удалось — так рассказывает сам Фламель в книге *«Иероглифические фигуры» (Nicolas Flamel. «Livre des figures hiéroglyphes»)*, возможно апокрифической, — получить и золото и серебро. Так или иначе, судя по всему, Фламель необъяснимо быстро разбогател, стал владельцем обширной недвижимости и дал деньги на постройку и роспись многих церквей, причем загадочная иконография этих росписей зиждется на изображениях из фолианта Авраама Еврея. Фламеля похоронили в церкви Сен-Жак, которая была разрушена во время Революции — уцелела только башня. В настоящее время надгробие Фламеля хранится в музее Клюни. Его имя время от времени возникает в сюрреалистской литературе, например во *«Втором манифесте сюрреализма»*, где образный мир Фламеля сравнивается с живописью сюрреалистов.



Церковь Сен-Жак-ла-Бушери.

2. Художник-сюрреалист Жак Альперн жил на улице Риволи неподалеку от башни Сен-Жак. Он часто проходил мимо башни, не обращая на нее особого внимания, ведь, привыкая к тому, что нас окружает, мы этого часто просто не замечаем. Но в один прекрасный день башня вдруг с необычайной четкостью выступила перед взором художника, и, удаляясь от нее, он сам услышал, как бормочет: «Башня Сен-Жак». В это мгнове-

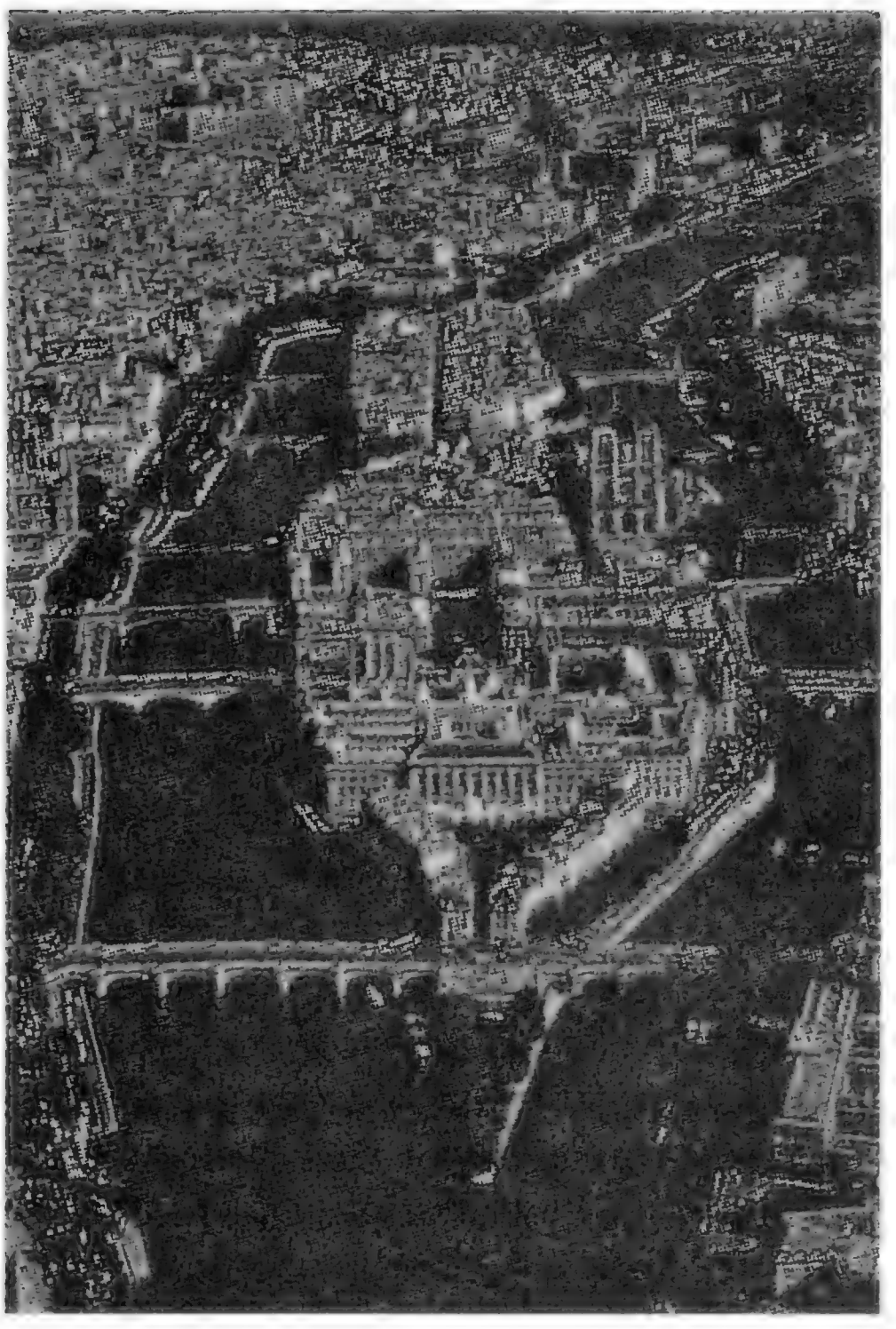
ние мимо проехал автобус № 21, и тут же часы на здании Дворца правосудия пробили три.

Следуя сюрреалистической логике, 21 числа того же месяца Альперн вновь отправился к башне. К нему подошел незнакомый человек, они разговорились. Незнакомец сказал, что вообще никогда не покидает своей квартиры в доме 38 по улице Сент-Икс, но тут какая-то непреодолимая сила повлекла его к этому месту. Они расстались у метро. Впоследствии Альперн пытался отыскать своего собеседника по названному им адресу, но там никто не знал этого человека, и больше Альперну не пришлось его увидеть.

Андре Бретон переработал этот эпизод в послесловии к «XVII Аркану» в связи с тем, что 27 апреля 1947 года он сам назначил встречу в башне Сен-Жак своим друзьям Жаку Эролю и Виктору Браунеру.

3. Это касается также и современного большого города. Напр., Вальтер Беньямин пишет: «Город — это осуществление старинной мечты человечества о лабиринте. Фланёр, сам того не подозревая, вписывается в эту реальность».

4. Это изображение приводит к выводу, что центр города кристаллизуется в районе вокруг Нового моста. По мнению Андре Бретона, вблизи опоры моста на правом берегу, там, где улица Арбр-Сек выходит на набережную, открывается лучший вид на Сену, чарующе раскинувшуюся здесь подобно русалке. По другую сторону моста находится площадь Дофина, которую во время одной из своих прогулок с Надей посетил Бретон и которая внушает ему необычное чувство. «Эта площадь Дофина — одно из самых пустынных мест, какие я знаю, одна из худших и самых уединенных площадей в Париже. Каждый раз, когда я там оказывался, меня постепенно охватывало желание очутиться где-нибудь в другом месте, и мне приходилось уговаривать себя, чтобы избавиться от ощущения мягких, но слишком уж сладостно-настойчивых и в общем изнурительных объятий».



Двадцать пять лет спустя автор *«La clé des champs» («Освобождение»)* пытается разобраться в сложном чувстве, какое в нем вызывает площадь, и на расстоянии, как бы с птичьего полета, проанализировать его составляющие. Многие считают, что остров Сите имеет форму сердца, но Бретон находит, что он скорее напоминает женскую фигуру. На самом верху, там, где расположен остров Сен-Луи, Бретон видит приподнятый локоть

женщины, которым она стыдливо прикрывает лицо; остальная часть острова представляется Бретону туловищем. И все становится ясным. «Сейчас невозможно поверить, что те, кто до меня дерзали углубиться в площадь Дофина, не замечали ее слегка наклонной треугольной формы и трещины, делящей ее на две обсаженные деревьями части. Чтобы всем было понятно, о чем я говорю, — здесь, под затеняющей ее листвой, вырисовывается вагина Парижа. Каждый год этот лес еще пылает тамплиерами, которые в муках погибли здесь на костре 13 марта 1313 года». (Относительно даты Андре Бретон ошибается: на самом деле это случилось 19 марта 1314 года. В этот день предводители тамплиеров Жак де Моле и Жофруа де Шарне были сожжены по прямому приказу короля Филиппа Красивого, который впал в ярость, когда оба обвиняемых вдруг отказались от признаний, сделанных под пытками.) Основание треугольной площади соседствует с Дворцом правосудия. Близость полового органа к этому карательному учреждению объясняет Бретону то жуткое ощущение табу и гнета, которое излучает площадь. Все это превращает площадь Дофина в святое место Парижа, «le lieu sacré». Ср. также *Marie-Claire Banquart. «Paris des surréalistes», 1972 (Мари-Клер Банкар. «Париж сюрреалистов»)* и *Mirella Bandini. «La vertigine del moderno», 1985 (Мирелла Бандини. «Головокружение модерна»)*.

5. По утверждению Андре Бретона, который почерпнул эти сведения у Фульканелли, улица Арбр-Сек (в переводе — улица Сухого дерева) вблизи Нового моста получила свое название от постоялого двора, где в XIV веке по пути к Святой земле останавливались пилигримы. Вывеска с изображением сухого дерева, библейского и алхимического символа, сохранялась здесь еще в XVII веке, *а.а.*

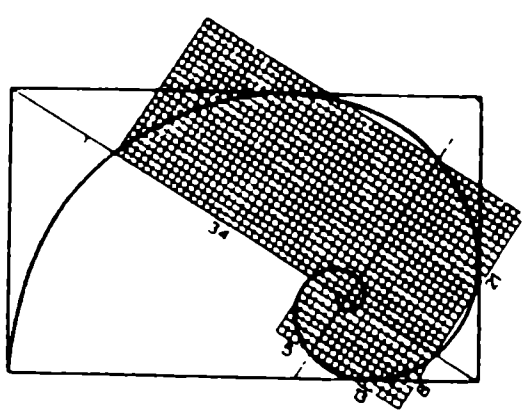
6. Пилигрим носил грубую, похожую на тунику куртку, на поясе — маленький кожаный мешочек с самым необходимым и опирался на деревянный страннический посох. Этот атрибут оброс обширной символикой; так, посох призван был помочь пилигриму отгонять волков и злых собак, то есть дьявола, и в качестве третьей ноги служил напоминанием о Троице. Возвращаясь из паломничества, пилигрим имел право прикрепить к куртке пальмовую ветвь — знак того, что он побывал в Иерусалиме. Но мало-помалу пальмовая ветвь все чаще заменялась другим знаком. На него однажды обратил внимание Юрьо Хирн в одной из застекленных витрин Германского национального музея в Нюрнберге. «Отворот куртки, — рассказывает он, — украшен раковинами, а на груди с левой стороны пришита большая раковина. Шляпа с отогнутыми спереди полями также густо усеяна раковинами: самая крупная из них, большая мидия, прикреплена посреди лба, а раковины помельче, длинные, узкие, спиралевидные, крестообразно расположены вдоль полей. Подпись под витриной сообщает, что костюм принадлежал жителю Нюрнберга, Стефану Праууму, который в этой одежде совершил паломничество в Святую землю в 1585 году». *Yrjö Hirn. «Ermiter och pilgrimer», 1924 (Юрьо Хирн. «Отшельники и пилигримы»)*.

Почему именно раковины, так называемые гребешки св. Иакова (по-шведски их еще называют «мидии пилигримов»)? Хирн считал, что эти сувениры, двустворчатые и спиралевидные раковины, иногда отлитые в олове или свинце, берут свое начало от паломничества к горе Св. Михаила — Мон-Сен-Мишель — в Нормандии. Эта гора стала одним из самых ранних и самых главных мест паломничества с тех пор, как там в 708 году якобы явился архангел Михаил. «Ученый-археолог Поль Гу в своем большом труде о горе Св. Михаила указал, что, когда священники запретили пилигримам, посещавшим эту святыню, уносить с собой в качестве сувениров куски церковной стены или алтарных покровов, те стали подбирать на берегу мелкие камешки или ракушки. Эти последние предметы, принимая во внимание всю цепочку морских образов, с ними связанных, как нельзя лучше подходили для того, чтобы служить воспоминанием о святом месте, в котором невежественные пришельцы из удаленных от побережья районов видели последний форпост материка на море, «где, конечно, ты еще не был на небе, но уже не был на земле». Пилигримы гордились тем, что в своих благочестивых странствиях достигли океана, поэтому и вошло в обычай, возвращаясь из Мон-Сен-Мишеля, увешивать свою одежду раковинами». *Хирн, а.а.*

Подобная же легенда связывается с Сантьяго-де-Компостела (сюда в результате различных чудес были перенесены останки апостола Иакова, подобно тому как жилище Святой Девы чудом перенеслось из Назарета в Лорето в Италии, что превратило этот городок в излюбленное место паломничества). Утверждали, что в море возле собора Св. Иакова водится удивительная рыба, у которой с каждого бока сидит по раковине, и вот эти-то раковины пилигримы и собирали, чтобы нашить их на свою одежду.

Вскоре раковины и их слепки стали небольшой сувенирной индустрией — их продавали на рынках возле собора в Сантьяго, в Иерусалиме и в других местах паломничества. Ср. *Jonathan Sumption. «Pilgrimage», 1975 (Джонатан Сампшен. «Паломничество»).*

7. Здесь можно добавить, что некоторые космологические мечтатели типа Гики, Хэмбиджа и др. считали, что в спиралевидной раковине, так называемом наутилусе, или жемчужном кораблике, они уловили глубинный образ миропорядка. Дело в том, что спираль этой раковины построена на соотношении чисел, совпадающих с гармоничной пропорцией золотого сечения, которой математик эпохи Ренессанса Лука Пачиоли дал название «божественной пропорции». Спираль наутилуса логарифмически расширяется согласно шкале чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д., где каждое число являет собой сумму двух предыдущих. А отношение большего числа к соседнему, меньшему, образует в пределе «золотое число» 1,618... (отношение меньшего к большему — 0,618). Это число якобы заложено в основу Творения, оно выражено, например, в логарифмической спирали наутилуса, в венчике цветка подсолнуха, в туманностях и галактиках макрокосма. А у человека золотое сечение проходит через точку и центр, который когда-то связывал нас с нашим происхождением, то есть оно проходит через пупок. Во всяком случае, по мнению Гики, это присуще совершенному человеческому образу, такому, как Венера Милосская. (Впрочем, читатель сам может проверить, соответствует ли он/она этим пропорциям: золотое сечение можно получить, разделив длину тела на 1,618 или помножив на 0,618). См. далее *Matila Ghyka. «Le nombre d'or», 1931 (Матила Гика. «Золотое число»).*



8. *Ibid.*

9. В ту пору уже профессор.

10. Имеется в виду раковина как воспоминание — ср. пирожное «мадлен» в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». В знаменитой сцене вкус крошек этого бисквитного пирожного, размоченных в чае, внезапно пробуждает в рассказчике воспоминания детства, проведенного в Комбре, можно сказать, воскрешает прошлое. Пруст так описывает форму пирожного: «круглое пирожное, которое зовется «мадлен» и кажется испеченным в рифленой раковине гребешка св. Иакова».

Не уподобляются ли воспоминания рассказчика своеобразному паломничеству в потерянный рай прошлого? Ведь именно они наполняют его «изумительным чувством счастья».

Но в биографии Пруста случались и реальные паломничества. В 1900 году, сразу после кончины Джона Рёскина, Пруст опубликовал в «Фигаро» статью, озаглавленную «Рёскинские паломничества во Франции», в которой он призывал посетить места, описанные Рёскином: большие готические соборы на севере Франции, в Амьене, Бове, Руане. Пруст, который позднее отправится даже в Венецию, чтобы ощутить присутствие Рёскина в камнях этого города, отозвался на свой собственный призыв и вместе с груп-

пой друзей отправился в Руан. Дело в том, что в *«Семи светочах архитектуры» («Seven lamps of architecture»)* есть место, где говорится, что на одном из порталов Руанского собора находится маленькая, невзрачная, но в высшей степени удивительная фигура, подпершая рукой тяжелую голову, «озлобленная и смущенная своей злобой; ее ладонь крепко прижата к скуле, так что щека *собирается складками* под глазом». Как это часто бывает у Рёскина и у Пруста, деталь вдруг оказывается главной. В своей книге *«Марсель Пруст»* Ричард Баркер (*Richard Barker. «Marcel Proust», 1958*) рассказывает: «Когда он [Пруст] еще работал над переводом Рёскина, он снова перечел тот отрывок из «Семи светочей архитектуры», где Рёскин, для того чтобы осудить современные машины и возвеличить средневековое ремесло, описывает некоторые барельефы северного портала Руанского собора; как раз в это время газеты сообщили о смерти Рёскина, и Пруст тут же решил почтить память учителя, совершив паломничество именно в Руан. Он хотел увидеть барельеф собственными глазами. Пруст пустился в путь с друзьями — четой Йетмен, — они подошли к северному порталу и стали изучать многие сотни его фигур в поисках той, которую обессмертил учитель. Наконец мадам Йетмен сообщила, что нашла, — и в самом деле, это были они: драконы и странный человечек, так тяжело опершийся головой на руку, что щека собралась складками под глазом. Трудно было найти на портале другие фигуры, столь же незначительные, — тем не менее Пруст был счастлив».

11. 20 января 1900 года.

12. Он хочет сказать, что книга состоит из складок, что она рождается из сложенного листа, иногда запечатанного, когда книга сброшюрована. Ее закрытость в одно и то же время религиозна и эротична. Так Малларме в *«Хронике» («Chronique»)* описывает интимную торжественность момента, когда он вводит разрезной нож слоновой кости во тьму между двумя неразрезанными страницами. Зато на бесстыдных, размером в лист газетных полосах священное, наоборот, рассеивается. И в прозаических *«Разглагольствованиях» («Divagations»)* из *«Le livre, instrument spirituel» («Книга, орудие духа»)* Малларме продолжает: «В сравнении с печатной полосой сложенный лист обладает почти религиозными признаками; в особенности они явственны тогда, когда листы лежат стопкой один на другом — тогда они безусловно представляются маленькой гробницей, воздвигнутой над душой». По мнению Шерера, *a.a.*, именно образ складки, чего-то сложенного — один из главных мотивов у Малларме.

13. Вероятно, гнейс. Рёскин страстно интересовался геологией, и место, выбранное Дж. Э. Миллесом для знаменитого портрета, не случайно. Это место с гнейсовыми скалами у водопада Рёскин, его жена Эффи и Миллес обнаружили во время поездки в Шотландию летом 1953 года. По скале, на которой стоит Рёскин, волнами бегут морщины и трещины — окаменевший аналог водопада и порогов с их водоворотами и струящейся водой. В выборе этой геологической сценографии, несомненно, звучит отголосок наблюдений Рёскина в его «Современных художниках» (*«Modern painters»)*, где он описывает гнейс, остановленный в своем движении, как своего рода застывшее время, воспоминание о текучем вулканическом детстве горы: «The tremor which fades from the soft lake and gliding river is sealed, to all eternity, upon the rock; and while things that pass visibly from birth to death may sometimes forget their feebleness, the mountains are made to possess a perpetual memorial of their infancy»[1].

14. Во время публичного и скандального бракоразводного процесса Рёскина открылась его тайна. Гинеколог констатировал, что его брак с Эффи был «неполноценным», и потому она вправе выйти замуж за Дж. Э. Миллеса, с которым познакомилась во время поездки в Шотландию.

15. Норберт Ханольд «забыл» свою юношескую любовь, Зоэ Бертганг, и заменил живую женщину гипсовым рельефом. Зоэ, так сказать, замаскировалась произведением искусства; в нем запечатлелись следы характерной для нее грациозной походки, изящ-

[1] Дрожь, которая исчезает с поверхности спокойного озера или струящейся реки, навеки впечатана в камень, и если вещи, зримо движущиеся от рождения к смерти, должны иногда забывать о своей слабости, горы созданы, чтобы вечно хранить память о своем детстве (*англ.*).

ных шагов, из-за которых Ханольд дал рельефу название «Градива» (приблиз. перевод — «та, что идет вперед легкой поступью»). Но все-таки именно сама Зоэ, во плоти и крови, мало-помалу становится его Ариадной и выводит его из лабиринта защитного забвения и вытеснения.

Внимание Фрейда к роману Вильгельма Йенсена «Градива» первым привлек К. Г. Юнг. Фрейд с восторгом прочел роман и сразу же написал маленькую работу *«Der Wahn und die Träume in W. Jensens «Gradiva» («Безумие и сны в «Градиве» Йенсена»),* опубликованную в 1907 году. В романе есть тема, касающаяся снов и вытесненных импульсов, которая, естественно, должна была заинтересовать пионеров психоанализа. Может быть, Фрейд ощутил свое родство с героем книги, археологом Норбертом Ханольдом? Молодой Ханольд посвятил себя науке и, казалось, жил только своими исследованиями. Однажды, посетив музей Ватикана, он по необъяснимой причине был заворожен рельефом женщины, чьи грациозные шаги угадываются под складками одежды, и купил гипсовый слепок рельефа, который он (как позднее Фрейд и другие аналитики) повесил на стену в своем кабинете. Некоторое время спустя Ханольду приснился тревожный, тоскливый сон: ему снилось, будто он находится в Помпеях во время страшного извержения Везувия в 79 г. н. э. Там на какой-то рыночной площади он увидел живую Градиву со своего рельефа. Он пошел за ней, она опустилась на ступени храма Аполлона, где медленно, словно в метаморфозе, стала приобретать цвет мрамора и покрываться пеплом Везувия, извергавшего потоки лавы, которые вскоре погребли под собой весь город.

Этот сон нарушил обычный душевный мир Ханольда. Потеряв покой, неприкаянный, отправился он в путешествие по Италии и в конце концов очутился как раз в Помпеях. И, о чудо, не во сне, а наяву, среди бела дня он снова видит Градиву! При этом она живая, реальная, потому что ответила на его обращение — славный Ханольд ничего не может понять. Но Градива терпеливо выводит его на верный путь. Оказывается, на самом деле ее зовут Зоэ Бертганг («Zoe» означает «жизнь», а «Bertgang» — приблиз. «та, что движется так изящно»); она — юношеская любовь археолога: в давние годы они жили в Мюнхене по соседству друг с другом. Ханольд похоронил свое страстное чувство к Зоэ глубоко в бессознательном. Однако не мог помешать ей напомнить о себе в рельефе, который так сильно и необъяснимо его притягивал и который он назвал «Градива», заместив этим именем имя «Зоэ», казалось, исчезнувшее из его памяти.

Аналогия между археологией и психоанализом очевидна. Фрейд наверняка узнавал себя в Шлимане, который пласт за пластом зарывался все глубже в древнюю Трою. Фрейд в своей работе пишет: «В этом последнем сравнении — «друг детства, выкопанный из развалин» — писатель (Йенсен) дал ключ к символике, которой превратные представления героя маскировали вытесненное воспоминание. Фактически лучший аналог вытеснения, посредством которого нечто делается недоступным сознанию, но в то же время сохраняется, — это такого рода погребение, жертвой которого стали Помпеи и из которого город мог вновь появиться на свет в результате простой работы лопатой».

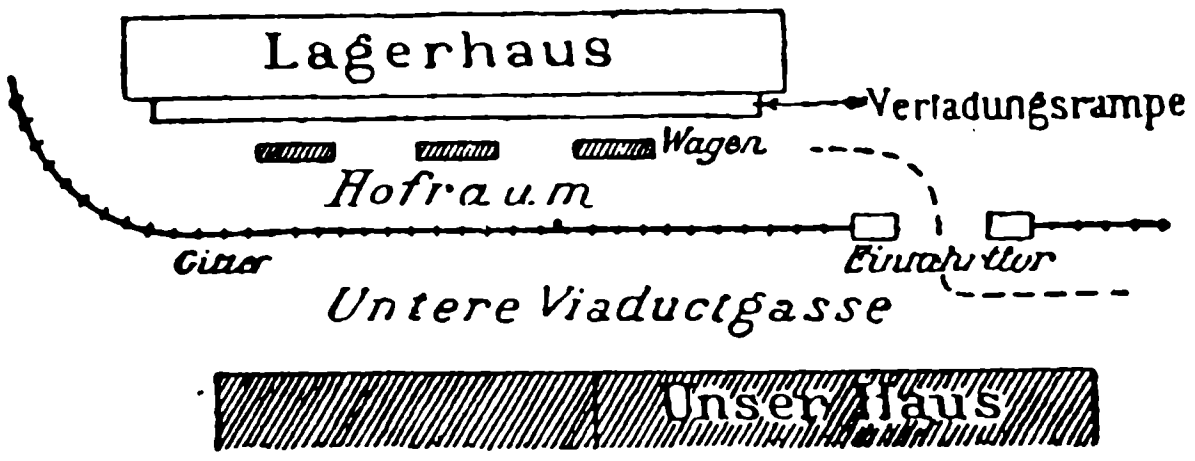
16. *Ibid.*

17. Лектор Б. Рисберг любезно напомнил мне, что Гораций в своих «Посланиях» I, 10, 24 разделяет такое представление о необузданности природы.

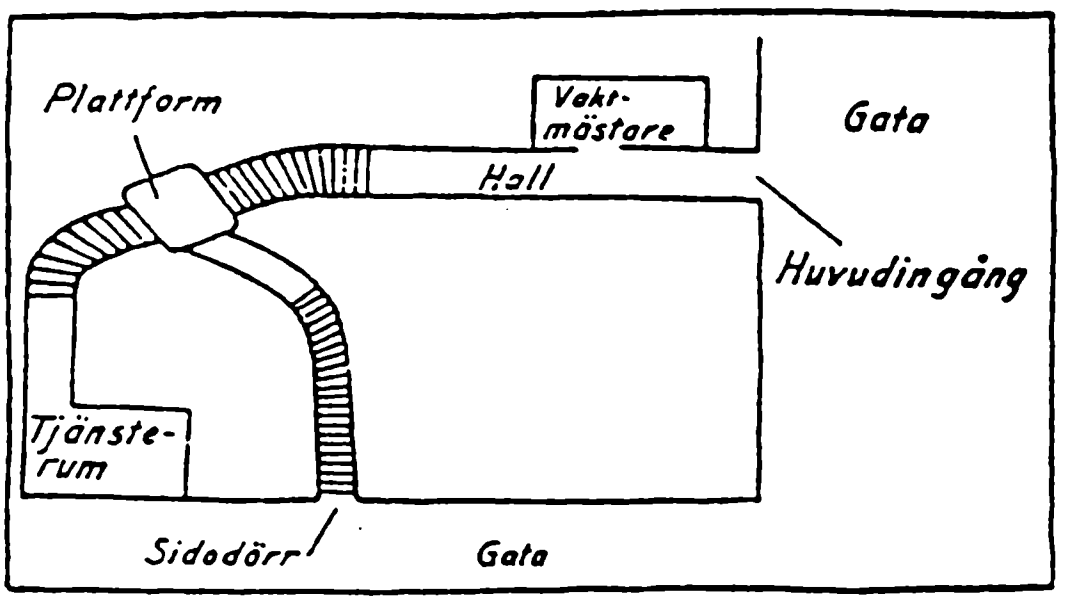
18. Фотографии, сделанные Эдмундом Энгельманом на Берггассе, 19, представляют Фрейда страстным, чтобы не сказать маниакальным, коллекционером археологического материала. Половина письменного стола и часть других столов и полок настолько заставлены мелкими античными статуэтками, что, кажется, вот-вот рухнут. Фрейд сам охотно признавал, что червячок собирательства был его пороком, сильнее которого была только его страсть к никотину.

19. Археолог, но также и сыщик. В уютной викторианской обстановке домов, расположенных по Берггассе, 19 и по Бейкер-стрит, 221 Б, Зигмунд Фрейд и, соответственно, Шерлок Холмс принимают тех, кто ищет помощи. Оба выслушивают удивительные, запутанные истории, за которыми они постепенно обнаруживают не менее фантастические, утаенные или подспудные связи. Иногда ключом им служит незначительный фрагмент, мимо которого проходят обычные люди, а они с помощью этого фрагмента вос-

станавливают недостающее целое (как археологи восстанавливают форму кувшина по маленькому черепку). Они ходят кругами, все расширяя их: в свете предварительной гипотезы они находят и толкуют отдельные фрагменты, которые приводят их к исправлению и расширению гипотезы, касающейся целого, и с помощью этой обновленной гипотезы они находят очередной фрагмент и т. д. Их проницательность непревзойденна и легендарна. Когда же наконец загадка разрешена, они запечатлевают ее в литературной форме, описывая тот или иной случай, а это описание, в свою очередь, становится объектом многочисленных исследований и мифов. Кстати, разве названия различных рассказов Фрейда: «Человек-крыса», «Человек-волк» (где он прямо указывает на Шерлока Холмса) или «Малыш Ханс» — будят фантазию в меньшей мере, чем «Собака Баскервилей», «Человек со шрамом» или «Палец инженера»? К признакам жанра относится и то, что повествование время от времени перебивается маленькими схемами места преступления или других важных для рассказа мест. Ср. *Stephen Marcus. «Freud and the culture of psychoanalysis», 1984,* а также *Carlo Ginzburg. «Ledtrådar»,* в «*Häften för kritiska studier», 1983:3 (Стивен Маркус. «Фрейд и культура психоанализа»,* а также *Карло Гинцбург. «Путеводные нити»,* в «*Тетрадях критических исследований»*).



«Малыш Ханс» З. Фрейда.



«Морской договор» А. Конан Дойла.

20. Именно в этом нас и уверяли, но какие случаи можно назвать решенными и какие раскопки законченными? Фрейд описал психоанализ как работу «вроде осушения Зёйдерзее». Таким образом, на месте темных и таинственных глубоководных растений в конце концов появляется осушенное морское дно. Этот труд, несомненно, похож на Сизифов, ведь разве во время работы не возникают все время новые тайны, разве при очищении русла не обнаруживаются все новые впадины?

21. К концу XIX века Викторианская эпоха становится свидетельницей рождения крупных метрополий, а с ними и нового типа горожанина, фланёра, бродячего и любопытного наблюдателя современной жизни. Энциклопедия «Ларусс XIX века» характеризует фланёра как человека, который видит и слышит то, что ускользает от других людей, — это могут быть случайно оброненные фразы, мимолетные звуки или ситуации. Вальтер Беньямин, *а. а.,* усматривает здесь аналогию с сыщиком: «В образе фланёра обретает форму сыщик. Фланёру потребна социальная легитимация. Ему очень удобно продемонстрировать, что его леность только напускная, а на самом деле за ней таится напряженное внимание наблюдателя, который ни на мгновение не спускает глаз с ничего не подозревающего злодея».

22. «Додé нé си хаудан тé меш мéтиш астанé кé дé мé вéш». Элен Смит повторяет в

трансе эту фразу, которую, по ее словам, она услышала на планете Марс и которая означает: «Ты увидела дом великой Астанес». В сомнамбулическом состоянии Элен совершает путешествие на Марс и рассказывает о тамошнем пасторальном ландшафте: голубые и розовые озера и персикового цвета земля. Но когда она перемещается еще дальше, на некую неизведанную планету Ультра-Марс, находящуюся позади Марса, ей кажется, что она дошла до края Вселенной: «Здесь я не видела ни единого дерева, ни единой зеленой травинки». В конце 90-х годов прошлого столетия устные и письменные высказывания Элен и ее рисунки изучал руководитель Психологической лаборатории в Женеве, Теодор Флурнуа. Исследования проводились в течение многих сеансов, во время которых молодая и красивая Элен Смит автоматически излагала ошеломляющие рассказы, используя некий язык, алфавит и рисунки. Флурнуа был убежденным противником спиритизма и суеверий и ни на мгновение не допускал, что слова Элен приходят из другого мира; по его мнению, они были диковинным плодом ее необузданной детской фантазии, ее бессознательного. Но как только Флурнуа делает попытку расшифровать тайный язык Элен и ее видения, она тотчас находит все новые языки и видения, словно прибегая к своеобразному защитному маневру: на смену так называемому Королевскому циклу, во время которого Элен воплощается в Марию-Антуанетту, приходит цикл Индуистский, потом Марсианский и, наконец, — последний оборонительный рубеж — цикл Ультра-Марсианский.

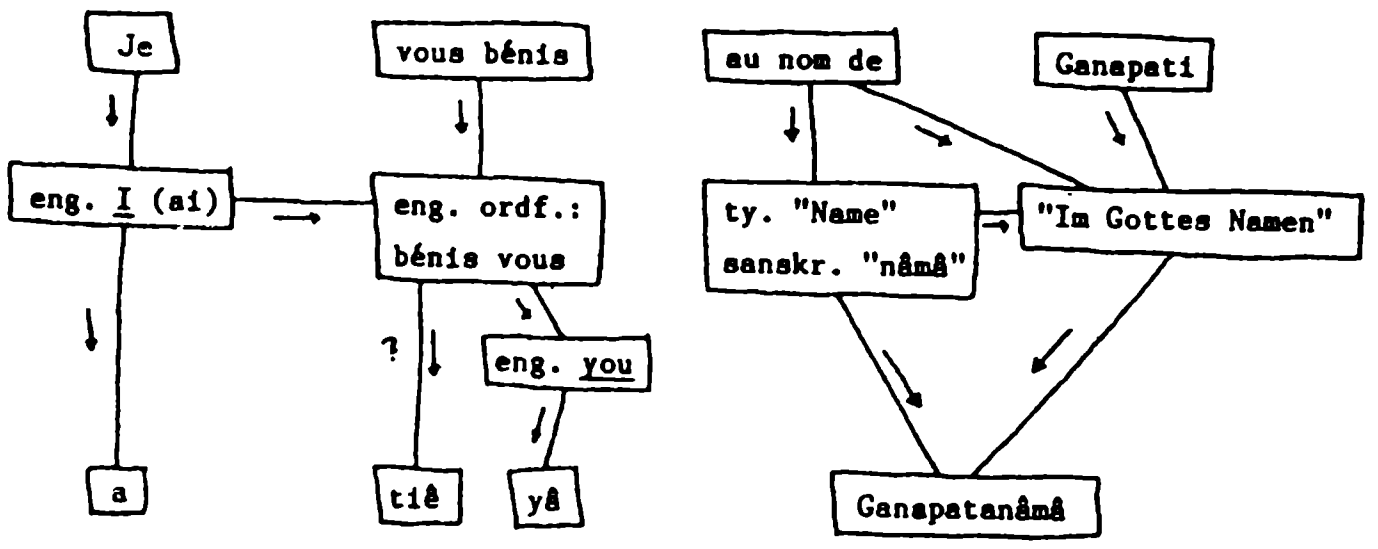
Столкнувшись с загадкой Элен Смит, Теодор Флурнуа и его помощники работают как проницательные сыщики, стремясь разгадать ее тайну. Когда речь идет о мнимом санскрите Индуистского цикла, Теодору Флурнуа помогает ни много ни мало сам Фердинанд де Соссюр, основоположник структурной лингвистики. В эту пору профессор де Соссюр преподавал в Женеве санскрит и занимался научной деятельностью в области индоевропейских языков. Он принял непосредственное участие в нескольких сеансах Элен Смит. Ср. *Sarane Alexandrian. «Le surréalisme et le rêve», 1974* и *Théodore Flournoy. «Des Indes à la planète Mars», 1899 (1983) (Саран Александриан. «Сюрреализм и сон»* и *Теодор Флурнуа. «Из Индии на планету Марс»).*

23. Ср. слова Фрейда в лекциях о символике сна: «В распоряжении сновидца есть способ символического выражения, который ему неведом, когда он бодрствует. Это поражает так же, как если бы мы вдруг узнали, что наша служанка понимает санскрит, хотя известно, что она родилась в богемской деревушке и никогда не изучала этот язык».

24. *Milton. «Paradise lost», III (Мильтон. «Потерянный рай», III).*

25. Ученые вели пространные дискуссии о том, каким образом продавщица магазина Элен Смит могла приобрести знание санскрита. Теодору Флурнуа казалось, что он нащупал возможные указания на литературу по индологии, с которой она могла ознакомиться через кого-то из друзей. Но с точки зрения лингвистики этим вопросом занимался прежде всего де Соссюр. Он исходил из двух слов: «atiêyâ Ganapatinâmâ», которыми 3 марта 1895 года Элен открыла индуистский цикл о принцессе Симониде и принце Сиврука. Эту фразу де Соссюр толкует как санскритоподобный гибрид французской фразы: «Je vous bénis au nom de Ganapati» («Благословляю вас именем Ганьяпати»). В поразительно остроумной (хотя не всегда убедительной) реконструкции ученый не обходит стороной ни одну из возможных путеводных нитей, не щадит никаких умственных усилий. Вот какое толкование предлагает де Соссюр: «1. «Je» необходимо изменить. Возникает ли в ее памяти какое-нибудь экзотическое слово вместо «je»? Нет, не возникает. И тогда она наугад ставит «*a*» вместо «je». (Собственно говоря, может быть, это «*a*» подсказано английским «I», которое произносится как *«ай»*, но это не обязательно.) 2. «vous bénis» или «bénis vous», ибо, если слово, заменяющее «je», берется из английского, английский порядок слов вполне может повлиять на стоящее непосредственно за ним слово. Следовательно, «bénis vous» передается словами *«tiê yâ». «Yâ»* могло быть взято из английского «*you*» (измененного доминантной гласной санскрита). Происхождение *«tiê», «bénis»* неизвестно, как и в случае с марсианским языком. 3. «au nom de Ganapati», Ганьяпати — просто имя, без прохождения предшествующих механизмов; оно могло быть взято откуда угодно. Остается «au nom de», которое передается словом *nâmâ*, может быть, это вос-

поминание о немецком *Name,* может быть, оживление санскритского *nâmâ*, которое Элен могла где-то подхватить; наконец, сама конструкция, которая, вопреки французскому порядку слов, могла вслед за немецким *Name* воспроизвести немецкий оборот *in Gottes Namen, in Ganapatis Namen.* Короче говоря, это тарабарщина, которая заимствует свои составные части где придется, а остальное придумывает, следуя простому правилу: не дать угадать французский источник, из которого она берет свое начало». (Иными словами, это своего рода «Abwehr», защитный механизм). Со своей стороны, Флурнуа выводит *«atiêyâ»* из «atjou!», ономатопоэтического слова, обозначающего чиханье, с которым связано следующее за ним благословляющее «prosit». См. *Т. Флурнуа, а.а.* Таким образом, случай Элен Смит считался как бы исчерпанным, по крайней мере в первом приближении. Для наглядности я представил рассуждения де Соссюра такой схемой:



26. Это многообещающее начало сотрудничества раннего психоанализа с лингвистикой генеалогически скрепил брак между сыном де Соссюра и дочерью Теодора Флурнуа.

27. В примечании к своему роману «Надя» Андре Бретон рассказывает: «Гадалка, мадам Сакко, принимавшая на улице дез Юзин, 3 и никогда в отношении меня не ошибавшаяся, в начале того года заверила меня, что мой дух в высшей степени заполнен «Элен». Не потому ли вскоре после этого у меня возник жгучий интерес ко всему, что имело отношение к *Элен Смит*?» Медиумическая восприимчивость Элен, по-видимому, перешла к героине романа Наде, которая однажды восклицает: «Элен — это я». Элен Смит — одна из великих героинь сюрреалистической мифологии и, подобно неизменным фаворитам, таким, как Фрейд, Маркс, де Сад и др., удостоилась собственной карты в «Марсельской колоде», которую составили сюрреалисты в начале войны. В этой колоде Элен олицетворяет «знание», располагаясь между Гегелем («гений») и Парацельсом («магия»).

28. Да, в обширном исследовании французского психиатра Пьера Жане об истерии *«От тревоги к экстазу» (Pierre Janet. «De l'angoisse à l'extase»).* Жане излагает в нем подробные результаты наблюдения над целым рядом пациентов. В одном из случаев речь идет о двадцативосьмилетней женщине по имени Надя.

29. Данное наблюдение писателя, вероятно, справедливо — в судебных процессах, касающихся работы правоохранительных органов, в особенности следует требовать тщательной работы следствия. Очень важно проверить каждую нить, напр. для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях лабиринта телефонной сети. «Начальник участка Норберг сообщил, что большое число неправильных соединений с номером домашнего телефона Кейне чаще всего зависело от упомянутой Петерсоном резиновой прокладки, укрепленной на микрофоне и не санкционированной Телеграфной службой, а также от винта, вывинченного в распределительном шкафу, который был связан с этим номером... Неправильные соединения, а также помехи при телефонных разговорах или попытках соединиться по телефону — обычное явление, когда оборудование телефонных станций изношено, когда на нем появляется грязь или следы окисления, когда имеются повреждения кабеля, вызванные сыростью, те или иные дефекты в свободных проводах, неисправность телефонных аппаратов и т. д. Изъяны в оборудовании телефонных станций могут быть вызваны, например, запыленностью контактов, «засорами» в разного рода реле,

повреждениями, причиненными электрическим током, и пр. Все эти изъяны могут повлечь за собой неправильные соединения, «избирательные шумы» («шипение» в связи) и т. п. *Justitiekanslerämbetets utredning rörande påståenden om illegal telefonavlyssning i den s.k. Kejneaffären samt vissa påståenden mot ledamöter av Kejnekomissionen m.m., 1951.* (Расследование, проведенное канцлером юстиции в связи с утверждением о незаконном прослушивании телефона в так назыв. деле Кейне, а также в связи с утверждениями, направленными против руководителей комиссии по делу Кейне и пр.).

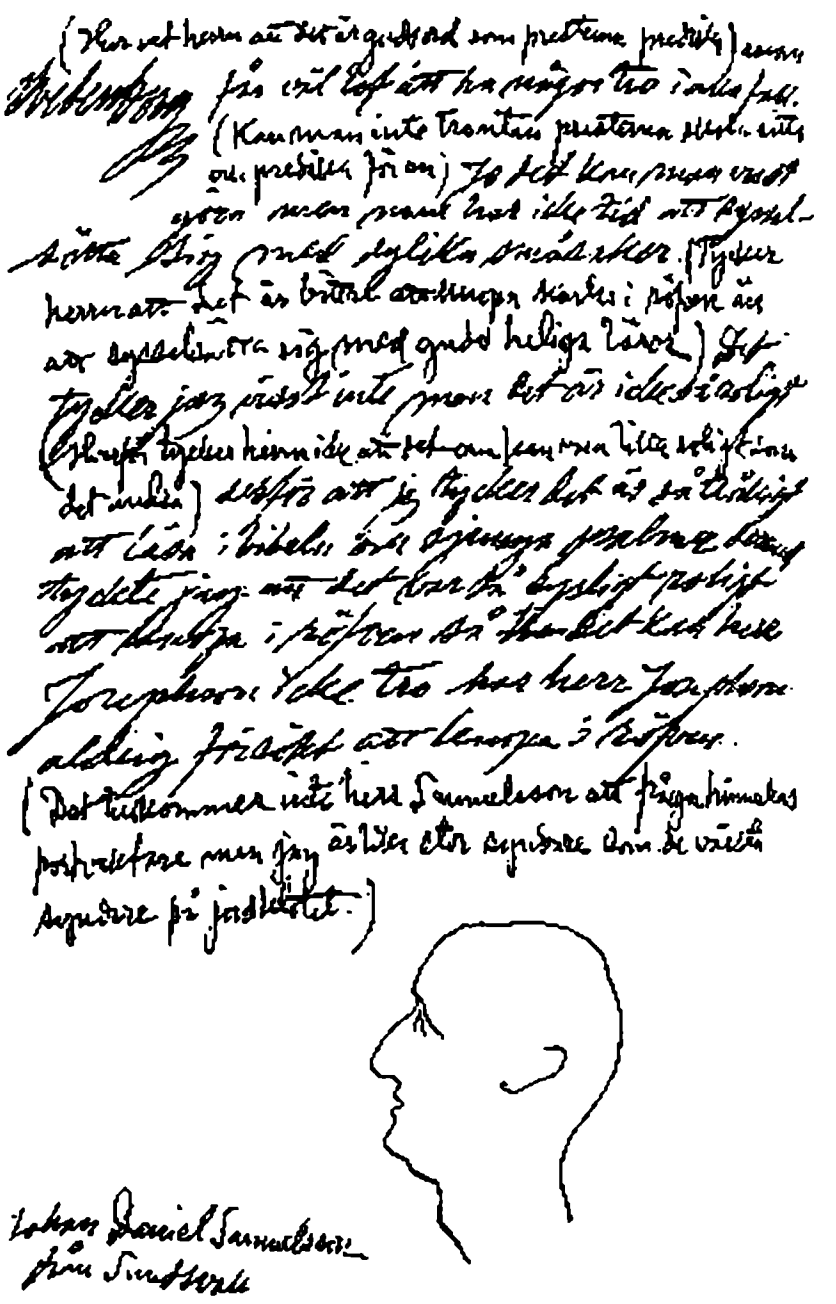
30. Рис. из СОУ («Статенс оффентлига утреднингар»), 1951:21.

31. Ср. картину *Джексона Поллока «Guardians of the secret», 1943 («Хранители тайны»).*

32. Таким образом, с одной стороны, хранить тайну, с другой — в нее проникнуть. Имеется в виду орден тамплиеров, основанный в 1118 году в Иерусалиме на месте древнего храма для защиты святых мест и паломников-христиан. Устав этого военного, близкого к монашескому ордена написал Бернар Клервосский. Мало-помалу тамплиеры стали владельцами обширных земельных угодий, накопили горы бесценных сокровищ — золота и серебра. Их громадные богатства во Франции, возможно, стали главной причиной их конфликта с французским королем Филиппом Красивым. Богатства эти были конфискованы после знаменитого процесса, который представляется нам зловещим предвестником позднейших процессов инквизиции.

В ходе процесса обвинение использовало многие табу, прибегая к ним способом, который напоминает большие показательные процессы и судебные разбирательства XX века: иногда это табу чисто идеологические, иногда сексуальные, иногда одни в сочетании с другими. Так, например, в протоколе от 9 ноября 1307 года о тамплиере Гуго де Перо можно прочитать следующее: «Спрошенный о том, каким образом принимал он новых братьев, он под присягою клятвенно подтвердил, что после того, как они обязывались не разглашать устав и тайны ордена, он вел их, уже в плаще, в потаенные места и там заставлял их целовать себя в ту часть тела, что ниже спины, в пупок и в губы; а потом приказывал вынести крест и говорил им, что, согласно уставу ордена, они должны трижды отречься от Распятого и от креста и трижды плюнуть на крест и на изображение Иисуса Христа». *«Le dossier de l'affaire des Templiers», éd. Georges Lizerand («Les classiques de l'histoire de France au Moyen âge»), 1923. («Дело тамплиеров», изд. Жоржа Лизерана. «Классики средневековой истории Франции»).*

33. Протокол допроса, который Эрнст Юсефсон записал автоматическим письмом на острове Бреа в начале своего заболевания шизофренией. В этом протоколе духи через посредство Сведенборга признаются в нарушении многих табу, касающихся инцеста и гомосексуализма, причем каждый из них пишет своим почерком. Бумаги протокола образуют настоящее досье, кипу сложенных пополам листов, каждый формата 18 x 11,5 см. На первой странице называется имя духа и как опознавательный знак дается его портрет в профиль, нарисованный семью росчерками пера. Среди проклятых духов — родственники художника, короли, члены парламента, философы и крупнейшие писатели, представляющие всемирную литературу. Юсефсону кажется, что он живет в привратницкой у входа в Царство Божие и, чтобы пройти мимо него в рай, духи должны покаяться в своих тайных грехах.



34. Несмотря на необозримость и запутанность показательных процессов, центр иногда указывается в них с однозначностью, которая просто ставит в тупик:

Вышинский. Бакаев, вы были членом террористического центра. Это правда?

Бакаев. Да, это правда.

Вышинский. В 1932 году вам поручили организовать убийство товарища Сталина. Это так?

Бакаев. Так.

Вышинский. Вы приняли ряд практических мер, чтобы это осуществить, т. е. вы организовали несколько попыток совершить покушение на товарища Сталина, которые сорвались не по вашей вине?

Бакаев. Правильно.

Вышинский. Кроме того, вы участвовали в убийстве товарища Кирова?

Бакаев. Да.

Вышинский. Кроме того, по заданию террористического центра вы ездили в Ленинград, чтобы проконтролировать подготовку убийства?

Бакаев. Да.

Вышинский. Вернувшись из Ленинграда, вы доложили, что все в порядке и подготовка убийства идет успешно. Во время поездки вы встречались с Котолыновым, Румянцевым и другими?

Бакаев. Да.

Вышинский. Мало того. Вы встретились с Николаевым, проинструктировали его относительно убийства и убедились в том, что Николаев человек решительный и может выполнить данное ему поручение?

Бакаев. Да.

(Признания делаются иногда с такой подчеркнутой готовностью, что кажутся совершенно пустыми и неправдоподобными).

Вышинский. Как можно назвать статьи и заявления, которые вы писали в 1933 году, выражая в них свою преданность партии? Обман?

Каменев. Нет. Хуже, чем обман.

Вышинский. Вероломство?

Каменев. Хуже.

Вышинский. Хуже, чем обман, хуже, чем вероломство? Что же, поищите сами точное слово. Может, предательство?

Каменев. Вы это слово нашли.

Ср. «*Правда о процессе над заговорщиками-террористами в Москве», 1936.*

35. Здесь имеется в виду сама классификация официальных действий, напр. *«United States v. Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg, Anatoli Jakovlev, David Greenglass and Morton Sobell» («Соединенные Штаты против Юлиуса Розенберга, Этель Розенберг, Анатолия Яковлева, Давида Грингласа и Мортона Собеля»).*

36. Глава ордена тамплиеров, великий магистр Жак де Моле признавался: «В конце концов брат Умбер вынул арианский крест с изображением Распятого и стал уговаривать меня отречься от этого изображения. Я исполнил это против воли...» А Жофруа де Шарне признавался: «После того как меня приняли и облачили в плащ, вынесли крест с изображением Иисуса Христа. Отец Амори сказал мне, что я не должен верить в того, кто здесь изображен, ибо это лжепророк, а не Бог. Он заставил меня трижды отречься от Христа...»

Почти все тамплиеры на первом же допросе, который сопровождался пытками, признались, что они предавались содомии, поклонялись идолу Бафомету (имя, еретически сходное с Магометом) и отрекались от Христа.

Но в отличие от других обвиняемых, де Моле и де Шарне отказались от своих показаний перед папским судом 18 марта 1314 года и по решительному приказанию разъяренного короля в тот же вечер были сожжены.

На костре, разложенном на нынешней площади Дофина, Жак де Моле вел себя со стоическим достоинством. Король Филипп Красивый сам наблюдал за этим зрелищем из окна Дворца правосудия, расположенного поблизости. По свидетельству очевидца, де Моле сказал: «Богу ведомо, что это ошибка. Вскоре несчастья поразят тех, кто

судил нас неправым судом. Господь отмстит за нашу смерть. Я умираю с этой верою».

Тридцать шесть дней спустя папа скончался от мучительной болезни (он особой буллой отлучил тамплиеров от церкви), а восемь месяцев спустя погиб упавший с лошади Филипп Красивый; в тот же год при таинственных обстоятельствах умер и постановщик процесса Гийом де Ногаре. Согласно легенде, мститель за тамплиеров продолжал разить потомков короля — месть достигла кульминации в 1789 году, когда был казнен Людовик XVI. Утверждали, что народ штурмовал Бастилию, чтобы почтить память Жака де Моле, которого держали там в заточении, перед тем как сжечь. Легенда приобретает все более фантастические черты: во время пребывания в Бастилии де Моле будто бы основал четыре масонские ложи, в том числе ложи в Эдинбурге и Стокгольме. Эти ложи должны были хранить тайны тамплиеров и память о неправом суде над ними, а также довести до конца месть за них. Им надлежало извести всех королей рода Капетингов, подорвать власть пап, проповедовать свободу всем народам и основать всемирную республику.

Наследники тамплиеров — к ним иногда причисляют иезуитов — были поэтому замешаны в различных подрывных и революционных движениях; согласно легенде, они помогали Кромвелю, убили Генриха IV и Густава III, поддерживали Сведенборга, Калиостро и якобинцев. Этот миф с особенно безудержной фантазией разработан *Шарлем-Луи Каде-Гассикуром. «Могила Жака де Моле, или Тайна заговорщиков», около 1800 (Charles-Loúis Cadet-Gassicourt. «Le tombeau de Jacque de Molay ou le secret des conspirateurs», ca 1800)*; ср. также *J.M. Roberts. «The myth of secret societies», 1972; Auguste Viatte. «Les sources occultes du romantisme 1770—1820», 1928 (Дж. М. Робертс. «Миф о тайных обществах»; Огюст Виатт. «Оккультные источники романтизма 1770—1820»)*.

37. Такую возможность допускает даже Вассер, который говорит: «По-видимому, еще не решено, скрываются ли под пышной фантастической одеждой великие и истинные, хотя и неразвитые идеи, или же сама основополагающая мысль проникнута глубокой, всеохватывающей иронией».

38. Места, причиняющие боль. «Всю свою жизнь Массон писал «эмблематичные места», — замечает Жан-Поль Клебер в книге о французском художнике Андре Массоне *«Мифология Андре Массона» (Jean-Paul Clébert. «Mythologie d'André Masson», 1971)*. В юности простым солдатом Массон участвовал в первой мировой войне и был тяжело ранен во Фландрии, в районе, который называется Chemin des dames (Дорога дам). Впоследствии он никогда не мог заставить себя остановиться в этих краях. Проезжая их, он еще долго потом не мог совладать с дрожью, необычайно чутко реагируя на эту окровавленную географию, предопределенную, казалось, самой топонимикой. В районе сражений было, например, местечко Heurte-bise («heurte» — наталкиваться, ударяться; «bise» — северный ветер; «biser» — почернеть), La Grotte du dragon (Пещера дракона), где в 1917 году произошла резня, и неподалеку от них городок Soupir (вздох), Pontavert («pont» — мост; «avertir» — предупреждать) или Crâonne, где Массон стоял на посту и название которого вызывало ассоциации с черепом (crâne). Все эти совпадения, вероятно, были плодом случайности или, как говорил Массон, «того, что Андре Бретон называл «объективной случайностью»... Да, я немного похож на Бретона».

39. Туннель, жерло Брункебергского перехода. Выбор Андреем Тарковским этого особенного, стиснутого городского пространства для апокалиптических сцен в фильме «Жертвоприношение» случайно предопределил место убийства.

40. Надя открывает новое измерение в жизни и в городе. Она рассказывает, что сама выбрала себе имя, «потому что по-русски так начинается слово «надежда» и потому что это только начало». Не потому ли выбрал это имя Андре Бретон, что оно, кроме того, анаграммой кроется в имени АрИАДНа?

41. Нечаянность или случай в роли сводника аналогий. Андре Бретон считает, что «объективная случайность» была для него узловой точкой того, что он называет «проблемой проблем». Именно объективная случайность приводит его к жизнеопределяющей встрече с магнетической, восприимчивой и странной Надей. Они встречаются в

различных местах города, но дружба их прерывается, когда Надя, словно блуждающий дух, исчезает в недрах лечебницы для душевнобольных. Их первая неожиданная встреча произошла в один из тех мрачных и праздных дней, когда Бретон имел обыкновение слоняться по Парижу. «Я пересек перекресток, названия которого не помню и который расположен как раз против церкви. Вдруг на расстоянии десяти шагов я вижу очень бедно одетую женщину — она идет навстречу мне, она видит меня, а может, увидела раньше. В отличие от всех других прохожих, она высоко держит голову. Она движется так легко, будто не касается земли. Кажется, на ее губах блуждает незаметная улыбка. Косметика на ее лице наложена очень странно, словно, начав подкрашивать глаза, она не успела закончить дело, при этом веки подведены необычно темной для блондинки тушью... Никогда прежде я не видел таких глаз. Я не колеблясь заговариваю с незнакомкой, хотя — должен признаться — готов к худшему».

42. Ср. походку Нади («движется так легко, будто не касается земли») с характерными легкими шагами Градивы.

43. 4 октября 1926.

44. Фактически Андре Бретон начинает «*Сообщающиеся сосуды*» (*«Les vases communicants», 1932)* эпиграфом из романа Вильгельма Йенсена «*Градива*». В 1937 году он открыл одноименную художественную галерею на улице Сены. Стеклянный вход был выполнен Марселем Дюшаном; посетитель попадал в галерею через отверстие, образованное силуэтами влюбленной пары, героев романа «Градива», вырезанными из стекла.

45. Метаморфоза. В картине Андре Массона *«Градива»*, написанной в 1939 году по роману Йенсена и статье Фрейда, Градива изображена в момент превращения из девственного, целомудренного мрамора в живое физическое тело, то есть она изображена в самое мгновение преображения или перехода из классического произведения искусства в предмет необузданного желания. На заднем плане просматривается яростное извержение Везувия. Тело Градивы сделано из куска сырого мяса, ее лоно — из зубчатой раковины.

А. Массон. «Градива», 1939.

46. Ср. картину Марселя Дюшана «ПЕРЕХОД от девственницы к замужней женщине», с ее метаморфозой, преображением девушки в женщину, запечатленным в названии картины.

47. Здесь автор совершенно напрасно пытается систематически проследить эту тему у Джойса, Кафки, Борхеса, Роб-Грийе и др.

48. Большая часть работ Андре Массона, выполненных около 1940 года, действительно кружит вокруг мифа о критском лабиринте. Кстати, Массон вместе с Жоржем Батаем назвал новый журнал сюрреалистов «Минотавр» (вначале предполагалось дать ему название «Золотой век»). В чернильном рисунке Массона *«Изобретение лабиринта» (1942)* взволнованная, запутанная линия бежит словно бы беспорядочно. Только приглядевшись, можно обнаружить в рисунке какие-то путеводные нити: фрагмент спаривания Пасифаи с белым быком; хаос частей тела; половые органы; сексуальную тему; разрывы. Само произведение представляет собой след путешествия по лабиринту, где художник — Тесей, а автоматизм служит ему нитью Ариадны.

49. Напр., в картине Джексона Поллока *«Пасифая», 1943* (первонач. название — *«Моби Дик»*). Картина была написана после того, как Поллок в названном году увидел в Нью-Йорке одноименный рисунок мелом Массона.

50. У Гомера, Плутарха, Диодора, Овидия и др. Посейдон подарил критскому царю Миносу великолепного белого быка, который должен был быть принесен в жертву. Но Минос оставил белого быка в своем стаде, а в жертву принес другого быка. Тогда Посейдон внушил супруге Миноса, Пасифае, непреодолимое вожделение к быку. Изобретатель Дедал помог Пасифае — он сделал приманку в виде деревянной коровы, в которую забралась Пасифая, и белый бык ее покрыл.

Плодом этого совокупления стал рожденный Пасифаей Минотавр, получеловек, получудовище. Минос решил спрятать его, скрыв от мира, и для этого приказал Дедалу построить лабиринт, в центре которого и поместили Минотавра. Быку приносили человеческие жертвы. Не миновала эта участь и Афины, которые должны были каждый девятый год отправлять в лабиринт семь юношей и семь девушек. Однажды царскому сыну Тесею, который хотел попытаться убить Минотавра, удалось убедить отца, чтобы тот включил его в группу обреченных на гибель юношей.

На Крите Тесей встретил дочь Миноса и Пасифаи, Ариадну, и они влюбились друг в друга. Ариадна решила помочь возлюбленному и получила от Дедала клубок, с помощью которого Тесей смог бы выбраться из темного лабиринта. Тесей проник в лабиринт, убил Минотавра, а потом нить Ариадны вывела его наружу. После чего Тесей бежал вместе с Ариадной, которую, впрочем, бросил в Наксосе по пути в Афины.

А на Крите разъяренный Минос покарал Дедала: он запер строителя вместе с его сыном Икаром в лабиринте. Но Дедал, как всегда, нашел выход: он смастерил большие крылья, которые воском прилепил к своему телу и к телу Икара. Оба улетели из лабиринта, но опьяненный полетом Икар поднимался все выше к солнцу. Солнечные лучи растопили воск, и юноша упал в море.

Смерть Икара не удовлетворила жаждущего мщения Миноса. Он решил хитростью заманить Дедала, которого искал по всей Греции. «Кто сможет глубже всех ввести нить в спиралевидную раковину, а потом вывести ее наружу?» У царя Кокала (от греч. Koklos — спиралевидная раковина) он нашел человека, который решил задачу, пустив в раковину муравья, протащившего нить по всем ее изгибам. Этот человек не мог быть никем иным, кроме Дедала. Но Дедал почуял опасность и с помощью дочери Кокала сумел убить Миноса, хитроумным способом заменив воду в его ванне кипящей смолой.

51. Обратить внимание, что, несмотря на многочисленные упоминания о лабиринте в античной литературе, мы не найдем ни одного писателя, который сказал бы, что видел критский лабиринт собственными глазами.

52. Точнее, аналогия или соответствие. «Что такое соответствие, мы теперь не знаем. Иное дело древние, для них наука о соответствии была важнейшей из всех наук». *Emanuel Swedenborg. «Himmel och helvete», 1771 (Эмануэль Сведенборг. «Небо и ад»).*

53. Позвольте мне напомнить вам об этимологии символа. Греческий глагол «symballein» означал прибл. «бросать вместе», «соединять». Происшедшим от этого словом «symbolon» в Древней Греции называли опознавательный знак, который получался, когда монету или кусок кости разламывали, с тем чтобы, например, гонец и тот, к кому его посылали, в дальнейшем могли опознать друг друга. Каждому из них давали половинку монеты или кости, и, встретившись, они могли узнать друг друга, сложив обе части монеты или кости, которые должны были подойти друг к другу, как две частицы головоломки. В переносном смысле символ означал также отсутствующую, невидимую часть (ср. выражение Фомы Аквинского — «телесные метафоры духовного»).

54. «Примечательно, что ни Голд, ни Дэвид Гринглас вначале не могли вспомнить, что опознавательный знак, который они показали друг другу, состоял из двух частей упаковки сухого желе «Джелл-О». В своем первом показании на допросе ФБР Дэвид вспомнил только, что опознавательным знаком служила не то разрезанная, не то разорванная карта. И Голд на допросе 10 июля говорил о «двух неровных, разорванных клочках, которые при сложении подходили друг к другу». Но зато Рут Гринглас в своем первом подписанном показании от 17 июля установила, что опознавательным знаком служили две половинки лицевой стороны упаковки «Джелл-О». *Ronald Radosh and Joyce Milton. «The Rosenberg file», 1983 (Рональд Рейдош и Джойс Мильтон. «Дело Розенбергов»).*

55. «Absens et presens» — отсутствующий, небесный и присутствующий, земной Иерусалим. Последний служил несовершенным образом первого. Важность посещения святых мест долгое время оспаривалась. Шатобриан ни минуты не сомневается в значении паломничества, но в этом сомневается Нерваль, а задолго до него отец церкви Григорий Нисский: «Когда Господь призвал блаженных в Царствие Божие, он никогда не говорил, что они непременно должны перед тем посетить Иерусалим. Я знал о Рождестве в Вифлееме задолго до того, как побывал там, в том самом месте. Я знал о Воскресении задолго до того, как увидел Гроб Господень. Я не против того, чтобы совершить паломничество, но — внетелесное, а не из Каппадокии в Палестину». Однако при эсхатологических настроениях, царивших в конце первого тысячелетия, у людей все усиливалось желание оказаться в Иерусалиме, когда настанет конец света: там должны были встретиться оба Иерусалима, земной и небесный.

56. Здесь это привязано к понятиям *site* и *nonsite*. Творчество американского скульптора Роберта Смитсона существует в силовом поле между тем, что он называет *site* (место) и *nonsite* (не-место). Он начинал с поисков *site*, места, как бы пограничного с «ничто»; обычно это бывала какая-нибудь неприступная, забытая богом местность на обочине, пустыня, каменоломня или заброшенный промышленный район. Подобное *site* становилось исходным материалом для *nonsite*, представлявшего собой произведение искусства, помещенное в галерею. *Nonsite* было по своей природе фрагментарным, состояло из кучки песка или земли, собранной в изначальном *site*, в галерее оно помещалось в емкость геометрической формы и снабжалось некоторой топографической документацией о его происхождении, т. е. о его *site*. *Site* Смитсона было труднодоступным для публики, оно отсутствовало, но зато в помещении галереи публика могла при-

общиться к *nonsite*. Между этими двумя полюсами возникало напряжение, даже некая тяга. По мнению Смитсона, «то, с чем мы на самом деле сталкиваемся в *nonsite*, это отсутствие *site*; это очень мощное и тяжелое отсутствие». Таким образом, *nonsite* — это своего рода знак, толчок к работе воображения вокруг изначального отсутствующего *site*. *«A Nonsite, Pine Barren», 1968 («Nonsite, Пайн Баррен»)* было первым *nonsite* Роберта Смитсона. Произведение представляло собой сосуд, содержавший песок некоего *site* в Нью-Джерси, а именно старого аэродрома с песчаными посадочными площадками. Но в последнем *nonsite* Смитсона — *«Nonsite, site incertain» («Nonsite, site* неопределенное»*)* — связь с существующим, изначальным *site* очень ослаблена, открыта. Указание на то, что означает его *Nonsite,* размыто. Произведение состоит из угля, взятого где-то в Огайо и Кентукки, но более точное географическое расположение его *site* нам неизвестно; кроме того, создается впечатление, что оно теряется в веках, в каком-то далеком угольном геологическом периоде. См. «*Robert Smithson. Sculpture», ed. Robert Hobbs, 1981 («Роберт Смитсон. Скульптура», ред. Р. Хобс).*

57. «Symbola» в «Пире» Платона. Здесь рассказывается, что когда-то существовал род шарообразных андрогинов, которые мало-помалу стали такими могучими, что сделались угрозой для богов. Тогда Зевсу пришла мысль разделить их всех на две половинки, женскую и мужскую. Говоря об этих половинках, Платон как раз пользуется понятием «symbola»: «Когда их тела разделились надвое, половинки стали тосковать друг о друге и стремились встретиться». Таким образом, каждая половина искала вторую, отсутствующую.

58. Можно сказать, что эта фраза пародирует слова Гастона Башляра: «Сравнение иногда представляет собой символ, который еще не взял на себя полной ответственности». *Gaston Bachelard. «La flamme d'une chandelle», 1961 (Гастон Башляр. «Пламя свечи»).*

59. Подражание Новалису; «die Aufgabe in einem Buche das Universum zu finden»[1].

60. По догадке Колбрука.

61. Подобную же проблему ставит задуманное, но неосуществленное произведение, как источник реализованных, самостоятельных работ. С этой точки зрения можно рассмотреть и «*Книгу*» Малларме, и *Зеленую коробку* Марселя Дюшана. Последняя представляет собой зеленую картонную коробку, содержащую факсимиле заметок, документов и набросков на 93 страницах, которые не переплетены, как и наброски Малларме к *«Книге»*. Все заметки относятся к великому деянию (творению) Дюшана (и он и Малларме сознавали алхимические коннотации этих слов), его большому стеклу, над которым он начал работать в 1915 году и которое он оставил «окончательно неоконченным» в 1923 году. Но даже если считать это творение завершенным, заметки *Зеленой коробки* в высшей степени трудно истолковать, почему они и порождают разнообразные и все множащиеся интерпретации. Коробка словно бы живет самостоятельной жизнью. Заметкам Дюшана свойственна та же герметическая алгебра, та же поэтическая тайнопись, какую мы находим в набросках Малларме к его *«Книге»*:

Марсель Дюшан. Зеленая коробка.

Алгебраическое сравнение
$\frac{a}{b}$ «a» — экспонента
«b» — возможности
отношение $\frac{a}{b}$ никак нельзя рассматривать как
новое число «c»,
$\frac{a}{b} = c$. Оно находится только в дробной черте (—),
которая отделяет «a» от «b»; как только *a* и *b* становятся *«известны»*,
они превращаются в новые эталонные величины и теряют свои соответственные
числовые (или хронометрические) значения;

[1] Задача — в одной книге найти Вселенную (*нем.*).

остается знак «—», который их разделял *(знак соответствия* или, вернее, *знак... чего? Поищи!)*

Стефан Малларме, «Книга», лист 93

480 последняя граница наброска*

Каждый раз тройка содержит
эволюцию** 480 — идентичную самой себе
или развивающуюся в противоположном направлении

960

через
160 x 3 — расположенные так, что 1-е x 3, 2-е x 3 и т. д.

и так до 10-го
= 48 (x 10 = 480 x 2 = 960)
или 96 x 10

каждый сеанс или кусок —
это *игра*, фрагментарное изображение, но самодостаточное.
3 *состязательные*, удвоения

*фейерверк
**завеса, один из аспектов погони за наслаждением в книге

62. Эти отношения подтверждаются тем, что Арагон посвятил свой роман «Парижский крестьянин» Андре Массону.

63. «Метафизика мест» — выражение, используемое Луи Арагоном в «Парижском крестьянине» 1926 года. В этом романе Арагон исследует «lieux sacrés», священные места города Парижа. Но эти места, называемые им «современными Эфесами», скрыты завесой будней и, в отличие от старинных мест религиозных культов, не отмечены ни памятниками, ни достопримечательностями. Они ведут незаметное существование, они еще не открыты, и, однако, посреди шумного города они представляют собой своего рода узловые точки современных мифологий. В «Парижском крестьянине» Арагон исследует два таких места: сначала большие застекленные пассажи возле Оперы (Галерея Барометра и Галерея Термометра), а в последней части книги — забытый парк Бютт-Шомон в районе Бельвиля, в 19-м округе, довольно далеко от центра города. И парк и пассажи предстают перед нами как анахронизм, как явленные во сне следы исчезнувшего времени; полузабытый парк на окраине и пассажи, когда-то, в эпоху 2-й Империи, воплощавшие собой апофеоз нового времени, вскоре после выхода романа были снесены. Арагон увлекает читателя за собой на прогулку по этим метафизическим местам. Он заботлив и внимателен, как этнограф, как говорливый гид, который чередует точную информацию с брызжущими фантазией ассоциациями. При обходе пассажей ничто не укрывается от его взгляда. Он регистрирует все рестораны, кафе (в том числе кафе дадаистов «Серта», «место, где в конце 1919-го мы с Андре Бретоном решили отныне встречаться с друзьями, отчасти из ненависти к Монпарнасу и Монмартру, но и потому, что нам пришлась по вкусу двусмысленная атмосфера пассажей»), парикмахерские, магазины, вывески, меню, прейскуранты, выдержки из полемических статей, посвященных предстоящему сносу, театры, варьете. Писатель ведет нас даже в один из борделей на втором этаже пассажа — «Мадам Жанна, массаж». В прогулке Арагона пассажи предстают перед нами как похожие на сон искусительные учреждения, своего рода фантастические аквариумы, омытые приглушенным, голубовато-зеленым светом.

Парк Бютт-Шомон был открыт почти одновременно с пассажами. Вывеска у входа сегодня сообщает некоторые сведения о пестрой истории парка. В течение многих веков здешняя территория представляла собой холм, на котором стояла виселица и находились отхожие места. Мало-помалу, оценив выигрышную геологию этого места, здесь стали добывать гипс из открытых разломов, чем и объясняется драматичный пересеченный рельеф местности. В эпоху Наполеона III некоему инженеру Альфану поручили преоб-

разовать это мрачное место в парк и, по-видимому, он взялся за дело со всем пылом, твердо решив реализовать всевозможные фантастические причуды. Самая высокая точка романтического парка была увенчана «Храмом Сивиллы», другие холмы были связаны между собой двумя мостами, «Мостом самоубийцы» и висячим мостом, переброшенным через искусственное озеро. Однажды темным вечером, повинуясь неожиданной прихоти своего друга Андре Бретона, Арагон направляется сюда с ним и с Марселем Нолем. Холмы, гроты, статуи и памятники Бютт-Шомона описываются им во всех подробностях. Три друга бродят по парку, увлеченно беседуя и рассуждая, точно мальчишки, пустившиеся познавать мир. Необычная топография парка, влюбленные парочки, заполонившие его теплой ночью, придают парку особую, возбуждающую атмосферу таинственности. По мнению Арагона, городские парки — это следы тоски человечества по потерянному раю. В нашей любви к природе парков скрывается атавистическая чуткость к мистическому. Парк вызывает бессознательные фантазии, «там приходят в движение безумные мечты обывателей», это «декорация вожделения».

64. Своего рода поломанные оптические инструменты.

65. Можно сказать, что лабиринтообразные пассажи были зонами разного рода иллюзионизма. Здесь было тесно от диорам, зеркал, театров, кинотеатров, но пассажи были полны соблазнов и в своей коммерческой ипостаси, как предтечи современных универсальных магазинов. Освещенные витрины, декорированные так, чтобы будить фантазию прохожих, демонстрировали свои товары. Богатство выступало здесь, говоря словами Маркса из его предисловия к «Капиталу», в виде «неслыханного нагромождения товаров». Арагон описывает атмосферу пассажей как суггестивную, полную миражей, «фантомную». Этот иллюзорный мир наводит на мысль о прилагательных, какими Маркс характеризует товарную форму: «таинственная», «загадочная», «сверхъестественная», «мистическая». Товары — это «фетиши» в состоянии «сальто-мортале» и «метаморфоз» в своей постоянной циркуляции между продавцом и покупателем.

66. Под впечатлением места встреч в кафе «Серта» Вальтер Беньямин выдает такую метрику: «Дада был отцом сюрреализма; матерью был пассаж. Дада познакомился с ней уже на старости лет».

67. В «Наде» Андре Бретон более или менее случайно посещает следующие места в Париже:

Площадь Пантеона
Площадь Мобер
Бульвар Бонн-Нувель
Ворота Сен-Дени
Улицу Фонтен (адрес Бретона)
Улицу Гранж-Бательер
Пассаж Оперы
Сент-Уэн
Улицу Лафайетт
(здесь он встретил Надю)
Улицу Фобур-Пуассоньер
Улицу Шоссе д'Антенн
Площадь Дофина
Улицу Сент-Оноре
Улицу Сен-Жорж
Улицу Шеруа (адрес Нади)
Набережную Малаке
Улицу Сены
Улицу Варенн
Бульвар Мажанта
Пале-Руаяль
Бульвар Монмартр

68. Сам того не зная, он, однако, шел по чужим следам. Двадцать лет спустя после «Нади», в послесловии к книге «XVII Аркан» Андре Бретон вспоминает: «Как и в конце 1940-го, длинный газетный репортаж, вдохновленный яростными настроениями времени, заставил меня увидеть, что путь, которым в Париже следовал «мститель за тамплиеров», был почти неотличим от того, какой я сам неосознанно проделал вместе с Надей; точно так же, ведомый толкованием Жана Рише, я без труда дал себя убедить, что в чисто символическом плане я двигаюсь вместе с Нервалем по золотому следу». Вероятно, в ту пору, когда эти слова были написаны, Бретон как раз познакомился с оригинальной картой эзотерических представлений Нерваля, которую Рише составил в своем исследовании *«Жерар де Нерваль и эзотерические учения» (Jean Richer. «Gérard de Nerval et les doctrines ésotériques», 1947).*

69. Он анонимен, но, по-видимому, написан Й. Г. Л. Козегартеном.

70. Сюрреалисты наудачу кружат по городу. Бродя по Парижу, они его познают и начинают понимать. Их «герменевтическое» фланирование можно сравнить с каким-нибудь автоматическим рисунком из *«Духов и медиумов» Теодора Флурнуа (Théodore Flournoy. «Esprits et médiums»)*, спроецированным на карту Парижа, — они оставляют похожие следы.

71. Но не Надя. Это другая женщина, «неприлично красивая» Жаклин Ламба, которую Андре Бретон случайно встретил в кафе на площади Бланш 29 мая 1934-го. В ту же ночь он отправился следом за ней, «всевластной провожатой», бродить по ночному Парижу, в квартале вокруг Рынка, по улице Риволи, острову Сите, Латинскому кварталу и Цветочной набережной. Одно из самых трепетных, вибрирующих мест — башня Сен-Жак на улице Риволи. Казалось, Жаклин Ламба каким-то непостижимым образом знала, что та башня была одной из «сердцевинных тем» Бретона и что за несколько лет до этого в стихотворении *«Vigilance» («Бдение»)* он написал такие строки:

A Paris la tour Saint-Jacques chancelante
Pareille à un tournesol
{Покачивающаяся башня Сен-Жак в Париже,
похожая на подсолнух
(или «на лакмус»,
если вспомнить двойное значение слова «tournesol»)}.

Однажды утром, несколько дней спустя после прогулки, когда Бретон рассеянно занимается своим утренним туалетом, в его сознании неожиданно всплывают слова, которые оказываются отрывком из его собственного стихотворения *«Подсолнух» («Tournesól»)*, которое он почти забыл и к тому же никогда особенно не любил. «Подсолнух» — «автоматическое стихотворение», относящееся к автоматическому периоду сюрреалистов, Бретон датировал его 1923 годом. Теперь, одиннадцать лет спустя, оно напомнило о себе; Бретон находит стихотворение, перечитывает, и его вдруг поражает: в «Подсолнухе» провидчески описана его ночная прогулка с Жаклин Ламба! Совпадает все: душевное состояние, маршрут и метафоры. Ср. *A. Breton. «L'amour fou», 1937 (А. Бретон. «Безумная любовь»)*.

72. *Ibid.*

73. В журнале «Минотавр» (1933, № 3—4) Андре Бретон исследует магистральный путь сюрреалистического рая — автоматизм. Он рассматривает отношение между сюрреалистическим и медиумическим автоматизмом. Оба отмечены определенной механистичностью: рука пишет или рисует как бы сама собой и для обладателя руки результат неожидан. Главное, решающее отличие состоит в том, что сюрреализм отказывается признать спиритических духов. Посыл, диктовка идет не из мира духов, отдельных от медиума, но изнутри, от бессознательного в человеке — святой земли сюрреалистов, или, как ее называет Бретон, «общей родины». Если спиритизм *отделяет* медиума от духа,

Рисунок Нади.

сюрреализм считает своей целью *соединить* сознательное «я» человека с бессознательным. Статья богато иллюстрирована различными автоматическими и медиумическими рисунками, такими, как, например, *«Дом Моцарта на Юпитере»*, нарисованный драматургом Викторьеном Сарду под диктовку Бернара Палисси, или рисунком Элен Смит из ее *«Из Индии на планету Марс»* и *«Из Индии в Святую землю»*. Там приведен также один из рисунков Нади, взятых из одноименного романа.

74. Почерк «автоматически» написанного *«Преображенного слова»* (*«Ordet förklarat»)*, как и некоторые отрывки из *«Духовного дневника»* (*«Andliga dagboken»),* заметно отличается от обычного почерка, которым написаны другие рукописи Сведенборга; он более угловатый, резкий и неразборчивый и меняется в зависимости от того, какой дух диктует. Собственные пометки Сведенборга, безусловно, подтверждают гипотезу об автоматическом письме. Например, в одном месте он говорит: «Я исписал целые страницы, но духи не диктовали мне слова, а все время водили моей рукой, так что писали они». Иногда автоматизм соединен с чисто слуховой диктовкой: «Эти слова... сообщались мне изустно, почти явственно, и произносили их дети, стоявшие тогда вокруг меня, и это они говорили моими устами и к тому же сами водили моей рукой». Диктовка, пережитая Сведенборгом, наводит на мысль об определении сюрреализма в *«Первом манифесте сюрреализма»* 1924 года. В нем сюрреализм определяется как «чистый психический автоматизм», который содержит «диктовку мысли при полном отсутствии контроля разума». Ср. *Signe Toksvig. «Emanuel Swedenborg», 1949 (Сигне Туксвиг. «Эмануэль Сведенборг»).*

75. Как утверждают, в его библиотеке есть пожелтевшая книга о приступах ярости у шведов.

76. Добраться до Бреа парусной шлюпкой, которая служит паромом, можно минут за десять. На этом скалистом острове Эрнст Юсефсон заболел шизофренией в 1888 году — тогда же, когда и Ван Гог. Юсефсон укрылся на этом острове вместе со своим другом, художником Алланом Эстерлиндом, может быть, для того, чтобы зализать раны, нанесенные ему отсутствием признания, а также изнурительными конфликтами с Союзом шведских художников. Его заболевание тесно связано с автоматизмом и изучением Сведенборга. Автоматические рисунки Юсефсона стали, по-видимому, следствием его контактов с женой французского художника мадам Дюпюи. Она жила на острове и занималась тем, что становилось в эту эпоху модным течением, а именно — спиритизмом. Для мадам Дюпюи все это было очень серьезно, потому что ей казалось, что с помощью спиритизма она может ежедневно разговаривать с сыном, который утонул в море у Бреа.

Мадам Дюпюи пригласила Эрнста Юсефсона и Аллана Эстерлинда принять участие в спиритических сеансах. «Мы уселись вокруг стола, — рассказывает Аллан Эстерлинд, — и стол начал вдруг стучать, и поднялся вверх, и задвигался в сторону Юсефа. «О! — воскликнула мадам Дюпюи, — вы, несомненно, замечательный медиум и должны обязательно попробовать!» И она научила нас различным способам общения с духами, и прежде всего — держать перо до тех пор, пока рука сама не начнет двигаться».

От этих сеансов берут начало первые рисунки Юсефсона периода его болезни, изображения простых линий и фигур, подписанные духами, которые водили его рукой: Микеланджело, Рафаэлем и Рембрандтом. «До поздней ночи просиживали мы у стола, следя за рисующей рукой Ю.», — рассказывал Эстерлинд в одном из писем.

Есть ли общий знаменатель между этим спиритическим автоматизмом и сюрреалистическим автоматизмом Андре Бретона и Филиппа Супо, о которых идет речь в книге *«Магнитные поля»*? Такой знаток, как Анна Балакьян, пытается связать эти нити воедино и указывает на французского психиатра, профессора Пьера Жане, практически ровесника Фрейда. Андре Бретон, который вначале изучал медицину, в студенческую пору ознакомился с книгами Жане. Во время первой мировой войны Бретон служил в больнице Сен-Дизье, где лечил солдат, которые перенесли на фронте тяжелый шок или заболели психозами. Их навязчивые мысли, сбивчивая речь и странное поведение обострили интерес Бретона к психиатрии и к открытиям Жане и Фрейда. Балакьян указывает, что можно проследить, как некоторые ключевые понятия сюрреалистов, в том числе и «маг-

нитное поле» и «автоматизм», ведут к Жане. Для Жане автоматизм — это такое состояние, когда исчезает контроль сознательного. Он приводит в пример ситуацию, когда мы не можем вспомнить, как пишется чье-то имя, оно, так сказать, выпало из нашей памяти. *Думая*, мы этого не вспомним, но, если, расслабившись, мы будем рассеянно водить ручкой, мы можем неожиданно попасть в точку. «Пусть перо движется автоматически, — говорит Жане, — как медиум, вопрошающий свое нутро». Жане изучал феномен медиумов, но, как и Теодор Флурнуа, он не считал, что речь здесь идет о сверхъестественном контакте с миром духов; истоком были бессознательные пласты внутри самого человека, и автоматизм оказывался тут способом добраться до них. В отличие от Балакьян, другие исследователи пытались приглушить роль Жане (как, например, сам Бретон) и выдвинуть на первый план британского ученого, основателя научно-исследовательского института психологии Ф. У. С. Майерса, который занимался изучением различных паранормальных явлений.

Так или иначе, сюрреалисты питали пристрастие к пионерам психоанализа, то есть, наряду с Фрейдом, к Жане, Флурнуа и Майерсу (но не к К. Г. Юнгу, который, по их мнению, изменил революционному характеру теории психоанализа). Сюрреалистов должна была пленять та атмосфера фантазии, магнетизма, интереса к медиумам и к истерии, которая окружала первые ростки психоаналитических исследований. Так, Жане и Майерс разделяли интерес Фрейда к истерии. Жане описывает экстаз женщин-истеричек в терминах, которые мы позднее встретим у Бретона, — «безумная любовь», «конвульсивная любовь». Сюрреалистам казалось, что исследования ранних психоаналитиков открывают эстетическое измерение в истерии. Вполне последовательно Арагон и Бретон посвящают целый разворот газеты «La révolution surréaliste», 1928,11 чествованию истерии в связи с ее пятидесятилетием. «Мы, сюрреалисты, хотим отпраздновать здесь пятидесятилетний юбилей истерии, величайшего поэтического открытия конца XIX века». Это чествование проиллюстрировано фотографиями из архива Шарко в больнице Сальпетриер: женщины, отличающиеся ребячливым, неуправляемым поведением, эротические пророчицы и феи. Ср. *Anna Balakian. «André Breton. The magus of surrealism», 1971(Анна Балакьян. «Андре Бретон. Маг сюрреализма»), Саран Александриан, а.а.*

77. Переписчик.

III

1. В этой связи нельзя не вспомнить о случайных следах лабиринта, которые образуются складками и морщинками одежды. Существенная часть старой европейской живописи посвящена изображению таких складок. На картине Рогира Ван дер Вейдена *«Чи-тающая Магдалина»*, написанной в середине XV века, загипнотизированный глаз следует за извилинами складок зеленого платья женщины. Одежда, которая, как литературный мотив, по сути дела, имеет периферийное значение, становится центром произведения искусства. Это — парадоксальное вторжение свободной, абстрактной живописи в кропотливый фламандский реализм XV века. Здесь мы ощущаем дыхание европейской мистики, контрабандно запрятанной в одежду, закамуфлированной ею, — если только мы не предпочтем в духе Броби Юхансена усмотреть в обильных складках отражение экспансии фламандской текстильной промышленности.

Во время эксперимента с наркотическим препаратом мескалином Олдос Хаксли созерцал эту складчатую географию на боттичеллиевской *«Юдифи»* и на своих собственных будничных серых брюках. Он увидел в ней сообщение о Сущем в его чистом виде, «Istigheit» Майстера Экхарта:

«Мой взгляд приковали к себе пурпурный шелк складчатого лифа Юдифи и ее длинная винно-красная юбка.

Это было нечто, уже виденное мной — виденное как раз в это утро в промежутке между созерцанием цветов и мебели. Я случайно опустил глаза вниз на свои скрещенные ноги. И застыл, как околдованный. Эти складки брюк — какой лабиринт бесконечных многозначительных сочетаний! И фактура ткани серой фланели — какая богатая,

глубокая, мистическая роскошь! А теперь я обнаружил все это на картине Боттичелли.

Углубившись в созерцание платья Юдифи, я понял, что Боттичелли — и не только он, но и многие другие — увидел одежду в том просветленном и просветляющем свете, что и я этим ранним утром. Они увидели в складчатой одежде Istigheit, Всеобщность и Бесконечность и сделали все, что могли, чтобы передать свое видение в красках или в камне. Но успеха не достигли, что было естественно и неотвратимо. Потому что великолепие и чудо чистого существования относятся к другому ряду явлений, их не в силах выразить даже самое высокое искусство. Однако, глядя на одежду Юдифи, я явственно понял, что́ бы я, будь я гениальным художником, сделал со своими старыми брюками из серой фланели. Видит Бог, это немного в сравнении с действительностью. Но достаточно, чтобы заворожить многие поколения зрителей, достаточно, чтобы заставить их понять истинное содержание того, что мы в своей трогательной наивности зовем «всего лишь вещь» и чем мы пренебрегаем, предпочитая этому, например, телевидение». *Aldous Huxley. «The Doors of Perception». 1954 (Олдос Хаксли. «Врата восприятия»).*

Р. Ван дер Вейден. «Читающая Магдалина», ок. 1450.

2. Согласно старинной легенде, после распятия Христа звезда привела Марию Магдалину к горе в Провансе. С тех пор она жила там в пещере.

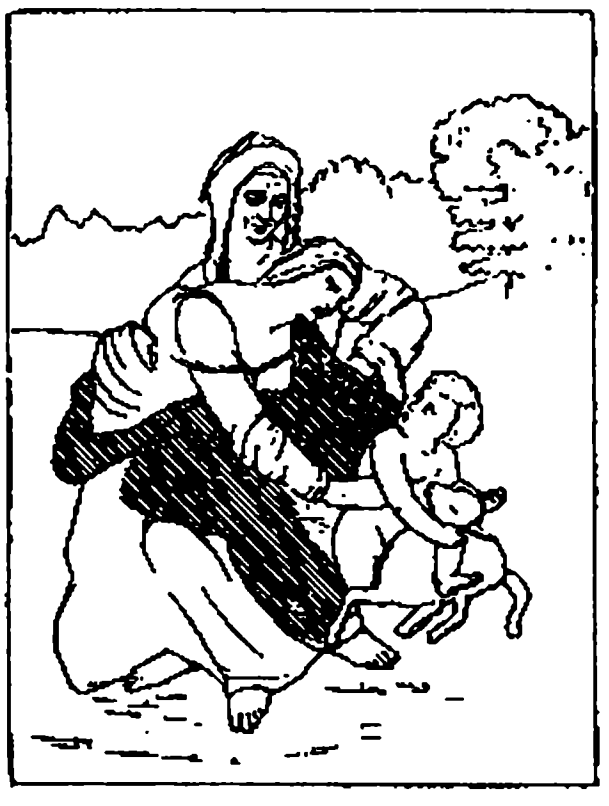
3. Это приводит на память мысли Малларме о таинственных складках сброшюрованной книги. Нарушить ее герметичность означает изнасиловать ее, причинить ей боль и оскорбление, как при покорении девственницы или укрепленного священного города. Малларме пишет в *«Разглагольствованиях»*: «Если говорить о том, как я читаю сброшюрованную книгу, то обыкновенно я размахиваю ножом, словно повар, вознамерившийся перерезать горло курице. Девственные складки печатного листа готовятся к тому же жертвоприношению, от которого сочился кровью обрез старых фолиантов; мы вонзаем оружие или разрезной нож, чтобы добиться победы... Так слепо, неучтиво нападение, завершающееся разрушением этой хрупкой ломкости. Казалось бы, симпатии должны быть отданы газете, которая защищена от подобного обращения. И однако влияние газет тлетворно; газета вызывает раздражение, она неудобочитаема, литература ее обличает, газета монотонна в сравнении с божественной книгой — она остается отвратитель-

ной полосой размером в лист, которую усердно распространяют в сотнях и сотнях экземпляров».

4. Ср. складки, образующие лабиринт на картине Леонардо да Винчи, где изображена Дева Мария с младенцем и со своей матерью Анной.

В 1910 году Зигмунд Фрейд пытался очертить путь сексуального развития Леонардо в своем исследовании *«Leonardo. Eine Kindheitserinnerung» («Леонардо. Воспоминание о детстве»).* Он изучил горы рукописей Леонардо, посвященных искусству, естественным наукам и изобретениям, но нашел только один маленький фрагмент личного характера. В отрывке о полете птиц Леонардо вдруг вспоминает о том, как однажды, когда он был младенцем и лежал в колыбели, прилетел гриф, сел с ним рядом и ввел ему в рот перья своего хвоста. Этот на первый взгляд не имеющий отношения к делу фрагмент становится отправной точкой исследования Фрейда, путеводной нитью, с помощью которой он разбирает тайные стороны личности Леонардо и его творчество. В конце книги все как будто становится очевидным: и скрытая гомосексуальность Леонардо, и его максимальная способность к сублимации. Гриф трактуется как символ материнства, ибо связь с матерью — одна из важнейших тем у Леонардо. *«Мона Лиза»* являет нам в одно и то же время нежную мать и любовницу-вампира, *«Дева Мария с младенцем и святой Анной»* оказывается двойным портретом матери. Вопрос исчерпан.

Но вскоре после выхода в свет книги Фрейда его друг Оскар Пфистер сделал сенсационное открытие. Если мать, замаскированная под грифа, фигурирует в единственном оставленном Леонардо воспоминании детства или, вернее, в его единственной фантазии на темы детства, не должен ли гриф встречаться и в его искусстве? В самом деле — именно в картине *«Дева Мария с младенцем и святой Анной»* Пфистер находит грифа, наполовину скрытого в складках одежды Марии! Извилины одежды должны были быть написаны автоматически, кистью водила диктовка бессознательного. Но только потом, только для Пфистера приобрели эти извилины определенный и неожиданный смысл. Пфистер нарисовал схему, чтобы все остальные могли увидеть то, что увидел он: гриф лежит на спине на коленях у Марии. Голова с характерным клювом прижата к спине Богоматери, одно крыло свисает вниз по ее правой ноге, а ткань на ее левой руке образует хвостовые перья грифа, которые очень четко вырисовываются у рта младенца Иисуса/Леонардо. Одежда Марии, претерпев метаморфозу, приобретает значение символа. Она отсылает нас к чему-то отсутствующему, невидимому, но не к чистому Сущему, как складки в Боттичеллиевой *«Юдифи»*, а к бессознательному, вытесненному и «забытому» желанию. Один «исследователь» впоследствии указал, что все рассуждение Фрейда зиждется на неправильном переводе и что «nibbio» в отрывке воспоминаний Леонардо по-итальянски означает не грифа, а красного коршуна.



5. Фрейд как писатель или как ученый и неутомимый осушитель Зёйдерзее? Как вечный, неудержимый толкователь он непревзойден, независимо от того, насколько верна его теория. Такой исследователь, как Ален Меджилл, *а.а.*, считает, что фрейдовское

«Толкование сновидений» — произведение попросту гениальное, даже если каждый вывод в нем окажется ошибочным. Также и Мирча Элиаде видит во Фрейде прежде всего писателя и мифотворца, а не ученого. В одной из дневниковых записей от декабря 1960-го он пишет: «Предлагаемые Фрейдом толкования имеют все больший успех, поскольку они принадлежат к числу мифов, доступных современному человеку. Возьмем, например, миф об отцеубийстве, преобразованный и истолкованный в книге *«Тотем и табу»* (*«Totem und Tabu»*). В примитивных религиях и мифологиях совершенно невозможно найти хоть один пример отцеубийства. Этот *миф* — творение самого Фрейда. И что особенно интересно: интеллектуальная элита принимает его (потому ли, что он правдив, или потому, что она его понимает? А может, потому, что он «правдив» для современного человека?)». *M. Eliade. «Fragments d'un journal», 1973 (М. Элиаде. «Отрывки из дневника»).* Другими словами — быть может, Фрейд не столько раввин, сколько поэт.

6. Этого не произошло.

7. «На уровне улицы Мо мы не заметили маленькой красной штриховой линии, которая отмечала границу между двумя районами города: Ла Виллетт и Комба. Мы прошли станцию метро «Боливар», где улица Боливара образует спиралевидную кривую, выходящую на пустырь, на котором недавно появились новостройки. Там прокладывают улицу Секретан, упирающуюся в большую кучу брусчатки неподалеку от училища Жакард. Облик великих преобразователей городской жизни становится грозным, когда они приближаются *к парку, где прячется городское бессознательное»*... (курсив мой. — *П. Корнель*; имеется в виду Бютт-Шомон). *L. Aragon. «Le paysan de Paris». (Л. Арагон. «Парижский крестьянин»).*

8. Хумлегорден как «бессознательное города». Ср. историю болезни Эрнста Юсефсона в Уппсальской больнице в 1888 году. Его только что привезли в Швецию с острова Бреа. «По-видимому, в настоящее время галлюцинаций у него нет, но раньше были. (Он утверждает, что видел дым и испарения, поднимавшиеся в разных местах Хумлегордена в Стокгольме, и чувствовал зловоние.) Память в основном хорошая. Мысль живая, торопливая. Ложные представления: ему чудится, что его самого и других честных людей преследует лига, состоящая из масонов и серафов».

9. Характеристика парков как «декорации вожделения» (Арагон) наводят на мысль о лабиринтах любви, которые были модны в садовой архитектуре между 1550 и 1650 годами. Лабиринты любви, в которых звучал отголосок древних магических ритуалов плодородия, должны были символизировать сложности любви. Они состояли из высоких подстриженных шпалер, расположенных концентрическими кругами, по-видимому по образцу французских церковных лабиринтов. Шпалеры предлагали подходящее убежище для поцелуев украдкой и тайники для интимных встреч. В центре лабиринта любви помещали майское дерево, как символ плодородия и напоминание о райском древе жизни. См. *Г. Керн, а. а.*

10. О парке как исходном пункте скитаний по городскому лабиринту см. СОУ, 1951:21.

«Показания Нильсона привели к тому, что по представлению интенданта уголовной полиции Сеттерквиста и с согласия управления тюрьмами Нильсона доставили в Стокгольм, где 21 июня 1950 года его провели по городу, с тем чтобы он смог указать дом, где жил пастор. Прогулка продолжалась два часа под наблюдением Винберга и при участии Паульсона. Перед началом прогулки Нильсону был задан вопрос, слышал ли он имя пастора, о котором идет речь, и помнит ли он, на какой улице живет этот пастор. Нильсон ответил, что не помнит, называл ли пастор свое имя. Что касается улицы, он знал только, что она «расположена где-то в районе Сёдера». Маршрут, начатый в Хумлегордене, дальше был составлен в соответствии с показаниями Нильсона, и когда мало-помалу группа добралась до района южнее Слюссена, оказалось, что Нильсон, несмотря на тщательные поиски, не может найти дом, в котором он однажды побывал. В конце концов Нильсон заявил, будто может с уверенностью утверждать, что дом пастора был расположен восточнее Ётгатан на улице, круто поднимавшейся вверх, и что на этой улице было несколько старых деревянных домов. Пастор жил на третьем этаже каменного дома, и Ниль-

сон помнил только, что лестница в подъезде была винтовая и на площадку каждого этажа выходила только одна дверь».

«Utredning angående myndigheternas förhållande i den s.k. Kejneaffären m. m.», 1951 («Расследование, касающееся поведения властей в так называемом деле Кейне и пр.»).

11. Точнее, Шведская национальная библиотека, построенная в этом же парке. (Ср. слова Арагона: «где приходят в движение безумные мечты обывателей».)

12. Парк как городская глушь; намекает на загадочные уличные беспорядки, так называемые Берцелиусовские беспорядки в Стокгольме летом 1951 года. Поздней ночью в парке собирались представители андеграунда, проститутки обоего пола, сутенеры и хулиганы. Здесь происходили постоянные драки, скандалы, которые привлекали любопытных из тех, кто оказался ночью на улице. «Дагенс нюхетер» сообщает о бурной ночи на 26 августа: «Потом толпа потянулась в парк Берцелиуса, где вскоре началась давка. Воздух наполнился криками и свистками, обстановка все более накалялась. Некоторые полицейские обнажили оружие и, яростно размахивая им, оттеснили толпу на маленькие улицы вокруг парка».

13. Вряд ли есть необходимость подчеркивать здесь гегельянский отзвук.

14. Без сомнения, речь идет о парке Хага. Летом 1951 года Энбум жил в гроте в этом парке.

15. Государство и пресса против Лиги Энбума. В свидетельствах, в которых дано описание Энбума, осужденного на пожизненное заключение, выявляются черты взрослого ребенка и фантазера-мечтателя:

«Прежде всего, о нем говорят, что он никогда не чистит свою одежду, что на воротнике его пиджака лежит толстый слой пыли и волос и т. д. Из-за этого он часто получал замечания от начальства и отвечал на это, что не создан быть железнодорожником. Инспектору по движению приходилось требовать, чтобы он надел чистую рубашку. Тогда на следующий день на нем появлялась чистая рубашка, но она оставалась чистой только один день».

Такие замечания о внешности Энбума высказывали практически все, кто знал его в то время. О нем говорили как о человеке, который выглядел неряшливым и просто нечистоплотным, даже в форме. Волос он не стриг. Приходилось напоминать ему, чтобы он мылся и следил за собой. Одежда его порой была в лохмотьях».

«Ur Gunnar Inghes och Gustav Jonssons utlåtande». Jf Clarté, 1953: 1—2 och Arne Trankell, a. a. («Из заключения Гуннара Инге и Густава Юнсона». Ср. *«Кларте», 1953: 1—2 и Арне Транкель, а. а.).*

16. «В высшей степени неряшлив в своем внешнем облике». Далее Мартин Ламм рассказывает: «Лиден, который встретил его (Сведенборга) в 1769 году в Лондоне, говорит, что «одежда его была очень грязная, просто загаженная; лицо и руки имели вид такой, словно их много лет не мыли». Пастор шведской миссии Ферелиус сообщает, что Сведенборг никогда не умывал ни лица, ни рук и не чистил одежды, говоря, что «к нему не пристает ни пыль, ни нечистота». *M. Lamm. «Swedenborg», 1915 (М. Ламм. «Сведенборг»).*

17. Согласно сведениям, которые приводятся у К. Г. Юнга (*C. G. Jung. «Wandlungen und Symbole der Libido», 1911—12; «Превращения и символы либидо»*), восточная легенда утверждает, что крестоносцы, чтобы стать непобедимыми, вымазывали себя экскрементами папы.

18. *Ibid.* Юнг пишет: «Мы можем также указать на тесную связь между экскрементами и золотом: низший мир связывается с миром высшим. Алхимики искали первоматерию (prima materia) в экскрементах, одной из тех загадочных субстанций, в которых они надеялись увидеть мистический образ философского камня, filius philosophorum.

19. Следовательно, не только у невротика. По-видимому, парадоксальная на первый взгляд идентификация золота с испражнениями вообще свойственна миру человеческой фантазии. В *«Характере и анальной эротике»* (*«Charakter und Analerotik»*) 1908 года Фрейд приводит множество примеров подобных представлений. Он считает, что они могли возникнуть оттого, что золото и экскременты являют собой, на взгляд человека,

самое ценное и, соответственно, самое нестоящее; как два полюса в противопоставлении, они легко ассоциируются друг с другом. В некоторых архаических культурах, в которых раковины использовались как средство платежа, раковины считались экскрементами моря. Ср. также *Norman O. Brown. «Life against death», 1959 (Норман О. Браун. «Жизнь против смерти»).*

20. Венгерский коллега Фрейда, Шандор Ференци, считал экскременты первыми детскими игрушками. В играх, которые доставляют детям удовольствие, эти игрушки мало-помалу заменяются более приличными субстанциями, глиной, грязью — своего рода не имеющим запаха вариантом экскрементов. Глина, в свою очередь, заменяется более чистым, более сухим материалом, санкционированным взрослыми: песком в песочнице, которому, однако, удается сохранять свою функцию заместителя в детской игре. Между тем ребенок иногда вновь возвращается в стадию пачканья и льет в песок воду и даже мочу. Из песка он делает пирожки, что может быть истолковано как остаток изначальных копрофилических импульсов.

На следующем уровне песок заменяется камешками особой формы и цвета. Потом приходят стеклянные и мраморные шарики, которым придается особая ценность, как своеобразной примитивной монете. А на следующем уровне, кажущемся самым чистым, шарики заменяются деньгами; деньги собирают кучками («деньги не пахнут»). Рудименты этих связей оставили следы в словоупотреблении, в выражениях «сидеть на своем богатстве». См. *Sandor Ferenczi. «The ontogenesis of the interest in money», опубл. в «Internat. Zeitschrift für ärtzliche Psychoanalyse», 1914 (Шандор Ференци. «Онтогенез интереса к деньгам»,* опубл. в *Междунар. журнале по вопросам медицинского психоанализа, 1914).* Ср. также *N. O. Brown, a. a.*

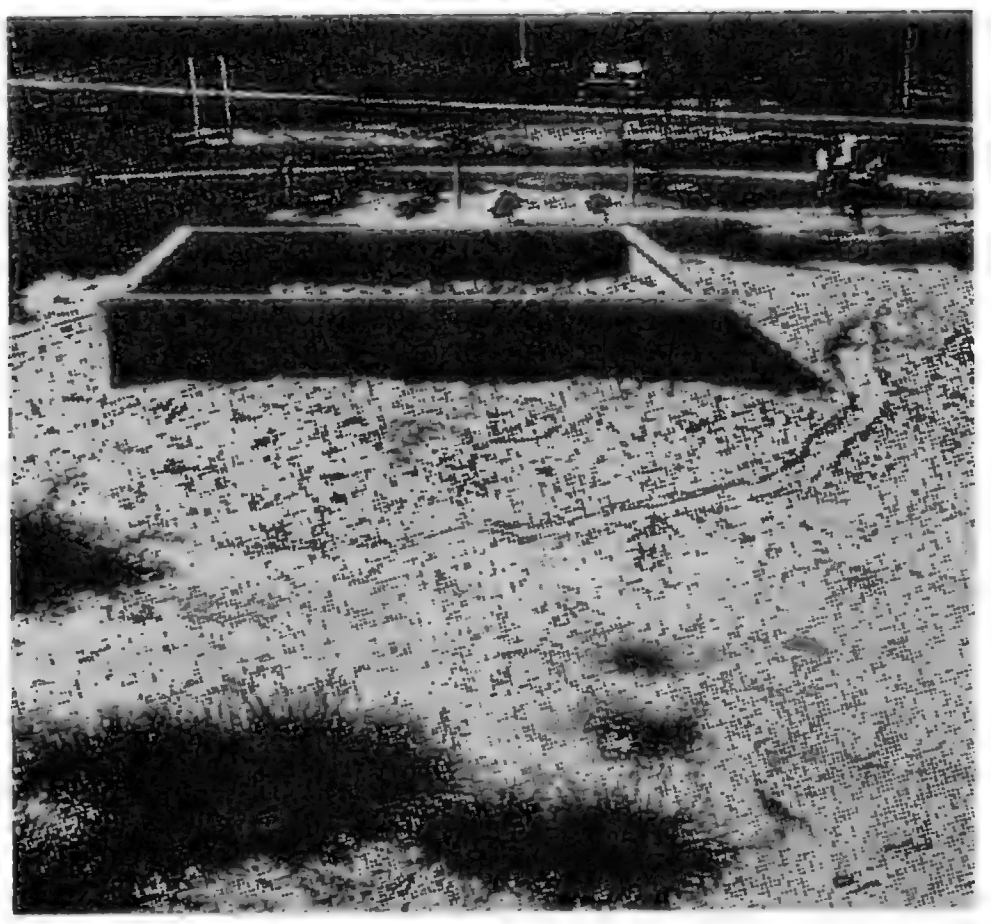
21. Так считает, напр., Берч: «Остается неясным, думает ли он это всерьез или это просто *игра ума*».

22. Он выливал огромное количество вара или клея, которые стекали по откосу, как лава. Ср. также описание произведений Роберта Смитсона «*Broken circle*» и «*Spiral Hill», 1971 («Разорванный круг» и «Спираль Холм»)* в Эммене (Голландия). «Разорванный круг» — зеленая вода, белый и желтый песок, канал 4 метра шириной, пруд в песчаном карьере 4 метра глубиной. «Спираль Холм» — земля, черный перегной, белый песок. Если в свое время посетителей поражала клиническая чистота мастерской Мондриана, то их настолько же изумляла грязь и разруха в ателье Смитсона.

23. Заметки находятся в частном владении.

24. Часть слова оторвана.

25. Когда Роберт Смитсон бродил среди памятников своего детства в Пассейике, штат Нью-Джерси, ему показалось, что его парадоксальный рай проглядывает в квадратной песочнице, называемой еще *«Пустыня»*: «Последним памятником была песочница, или



модель пустыни. В мертвенном послеполуденном свете Пассейика пустыня стала картой бесконечного выветривания и забвения. Этот монумент, состоящий из мелких-мелких частиц, сверкал в холодных солнечных лучах и вызывал в представлении гибель всего континента, высыхание океана, и не было уже ни зеленых лесов, ни высоких гор — только миллионы песчинок, гигантские мощные напластования костей и камня, превратившиеся в прах».

26. Равнина Иордана вокруг Содома и Гоморры вначале была плодородной, «как сад Господень», но после их гибели была совершенно выжжена.

27. Земной рай на Западе. Мир представлений американских пионеров явно окрашен эсхатологическими фантазиями о земном рае. Описания первыми поселенцами девственной страны пронизаны мифом об Эдеме. Они отмечали, например, что Джорджия лежит на той же широте, что и Палестина. Вирджинию описывали как Ханаан, страну, «где течет молоко и мед», а Новую Англию и Мериленд — как «земной рай». В повторяющейся приставке «Нью» (Нью-Ингленд, Нью-Хейвен, Нью-Йорк) слышится эхо нового Иерусалима. Пионеры сравнивали себя с ветхозаветным народом Израиля; как евреи бежали из египетского плена, так и они бежали из Европы, переплыли громадное море и оказались в Святой земле. Да, именно Америка избрана быть местом второго пришествия Христа, считали колонисты в XVII веке. (Ср. *Charles Sandford. «The quest for paradise», 1961 (Чарльз Сандфорд. «Поиски рая»)*. В Америке же пытались осуществить свой земной рай и европейские утописты, Оуэн в Новой Гармонии и Кабе в Икарии. Фантазии и надежды оказались живучими в американском сознании. Мы вновь узнаем их в американской живописи XIX века с ее изображением плодородных просторов, неохватных горных массивов и водных пространств. За горными хребтами угадывается Эдем. Эти же темы варьируются регионализмом XX века, в деревенских идиллиях Гранта Вуда или учителя Поллока, Томаса Бентона. Не является ли земельный проект 70-х гг. парадоксальным продолжением той же мифологии? Во всяком случае, мы находим здесь тот же головокружительный масштаб, тот же поиск *sites,* своего рода святых мест. Но речь уже больше не идет о земле, текущей молоком и медом, а о высохшем морском дне, соленых озерах и бесплодных пустынях — о земле, которая и в самом деле может привести на память части библейской Палестины.

28. Полный ожидания, благоговейно приблизился Роберт Смитсон к Большому Солёному озеру в Юте, где впоследствии была поставлена его «*Спираль Дамба*»: «Медленно приближались мы к озеру, которое напоминало неподвижную, лиловатую плоскость, заключенную в каменную литейную форму, на которую солнце изливало свой испепеляющий свет. Широкие, просоленные берега обрамляли озеро, в их напластованиях застряли многочисленные обломки крушений. Сохранился старый волнолом, словно врезавшийся в берег. Вид этого перемешанного мусора и отбросов переносил тебя к предыстории современной эпохи. Промышленные продукты девонского периода, остатки технологии силурийской системы и все орудия верхнего каменноугольного периода терялись в этих протяженных наслоениях песка и глины». «*The writings of Robert Smithson», ed. Nancy Holt, 1979 («Сочинения Роберта Смитсона», ред. Нэнси Холт).*

29. В *«Географическом описании Палестины, или Земли обетованной, а также Каменистой Аравии»* 1784 года. *Собрание редких книг Королевской библиотеки. (Geografisk beskrifning öfwer Palästina eller Förlowade Landet samt Steniga Arabien. Kungliga Bibliotekets rar. saml.)* Антон Фр. Бюшинг делает попытки отделить мифы от наблюдений путешественников, задача достойная, но весьма сложная, ибо свидетельства очевидцев уже безнадежно заражены старыми преданиями:

«Расположено сие озеро там, где в древности находилась прекраснейшая и плодородная долина Сиддим, в которой лежали пять городов — Содом, Гоморра, Адама, Севоим и Бела, или Сигор, — и которую (подобно земле Египетской в кн. Бытия 13,10) изрезывали бесчисленные каналы и ямы. Дно долины было богато асфальтом (иудиной или земляной смолой), о смоляных ямах говорится в кн. Бытия 14,10. Господь зажег своими молниями эти ямы и другие горючие вещества, находившиеся в сей долине. Города провалились, и вместо прекрасной ложбины, где, по уверениям Курте, находился Рай, что

полагал и доктор Лютер, возникло ныне существующее озеро. И по сей день идет спор, не сохранились ли в озере остатки ушедших в землю городов. Утверждение о том, что остатки домов еще находятся в озере, может быть подкреплено не вызывающими сомнений свидетельствами, но остатки ли это Содома, как некоторые утверждают и верят, вопрос другой...

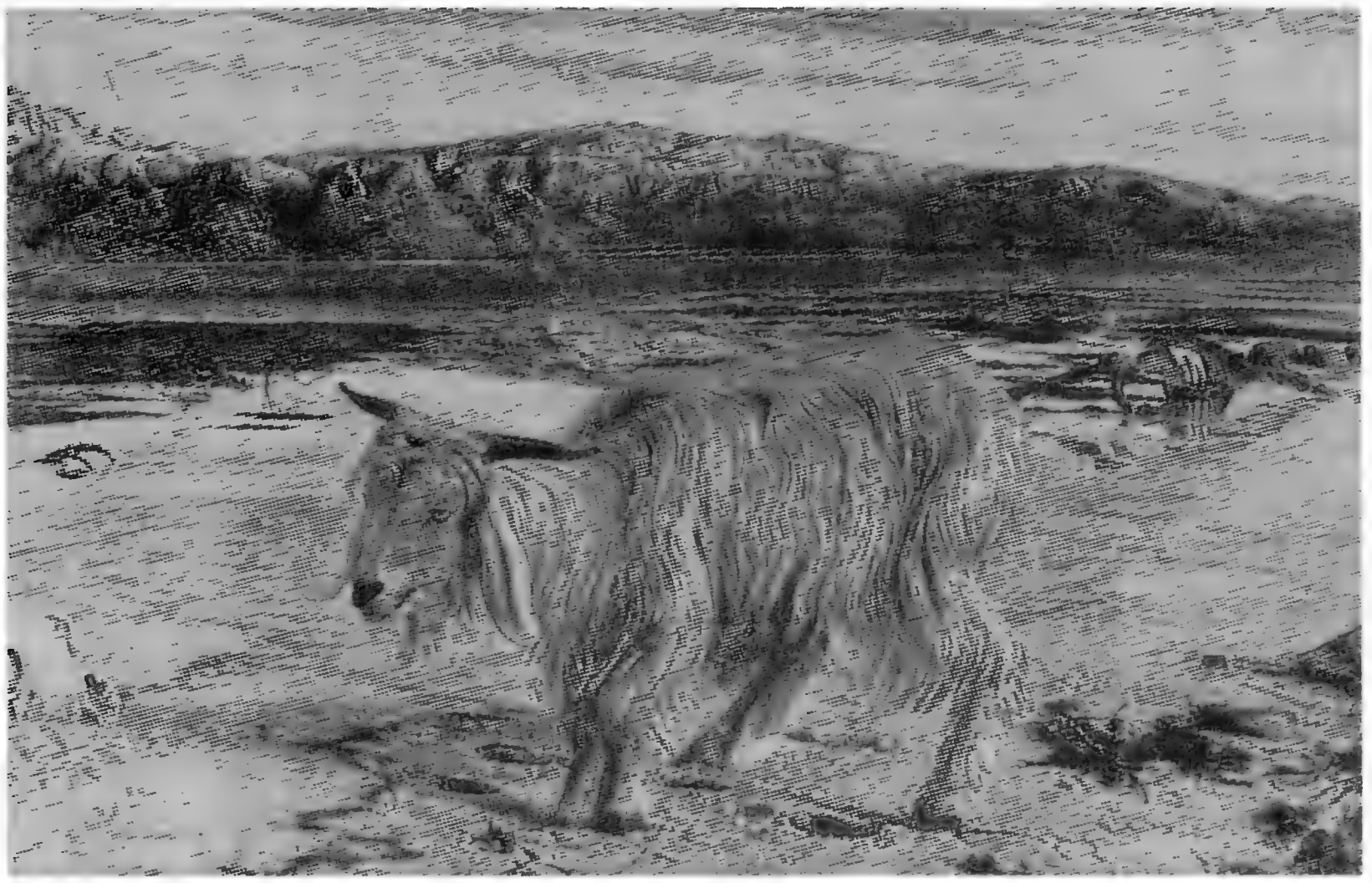
Остров этот имеет в виду и Троило, когда рассказывает, что на расстоянии брошенного камня от берега видна в воде часть стены, приблизительно 15 саженей в длину, черная и совершенно обгорелая. Поскольку стена эта лежит не очень глубоко под водой, решился он добраться до нее на лошади и отломить на память несколько обугленных и почернелых камней, от которых шел смрад и дым, так же пахли и камни необгоревшие.

Эгмонд ван ден Нюэнбург, побывавший у этого озера на другой день после Пасхи, увидел в нем не только нагромождение камней, но также обнаженное водой место, которое почитали развалинами города, а на берегу нашел выброшенные озером большие деревья, из коих иные казались очень старыми».

30. *Ibid.*

31. Критики, за исключением друга художника, Джона Рёскина, отнеслись к *«Козлу отпущения»* Уильяма Холмена Ханта равнодушно, а один из них даже заявил, что картина, при всем ее дотошном реализме, волнует и интересует его не более, чем жаркое из прошлогодней козлятины. Страдающий и тощий козел отпущения Ханта никогда не сможет стать достаточно внятным образом козла, который в соответствии с иудейским ритуалом становился носителем грехов народа и изгонялся в пустыню, а стало быть, он не сможет стать телесной метафорой духовного, как когда-то определил символ Фома Аквинский.

Между тем художник трудился самоотверженно и бескомпромиссно. Он добрался до своей цели, Мертвого моря, через Каир. Последний длительный отрезок пути от Яффы он проделал верхом на лошади. Картину он начал писать в октябре 1854 года и весь ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель работал от зари дотемна... Места эти изобилуют разбойниками, а слуги художника постоянно грозили ему его бросить. Но 10 мая он мог наконец записать: «*The Scapegoat is finished*» (*«Козел отпущения закончен»*).



У.Х. Хант. «Козел отпущения», 1855.

Хант тщательно выбрал место для написания картины — особенно пустынную равнину, покрытую соляными напластованиями и расположенную у южной оконечности Мертвого моря: традиционно полагали, что именно здесь когда-то находился Содом. Художник записывает в дневнике: «Если не считать нескольких акаций, которые росли вдоль высохшего русла реки, по которому мы шли, вокруг не было никаких следов рас-

тительности... и, насколько хватал глаз, никаких следов человека. С каждой минутой горы становились все более могучими и величественными. Издали казалось, там переливаются сверкающие драгоценные камни, но вблизи обнаружилось, что это всего лишь соль, негашеная известь и сухие, сломанные деревья. Сюда течением Иордана принесло скелеты домашних животных, пытавшихся перебраться через реку, и теперь они лежали, покрытые солью и потому не тронутые хищными зверями и птицами».Ср. *G. H. Fleming. «That ne'er shall meet again. Hunt, Millais and Rossetti», 1971 (Дж. Г. Флеминг. «Которые никогда больше не встретятся. Хант, Миллес и Россетти»)* и *W. H. Hunt. «Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood», 1905 (У. Х. Хант. «Прерафаэлиты и Братство прерафаэлитов»).*

32. Под старым переплетом на задней его стороне обнаружился краткий книжный каталог, прочесть который полностью удалось, только когда в 1937 году книгу стали переплетать заново. Судя по всему, этот список содержит перечень книг, которые Холмен Хант взял с собой в дорогу или приобрел перед самой поездкой. В него входила, в частности, переведенная в 1853 году на английский язык книга французского дворянина Луи-Фелисьена де Соси, археолога, филолога и путешественника, *«Narrative of a journey round the Dead Sea in The Bible Lands in 1850 and 1851» («Рассказ о путешествии вокруг Мертвого моря в Библейских землях в 1850 и 1851 годах»).* Де Соси питал всепоглощающий интерес к Палестине, ее истории, языку, географии. «Его рабочий кабинет был маленьким Иерусалимом: предметы старины, медальоны, карты, гравюры, гипсовые слепки и фотографии — все напоминало о том, что он очарован Святой землей», — рассказывает биограф де Соси, Фрёнер. Высохшая местность вокруг Мертвого моря, как ни странно, была в ту пору еще совсем не исследована. Де Соси утверждал, что как раз у южной оконечности Мертвого моря он обнаружил остатки древнего Содома. Между тем поездка к этому морю была трудной и, по общему мнению, опасной; многие исследователи погибли там или подверглись нападению местных бедуинов и были ими умерщвлены. Вероятно, чтение книги де Соси, его описаний драматических световых эффектов этой местности укрепило глубоко религиозного Ханта в его решении писать своего «*Козла отпущения*» именно здесь. См. *L.-F. Caignart de Saulcy. «Carnets de voyage en orient 1845—1869», éd. Fernande Bassan, 1955 (Л.-Ф. Кэньяр де Соси. «Записки о путешествии на Восток. 1845—1869», изд. Фернанды Бассан).*

33. «Несмотря ни на что, лагерь дает максимальное чувство свободы». Замечание писателя-диссидента Андрея Синявского из отдаленного лагеря в Барашеве. Уже живя в Париже, Синявский отказывался работать за письменным столом и писал свои книги сидя на краю кровати — привычка, сохранившаяся от тяжких лагерных времен.

34. Во многих письмах.

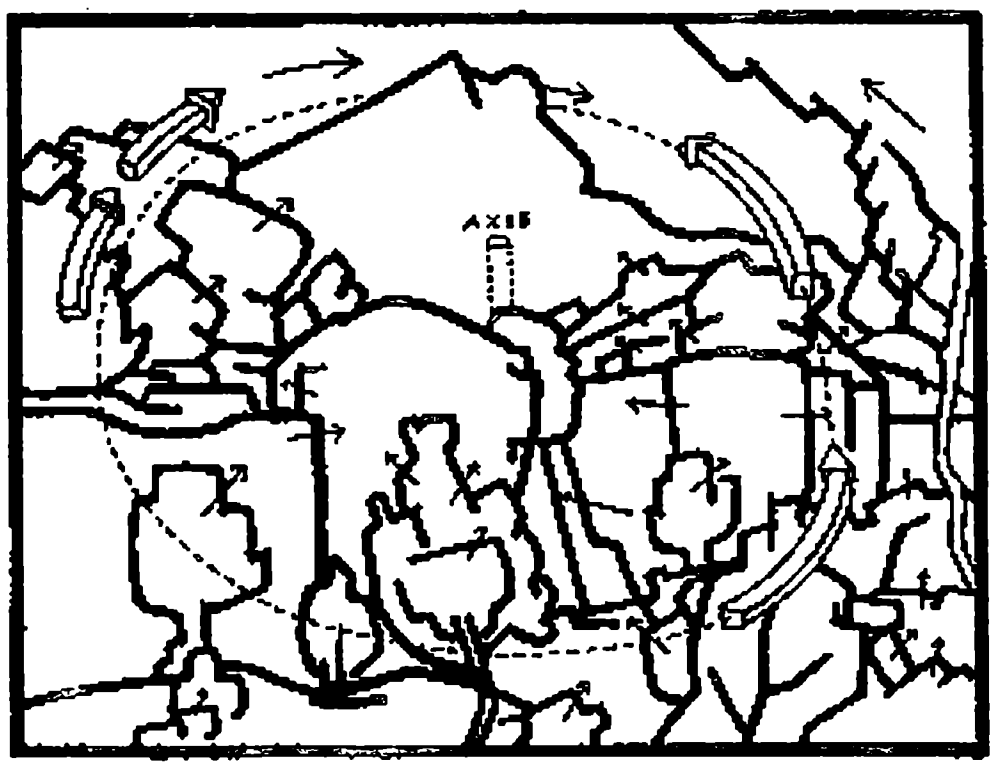
35. «Восток идентифицируется с отсутствием воспоминаний. Ибо как можно иначе объяснить, что Нерваль, не обмолвившись ни словом, вводит в такое свое оригинальное и личное произведение, как *«Путешествие»*, целые куски текста Лэйна, выдавая их за *свои собственные* описания Востока?» — пишет Эдвард У. Саид в *«Ориентализме».* Рассказчик в *«Путешествии на Восток»* Жерара де Нерваля ищет потерянный рай от Каира до Бейрута и Константинополя. Он путешествует кругами, потому что Святая земля не фокусируется в какой-нибудь одной убегающей точке, а растворяется в смутном отсутствии. Он избегает Иерусалима и Назарета. Он полагает, что в этих географических местах не найдет истины — к тому же спутник сообщает ему, что ангелы уже перенесли жилище девы Марии в Лорето в Италии и потому не стоит делать крюк, чтобы посетить Назарет. Современный Восток, с которым встречается писатель, опустошен и лежит в осколках. Путешествие Нерваля грозит умертвить его Восток.

Зато, как мы уже видели, Нерваль населяет этот разочаровавший его современный ландшафт мифологиями и мечтами, почерпнутыми им из прочитанного, и это прочитанное порой на длительное время берет верх над реальным путешествием. Целые главы в *«Путешествии на Восток»* представляют собой компиляцию из работ и путевых заметок других писателей, таких, как *Lane. «Modern Egyptians» (Лейн. «Современнные египтяне»); Creuzer. «Symbolik» (Крейцер. «Символика»); Herbelot. «Bibliothèque orientale»*

(Эрбело. «Восточная библиотека»); De Sacy. «Exposé de la religion des Druzes» (Де Саси. «Изложение религии друзов»); Terrasson. «Sethos» (Террасон. «Сет») и многих других. Таким образом, книга Нерваля о его собственном путешествии становится заклинанием против путевых разочарований, против страха, что, когда он прибудет туда, куда стремится, центр превратится в прах; Нерваль писал в письме к Теофилю Готье: «Я терял царство за царством, провинцию за провинцией, и вскоре не останется ни одного места, которое могло бы стать прибежищем для моих фантазий; но в особенности я сожалею о том, что теперь, горестно запечатлев Египет в своей памяти, я вывел эту страну из мира своей фантазии». В качестве графического изображения и символа маршрута Нерваля можно выбрать раздробленный лабиринт времен римской эпохи. Дельфины, находящиеся за пределами укрепленной стены, указывают на то, что лабиринт расположен в приморском городе. Теперь этот лабиринт находится в археологическом музее в Сиракузах. Центр лабиринта пуст, он представляет собой белый квадрат (ср. слова Арагона о Париже — «лабиринт без Минотавра»). Кроме того, с течением времени части лабиринта были разрушены и вся давняя взаимосвязанная структура разорена. Теперь проходы и переходы уже не подчинены безусловно центру, а образуют своего рода свободную, но лишенную внутренних связей территорию, кулисы фантастических рассказов. Ср. *Жан Рише, а.а.,* а также *Edward W. Said. «Orientalism», 1978 (Эдвард У. Саид. «Ориентализм»).*

36. Нет сомнения, что фантазии, порожденные названиями той или иной местности, могут вызвать к жизни особый мир, отличный от тех мест, которые обозначены этими названими. Юный рассказчик в романе Марселя Пруста грезит о названиях городов в Нормандии и Северной Италии — Бальбек, Венеция, Флоренция, Парма. «Но полностью вобрав в себя образ городов, созданный моей фантазией, эти названия изменили его, подчинив его рождение во мне своим собственным законам; они приукрасили этот образ, сделав его совсем не похожим на то, что эти нормандские или тосканские города были в действительности, и, усугубив своевольные радости моей фантазии, вместе с тем усугубили разочарование, какое мне готовили в будущем мои путешествия. Они возвысили мое представление об этих местах, наделив их бóльшим своеобразием, а стало быть, и большей подлинностью. *Marcel Proust. «A la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann»* (*Марсель Пруст. «В поисках утраченного времени. В сторону Свана»).*

37. Как раз на рубеже столетия он снял одинокую хижину у заброшенной каменоломни Бибемю и обосновался в ней. Сезанну было тогда около 60 лет. Этот побег был в то же время возвращением, потому что подростком он жил в этих глухих местах свободной и счастливой жизнью вместе со школьным товарищем Эмилем Золя. Они часто плавали возле находящейся поблизости большой плотины, которую построил отец Золя и которая обеспечивала Экс свежей водой.



От Бибемю открывался вид на старый мотив Сезанна, гору Сент-Виктуар, которая громоздилась вдали и которую он писал снова и снова. На заднем плане лежала обнаженная каменоломня, открытая капризам погоды, ветру и палящему полуденному солнцу.

На охристых скалах пустили корни деревья и кустарники. Вся местность напоминает одичавшие остатки странного сада. Она отмечена какой-то своеобразной хаотичностью. Побывавший там Джон Ревалд говорит: «Кажется, будто добыча в каменоломне велась без всякого плана. Иногда каменную глыбу разбивали и тут же бросали, не начав разработок. Между глубокими впадинами и мелкими бороздами так и стоят одинокие глыбы... Словно какой-то доисторический великан построил фантастическую игровую площадку, сложил в кучу чурбаки, вырыл ямы, а потом бросил все, не оставив даже намека на свой сложный план». Драматические полотна, созданные в Бибемю, подкрепляют слова Дориваля о том, что художника «охватило космическое головокружение». Все находится в беспокойном движении и мчится по кругу, как показал на своем рисунке Эрл Лоран. Сезанн говорил, что хочет написать «девственность мира», его прасостояние.

38. Он считает справедливым наблюдение несчастного барона в *«Бароне Юлиусе К.» К. И. Л. Альмквиста*:

«Близ озера Веттерн.

Мы двинулись далее по Омбергу и вскоре оказались на главной его возвышенности у самого Веттерна. Отсюда открывается широкий и прекрасный вид на озеро до самого Вестергётландского берега, тянущегося перед нами с севера на юг. Веттерн — одно из самых глубоких, опасных и неспокойных озер, на нем легко начинается волнение, и тогда оно вздымается ужасными волнами. Но теперь оно лежало совершенно спокойно, светло поблескивая, как утихшая страсть.

Барон Юлиус снова шел рядом со мной, он снова впал в уныние, которое мы отмечали в нем прежде, но которое несколько развеялось, пока мы ели землянику.

Когда мы добрались до того места на Омберге, откуда открывался бескрайний обзор воды и окрестностей, мы сели в кружок, чтобы долго и вволю любоваться чарующим зрелищем.

Каждый высказал какое-нибудь замечание.

— Ни одно из мест, виденных мной на земле, — сказал пришелец, — не напоминает так гору Кармил, пусть в миниатюре, как этот наш шведский Омберг.

— Кармил в Палестине! — воскликнул Франс. И все остальные посмотрели на нашего бледного путешественника.

— Господин барон побывал в Палестине? — спросила я зачарованно.

— Я был на горе Кармил, — сказал он с расстановкой. — Гора Кармил, как и эта гора, не такая уж высокая или островерхая — это просторное плато в нескольких сотнях футов над зеркалом моря. Оттуда открывается пленительный вид на Средиземное море на западе, как здесь мы можем любоваться нашим маленьким Средиземным морем, Веттерном. Будь озеро Токерн расположено дальше отсюда, я сравнил бы его с Тивериадским морем, или Геннисаретским озером. Не хватает одного: в глубине на северо-востоке нет Ливана, разве что мы примем за него темную протяженность Кольмордена и склоны Муталы. Нет здесь также внизу на открытом пространстве Иерусалима, а выше на нашей шведской горе Кармил нет пещеры святого Илии.

— Совершить путешествие в Палестину, в Землю обетованную, в наше время, в девятнадцатом веке, — дело совершенно необычное, — заметила я».

■

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

Отсутствие отсутствия

Во первых строках моего послания в никуда я должен оговориться, то есть ОГОВОРИТЬ СЕБЯ: сильно скучаю, читая сугубо теоретические рассуждения на сугубо практические темы. Писательство есть ремесло плюс тайна. Никто никого ничему научить не может. По крайней мере — описательным словом, а объяснение тайны — сродни бесплодным попыткам коммунистических лекторов общества «Знание» растолковать недоверчивому населению смысл главного российского нонсенса XX века — торжественной поступи большевистских идей в пространстве и времени.

Однако какие-то соображения, простые, как мычание, у меня на сей счет несомненно имеются. А то как же иначе — ведь я с переменным успехом СОЧИНЯЮ без малого сорок лет, если вести отсчет со дня моей первой скандальной публикации — подписи к фотографии в газете «Красноярский комсомолец», изображающей команду красивых баскетболисток, за что мне выписали три «хрущевских» рубля, но на руки эту сумму, которой вполне хватило бы на проявитель, пачку фотобумаги и бутылку крепленого вина «Рошу де десерт», не выдали, сославшись на то, что команда эта в описанном мною первенстве не выиграла, а, наоборот, проиграла. Когда же я сказал, что именно об этом я и написал в опубликованной заметке, смотрите, говорю, текст: там черным по белому написано и ВАМИ НАПЕЧАТАНО, что команда, изображенная на снимке, ПРОИГРАЛА, то мне сказали, что я или совсем дурак, или очень хитрый мальчик. Короче говоря, они прошляпили, были введены мною в локальный скандал, а мне пора наконец признаться: сделано это было не по моей модернистской зловредности, а просто-напросто ПО СЛУЧАЮ — выигравшая команда у меня просто-напросто почему-то НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ, а проигравшая ПОЛУЧИЛАСЬ. Но если еще больше приблизиться к нашей теме, то можно рассудить и наоборот: канонический победительный текст отсутствовал, но это было ОТСУТСТВИЕ ОТСУТСТВИЯ — ведь другой-то какой-никакой текст на этом месте все равно имелся.

Вот почему безответственное ТАК УЖ ПОЛУЧИЛОСЬ гораздо ближе сути искусства, чем нечто выстроенное по плану: монархист Хворобьев из презираемого новыми интеллектуалами романа «Двенадцать стульев» все равно увидит во сне милые кошмарные детали повседневной советской жизни, а Фалалей из «Села Степанчикова» — белого быка. Да и в моем случае — ПРИСУТСТВИЕ правильного текста принесло бы мне всего лишь быстротекущие три рубля и похмельную головную боль, полное ОТСУТСТВИЕ текста не дало бы мне даже и этого, зато ОТСУТСТВИЕ ОТСУТСТВИЯ является и в данном случае хоть и ничтожным, но все же фактом искусства, о котором можно теперь вспомнить и написать два абзаца, которые, дай бог, опубликуют в таком уважаемом журнале, как «Иностранная литература»...

Опираясь на шаткую конструкцию всего вышесказанного, я попытаюсь изложить свой практический взгляд на то, что есть и чего нет.

Все тексты мировой литературы делятся, на мой взгляд, на 1) существующие, 2) исчезающие, 3) исчезнувшие.

Причем самым нежным, скоропортящимся товаром являются СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕКСТЫ, которые, дабы они не завоняли через два-три дня, рекомендуется немедленно по изготовлении хранить в морозилке, что тем не менее через определенный промежуток времени или после перемещения в чуждое пространство (например, из областей, где свирепствуют восточные культуры, на благодатную и доверчивую российскую почву) несомненно приведет их в разряд текстов ИСЧЕЗАЮЩИХ. Медленно ли, быстро, но неуклонно-неуклонно будет повышаться процент упомянутого мной ОТСУТСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ, доведя в конечном счете указанный продукт до полного его исчезновения.

НЕТЛЕНКА, о которой так много толковали на подъяремных советских кухнях нынешние известные творцы художественных текстов, — субстанция решительно призрачная и, возможно, несуществующая в силу разных причин, основной из кото-

© Е. Попов. 1999

рых является то, что к концу второго тысячелетия от Р. Х. весь мир окончательно сошел с ума и следует говорить лишь о степени заболеваемости и более точном установлении диагноза в пределах от шизофрении (США, дело Билла Клинтона им. Моники Левински) до паранойи (бывшая страна СССР, перманентно раскапывающая «котлован» им. Андрея Платонова).

Поэтому СУЩЕСТВУЮЩИЕ тексты не то чтобы даже устаревают, а в зависимости от качества и стойкости продукции подвергаются неведомым процессам: в одних случаях коррозии, в других («нетленка») — окутываются, подобно становящейся куколкой гусенице, все утолщающейся оболочкой, состоящей из дрянных, но преобразованных продуктов выделения так называемой СОВРЕМЕННОСТИ. Думаю, что примеры близлежащих, но не мною сочиненных произведений не следует приводить по соображениям литературной корректности и цеховой солидарности. А что касается классических текстов всех времен и народов, то я утверждаю — это несомненно ИСЧЕЗАЮЩИЕ тексты, основным знаковым признаком которых является необходимость комментариев. И тот, кто мыслит, будто великого Пушкина, чей двухсотый день рождения наша страна вознамерилась отметить со всей максимально доступной ей после очередного дефолта пышностью, может адекватно воспринимать человек, подготовленный учителями советской средней школы и укатанный крутыми горками посткоммунизма, пусть рассказывает эти шоколадные «Сказки Пушкина» упомянутым учителям или разнообразным кредиторам, из которых будут тянуть деньги на праздник. Я же полагаю, что на сегодняшний день чтение «Евгения Онегина» без комментариев Ю. Лотмана — худосочное и черно-белое чтение, столь отличное от созданного нашим национальным гением цветного стереоскопического мира, что могли понять его только современники, да и то, как мы знаем, далеко не все. Сергей Юрский рассказывал мне, что во время чтения «Графа Нулина» «на солдатской аудитории» ему каждый раз приходилось напрягаться и применять весь свой опыт профессионального актера, чтобы солдаты не захохотали, услышав слово «Параша», которое они воспринимали исключительно со строчной буквы. И в этом нет никакой обиды — ни Пушкину, ни нашей культуре, ибо что у нас есть на исходе второго тысячелетия от Р. Х., только то и имеется (без всякой тавтологии).

И это — Пушкин. Что же тогда говорить о Гомере, например, чьи тексты ныне воспринимаются как китайская грамота не только рядовыми, но и чуть-чуть «продвинутыми» читателями. Что говорить о собственно китайской грамоте — романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме», решительно недоступном для чтения без комментариев, вводящих в атмосферу китайского XVIII века. Да и скабрезным романом «Сон в синем тереме» (конец XIX века), действия которого вершатся в публичном доме, полноценно наслаждаться могут только специалисты, а не дилетанты чтения, к которым относится подавляющее число современных любителей книги, включающее в себя и автора этих строк. Лишенные охранительного кокона, они легко могут перейти в разряд исчезнувших, и нам останется только выбирать, что хуже.

Отдельно о цензурных и самоцензурных умолчаниях, а также о подтексте и «намеках». Хочется нам этого или не хочется, но получается так, что текст неопубликованный и вычеркнутый НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Упомянутые «Двенадцать стульев», недавно напечатанные целиком, наглядно показали это, ничего не прибавив к своей ушедшей славе; знаменитые пушкинские точки в «Евгении Онегине» воспринимаются как канон; современному читателю «Гулливера» в общем-то решительно наплевать, на что намекал Свифт, изображая «остроконечников» и «тупоконечников», отчего комментарий, объясняющий это, становится для него самостоятельно существующим текстом, равно как и конгениальные пояснения С. Хоружего к русскому «Улиссу».

Вот почему автор этих строк, всерьез, как и всякий его коллега, озабоченный сохранностью собственных строчек во времени и пространстве, вынужден был пойти в своей прозе на различные ухищрения, которые внешне выглядят настолько формалистическими, что создатель их в разные периоды своей деятельности числился по разряду то концептуалистов, то постмодернистов, то бывал приписываем к соц-арту.

Неоднократно утверждавший, что при слове «постмодернизм» я хватаюсь за несуществующий револьвер, настаиваю на том, что по собственным ощущениям я всего лишь скромный реалист, живописующий эту жизнь, где решительно все коор-

динаты смещены, но которая тем не менее существует, потому что есть Бог. Полагаю, что такого же мнения придерживались и другие реалисты советской Державы, съежившейся до размеров России. Например, Даниил Хармс, Андрей Платонов, Василий Аксенов. С Василием Аксеновым автор этих строк беседовал несколько дней назад, и они сошлись в общем мнении, что цветение современной жизни является настолько буйным, что пред ним блекнет любая выдумка и фантазия. Жизненный пример тому (из газет): где-то на Дальнем Востоке офицеры, долгое время не получавшие зарплату, развели в гарнизоне весомое количество свиней для пропитания. А чтобы не перепутать их, на спине каждого четвероногого животного были написаны масляной краской фамилия и звание его хозяина.

В самом деле, автор этих строк прошел все три стадии существования и исчезновения текстов, возвратившись на данном этапе своей жизни к стадии промежуточной. А именно текста исчезающего, но обволакиваемого комментариями, которых чем больше, тем лучше.

Короткие рассказы «из жизни», которых я насочинял более двухсот штук, в какой-то период жизни перестали меня удовлетворять, и я постепенно стал от них дистанцироваться, сначала вводя в тексты персону некоего талантливого маргинального самородка Н. Н. Фетисова, от имени которого, кроме собственно рассказов, написал до сих пор не опубликованный сборник абсурдистских пьес для чтения под названием «Место действия — сцена», а также целый ряд суперграфоманских поэм («Солдат и лесбиянка», «Молдаваняска», «Моцарт и Зеленый горошек мозговых сортов»). Затем я стал укрупнять повествование целым рядом нарочито занудных деталей и подробностей, венцом чего было создание краткого романа в письмах «Душа патриота», одна треть которого — вертикальный исторический срез времени на протяжении трех веков, зато остальные две трети — время, маниакально растекающееся (как на известной картине Сальвадора Дали) в день смерти Л. И. Брежнева, когда мы с поэтом Д. А. Приговым пытались пробраться к гробу усопшего Вождя красных и это нам практически-метафизически удалось.

Казалось бы, отсюда недалеко до моего последнего романа «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ «ЗЕЛЕНЫХ МУЗЫКАНТОВ», где ПЯТЬДЕСЯТ рукописных страниц беллетристического текста дополнены ТРЕМЯ СОТНЯМИ страниц, на которых разместились ровным счетом ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ комментариев... Ан нет! До создания этого текста, исчезновение которого я попытался замедлить всеми доступными мне способами, я, во-первых (или во-вторых), довольно много занимался ради денег и собственного удовольствия сиюминутной публицистикой, где, выступая от первого лица, бранил коммунистов, толковал о «неокрепшей демократии» и живописал «простых людей», ошалевших от «развитого социализма», плавно перетекшего в «перестройку» со всеми ее ужасами и прелестями (во всех смыслах двух этих слов)... А во-вторых (или все-таки во-первых), написал объемное сочинение под длинным названием «ПРЕКРАСНОСТЬ ЖИЗНИ. Главы из «романа с газетой», который никогда не будет начат и закончен».

Имеет смысл привести цитату из предисловия к книге:

«Прекрасность жизни» устроена следующим образом: каждая глава включает в себя: 1. Текст, ориентировочная дата написания которого совпадает с нумерацией главы. 2. Газетную цитацию за этот год. 3. Текст, условно датируемый первой половиной 80-х годов XX века.

Пропущенные 1960 глав, начиная с Рождества Христова, знаменующего начало современной цивилизации, никогда не будут написаны, потому что автор тогда не жил, не чувствовал и не было долгое время газет. А с 1946 года он жил, но осознанно занялся литературой лишь в 1961 году. Примерно к этому времени относится и завязка его «романа с газетой».

Начала нет, конца нет, продолжение может следовать или не следовать, ибо все мы ходим под Богом и тот, кто еще не совсем в этом убедился, получит необходимые доказательства в самое ближайшее время».

На этом утверждении десятилетней давности я и заканчиваю свои скромные заметки. Полагаю, что КОММЕНТАРИЗАЦИЯ художественных текстов, в том числе и отсутствующих, — это, кроме всего прочего, еще и попытка уважить читателя, удержать его в силовом поле культуры и помочь ему не сойти с ума, даже если это уже произошло с автором.

P. S. А если все же вернуться к проблеме, поднятой без малого сорок лет назад сотрудниками газеты «Красноярский комсомолец», то автор «Зеленых музыкантов» и их подлинной истории, согласно русской пословице, конечно же «дурак-дурак, но мыла не ест». Что-то такое он все-таки знает, о чем-то догадывается, что-то даже, представьте себе, бормочет, пытаясь кого-то оберечь от «псевдунов», подражателей жизни — графоманов-неудачников и депутатов-удачников, несостоявшихся влюбленных и пожирателей пустоты, начальников, пролетевших, как фанера над Парижем, и лжепророков, всех-всех, выплясывающих на разноцветных ниточках-канатиках под неусыпным оком Истории: «Наш мир полон тайной гармонии, и мы постепенно растворимся в ней, как труп растворяется в кладбищенской земле, но это не станет смертью и концом, потому что ни смерти, ни конца не существует, и все мы станем счастливы, кто сказал, что мы должны быть несчастливы? И — молодежь, дети, ничего не бойтесь. Тихо. Злые великаны ушли и больше никогда не вернутся».

26 января 1999 г.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *А. Белый*. Проблемы творчества. М., Советский писатель, 1988.
2. *С. Васильева.* Три неба. «Октябрь», 1998, № 8.
3. *Д. Галковский.* Бесконечный тупик. «Новый мир», 1992, № 9,11.
4. *М. Гус.* Американские империалисты — вдохновители мюнхенской политики. М., Госполитиздат, 1951.
5. *Д. Джойс.* Улисс. М., Знаменитая книга, 1994.
6. *В. Кальпиди.* Мерцание. Пермь., Изд. Пермского университета, 1995.
7. *Е. Попов.* Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину. М., Текст, 1994.
8. *Е. Попов.* Прекрасность жизни. Главы из «романа с газетой», который никогда не будет начат и закончен. М., Московский рабочий, 1990.
9. *Е. Попов.* Подлинная история «Зеленых музыкантов». «Знамя», 1998, № 6; М., Вагриус, 1999.
10. *А. Пушкин.* Полное собрание сочинений в 10 т; т. 6. М., Изд. Академии наук СССР, 1949.
11. *В. Салимон.* Веселые плясуны. СПб., Пушкинский фонд, 1999.
12. *Cristine Engel.* Игра в правила — игра с правилами. Приемы лудизма в повести Евгения Попова «Билли Бонс». Amsterdam, Russian Literature, XLIII (1998), 115—136.

■

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

Книга, ждущая авторов[1]

1. ЧТО ТАКОЕ ВИРТУАЛЬНАЯ КНИГА?

Обычно мы приобретаем книгу не для того, чтобы ее читать, а чтобы иметь возможность читать ее — когда-нибудь, в условное время и в условном месте. Книга присутствует в нашем сознании своим заглавием, именем автора и неким общим представлением о ее теме и стиле, которое получено от отрывочного чтения нескольких строк и страниц. На каждую реально прочитанную книгу приходится десять-двадцать книг виртуальных, которые тем не менее сохраняют для нас свою ценность, поскольку содержат ответы на основные вопросы:

Кто написал книгу?
О чем написана книга?
Какие основные темы и понятия в ней трактуются?
На каких страницах содержатся те несколько отчеркнутых строк или абзацев, которые дают суммарное представление о позиции автора и которые можно процитировать в знак нашего знакомства с этой книгой?

Иными словами, несколько строк с титульного листа книги и с двух-трех наиболее значимых страниц — в общей сложности тридцать-пятьдесят строк — содержат в себе чуть ли не половину той информации, которую несет в себе книга. Именно эту предельно сжатую информацию мы приобретаем о подавляющем большинстве книг, что позволяет нам с некоторым основанием утверждать, что мы «с этой книгой знакомы», можем «использовать ее в работе» и т. д. Прилежное чтение книги подряд, от корки до корки — все более редкий случай в век информационного взрыва, когда список книг, успевших стать классикой, все растет, а время, отпущенное на их чтение, все сокращается (кино, телевидение, компьютер...).

Но даже в случае самого внимательного чтения в памяти, как правило, остается некое размытое смысловое пятно, на котором четко выделяются всё те же параметры: имя автора, название книги, основные темы и идеи, несколько характерных слов, терминов, выражений. Например, после чтения книги Михаила Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», одной из самых интеллектуально насыщенных русских книг XX века, остается в памяти примерно следующее:

Михаил Бахтин.
Книга о Достоевском.
Диалогическая позиция автора. Сознание живет только в диалоге с другим сознанием. Истина диалогична. Полифонический роман. Множество равноправных голосов, среди которых голос автора не имеет привилегии. Жизнь персонажа — эксперимент, поставленный над самим собой ради проверки идеи. Нет характера — только то, что я сам думаю о себе. Точка зрения. Слово с лазейкой — всегда остается право переиначить его смысл, перетолковать чужое слово. Нет новых слов, любое высказывание — ответ на ранее сказанные слова, реплика в нескончаемом диалоге идей и культур. Карнавал, мениппея, увенчание и развенчание шутовского короля, разрушающий и обновляющий смех, жизнь на границе, беременная смерть... (Тут уже «книга о Достоевском» переходит в «книгу о Рабле», где более полно излагается теория смеха и карнавала.)

Итак, читательская память работает с очень коротким конспектом даже внимательно прочитанной книги. Память переходит в воображение, творчески перераба-

---

[1] Данный текст представляет собой редакционную компиляцию из материалов авторского проекта Михаила Эпштейна «КНИГА КНИГ», представленных в Интернете по адресу http://www.emory.edu/INTELNET/kniga_knig. html или http://www.russ.ru/antolog/INTELNET/kniga_knig.html (*Прим. ред.*)

© Михаил Эпштейн, 1999

тывает, домысливает книгу, создает систему отсылок и возражений, прокладывает путь к иной теоретической модели именно на основании очень сокращенной записи читательских впечатлений. Собственно, избирательное запоминание и мысленное сокращение книги — уже акты творческие.

Виртуальная книга содержит в себе все минимально необходимое для представления о книге, о ее содержании, основных вопросах, позиции автора. В отличие от фактических книг, обладающих толщиной и весом, виртуальная книга состоит из одного-двух листков, создающих, однако, объемную иллюзию книги как целого. На этих листках написано именно то, чем книга остается в памяти — или создается в воображении. Этим виртуальная книга отличается от простого афоризма, отдельной «мысли» или «изречения», которые сообщают лишь то, что они сообщают. Для виртуальной книги необходимо как минимум заглавие, которое позволяло бы воссоздавать возможный контекст каждого отрывка, умозаключать от части к целому. Эффект книги как целого создается именно отношением заглавия к фрагменту.

Разумеется, виртуальные книги не могут и не притязают заменить книги субстанциальные, многостраничные. Но этот особый книжный жанр имеет право на существование, поскольку отражает реальность нашего читательского опыта, тот способ, каким книги существуют в сознании. Виртуальная книга — это мыслительная форма книги без ее текстуального наполнения; это функция книги, отделившаяся от ее бумажной массы; это знак книги без означаемого... Это весеннее предчувствие, эсхатологическое ожидание книги, которое никогда полностью не сбывается, но позволяет интеллектуально пережить и читательски освоить феномен книги именно в силу ее фактического отсутствия, как чистую возможность, не запятнанную ущербным исполнением.

2. МУХИ В ПАУТИНЕ

Из виртуальных книг Михаила Эпштейна

...некое жанровое вкрапление в сеть[1], которое могло бы назваться «мухи в паутине». Мелкие высказывания, беглые соображения, афоризмы и цитаты из существующих и несуществующих источников.

Здесь собраны цитаты и маленькие отрывки из виртуальных книг Михаила Эпштейна. Автору некогда искать издателей для этих книг, поэтому он решил ограничиться отрывками, которые, однако, имеют настоящий смысл только в составе определенной книги и по отношению к ее заглавию.

Речь идет о жанре, согласованном с возможностями паутины. До сих пор мы перетаскивали в паутину тяжелые вещи совсем другого, книжно-журнального мира. Завертывали в паутину слона, впечатывали в нее жирафа. Даже газета, даже реклама, хотя и легко обживаются в паутине, все-таки жанрово предзаданы и чужеродны ей. Тогда как паутине нужны именно мухи — легкие крылатые мысли, даже мыслишки, которые в ней хорошо загустевают и дополнительно склеивают ее своими смертными выделениями.

Да и какая же паутина без мух?

...Я спрашивал себя, как может книга быть бесконечной.

Х. Л. Борхес. Сад расходящихся тропок

Из книги «Этика и грамматика»

Странные дефекты спряжения в русском языке. Например, глагол «победить» не имеет первого лица будущего времени. Нельзя сказать «победю» или «побежду». Но может быть, не только грамматика, а и суеверное чувство противится такому

[1] Имеется в виду WWW — World Wide Web, или Повсеместно Протянутая Паутина. (*Прим. ред.*)

словоупотреблению? Нельзя же до такой степени быть уверенным в своей грядущей победе — судьба накажет. Вот язык и оберегает от греха. (Другое дело — «мы победим»: никакой личной ответственности.)

Или вот нельзя образовать деепричастия от слова «писáть». Не годится — «пишá», тем более «писáя». Но может быть, вообще не годится заниматься писанием как побочным делом? Письмо — одно из немногих действий, которое не сочетается с другими, требует полной отдачи. Если уж писать, так писать, а не делать что-нибудь «пишá».

Так что эти изъяны спряжения незаметно оберегают нас от гордыни, от халтуры. В этих невозможностях языка заключена целая этика, система отрицательных предписаний. Чего нельзя сказать, того не надо и делать...

Англоязычным народам можно позавидовать. Весь мир говорит на их языке. Почти в каждой цивилизованной стране они чувствуют себя как дома. Но и у них есть маленький комплекс. Поскольку английский язык почти в равной степени принадлежит всем, они оказываются обойденными. У всех есть английский язык — и еще какой-то свой, для более глубокого, быть может, конспиративного общения. А у них, англоязычных, только и есть английский. Они говорят на современном эсперанто — а интимного языка, для междусобойчика, лишены. Они свой язык, можно сказать, всем раздали, ничего не получив взамен. У немцев, шведов, японцев, индийцев — по два языка (английский и родной), а у них только один.

Вообще в демократическом обществе большинство всегда оказывается обделенным и чувствует себя неуютно. Потому что у меньшинств такие же права, как и у большинства, — на то и демократия. Но у меньшинств есть еще и особые права как у меньшинств — на то она и Демократия!

Первая демократия — формальная, завоеванная XVIII—XIX веками. Вторая — содержательная — приходится на вторую половину XX, может быть, в порядке компенсации за тот антидемократический перекос, который получила мировая политика в первой половине XX, с ее революциями и войнами, коммунизмом и фашизмом. Меньшинства, вроде индейцев, пользуются всеми благами цивилизации — к их услугам университеты, парламент и т. д. и т. п. Но кроме того, у них еще и особые права — они не платят налогов, им разрешено заводить игорный бизнес... Вот так и народы, чей язык оказался в меньшинстве, — они пользуются языком большинства и, кроме того, своим собственным.

Из книги «Введение в археософию»

...Книга ощутимо становится архаическим объектом. Ее бумажно-пыльный запах, желтеющие страницы, сама ее материальность — признаки какой-то исчезающей цивилизации. Ходишь среди библиотечных стеллажей — и чувствуешь себя как будто в Вавилоне или Древней Греции, хотя тогда и книг-то в современном смысле не было. В жанре книги еще можно творить раритеты, произведения книжного искусства, но цивилизация уже покинула это место. Глаза привыкли к эфирному пространству экрана, к бисерной россыпи электронных букв. Книжные шкафы, ряды корешков с тиснеными заглавиями — все это реликтовый слой в домашнем пейзаже, вроде бабушкиных нарядов или старинной мебели, — зона будущих археологических раскопок.

Не станет ли со временем архаическим объектом и само тело? Сведенное к записи генетической формулы, оно станет передаваться по электронным сетям с терминала на терминал. В нашей цивилизации книга родственна телу, соприродна ему, поскольку некая информация занимает место в пространстве, обладает плотностью, инертностью, непроницаемостью для других тел. Но если информация вычитывается-вычитается из тела и начинает странствовать в виде каких-то кодовых матриц или электронных пучков, перебегая с экрана на экран, то само тело, как трехмерный пространственный объект, воспринимается уже как пережиток прошедших эпох. С исчезновением книги начинает исчезать и тело.

Американцам психологически трудно прикасаться друг к другу. В самом жесте прикосновения чувствуется его архаичность, неадекватность той знаковой субстанции, какую люди из себя представляют. Люди становятся все менее телесными, утрачивают ощущение боли и удовольствия. Вместо болеющих органов — бесчувственные протезы; вместо страсти и удовольствия — здоровье, то есть самодостаточность, отсутствие нужды в чужом теле. Прикасаться к другому в знаковом обществе — все равно как читать книгу, шевеля губами и водя пальцем по строкам.

Из книги «Неизвестные мысли известных писателей»

Мучить — не значит любить. Мучить можно и ненавидя.

Ф. Достоевский

Зло — это добро, навязанное другому против его воли. Прибавь к доброте нечувствительность — и получится самое страшное зло.

М. Пришвин

Прообразом книги в природе является бабочка. Вот она присела на вашей ладони — и затрепетала крылышками-страницами, собираясь взлететь, а вы рассматриваете ее печатные узоры, водяные знаки... Книга — мертвая бабочка. Она не может летать. Зато у нее мириады крыльев.

Стефан Малларме

Глупость — источник наших главных умственных услад. Без нее, как без уксуса или горчицы, любое блюдо кажется пресным. Мы смакуем чужую глупость, как никогда не в состоянии просмаковать чужой ум. Наш разум так устроен, что кислое и горькое предпочитает сладкому.

Оскар Уайльд

Я хотел бы видеть в аду всех тех, кто хоть однажды заставил меня пережить угрызения совести.

Маркиз де Сад

3. КНИГА КНИГ

Книга Книг состоит из множества виртуальных книг, представленных фрагментами, которые могут быть авторизованы всеми желающими и перерасти в самостоятельные книги, статьи, эссе, учебники, монографии...

Книга Книг — это Рай для мыслителей и -ведов: собрание новых, никогда не использованных идей и цитат. Заготовки для множества книг, которые ждут своих авторов.

Из введения

Книга Книг — это энциклопедия альтернативных идей и антология избранных текстов в следующих гуманитарных областях: философия, теология, этика, эстетика, лингвистика, теория культуры, классификация наук. Эти идеи иллюстрируются отрывками из книг, где они впервые вводятся в употребление, бросая вызов господствующим теориям и общепринятым терминам.

Историк идей скажет: такие идеи не зарегистрированы в истории мысли. Их не было. Но они были возможны. А именно в области идей возможное менее всего отличается от действительного, в пространстве мышления эти модальности сходятся, как в исчезающей точке перспективы. Как выразился Гёте, «жить в идее — значит обращаться с невозможным так, как будто оно было возможно»[1]. Добавим: и обращаться с возможным так, как будто оно было действительным. Потому что если

[1] *И. В. Гёте*. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957, с. 98.

возможно помыслить идею, значит, как идея она уже существует, причастна действительности.

Книги в поиске авторов

Книга Книг написана мною в 1984—1988 гг. в Москве. В ней нет ни единого чужого слова (кроме прямых цитат) и ни единой чужой мысли (насколько мысль вообще может быть своей). Но это лишь фактическое обстоятельство, далеко не самое важное для понимания книги и ее замысла. Эта книга написана как собрание книг, принадлежащих другим авторам. Каким — это еще предстоит выяснить, причем с помощью тех читателей, которые захотят взять на себя права и обязанности приемных авторов.

Как заметил Бахтин, «поиски собственного слова на самом деле есть поиски именно не собственного, а слова, которое больше меня; это стремление уйти от своих слов...»[1]. Уйти от своих слов — это значит выйти навстречу тем личностям и мировоззрениям, от имени которых думались и писались «не-свои» слова; выйти на поиск потенциальных авторов этих неизвестно откуда пришедших слов. Эти авторы для меня находятся и в прошлом и в будущем.

В ряд мыслителей второй половины XX века мне хотелось бы поместить тех, которых не было, но которые могли быть. Им было о чем думать и чем влиять на современников и потомков. Есть книги, которые никогда не были написаны; есть школы и направления, которые никогда не были провозглашены, не состоялись как исторический факт, но пребывают как логическая возможность, а значит, и как действительность самой мысли. Книга Книг очерчивает тот континуум идей, который раньше или позже должен выйти на поверхность письма, найти свой выход в историческое пространство-время. Плохо, что это происходит скорее позже, чем раньше, но важно, чтобы логика, пусть отставая от хронологии, все-таки нашла форму своего пребывания в истории. Мне хотелось собрать в этой книге все те возможные метаморфозы мысли, все оттенки философских учений, которые запрашивались логикой (или абсурдом) нашей жизни в России, на исходе коммунистической эпохи, на перекрестке столь многих духовных традиций, идущих от иудаизма и христианства, от отцов церкви и просветителей, от Платона и Гегеля, от Маркса и Ницше, от Толстого и Достоевского, от Соловьева и Федорова... Мне хотелось собрать все отчаянные варианты и альтернативы, над которыми билось мышление эпохи в поисках выхода из той тюрьмы, которую само Мышление, в своих наиболее вдохновенных идеалистических и идеократических образцах, учредило над жизнью каждого из нас.

Но книги, собранные в этой Книге, ищут своих потенциальных авторов не только в прошлом, но и в будущем. Ведь каждый из представленных здесь текстов — не только отрывок, уцелевший от грандиозного пожара, разрушившего наш Философский Архив, но и набросок тех книг, которые могли бы составить Гуманитарную Библиотеку наступающего столетия. В ситуации конца коммунизма и начала неизвестно какой эпохи могут рождаться не только новые понятия и термины уже существующих дисциплин, но и новые дисциплины, методы, направления, парадигмы философского мышления. Книга Книг — это не собрание реальных книг, но попытка продуцировать их теми выписками, которые как бы извлечены из виртуальной библиотеки XXI века.

Замысел и устройство Книги

Данная книга — попытка дать портрет одного сознания на протяжении нескольких лет его работы (1984—1988). Это не дневник, поскольку хронологическая последовательность здесь не имеет значения. Но это и не трактат, имеющий в виду последовательное, логическое изложение каких-то взглядов. Меня интересовали не те или иные продукты сознания, вроде законченных философских систем и теорий, а сознание как таковое, система его возможностей, из которых ни одна не исключает другую и которые закрепляются в новых словообразованиях языка. Наилучшим спо-

---

[1] *Михаил Бахтин.* Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 354.

собом представления сознания как целого является Словарь — но не словарь слов, а словарь мыслей, идей, взаимно пересекающихся и определяющихся понятий. Работа сознания есть создание нового языка и одновременно его словаря как системы терминов-символов, не совпадающей ни с одним из существующих словарей.

Если продуктом работы сознания является некий логический текст, трактат, а процесс работы сознания может быть запечатлен в хронологической последовательности дневника, то в данном случае меня интересовал не продукт и не процесс сознания, а его континуум, соответствием которому является не трактат и не дневник, но словарь понятий и терминов или антология высказываний. Континуум сознания — это совокупность его возможностей, то есть тех «мыслимостей», которые поддаются словесному выражению. Применительно к языку такой возможностный характер сознания запечатлевается в «говоримостях» (или «сказуемостях»), то есть таких словесных образованиях, которые не имеют места в языке, но могут быть в нем потенцированы как неологизмы, не только лексические, но и терминологические, и системно-понятийные. Само слово «говоримость» есть одно из таких потенциальных новообразований, с которыми сознание работает как с одной из своих возможностей.

Континуум сознания несводим в хронологическую или логическую одномерность-однолинейность временного ряда или однозначность философского учения, даже столь многостороннего и мирообъемлющего, как, например, гегелевское или ницшевское. Сознание никак нельзя отождествлять с порождениями сознания, с теми философскими учениями, каждое из которых реализует только одну из возможностей сознания, и именно в точке реализации отсекает себя от всех других возможностей. Сознание подобно точке, расходящейся кругами и источающей из себя мысли-радиусы во все стороны.

Как читать Книгу Книг?

С какой же точки начать обхождение сознания по кругу — ведь, в отличие от линейного текста, здесь каждая точка может служить началом или концом. Особенность предлагаемой книги состоит в том, что это вообще не текст, а принципиально другая организация слов, больше всего напоминающая словарь, поэтому последовательное чтение здесь выступает лишь как одна из возможностей. Но это и не словарь в традиционном смысле, используемый как справочный материал. Обычно мы открываем словарь на определенной странице с утилитарной целью — чтобы найти в нем то слово, которое нам встретилось в чужом тексте или которое мы собираемся употребить в своем собственном. Словарь в таком смысле — только совокупность пересечений линейных текстов, множество входов и выходов в текущую речь, в практику употребления слов. Данный словарь не соотносится ни с какими текстами, лежащими вне его, он не составлен из готовых слов и значений, уже существующих в языке.

Данный жанр не так отрывочен и служебен, как обычный словарь, и не так последователен и связен, как обычный текст. Поэтому лучше всего читать его, доверяясь интуиции тех связей, которые открываются в самом словаре. Пусть эта книга будет воспринята не как процесс, который нужно прерывать и возобновлять, торопясь дойти до конца и подгоняясь ходом времени, — но как терпеливое пространство, которое с любой страницы впустит тебя и выпустит обратно.

Обычно читатель испытывает чувство вины перед книгой, поскольку не читает ее всю целиком или в нужной последовательности, а только перелистывает в произвольном порядке, выхватывает отдельные строчки и уже следует за ними, чтобы потом, также внезапно, увлечься другим отрывком. Читатель хотел бы найти в книге пространство для чтения, для блуждания глазами, для мысленного кочевья, но ему все время внушается, что книга — это последовательность, которая должна быть прочитана из начала в конец, в порядке глав и частей, логически и хронологически вытекающих друг из друга. Поэтому любое фрагментарное чтение книги — поперек, наоборот, наискосок, вперемежку — порождает бессознательное чувство вины. Книга ждала от него совсем другого, он невежливо, по-хамски с ней обошелся...

Данная книга есть оправдание читательского своеволия и непослушания поряд-

ку страниц, оправдание самого чтения как блуждания в многомерном пространстве — не бега с препятствиями к неизвестной цели, а вольной прогулки с отступлениями и возвратами, по принципу «иди куда глаза глядят». У чтения есть своя семиотика, совершенно не совпадающая с семиотикой текста. Чтение взрывает те упорядоченности, которые представлены в книге, и превращает законченный текст обратно в черновик, в путаницу несложившихся фрагментов.

Известно, что если исследовать сетку взглядов, бросаемых на живописное полотно, наложить друг на друга контуры их многочисленных перемещений, зигзагов, то получится совсем другая картина — не та, которая подлежала разглядыванию. И если заходить в топологически сложное пространство книги с разных сторон, то уже и прочитанные куски будут открываться как части нового ландшафта. По саду, в отличие от прямой дороги, можно блуждать бесконечно, не утрачивая чувства новизны, потому что к одному и тому же месту выходишь с разных сторон.

Хорошо, если некоторые части книги-сада, для каждого читателя свои, так и окажутся никогда не прочитанными. Книга не накладывает запрета на чтение каких-то страниц, но содержит возможность их не-чтения. Не-сознание — это одна из самых драгоценных возможностей сознания, благодаря которой мы и есть то, что мы есть, то, чего нельзя знать о себе. Пусть и книга остается тем, чего в ней нельзя прочитать. Мне хотелось бы, чтобы эта книга не удалялась от читателя по мере чтения и забывания, вхождения в иную жизнь, но оставалась с ним как непрочитанное пространство: разорванное и отброшенное взглядом, оно смыкается за нашей спиной.

4. ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ?

> ...Я никогда не поверю, чтобы борющиеся голоса во мне были тоже мною же. Это, несомненно, какие-то особые существа, самостоятельные и независимые от меня, которые по своей собственной воле вселились в меня и подняли в душе моей спор и шум.
>
> *А. Лосев*[1]

Мыслящие персонажи

Такое вселение иных голосов в сознание, о котором пишет Лосев, давно признается за художником как законное право на перевоплощение. И даже в лирическом произведении, где автор не наделяет своего персонажа особым именем и как будто всецело сливается с ним, на самом деле звучит особый голос, не тождественный голосу самого автора в его дневниках или письмах.

Мыслитель же почему-то обязан мыслить только от собственного лица, что сразу сковывает его голос, обременяет скучной ответственностью. Представьте, что Достоевский должен был бы выдавать мысли Раскольникова и Смердякова за свои собственные, ставить под их монологами свою подпись. Тогда от Достоевского остался бы, наверно, «Дневник писателя» и, может быть, ранние повести, но не зрелые его романы, где у героев страшно развязывается язык.

Эта дистанция между собой и мыслящим персонажем необходима и философу, чтобы развязать узлы своего сознания, чтобы не быть узником своей авторской позиции, которая является лишь одной из возможных в мире мышления. Банальнейшая истина: хорошая литература вовсе не обязательно выводит только хороших персонажей. Так и мыслитель вовсе не обязан выводить только правильные мысли, с которыми согласен он сам и с которыми должен соглашаться читатель. Ответственность мыслителя переносится с непосредственного содержания мыслей на их творчески-энциклопедическую форму, философские построения его мыслящих персонажей. Я называю это персонажным мышлением, поскольку оно ведется от имени

---

[1] *А. Ф. Лосев.* Диалектика мифа. В кн.: *А. Ф. Лосев.* Философия. Мифология. Культура. М., 1991, с. 81.

персонажа, но это не действующее лицо, как персонаж художественной литературы, а именно мыслящее лицо — другой, который пребывает во мне, когда я мыслю, и дистанцию от которого я передаю кавычками.

Между учительством и персонажностью

Персонажность — это не только неустранимое свойство мышления вообще, но особенно тяготеющее над русской литературой, которая с самого начала (XVIII век) складывалась из европейских цитат. Поначалу это воспринималось как подражательность, но ведь можно в этом увидеть и особый «постмодерный» тип словесности, который в России стал так рано развиваться именно потому, что Новое время — «модерн» — в ней запоздало на несколько веков, а то и вовсе было пропущено (Ренессанс, Реформация). Новое время явилось в Россию сразу в форме постнового: грандиозной архитектурной цитаты из европейских источников, каким стал Санкт-Петербург. В сущности, все культуры, запоздавшие на праздник европейского Нового времени, должны быть особо чувствительны к постмодернизму как к искусству цитатно-вторичному. Потому в Америке и в России постмодернизм был схвачен на лету и прижат к сердцу как долгожданное право на вторичность.

Русская литература с самого начала делится на два русла: продолжение средневековья (премодерна) с его избытком учительского пафоса — и начало постмодернизма с его цитатными играми. Поздний Толстой еще принадлежит средневековью, ранний Пушкин — уже постмодерну. «Евгений Онегин» — это «энциклопедия русской жизни» в том смысле, что энциклопедия, как правило, состоит из сокращенных выжимок и откровенных цитат — оригинальность в ней не только не поощряется, но загрязняет чистоту жанра. Как заметил Абрам Терц (А. Синявский) в своих «Прогулках с Пушкиным», «в столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое... вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто в сущности никем не является...»[1] А за век до того Достоевский восторгался именно «всемирной отзывчивостью» Пушкина, который «мог же вместить чужие гении в своей душе, как родные».

Вампиризм или всемирная отзывчивость? Как ни относиться к этой цитатности русской литературы, очевидно, что эта цитатность тем более заложена в русской философии, которая заимствует монументальные западные идеи — шеллинговские, гегелевские, фейербаховские, ницшевские, марксовские, гуссерлевские, хайдеггеровские, — вкладывает в них учительную страсть, экзальтацию, средневековый религиозный пафос, но вместе с тем не может скрыть своей подражательности и оттого так легко, по-хлестаковски, играет этими идеями, выдергивает их из системных гнезд и жонглирует ими к восторгу мыслящей публики, победоносно выжимает их на гибких, но слабых руках, как цирковой тяжеловес — пустотелые штанги. Если Соловьев — средневековый, то Розанов — постмодерный тип русской философии, который показывает дутый, нахватанный, «осыпающийся» характер всех здешних идей.

Но суть в том, что домодерный и постмодерный типы не только порознь существуют, но чем дальше, тем больше соединяются в русской литературе, и это самое оригинальное в ней. Соединяются иногда неорганически, как у Гоголя, с его расколом на средневековый пафос учительства и сказово-персонажную игру. Или органически, как у Достоевского, с его сплошной персонажностью и тем более раскаленным учительством.

В философии, однако, такого сочетания еще не было, да и вообще постмодерное начало в ней выражено гораздо слабее, чем в литературе. Почти сплошь средневековые учителя и пророки: Соловьев, Федоров, Флоренский, Бердяев, Булгаков, Федотов... — честные, мыслящие, совестливые, жертвенные. «Играют» только Леонтьев и Розанов — но в какой мере это игра философская, а не публицистическая или литературная?

Пушкина, Платонова, Набокова еще не было в русской философии. Между тем оригинальность русской мысли могла бы состоять именно в сочетании домодерных (средневековых) канонов, их метафизической взыскательности и радикализма, — с постмодерными (концептуалистскими) приемами цитатности и персонажности.

---

[1] *Абрам Терц (Андрей Синявский).* Собр. соч. в 2 тт. М., 1992; т.1, с. 373.

Книга Книг и состоит из двух таких слоев. Средневековье — на уровне книг. Постмодерн — на уровне Книги. Чем глубокомысленнее канон, тем вернее он выдает себя в качестве шаблона. В Книге Книг средневековая, «важная», учительная традиция русского мышления становится персонажной, заключается в кавычки.

5. ЧТО ТАКОЕ ОБРАТНАЯ ЦИТАТА?

У разных мыслителей были свои любимые концептуальные персоны: Сократ — у Платона, Заратустра — у Ницше, Иоганнес Климакус, Виктор Эремита и Иоганнес де Силенцион — у Кьеркегора... В Книге Книг такими концептуальными персонами являются сами Платон, Ницше и Кьеркегор. А также Гегель, Соловьев и многие другие мыслители, которые волей Книги Книг превращены в мыслящих персонажей. Это бал-маскарад концептуальных персон, созванных на праздник мышления из всех эпох и разделов мировой философии.

Соответствующие разделы Книги Книг создавались методом обратной цитаты. Прямая цитата — использование в своей речи чужих слов. Обратная цитата — передача своих слов другому автору. Прямые цитаты позволяют мне подсоединить мысли других авторов к моей мысли. Обратные цитаты позволяют подсоединить мою мысль к мысли других авторов. Обратные цитаты нужны потому, что другие мыслители создали некое поле мысли, которое еще не нашло себе — да и никогда не найдет — полного выражения ни у самих этих мыслителей, ни у их последователей. Мысль Гегеля больше того, что сказал сам Гегель, — она продолжает мыслить во мне, и я продолжаю мыслить в поле его мысли. В манере Гегеля или Канта можно производить бесконечное число новых высказываний, соотнося потенциальность их мысли с актуальностями новых мировых явлений и предметов[1].

У самого Гегеля нет высказываний по поводу Октябрьской революции, второй мировой войны или Интернета — а между тем гегелевской мысли есть что сказать по этому поводу:

»Реализация Абсолютной Идеи в период ее исторического созревания проходит через фазу, которую можно охарактеризовать как попытку самоубийства«[2].

Как, разве вы не читали? Это заметки Гегеля на полях книги Ленина «Государство и революция».

Читатель обнаружит, что определенная фраза могла бы быть вписана в Гегеля, другая — в Декарта, третья — в Платона, но таким образом, что, если вписать эти фрагменты в их книги, сами эти книги и учения могли бы развиться в другом направлении, быть иноположенными себе. Эти обратные цитаты служат альтернативному осмыслению знакомых нам учений, интенсификации тех или иных мотивов через предположение иных поворотов и возможных перипетий их логического развития. Книга Книг раздает свои пассажи другим книгам, вместо того чтобы заимствовать у них. Задача Книги Книг — не критиковать, а интенсифицировать предыдущие системы и учения, предложив опыт альтернативного их прочтения-вписывания.

Например, в Сократа я вписываю *»Я не знаю, что́ я знаю«*, а в Декарта — *»Я действую, следовательно, я мыслю«*. Я выясняю те потенции мысли, которые обнаруживаются за историческими пределами этих учений, — только благодаря им, но одновременно и вопреки им. Я полагаю, что высказывание *»Я не знаю, что́ я знаю«* принадлежит не мне, но и не историческому Сократу, а, условно говоря, альтернативному Сократу. Я вписываю в историю философии те альтернативы, которые исходят из нее же, — но возвращаются к ней в виде иного Сократа, иного Декарта, иного Гегеля.

В этом смысле Книга Книг наполнена антицитатами — то есть не выписками, а, так сказать, вписками или приписками. Мне претит жанр «Анти-Дюрингов», «Анти-Прудонов», «Анти-Махов», в котором подвизались классики марксизма, мастера бы-

---

[1] Существует даже такая компьютерная программа на английском языке — «Кантовский генератор», которая вполне бессмысленно продуцирует любые высказывания в манере Канта, пользуясь словарем и идиоматикой его сочинений.

[2] Для «обратных цитат» М. Эпштейн предлагает использовать особые, «обратные» кавычки. (*Прим. ред.*)

стровянущей полемики. Если тебе есть что сказать против данного мыслителя, скажи за него — ведь эти мысли вызваны им самим и суть продолжение его собственных мыслей, альтернативные ветвления, бифуркации на древе его сознания.

В истории мысли есть белые пятна. Например, неизвестно, что думал — и думал ли — Бердяев о Бахтине. Да и обратное отношение тоже почти неизвестно. А между тем очень многое сближает этих двух авторов, из всей русской философии XX века более всех известных на Западе. Персонализм, установка на другого, этика свободы и личной ответственности... Но нет ни одной исторической ниточки, протянутой между ними. А вот в области мышления между ними туго натянутый канат. Обратная цитата — это не то, что я думаю Бердяевым или Бахтиным, а то, что они мною думают друг о друге. Наша воображаемая философия позволяет обнаружить реальность мысли, наполнение мыслительного континуума, которое по какой-то причине выпало из истории, не воплотилось фактуально.

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ НА КНИГУ КНИГ

Предварительные отзывы на Книгу Книг были получены накануне ее выхода в свет информационно-издательской сетью Интелнет, которая провела опрос выдающихся деятелей мировой культуры. В соответствии со стандартами американской документации, отзывы расположены в обратном хронологическом порядке их поступления.

Перед нами — цепь шахматных задач. Решение одной задает условие следующей. Число финальных решений практически безгранично.

Джон Апдайк

Любая техническая система нуждается в интеллектуальном двигателе, который определял бы изнутри ее внешнюю экспансию. Одним из таких двигателей Интернета является Интелнет, а внутри последнего — Книга Книг.

Билл Гейтс

Средневековая библиотека представляла собой разросшийся комментарий к одной-единственной Книге. Новое средневековье проходит обратный путь — от множества комментариев к единому (мета)тексту, к книге-библиотеке. Вот почему XX век заканчивается Книгой Книг.

Умберто Эко

Опять заговор, на этот раз философско-эзотерический... «Организация № 1» действует по всему миру, в том числе и в Америке. Но ее следы ведут в Россию, где в 1984 году произошла, как там говорят, «смена вех». Политические результаты не замедлили сказаться уже в следующем году: Горбачев, перестройка, падение железного занавеса... Но только сейчас открываются подводные течения мысли, которые принесли этот вихрь исторических перемен... Теперь мы можем охватить глубокие философские причины и далеко идущие последствия того, что было воспринято Западом как нежданный и незаслуженный подарок судьбы.

Генри Киссинджер

Российская метафизика советской эпохи, представленная в этой книге, дошла до нас только в отрывках и напоминает рассыпанное наследие гностиков или досократиков. Цельные произведения были либо уничтожены, либо не допущены к изданию победившими Диалектиками — могущественными гонителями Метафизики. По своему жанру книга напоминает античную доксографию Диогена Лаэртского — «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Только вот «жизней» в ней почти нет, и философы совсем не знамениты — от них остались только учения и изречения. В этом смысле русская метафизика XX века даже более антична и мифична, чем Фалес и Анаксагор.

Милорад Павич

Что такое цветок, легче постичь из одного цветка, чем из сотни цветков. Перед нами книга, которая содержит в себе сотни книг и в то же время не похожа ни на одну из них.

Араки Ясусада

Тот неясный, многодумный философизм, который, как отмечали Достоевский и Бердяев, вообще характерен для русского человека, находит в Книге Книг вполне естественное, почти фольклорное выражение. Дремучая, корявая речь, носительница или скорее «утопленница» народного бессознательного, выплывает в зону интеллигентского сознания, насыщенного всякими «мыслимостями» философско-идеологически-теологического свойства, на том же синкретическом уровне, на каком вообще работает российское мыслительство.

Абрам Терц (Андрей Синявский)

Письмо жадно мечтает о том времени, когда слова станут наконец счастливы. Книга Книг возвращает нас в Эдем языка — Адаму остается лишь последовать за ней.

Ролан Барт

Я приветствую это сочинение как пародию — но, кажется, оно было задумано слишком всерьез. Вопрос: может ли пародия быть монументальной?

Владимир Набоков

Когда культура истощает свои внутренние ресурсы, в ней на краткий миг возникает хрупкое равновесие и появляются тексты-обзоры, в которых уже предчувствуется механически-суммирующий метод будущей цивилизации. Для западноевропейской культуры таким «прощальным» текстом стал «Закат Европы», для российско-советской — Книга Книг.

Арнольд Тойнби

Эта книга, которую нельзя прочитать, — самый грандиозный провал в истории мысли. Ни одна удача не могла бы быть более грандиозной.

Уильям Фолкнер

Паломничество в страну Востока на обратном пути приводит нас в Россию... Там мне однажды довелось перелистать сфероидную книгу, в которой невозможно определить ни начала, ни конца. Там же мне попадались книги-цилиндры и книги-конусы, в которые приходилось запускать руку изнутри, — но эта книга-шар была самой недоступной.

Герман Гессе

Все книги расплетутся — и страницы их, плавно кружась, сплетутся в новой и единственной Книге.

Стефан Малларме

В этой книге есть нечто всеобъемлющее, примиряющее все противоречия, притупляющее духовную бдительность, что заставляет относиться к ней как к одному из самых опасных знамений грядущей эпохи.

Владимир Соловьев

У этой книги есть необычное свойство: вычитанные в ней мысли легко забываются, а когда вновь приходят на ум, их уже не находишь там, где им положено быть. Кажется, за время твоего отсутствия кто-то перетасовал страницы. Или написал их заново.

Мишель Монтень

Язык той Книги, которая была положена в основание Вселенной, состоял из 22 букв. В сердцевине времен между Богом и миром появляется Третий. Неудивительно, что язык Книги, которая явится в конце мира, будет состоять из 33 букв.

Моше де Леон

7. ОБРАЩЕНИЕ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ АВТОРАМ

Обращаюсь ко всем читателям. Если в какой-то из книг, составляющих эту книгу, вы узнаете собственный голос, считайте ее своей. Дописывайте ее, завершайте, печатайте под своим именем. На книги, входящие в состав Книги Книг, отменяются все права интеллектуальной собственности!

Для исполнения замысла этой книги не только позволительно, но даже желательно, чтобы все входящие в нее отрывки были кем-то присвоены, усыновлены, чтобы у них появился автор, который взял бы на себя ответственность за дальнейшее воплощение данной идеи. Если вам кажется, что какая-то мысль у вас попросту украдена, что вы точно так же думали, только забыли вовремя записать, — считайте эту мысль своею, считайте себя автором любой книги на ваш выбор и вкус. Додумывайте, дописывайте ее, предлагайте в журналы и издательства под своим именем. От вас зависит — примет ли отрывок окончательную форму книги, статьи, диссертации... Но не оставляйте его без присмотра, если в нем есть что-то родное и близкое вам. Введите его в семью своих творений.

■

ХИМЕРЫ НА СТРАНИЦАХ КНИГ

Павел Дунин-Вонсович. Призрачная библиотека, или Книги-химеры, или Сведения о книгах, которых никогда не было, но о которых кто-то написал. Варшава, Мир книги; Светильник и Искра Божия, 1997

Pawel Dunin-Wąsowicz. Widmowa biblioteka. Leksykon książek urojonych. Warszawa, Swiat książki; Lampa i Iskra Boża, 1997

I

Не секрет, что наряду с книгами «для всех» на книжном рынке порой появляются книги «для избранных», то есть — по мнению здорового большинства — неведомо для кого. Такие сочинения идут вразрез с привычным представлением о миссии писательства: из круга задач их авторов исключено не только влияние на действительность, но даже и ее отражение. Это книги-паразиты, при чтении которых буквально ум за разум заходит — как от непостижимого содержания, так и от формы, раскрывающей основной секрет литературы (каковому надлежит быть тщательно укрытым от взгляда профана), а именно: ее двусмысленность.

Не для всех, а для тех, кто пресытился почерпнутыми из современной прозы знаниями о жизни, Павел Дунин-Вонсович, издатель и критик, то есть Светильник и Искра Божия в одном лице, приготовил фирменное блюдо — энциклопедический словарь, в котором собрал книги несуществующие, но получившие известность благодаря тому, что были пересказаны или, по крайней мере, упомянуты в других книгах. Иными словами, не существуют они точно так же (проблема для философов-феноменологов), как и все остальное в мире, называемом виртуальным. Причем на убедительность «небытия» влияет способ их представления. Ибо, как известно со времен Поля Валери, чем в большей степени нечто не существует, тем оно прекраснее, а со времен Сартра: чем больше не существует, тем выразительнее.

На вопрос, почему писатели столь часто упоминают книги несуществующие, в которых, в свою очередь, нередки ссылки на другие книги, также вымышленные, ответить несложно. Ведь куда легче, скажем, написать роман из супружеской жизни, чем развестись на самом деле, или выдумать книжку, чем прочитать настоящую. В отличие от действительности вымысел никогда не обманывает ожиданий. Лучше всего это понимают писатели-фантасты: они знают, что совершить путешествие в Крабовую туманность — пара пустяков по сравнению с трудами, которые надо затратить на то, чтобы описание путешествия вышло в свет.

Произведения, где есть упоминания о вымышленных книгах, принадлежат к категории логически-перспективных парадоксов — таких, например, как картинка, на которой кто-то держит картинку, на которой кто-то держит картинку, на которой кто-то держит картинку. То есть они устремлены в бесконечность, и путь туда ведет сквозь череду зеркал. На этом пути читатель перестает различать, что является средством описания, а что — его предметом. Оказывается, все дело тут в точке зрения наблюдателя. Заветная цель автора (будем надеяться, пока еще неосуществленная) — заставить читателя утратить веру в собственную реальность, загнать его в книгу-лабиринт.

Гениальная в своей простоте идея «призрачной библиотеки» вводит в область весьма обширную. Мало какие из вымышленных книг построены по одинаковому принципу. Писатели тут проявляют жутковатую изобретательность. В одном из рассказов Честертона описана некая не имеющая названия книжка; она обладает поразительной особенностью: тот, кто однажды ее открыл, исчезает, поэтому узнать, о чем в ней идет речь, невозможно. А в другом рассказе появляется ряд книг на совершенно невероятные темы (например, «Религия Фридриха Великого» или «Змеи в Ирландии»), в которых мало того что обсуждаются вещи несуществующие, но и сами они не больше, чем вселяющая обманчивые надежды бутафория. У Киплинга рассказчик излагает содержание книжки, записываемой со слов человека, который сам ее писать не хочет; однако и рассказчик не может ее закончить: история обрывается на полуслове, поскольку «источник» познакомился с некой дамой, а «любовь женщины убивает память». В особых случаях — вспомним ибсеновскую «Гедду Габлер» — книги, находящиеся на разных стадиях существования

(уже изданная, в виде заметок, книга-проект), точно злые демоны, губят персонажей, усеивая страницы трупами.

Не подумайте, читая «Призрачную библиотеку», что это какой-то подозрительный постмодернизм: первый, включающий многословные пересказы каталог всех 133 произведений, перечисленных в VII главе второй книги «Гаргантюа и Пантагрюэля» (их названия рискованно приводить в приличном журнале), датируется 1862 годом. Я сам держал его в руках. А по некоторым данным подобные издания появились уже в XVI веке. Поэтому Дунину-Вонсовичу без особого труда удалось составить снабженный архизабавными комментариями список — пятьсот с лишним названий. Много материала он почерпнул (и скрупулезно классифицировал) из дюжины сочинений, битком набитых вымышленными библиотеками, — таких, как широко известный роман Ежи Анджеевского «Месиво» или известное только знатокам «Вступление в имажиноскопию» Сельдя Отребуса Подзаборного (о личности этого автора может кое-что сообщить Петр Войцеховский). Дунин-Вонсович обошел своим вниманием (в чем признается без большого сожаления) два превосходных сборника псевдопредисловий и псевдорецензий Станислава Лема: «Абсолютный вакуум» и «Мнимая величина». Страшно подумать, как разросся бы его справочник, наткнись он на «Словарь Сатаны» Бирса или «Бестиарий» Жионо, где вымышленные заглавия исчисляются сотнями!

Итак, утверждаю со всей определенностью: авторы, взявшиеся сочинять «открытые» произведения, то бишь копать бездонные колодцы, должны сделать все, чтобы достичь невозможного и втиснуть в свои книги Вселенную целиком — или, на худой конец, создать таковое впечатление. В противном случае их труды можно будет откомментировать, использовав сказанное совсем по другому поводу Вислава Шимборской: «О том, что у кого-то в доме нет «Пиквикского клуба», я даже слышать не хочу». А теперь перейдем ко второй части. Verte!

II

Библиография

Пьер Аронакс, проф. «Тайны морских глубин». Океанографический справочник, охватывающий все известные сведения, доступные ок. 1863 г. тем, кто не совершил путешествия с капитаном Немо. С илл. [*Жюль Верн. «Двадцать тысяч лье под водой».*]

«Бледные рассветы», автор неизвестен; его же: «Разгорающиеся Рассветы», «Новые Рассветы», «Новые Зори», «Эпоха Борьбы», «Борьба в Эпохе», «Трудная Эпоха», «Молодая Эпоха», «Молодежь на Вахте», «Вахта Молодости», «Сражающаяся Молодость», «Идущая Молодость», «Молодость Стоящая», «Эй, Молодые», «Горечь Молодости», «Глаза Молодости», «Уста Молодости», «Молодая Весна», «Моя Весна», «Весна и я», «Весенние Ритмы», «Ритм Пулеметов», «Залп в Воздух», «Семафоры», «Антенны», «Винты», «Мой Поцелуй», «Моя Нежность», «Моя Тоска», «Мои Глаза», «Мои Уста». Найденные в ящике Зуты Млодзяк сборники авангардной поэзии, не содержащие «и намека на коленку». [*Витольд Гомбрович. «Фердидурка».*]

Лиза Боголепова. «Сухие губы». Стихотворный сборник (любовная лирика), принадлежащий перу супруги проф. Тимофея Пнина. [*Владимир Набоков. «Пнин».*] Там же: ряд произведений разных авторов, в том числе «Россия пробуждается» и «Начальный курс русского языка».

Василиск Бородавкин. «Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем». Один из трех трактатов, составляющих приложение к хронике города Глупова. [*Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города».*] Там же: Ксаверий Георгиевич Миклдзе. «О благовидной всех градоначальников наружности»; Феофилакт Иринархович Беневоленский. «Устав о свойственном градоправителю добросердечии».

Борис Годунов-Чердынцев. «Жизнь Чернышевского». Критическая биография русского публициста; приведена полностью (также рец.). [*Владимир Набоков. «Дар».*] Там же: «Стихотворения» того же автора и около 20 других названий (авторы разные), в том числе «Чешуекрылые Российской Империи» и «Основы счастливого брака».

Йоаннес Даубманнус. «Lexicon Cosri. Continens. Colloquium seu disputationem de religione», именуемый «Хазарским словарем». Выпущен в Пруссии польским книгоиздателем; уничтожен в 1692 г. по приказу инквизиции. Уцелели всего два экземпляра, считавшиеся пропавшими. Содержит текст религиозной полемики на хазарском языке с параллельными переводами на арабский, древнееврейский и/или сербский и латинскими комментариями. Ключ к погибшей культуре хазаров. [*Милорад Павич. «Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100 000 слов».*] Данный источник является попыткой реконструкции оригинала.

Лавицкий «Самогитский катехизис». Раритет (XV—XVI в.) на жмудском языке, предмет мечтаний лингвиста проф. Виттенбаха; обнаружен в библиотеке замка Мединтильтас, принадлежащего графу Михаилу Шемету. [*Проспер Мериме. «Локис».*]

Мастер (фамилия неизвестна). «Понтий Пилат» (?). Исторический роман, место действия — Палестина, I век н. э. Четыре переплетенных машинописных экземпляра. Закончен не позднее 1936 г. Дважды сожжен. Четыре главы восстановлены по памяти Сатаной. Одна глава публиковалась в журнале (многочисленные разгромные рец.). Крупнейшее произведение эпохи. [*Михаил Афанасьевич Булгаков. «Мастер и Маргарита».*]

Вадим Вадимович Н. «Эсмеральда и ее Парандр». Единственный роман с участием этого сказочного животного (пародия на «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго?). [*Владимир Набоков. «Посмотри на арлекинов!».*] Там же: девять остальных романов того же автора и др.

Пижоно, проф. «К вопросу об одежде знатной египтянки в эпоху Среднего царства по неопубликованному рисунку». Третий из трудов ученого-египтолога, доставивший автору много хлопот трагикомического свойства. [*Анатоль Франс (наст. фам. Тибо). «Господин Пижоно».*] Там же: «Злоключения кривого носильщика» того же автора; юмореска.

Сэмюэл Пиквик, эсквайр, П.Ч.П.К. «Размышления об истоках Хемстедских прудов с присовокуплением некоторых наблюдений по вопросу о Теории Колюшки». Эпохальный труд пожизненного президента Пиквикского клуба, за который названная ассоциация выразила вышеупомянутому президенту живейшую благодарность. Многократно реконструирован диккенсоведами. [*Чарльз Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба».*]

Самсон Самсонович Проферансов. «Психический магнит». Ключ к обретению власти над умами. «Средней толщины» книжка «в кожаном облачении такой на вид твердой прочности, что если бы этой книжной кожей подшить сапоги, то двести лет не было бы тем сапогам сносу». Сто лет назад «писана рукой с индийского языка красивым почерком». [*Абрам Терц / Андрей Синявский. «Любимов».*]

Тагаки. «Моя жена» (?). Писательский дебют японского офицера, принесший ему славу. В своем романе автор с физиологическими подробностями описал первые годы жизни с русской женой, Софьей Васильевной Гнедых-Тагаки, которой лишь через несколько лет стало известно содержание романа. [*Борис Пильняк (наст. фам. Вогау). «Рассказ о том, как создаются рассказы».*]

ЯН ГОНДОВИЧ

■

ОЛЬГА ЮШКОВА

«ОЖИДАНИЕ» ЛЮЧИО ФОНТАНА

Лючио Фонтана (1899—1968) родился в Аргентине, в итальянской семье. Жил преимущественно в Италии, где получил художественное образование в миланской Академии делла Брера. Его имя занимает одно из центральных мест в истории искусства периода после второй мировой войны.

Многие процессы европейской художественной культуры этого времени были связаны с открытиями начала XX века, когда возникло беспредметное, или абстрактное, творчество. Символом нового понимания смысла и цели искусства стал «Черный квадрат» Казимира Малевича, написанный в 1915 году. Художник словно черным экраном закрыл всю предшествовавшую историю искусства и открыл ее новую страницу, предложив вариант принципиально иного художественного языка.

В европейском сознании твердо закрепилась мысль, сформулированная еще древними греками, — искусство основывается на подражании природе. В художественных образах оно воссоздает картины мира, отражая действительность и в то же время познавая ее. Поэтому зритель, как правило, уверен: в произведении должна быть явлена узнаваемая картина мира или представления о нем.

К концу XIX века этот тезис стал вызывать сомнения. Философия нового времени активно заговорила об ускользающей сущности действительности, о невозможности ее полностью познать. Эта мысль стала постепенно расшатывать древнегреческий постамент, на котором возвышались многочисленные и хорошо обустроенные стили европейской культуры. Первый удар был нанесен импрессионистами. Техника их живописи как бы дематериализует материальную фактуру мира, показывая ее бесконечную изменчивость и перетекаемость границ формы; легкие, быстрые мазки, смешивающие цвет прямо на холсте, оказались слишком тяжелыми для этого постамента. Но рухнул он, когда художники пришли к выводу, что они должны не подражать действительности, а проектировать ее.

Проекты модернизма 1910—1920-х годов дали мощный импульс всему веку. Их центральной акцией в изобразительном искусстве стал отказ от предмета как строительного материала художественной формы. Предмет был тем последним блоком античного постамента, на котором балансировали художественные направления начала XX века: мастера экспрессионизма, фовизма, кубизма деформировали форму с целью показать ее внутреннюю сущность. «Черный квадрат» Малевича ознаменовал акцию полного отказа от предмета. В своих теоретических работах мастер сообщил, что он вышел за «нуль форм» и начал постройку новых форм из Ничего.

Прошло несколько десятилетий, и Лючио Фонтана сделал надрез на пустом холсте, выйдя за границы картинного пространства. Он заглянул за «Черный квадрат» с ожиданием обрести новые пространственные представления. Он вновь вступил в дискуссию с системой живописи, сложившейся в эпоху Ренессанса. Картина — это не то, что человек видит вокруг себя под углом, доступным его зрению, это не отражение в зеркале и не взгляд в окно, это не изображение мира в трех измерениях по закону прямой линейной перспективы... Предположим, но в таком случае — что это?

Странный разрез, поранивший плоть необработанного холста, удивляет и завораживает («Пространственное представление: ожидание», 1966—1967). Холст словно не желает больше служить экраном для демонстрации каких бы то ни было изобразительных форм, пусть даже абстрактных. Мир гораздо больше того фрагмента, который полотно может отразить на своей поверхности. Отсутствие на холсте видимых реалий действительности оборачивается присутствием в нем ощущения бесконечности мирового пространства, ожиданием метаморфоз его пограничных зон. Края таин-

© О. Юшкова, 1999

ственной щели то открываются в реальное пространство зрителя, то закрываются и уходят в неведомую глубину. Все зависит от точки зрения; вы меняете ее, и возникают новые эффекты освещенного и затененного края разреза, так будоражащие ваше воображение.

Произведение датировано 1966—1967 годами, что совсем удивительно. Несложно представить себе длительный процесс работы мастера над большой многофигурной композицией; Александр Иванов на протяжении двадцати лет работал над картиной «Явление Христа народу», и этот факт неизменно вызывает у зрителя почтительное восхищение. Гораздо сложнее понять художника, которому потребовался не один день и даже не один месяц для того, чтобы сделать ровный разрез на холсте.

Пафос развития художественной культуры XX века состоит в поиске новых выразительных средств, способных передать новые представления о мире, вернее сказать, динамический процесс разрушения старого мироощущения и формирования нового. Поэтому в художественном творчестве особое значение приобретают новации в области идей. Не так просто было прийти к самой идее подобного разрушения царства четырехугольной плоскости картины.

«Пространственные представления» — так назвал основную серию своих работ Лючио Фонтана. Первые из них появились в 1944 году, а двумя годами позже был издан «Белый манифест», написанный художником совместно с его учениками. «Бытие, природа и материя, — сказано в манифесте, — образуют неразрывное единство. Они разворачиваются во времени и пространстве. Изменение — вот основное условие бытия... Материя, цвет и звук в их подвижности — вот феномены, одновременное развитие которых составляет задачу современного искусства... Подвижная материя манифестирует себя в ее всеобъемлющем и вечном существовании, развиваясь во времени и пространстве и переходя путем непрерывных изменений от одного экзистенциального состояния к другому». Концептуальность творчества стала важнейшей и неотъемлемой частью искусства. Зримые реалии мира, из которых ранее составлялся художественный текст, теперь уходят в подтекст произведения, а его идейная программа, бывшая подтекстом визуального ряда, становится самим текстом.

Работает Фонтана в различных техниках и материалах. Бронзовый шар с рваным отверстием носит название «Пространственное представление: природа» (1959—1960). В «Белом манифесте» художники настаивают на том, что они заимствуют свои элементы у природы. Но какие именно элементы? Элементы ее внутренних процессов, ее жизни, не видимой нашему глазу. Природа как материя, находящаяся в постоянном движении в пространстве и во времени, — вот что интересует мастера и что он стремится донести до зрителя. Именно поэтому он уверенно пишет в манифесте: «...мы стоим ближе к природе, чем когда-либо искусство добивалось в ходе своей истории».

Отверстия, разрезы и дыры возникают и на металле и на керамике... Художник всегда находит для них убедительное место с точки зрения всей ритмической организации композиции и создает пространство, в которое помещает зрителя. Цветом он отмечает именно те места в композиции, вокруг которых можно выстроить воображаемое пространство, либо представив его за плоскостью картины, либо перед ней. Таким образом, само произведение является некой пограничной зоной между множеством воображаемых пространств, которые пронизывают его насквозь.

Во второй половине XX столетия происходил активный поиск новых принципов контакта со зрителем в разных видах искусства. Зрителя то вовлекали в сам процесс создания произведения (разнообразные художественные акции с участием публики), то призывали его почувствовать себя среди героев произведения и в воображении стать одним из них. Достаточно вспомнить опыт театральных постановок, когда спектакль начинался в фойе театра, актеры во время спектакля выходили в зрительный зал и т. д. Все эти приемы направлены на разрушение замкнутости, отдельности существования пространственной зоны зрителя и произведения.

Представители современного искусства часто декларируют его отказ от эстетической функции и информационных задач. В «Белом манифесте» читаем: «Мы настаиваем на искусстве, свободном от всякой эстетической искусственности». Возможно, от эстетической искусственности творчество Фонтана свободно, но от эстетического чувства — нет. Если отвлечься от обыденного представления о картине, то можно оценить даже красоту разреза на необработанном холсте.

■

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

От автора

Толчком, побудившим меня взяться за эти заметки, послужила присутствующая в каждом литературном журнале рубрика «Книги, присланные в редакцию». Нетрудно было заметить, что лишь ничтожный процент упоминавшихся там книг попадал затем на письменный стол рецензента. Преимущество отдавалось самой свежей беллетристике и публицистике. Меньше шансов имели переиздания классиков и мемуары. Почти никаких — монографии, антологии, словари. И уж совсем не могли рассчитывать на отклик научно-популярные книги и разного рода справочники. По-иному обстояло дело в книжных магазинах: большая часть (если не все) усердно рецензируемых книжек месяцами валялась на полках и в конце концов отправлялась в макулатуру, между тем как внушительное количество книг, не дождавшихся ни оценки, ни обсуждения, ни рекомендаций, расходилось молниеносно. И мне захотелось уделить немного внимания именно этой литературе. Поначалу я намеревалась сочинять настоящие рецензии, то есть в каждом отдельном случае определять характер книги, причислять ее к тому или иному направлению, ну и, конечно, оценивать, чем она лучше или хуже других. Однако быстро поняла, что писать рецензии не сумею, да и не испытываю желания. Что по сути дела я — читатель-дилетант, не обремененный необходимостью постоянно давать оценки, и таковым хочу оставаться. Книга может меня глубóко взволновать, а может всего-навсего стать предлогом для свободных ассоциаций. Так что прав будет тот, кто назовет мои заметки фельетонами. Тот же, кто вздумает настаивать на «рецензиях», только меня против себя восстановит.

И еще я хочу кое в чем признаться. Не опасаясь прослыть старомодной, скажу, что чтение книг — прекраснейшее из развлечений, которое придумало для себя человечество. Homo ludens[1] танцует, поет, выразительно жестикулирует, принимает позы, наряжается, пирует и устраивает изощренные церемонии. Я не умаляю важности подобных забав — без них жизнь была бы невероятно однообразной и человек чувствовал бы себя одиноким. Однако все эти забавы — действия совместные, от которых более или менее ощутимо попахивает коллек-

[1] Человек играющий (*лат.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Copyright by Wisława Szymborska, 1996, 1997
© К. Старосельская. Перевод, 1999

Редакция благодарит Виславу Шимборскую за щедрый подарок — безвозмездное предоставление прав на публикацию подборки ее фельетонов.

тивной муштрой. А Homo ludens с Книгой — свободен. По крайней мере настолько, насколько можно быть свободным. Он сам для себя устанавливает правила игры, руководствуясь лишь собственным любопытством. Он позволяет себе читать как умные книжки, из которых что-то узнаёт, так и глупые, ибо и в них содержится некая информация. Он волен одну книжку не дочитать до конца, а вторую с конца начать и потом вернуться к началу. Он волен захихикать в совершенно неподходящем месте или вдруг задержаться на словах, которые запомнит на всю жизнь. Он, наконец, волен — чего не может ему предложить никакое другое развлечение — послушать, о чем рассуждает Монтень, или на минутку заскочить в мезозой.

А. ДЗЯК и Б. КАМИНСКИЙ
Несчастные случаи в доме

Медицинское издательство, 1970

Пребывание в доме дьявольски опасно: на каждом шагу нас подстерегает гибель или увечье. Надо еще добавить, что чем больше в доме дарованных цивилизацией удобств, тем больше вероятность несчастного случая. Спокойнее всего жилось в пещере, да и то лишь при условии, что в отсутствие увлекшегося охотой хозяина туда не вломится саблезубый тигр. Брошюра А. Дзяка и Б. Каминского (издательство, экономя литеры, не сообщает полных имен) готовит нас к разнообразным неожиданностям и учит оказывать первую помощь. Давая инструкции, авторы настолько увлеклись, что вышли далеко за пределы обозначенной в заглавии темы. Кроме несчастных случаев в доме, они обсуждают таковые во дворе, в лесу и на реке. И наконец, завершают свой полезный труд главой «Как поступать в случае массовых ранений (стихийное бедствие, атомная атака)». Читатель потрясен: подобного финала никто не ожидал от книжонки, на обложке которой яркими красками изображен домик, стоящий на забинтованной ножке. Однажды на встрече с читателями меня спросили, почему я пишу не о художественной литературе, а о разных пособиях и научно-популярных книгах. Тогда я ответила, что публикации такого рода никогда не заканчиваются ни хорошо ни плохо и как раз это мне в них больше всего и нравится. Теперь же я вижу, что придется пересмотреть свое суждение. У меня уже нет никакой уверенности в том, что в данный момент с печатных станков не сходит пособие об уходе за грудными младенцами, главный упор в котором автор делает на конец света.

Настенный календарь на 1973 год

Ксёнжка и ведза, 1972

А почему бы не написать пару слов о настенном отрывном календаре? Это ведь тоже книга, притом толстая — меньше 365 страниц в ней быть не может. Распространяется она через киоски тиражом три миллиона триста тысяч экземпляров — стало быть, бестселлер из бестселлеров. От издателей требует необычайной четкости, поскольку в издательском плане ее нельзя передвинуть на год или полтора. А от корректоров — высочайшего профессионализма, ибо мельчайшая ошибка может взбудоражить умы. Страшно даже представить себе две среды на одной неделе или именины Ежи в день святого Иосифа. Календарь — не научный труд, к которому традиционно прилагаются замеченные опечатки. И не поэтический сборник, где корректорские ошибки сходят за каприз вдохновения. Уже из одного этого ясно, что мы имеем дело с совершенно особым изданием. Но это еще не все. Календарям суждено постепенное изничтожение путем отрывания листочков. Нас переживут миллионы книг, среди которых немало плохо написанных, бессмысленных, устаревших. Календарь же — единственная книга, которая не намерена нас переживать, не претендует на синекуру на библиотечной полке: она заведомо недолговечна. В силу своей скромности она даже не мечтает, что будет внимательно, листок за листком, прочитана, и лишь на всякий случай наполнена содержательным текстом. В календаре всего понемногу: приходящиеся на данный день годовщины исторических событий, припевки, афоризмы, анекдоты (к случаю, разумеется!), статистические данные, загадки, предостережения типа «Курение

опасно для здоровья» и перечень методов борьбы с домашними насекомыми. Страшная мешанина, жуткие диссонансы — возвышенность истории соседствует с серостью буден, сентенции философов соперничают с рифмованными предсказаниями погоды, жизнеописания героев великодушно мирятся с практическими советами тетушки Клементины... Кого-то это возмущает — ну и пожалуйста; нас тут, в Кракове (а стало быть, в кругах, что ни говори, близких к королевским усыпальницам), многосторонность календаря умиляет. Больше того: я, например, улавливаю его потаенное сходство с лучшими произведениями мировой литературы; мне кажется, календарь — родственник эпоса, незаконное дитя... И когда под одной датой (хоть бы она ни с чем дурным не была связана!) я наткнулась на отрывок из собственного стишка, я приняла этот факт с меланхолическим смирением. На обороте оказался рецепт творожной запеканки по-венски: полкило творога, ложка картофельной муки, стакан сахару, шесть ложек сливочного масла, четыре яйца, пряности, изюм. Заканчивая этим изюмом, желаю своим Великодушным Читателям счастливого Нового года!

ПСЕВДО-ПЛАТОН

Алкивиад и другие диалоги, а также определения

«Библиотека классиков философии». ПВН, 1973

Великие писатели отбрасывают тень сразу в двух направлениях. Одной тенью они заслоняют своих предшественников, другой — эпигонов. Даже образованный человек не обязан помнить, что сократовские диалоги до Платона писали Алексамен, Симмий, Кебет, Критон, Евклид из Мегары, Стилпон и еще несколько других. Немногое также известно об эпигонах Платона. Тут, однако, дело обстоит одновременно и проще и сложнее. Проще потому, что последние, отказавшись от собственного авторства и подделываясь под старика Платона, заранее обрекли себя на забвение. А сложнее — поскольку некоторые тексты оказались умелым подражанием и долгое время считались подлинниками. По правде говоря, только в XIX веке корпус сочинений Платона был подвергнут строгой верификации и из него изъяли несколько диалогов, как: а) наверняка не платоновские, б) скорее всего не платоновские... Рассматриваемая книга, великолепно переведенная и откомментированная Леопольдом Регнером, состоит именно из таких текстов. Все они, кроме «Алкивиада I», появляются на польском языке впервые. В связи с этой книгой было мне, прошу прощения, видение. А именно: я вообразила, будто встречаюсь на улице с Сократом, который заступает мне дорогу с явным намерением поболтать. Пожалуйста, не улыбайтесь иронически. Сократ не всегда искал для бесед мудрецов, часто (даже чересчур часто) он довольствовался простецами, которых легко (возможно, даже чересчур легко) припирал к стенке своим пылким красноречием, они же только ошеломленно лепетали: «Да, Сократ», «Отнюдь, Сократ», «Похоже, ты прав, Сократ». Так что мне привиделось, будто Сократ захотел со мной поговорить, вовсе не от мании величия; пожалуй, только следовало бы временно сменить пол, ибо философ не имел обыкновения зацеплять женщин. Короче, Сократ, сверля меня своими глазками, спрашивает: «Куда ты так спешишь, мой славный Шимборский?» — «Домой, Сократ, — отвечаю я, — дочитывать Псевдо-Платона». — «Псевдо-Платона? — удивляется Сократ. — Неужто ты хочешь сказать, что читаешь фальшивые произведения Платона?» — «Да, Сократ, именно это я и хочу сказать». — «А как же ты отличаешь подделку от правды, научи меня, сделай милость, Шимборский!» — «Это совсем не трудно, Сократ. Просто лучшие произведения написаны Платоном, а те, что похуже, — его эпигонами». — «Стало быть, ты полагаешь, — спрашивает Сократ, и косматый его лик озаряется зловеще-добродушной улыбкой, — что Платон неважнецки писать бы не смог?..» Я уже понимаю, что проваливаюсь с треском, погибаю без надежды на спасение. Мудрец, точно огромный кот, будет играть со мной, как с мышонком, покуда я не уйду, убежденная в том, что гениальный Платон сочинял исключительно посредственные вещи, а «Пир», «Федр», «Горгий» и «Государство» были втихую написаны за него самыми тупыми его учениками.

ЭВЕРХАРД ИОГАННЕС СЛИЙПЕР

Великаны и карлики в мире животных

Ведза повшехна, 1975

Тема книги — анализ взаимозависимости размеров тела и его жизненных функций. Чем меньше животное, тем быстрее у него происходит обмен веществ, что влечет за собой учащение дыхания и пульса, увеличение прожорливости и плодовитости. Если из этого правила и есть исключения, то автор старается отыскать их побочную причину столь же скрупулезно, сколь изучает само правило. Смею предположить, что данный труд не разочарует ни ученых-зоологов, ни дилетантов, интересующихся естественными науками. Однако на пути к знанию им придется испытать немало разочарований. Я, например, до сих пор была уверена, что фантастичность свифтовских лилипутов обусловлена просто тем, что их нет, а нет их потому, что нет. Теперь же я должна смириться с мыслью, что лилипутов этих нет, потому что их существование абсолютно невозможно. А это большая разница, это смертельный удар по самой идее гномов! К такому удару автор примеривается исподволь. Сперва он сообщает, что лилипуты напрасно закармливали Гулливера. Они полагали, что поскольку он в 1728 раз больше взрослого лилипута, то и есть должен во столько же раз больше. Между тем Гулливеру хватило бы 144 лилипутских пайков. А вот самим лилипутам требовалось гораздо больше еды, чем утверждает Свифт. Есть им надлежало не 3, а 36 раз в день, и вес поглощенных продуктов в сумме должен был равняться четверти их собственного веса. Иначе они быстро поумирали бы с голоду (позволю себе заметить, что в таком случае наиболее правдоподобен прожорливый Гном из сказки Конопницкой). Необходимость добывать пищу в столь огромных количествах исключает оседлый образ жизни, нравственное самоусовершенствование и приобретение знаний, ставит под вопрос существование поваров, счетоводов, садовников и архитекторов, не говоря уж о культурном развитии. Человек сумел создать культуру лишь потому, что является сравнительно крупной особью с не слишком быстрым обменом веществ и, соответственно, располагает некоторым запасом свободного времени, без которого о культуре не может быть и речи. Жестокий автор книги, таким образом, отказывает лилипутам в праве на цивилизованное государство. Мало того — он отказывает им в праве жить по-людски. Не лучше обстоит дело с пребыванием Гулливера среди великанов. Такие громадины по целому ряду причин должны были бы обитать в воде и вести себя согласно требованиям окружающей мокрой среды. Короче говоря, человек может быть только Гулливером среди Гулливеров... В утешение добавлю, что лишь при своих — весьма и весьма ограниченных! — видовых размерах человечество сумело, поднатужившись, произвести на свет Свифта и его замечательную сказку.

ВАЛЬТЕР ХААС

Соловьи в бархате и шелках — из жизни великих примадонн

Польское музыкальное издательство, 1975

Еще в XVI веке появление на сцене солидного театра женщины в женской роли было бы сочтено непристойным. Иное дело юноша в дамском платье — скажем, очаровательный Дездемона, путающийся в длинной юбке рядом с Отелло. В опере, возникшей как новый музыкальный жанр в том же столетии, также соблюдались эти сомнительные приличия. Пастушок Дафнис клялся в любви особе отнюдь не противоположного пола, на что пастушка Хлоя отвечал страстным дискантом. Но уже в 1600 году во Флоренции на торжественной премьере «Эвридики» в главной роли выступила дама. Подобный скандал мог произойти лишь вдали от папского Рима, где женщинам еще долго был заказан путь на сцену. С течением времени этот римский запрет становился все более обременительным, ибо опер прибывало, спрос на умеющих петь юношей возрастал, а предложение было невелико, да и всегда оставалась угроза неизбежной мутации голоса. Посему мальчиков стали кастрировать. Чего не сделаешь ради сохранения добрых нравов... С тех пор роли изящных нимф, богинь и пастушек начали исполнять вышедшие из нежного возраста и обросшие жирком инвалиды с нечеловечески прекрасными голосами. За ними охотились все оперные сцены Европы — даже те, на которых не-

дурно прижились женщины. Для представительниц слабого пола кастраты составляли опасную конкуренцию, и певицам частенько приходилось довольствоваться ролями сентиментальных героев-любовников. Это уже смахивало на паноптикум. В некоем лондонском представлении участвовало столько же певиц в панталонах, сколько и кастратов в кринолинах. Слух, возможно, их пенье и услаждало, а вот зрелище, надо полагать, было кошмарное. Когда наконец варварское производство калек прекратилось, у дам появилась возможность отыграться: переняв у кастратов все женские роли, они оставили себе и мужские. Ситуация стала напоминать исходную, только вывернутую наизнанку: теперь к спящей (уже оперной) Дездемоне подкрадывалась Отелло в накладных усах. Такой спектакль еще довелось увидеть Шопену в Париже. Поскольку Отелло была миниатюрна, а Дездемона — с добрую бочку, Шопен страшно боялся, что на подмостках не того задушат. Я всегда им восхищалась за то, что он не поддался на уговоры Мицкевича заняться сочинением опер. Вероятно, у него были и более веские причины сохранять верность фортепьяно, но, кто знает, не сыграла ли тут свою роль его обостренная чувствительность ко всему комическому: композитор хорошо себе представлял, сколь чудовищным может оказаться состав исполнителей, а помешать этому он бы не сумел. И заранее видел себя, несчастного автора, съежившимся в самом темном уголке ложи.

ВЛАДИСЛАВ ЧАПЛИНСКИЙ и ЮЗЕФ ДЛУГОШ

Повседневная жизнь польских магнатов в XVII веке

ПИВ, 1976

Речь идет в основном о первой половине XVII века. Во второй половине наслаждаться повседневной жизнью почти не было времени — ее ритм то и дело нарушала история. В своей книге авторы не рассматривают исторические факты, не определяют меру ответственности польских магнатов за ход событий. Предметом описания и анализа являются резиденции магнатов, внутрисемейные отношения, образ жизни, доходы, исполнение должностных функций, образование и ментальность. Создается впечатление, что, пожалуй, не все в магнатской прослойке было неизбежно и бесповоротно плохо. Разумеется, нехорошо быть магнатом, но не только в Польше — повсюду. И запросы, кругозор, вкусы и манеры у представителей этой прослойки были, в общем-то, повсюду схожи. Не только польские паны теряли золотые подковы, не только они старались перещеголять друг друга в роскоши дворцов, великолепии пиршеств и помпезности погребальных церемоний. Пиры у Конде были не менее безумны, чем у Радзивиллов. Так что на первый взгляд наши магнаты ничем от прочих не отличались. Но тут возникает вопрос: везде ли и все ли были одинаково расточительны? Увы, нет — и в этом месте цепочка сходств начинает рваться. Я где-то читала о пире, заданном генуэзским сенатором в честь Карла VI Габсбурга. Драгоценные блюда, с которых соблаговолил откушать монарх, и кубки, из которых он пил, под звуки фанфар швырялись в море. Жест поистине сарматский, однако продолжение отнюдь не сарматское. В воде были растянуты невидимые сети, благодаря которым назавтра все ценности извлекли из морской пучины. У нас таких сетей не оказалось — в прямом и переносном смысле. Мы чересчур серьезно относились к своим жестам. И еще есть одно отличие, куда печальнее первого. Могу поспорить, что бóльшая часть посуды на генуэзском пиршественном столе, так же как и мебель, наряды, статуи, ковры, музыкальные инструменты, словом, почти все было изготовлено руками местных ремесленников и художников. И хотя не всегда эти люди получали достойное вознаграждение, их ценили и всячески поддерживали. У нас же никто не брал на себя труд позаботиться о развитии отечественных ремесел — все, что только можно было, доставлялось из-за границы. Будь это технически возможно, издалека привозились бы целые, уже построенные дворцы. Весьма вероятно, что образ прибывающего из-за рубежа дворца посещал во сне не одного магната. Шу-шу-шу... через горы, долы и реки, сметая на пути леса, сокрушая убогие городки и нищие деревеньки, приближается и растет на глазах готовенький, с иголочки дворец, весело поблескивая стеклышками в окнах. А во дворце сотня покоев, а в каждом покое персидские ковры,

фламандские гобелены, итальянская живопись, а на каждом столе подпрыгивают бокалы венецианского стекла...

АННА РАДКЛИФ
Итальянец, или Исповедальня черных грешников
Выдавництво литерацке, 1977

Во второй половине XVIII века модным литературном жанром в Англии стал роман ужасов, иначе называемый готическим. Романами ужасов зачитывались по тем же причинам, по которым мы любим читать детективы. Действие в них развивалось бойко, а героев за каждым углом поджидала страшная опасность. В декорациях этих романов непременно присутствовали полуразрушенные замки, подземелья, пещеры в горах и непроходимые дебри, в которых гнездились разбойники. Взору их полагалось быть диким, а одежда вызывала отвращение. Нельзя было, конечно, обойтись без злодеев-графов, таинственных кающихся грешников, мстителей, скрывающих лица под капюшоном, и подкидышей. К счастью, у каждого подкидыша имелся особый знак на лопатке или хотя бы медальон, благодаря чему в предусмотренный автором срок бедолага обретал свое подлинное имя и немалое состояние. Весьма приветствовались также призраки, скелеты, зловещие сны и кинжалы, кровь на которых долгие годы казалась свежей. В «Итальянце» присутствуют почти все вышеупомянутые элементы, так что он является достойным представителем своего жанра. А вот будут ли у сегодняшнего читателя бегать мурашки по коже, я, к сожалению, не уверена. Хотя меня лично этот роман глубоко взволновал. В детстве, когда мне было лет восемь или девять, я наткнулась на подобную книгу и проглотила ее с замиранием сердца. Это наверняка был не «Итальянец» (польский перевод сейчас выходит впервые), но что-то очень похожее. Помню ее внешний вид: она выглядела именно так, как должна выглядеть книжка, побывавшая в руках нескольких поколений. Без обложки и титульного листа, с обтрепанными краями, с пожелтевшими отпечатками сотен пальцев, с засушенной фиалкой, с раздавленной много лет назад мухой, с какими-то вычислениями на полях и гравюрами, которые неизвестное мне дитя раскрасило цветными мелками. До сих пор помню, с каким отчаянием я подсчитывала быстро убывающие страницы. И вот настал ужасный момент, когда я прочитала слово «конец». Под этим словом зияла пустота, которую мне хотелось — любой ценой — чем-нибудь заполнить. И я решила сама написать роман. За дело я взялась энергично, очинила карандаш и раскрыла чистую тетрадку. Над именем героини ломать голову не понадобилось — оно было готово. У меня в памяти застряла подпись под картинкой в каком-то журнале: «Идиллия в саду». Картинка изображала пару влюбленных на фоне розового куста, но я решила, что Идиллией зовут барышню. Первая фраза моего романа звучала так: «Кареглазая Идиллия с самого рассвета вглядывалась в гаризон, из которого выходил почтальон с письмом от жениха...» Потом сразу начиналось напряженное действие. Кто-то подошел к Идиллии сзади, и чья-то омерзительная лапа тяжело опустилась на ее плечо. На этом месте, увы, текст по неизвестным причинам обрывался. И мне никогда уже не узнать, что должно было быть дальше.

ВЛАДИСЛАВ А. СЕРЧИК
Иван Грозный
Оссолинеум, 1977

Никколо Макиавелли, автор знаменитого «Государя», скончался в Италии в 1527 году. Спустя три года на московской земле родился князь Иван IV, будущий русский царь, которого В. А. Серчик в одном месте своей монографии называет «исполнителем» идей Макиавелли. Это, пожалуй, единственное слово в книге, показавшееся мне неубедительным. Но совсем не потому, что Иван «Государя» скорее всего не читал; в конце концов, сколько себя помнит мир, власть имущие никогда не чурались аморальных методов правления, подобных тем, что рекомендует Макиавелли. Применял таковые и Иван Грозный — отчасти по вдохновению, а отчасти — следуя традиции, в которой был воспитан. Впрочем, и сам Макиавелли ничего нового не выдумал; как примеры оправдываемых целью средств, так и уверенность в полном праве властителя на иную, нежели у его подданных, более льготную этику он черпал из окружающей его политической действи-

тельности. Макиавелли только упорядочил и рационализировал старинные теоретические методы. Его Государь — человек Возрождения и предтеча просвещенного абсолютизма. Бессовестность, хитрость, жадность, комедиантство и расчетливая подлость — да, все это так, но вместе с тем он образован и здравомыслящ, умеет считаться с фактами и знает цену своим поступкам. Этому правителю все дозволено, но он сам не все себе позволяет — хотя бы потому, что имеет ясное представление о собственных целях. А главная цель у него была — чтобы его государство вызывало всеобщее восхищение. То есть земля должна славиться своим плодородием, а города — изобилием производимых и продаваемых товаров. Поэтому я не считаю, что Макиавелли пришелся бы по душе такой «исполнитель», как Иван IV. Скорее наоборот: он бы отрекся от каких бы то ни было интеллектуальных связей с Грозным. Разве можно назвать хорошим шахматиста, который, не сумев поставить противнику мат, впадает в ярость и сметает с доски фигуры? В свете циничной теории Макиавелли беспримерная жестокость царя кажется еще более бессмысленной. Она стала причиной опустошения страны, разорения городов и упадка сельского хозяйства, культурного регресса; наконец, на Руси, как нигде и никогда, выросло число разбойников и бродяг. И ожидаемых военных успехов тирания не принесла. Самый крупный успех — завоевание Западной Сибири — был достигнут вовсе не по инициативе царя и безо всякой поддержки с его стороны; заслуга Грозного состояла единственно в том, что он соблаговолил не мешать. Жил он в одиночестве, поскольку окружил себя сворой подпевал. Для человека, который осмеливался противоречить царю, добром это не кончалось, а точнее — кончалось совсем худо. Умерев, Иван оставил Россию отрезанной от Европы, без союзников и практически без наследника — одного из своих сыновей он убил (до сих пор не известно почему), а второй, оставшийся в живых, был слабоумным. Так что вскоре с новой силой разгорелась борьба за престол, продлевая период всеобщей смуты. Un fiasco, mamma mia, mostruoso e tragico[1], — простонал бы mezza voce[2] синьор Макиавелли, перевернувшись con brio[1] в могиле.

ЗОФЬЯ ВЕНДРОВСКАЯ
100 минут на красоту
Издание четвертое. Спорт и туризм, 1978

Тратить сто минут на собственную красоту? Каждый день? Такую роскошь, пушинка на ветру[2], ты, имея мужа и детей и при этом работая, не всегда можешь себе позволить. Но даже если бы и смогла — все равно, бегло прочитав книжку, ты убедишься, что ста минутами тут никак не обойтись. Речь идет о двадцати четырех часах в сутки. Мысль о своей наружности не должна покидать тебя, даже когда ты думаешь о чем-то другом. Если ходишь, изволь постоянно следить, *как* ты ходишь, если сидишь — *как* сидишь, если лежишь — *как* лежишь. Даже в очереди стоять, дорогая, следует с пользой для красоты и здоровья. Цитирую: «Пятки соединяешь, носки раздвигаешь на ширину своего кулака, голову тянешь вверх...» и так далее — покуда не доберешься до прилавка, погрузишь товар в авоську и отойдешь. Однако — внимание! — продолжаю цитировать: «Выход из очереди тоже может стать упражнением для правильной осанки. Ты идешь с гордо поднятой головой, грудь колесом, начиная каждый шаг с бедра, а не с колена...» Не радуйся, впрочем, что по возвращении домой тебе будет дозволено сменить положение «в очереди» на положение «вольно». Грудь остается колесом, а на гордо поднятую голову сваливаются дополнительные нагрузки — цитирую: «Перенося что-либо из комнаты в кухню или из комнаты в комнату, положи данный предмет на макушку и поддерживай то правой, то левой рукой попеременно...» В те минуты, когда ты ничего не переносишь, заложи руки за спину и прохаживайся себе, делая четыре обычных шага, четыре шага на цыпочках и четыре на пятках; так и чередуй, пока можешь. Желательно также, чтобы «всякую свободную минуту» ты тренировала мышцы шеи, беззвучно, но энергично разевая рот — так, будто произносишь гласные «о», «у», «и». Встревожен-

---

[1] Неудача, *мамма миа*, чудовищная и трагическая (*итал.*).
[2] Негромко (*итал*).

[1] Сердито (*итал.*).
[2] «Создание пустое, пушинка на ветру...» — слова из поэмы А. Мицкевича «Дзяды».

ному твоим поведением мужу ты должна с обворожительной улыбкой на облепленном клубникой или творогом лице объяснить, что делаешь это для него — чтобы у него была всегда красивая и моложавая жена. В десять вечера ты обязана уже быть в постели и засыпать, лежа навзничь, с вытянутыми вдоль тела руками. Муж твой поначалу будет пытаться вывести тебя из позы мумии в саркофаге, столь полезной для мышц, сухожилий и скелета. Через пару недель, однако, он оставит тебя в покое, а через несколько месяцев сбежит из дома, благодаря чему свободное жилое пространство увеличится и ты сможешь обогатить ежедневную гимнастику за счет бега и прыжков в длину. А знаешь, к кому он переберется, твой муженек? Хоть сто лет гадай, не угадаешь. К этой Божене, которая шаг начинает с колена, в очередях стоит повесив голову и вообще — представь себе — выглядит не моложе своих лет...

ЮЛИЯ ЗАБЛОЦКАЯ

История Ближнего Востока в древности

Оссолинеум, 1982

Объемистый этот труд предназначен в первую очередь для историков — студентов и преподавателей, а также для занимающихся родственными проблемами исследователей, но уж никак не для поэтов. Поэтам от подобных книг немного пользы. Кое-что, впрочем, они из «Истории» почерпнут, но совсем не то, чего бы хотелось ученому автору. Поэтому все, что я дальше скажу, будет не оценкой данного труда, а объяснением, почему я такой оценки дать не могу. Поэт, независимо от уровня образования, возраста, пола и склонностей, по сути своей — духовный наследник первобытных племен. Научная интерпретация окружающего мира мало его занимает. Он анимист и фетишист, верит в таинственные силы, дремлющие в каждом предмете, и убежден, что сумеет пробудить эти силы с помощью умело подобранных слов. Поэт — пусть даже блестяще закончивший целых семь факультетов, — едва усевшись сочинять стих, чувствует, как мундирчик рационализма начинает ему жать под мышками. Он ерзает и сопит, расстегивает одну пуговицу за другой и в конце концов полностью сбрасывает одежду, представая на всеобщее обозрение голым дикарем, разве что без кольца в носу. Да-да, дикарем — как иначе назвать человека, который говорит стихами с умершими и нерожденными, с деревьями, птицами и даже с лампой и ножкой стола, отнюдь не считая это идиотизмом? Подумайте сами, много ли такой поэт понимает в естественных науках? Зоологи буквально из кожи вон лезут, стараясь нам доказать, что лошадь — это лошадь, а курица — курица и что их психические реакции нельзя объяснять по аналогии с человеческими. А поскольку четких определений, передающих наши различия, ученые еще не придумали, то они пользуются кавычками. То есть животное не думает, а «думает», не решает, а «решает» и так далее. Поэт же человек настолько темный, что понять такое не способен. Покажите мне хоть одного поэта, который, сочиняя стихи о своей собаке, применяет эти красноречивые кавычки. Его собака просто умна, а «умны» — те, кто подобного мнения не разделяет. После затянувшейся преамбулы вернемся все же к историческим наукам. В этой области поэт тоже позорно отстал. Прошлое для него — исключительно история войн и конкретных личностей. В глазах же современных историков — особенно тех, кто склонен к грандиозным обобщениям, — войны и личности имеют значение в лучшем случае второстепенное. Истинными двигателями истории они считают средства производства, формы собственности, а также климат. Единичные события большой роли в историческом процессе не играют. Их можно либо обойти, либо представить так, чтобы они не отвлекали читателя от более существенных проблем. Чему способствуют специально отшлифованные для этой цели выражения: «обретение гегемонии», «утрата господства», «подавление сепаратистских тенденций», «внезапная приостановка развития»... Из этих слов уже не сочится кровь, не сыплются искры пожаров. Это уже не предательские нападения, резня, насилие, засады и погони: просто страна Икс «оказалась в радиусе действия иноземных захватчиков», или — лучше — «агрессоров», или — еще лучше — «в радиусе действия культуры Игрек». Язык историков тяготеет к абстракции и в этом плане уже немало преуспел. Когда историки говорят о «миграционных потоках», поисти-

не трудно сообразить, о чем речь: о спокойном заселении новых территорий или о паническом бегстве одного племени под натиском другого. Поэт же, к сожалению, упрямо мыслит образами. Читая, например, о «столкновении чьих-то экономических интересов с интересами соседей», он сразу представляет себе ивовые корзины, полные отрубленных голов. Мало того: присущий всем примитивным особям инстинкт нашептывает ему, что корзины эти сплетены незрячими рабами, которые были схвачены и ослеплены при одном из предыдущих «столкновений». Понятное дело: чем более отдаленные времена обсуждают историки, тем легче им дается этот безупречно-стерильный стиль. Историк спокойно берет в руки «Гильгамеш» — древнейший эпос человечества — и сразу обнаруживает в нем то, что требуется, а именно «одно из самых ранних свидетельств формирования социальной базы государственной власти». Для поэта же «Гильгамеш», содержись в нем только такая информация, вообще мог бы не существовать. Однако это не так, поскольку главный герой эпоса оплакивает смерть друга. Один отдельно взятый человек скорбит о печальной участи другого отдельно взятого человека. Для поэта это исторический факт огромного значения; такому факту, по его мнению, должно найтись место даже в самом кратком историческом обзоре. Но, повторяю, поэт всегда отстает, вечно плетется в хвосте. В его защиту можно сказать лишь одно: должен ведь кто-то плестись в хвосте. Хотя бы для того, чтобы подбирать вещи, потерянные и растоптанные в процессе триумфального шествия объективных законов.

КАРЕЛ ЧАПЕК

Война с саламандрами

Седмёруг, 1992

Свою знаменитую антиутопию Чапек опубликовал в 1936 году. Роман был задуман как предостережение: на глазах набирал силу гитлеровский фашизм. Поэтому сегодня мы должны отнестись к нему как к заслуженному классическому произведению, то есть поставить на полку рядом с другими проверенными временем книгами и больше не перечитывать. А если уж прочесть, то ради чисто стилистических достоинств и оригинальных идей. Именно так, удовольствия ради, я прочитала «Войну с саламандрами» лет двадцать назад. Сейчас, при повторном чтении, у меня по спине то и дело пробегают мурашки. Ибо, к сожалению, книга не устарела. О чем в ней речь? У берегов далекого островка обнаружена небольшая колония земноводных неизвестного вида. Случайно выяснилось, что эти симпатичные существа весьма сообразительны, что их можно обучить различным подводным работам, что они легко акклиматизируются в любых широтах и — если только обеспечить их пропитанием и орудиями труда — могут принести людям огромную пользу. Таково вступление. А в эпилоге размножившиеся без счету твари перестают довольствоваться отведенными им небольшими бухтами и постепенно разрушают и погружают в воду все континенты. Пространство между вступлением, в котором еще ничто не предвещает опасности, и эпилогом, когда уже поздно что-либо предпринимать, Чапек заполнил так называемым информационным шумом. Роман построен как пародийный монтаж сообщений самого разного рода. Тут и напечатанные в газетах коммюнике, и акты экспертиз, и статистические данные. Интервью, очерки, доклады и полемические статьи. Воззвания, прокламации и лозунги. Растет число митингов, конгрессов, встреч на разных уровнях вплоть до наивысшего. Все это — на тему саламандр и в связи с саламандрами, против саламандр и в их защиту. С каждым днем все яснее становится, что о выработке единой позиции не может быть и речи. Со временем появляются приспособленцы, старающиеся услужить саламандрам. А также множатся ряды любителей спокойной жизни, которым надоело слушать об этих проклятых земноводных. Естественно, не обошлось без личностей, способных заглянуть в будущее, предостерегающих других и призывающих к действию. Да только — бог ты мой! — как с первых слов отличить маниакального пессимиста от всеведущего пророка? В мире дремлет множество разнообразных сил — но как заранее угадать, которая из них, пробудившись, не принесет вреда, а чьего пробуждения нельзя допустить ни в коем случае? Между той минутой, когда бить тревогу преждевременно и даже смешно, и той, когда ничего

уже сделать нельзя, должна быть еще одна минута, идеально подходящая для того, чтобы предотвратить беду. Во всеобщем шуме она чаще всего проходит незамеченной. Да и что это за минута? Как ее распознать? Вот, пожалуй, самый больной вопрос из тех, какие ставит перед людьми их собственная история. Дорогой пан Карел, мир праху твоему, — мы до сих пор еще не нашли на этот вопрос ответа...

Ф. ДЕ ЛАРОШФУКО
Моральные изречения и максимы
Регнум, 1994

Ларошфуко вступил на пьедестал великих французских писателей с тоненькой книжечкой в руке, тогда как иным — и до него, и после — пришлось туда карабкаться навьюченными многотомным багажом. Однако время, вырывающее страницы из любых творений, не пощадило даже этот маленький томик. Не все максимы сейчас производят одинаково сильное впечатление. Отчасти потому, что некоторые из них, хотя поначалу поражали и шокировали, быстро вошли в обиход и так в нем укоренились, что сегодня кажутся банальными. А во-вторых... что ж, нынешний читатель уже прошел семинар у Леца[1], отчего всякий афоризм, состоящий из нескольких фраз, кажется ему излишне многословным, далеким от идеального образца. Впрочем, сам автор «Максим» хорошо это понимал. Для каждого нового издания (а их у него при жизни было с полдюжины) он совершенствовал свои сентенции, обстругивал, шлифовал, сокращал. Лучшие из них как раз и укладываются в одну фразу, и фраза эта обладает красотой молнии... Прежде чем перейти к их сути, должна сказать, что́ я думаю об афоризмах как таковых. А именно: самые меткие из них справедливы не более чем на пятьдесят один процент. И ничего сверх того от них ожидать не следует. Любая попытка заключить какую-либо человеческую проблему в одну короткую формулу — утопия. Ларошфуко более всего был интересен характер человека, а точнее, мотивы его поведения. Все эти мотивы можно свести к одному: лучше или хуже замаскированной любви к самому себе. Всякое из общепризнанных достоинств — таких, как великодушие, честность, порядочность, отзывчивость, готовность к самопожертвованию, справедливость, — имеет свою эгоистическую изнанку. Позабудь мы про вышеупомянутый пятьдесят один процент, нам бы пришлось заняться придирчивым рассмотрением каждого афоризма в отдельности. Ведь эгоистические побуждения отнюдь не всегда заслуживают хулы. И не всегда являются единственным мотивом — часто наше поведение определяется целым комплексом несхожих побуждений, с которым одним махом не разберешься. Бывает, наконец, и так, что никаких потаенных мотивов у человека нет. Добрый поступок может быть продиктован просто добротой... Что касается меня, то мне нравятся те максимы, в которых автор избегает лобовых обличений, в которых больше меланхолии, чем язвительности. «Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией». «Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее». Или такая фраза, прочитав которую хочется воскликнуть «Браво!»: «Порою человек так же мало похож на себя, как и на других»...

КАРЛ СИФАКИС
Энциклопедия покушений
Реал пресс, 1994

Покушения на крупных политических деятелей — вечный лейтмотив истории. Автор выбрал и описал лишь некоторые — вздумай он собрать все те, что упомянуты в исторических источниках, составилась бы библиотека по меньшей мере в сотню томов. Всегда были и есть люди, которые верят, что спланированное ими покушение должно увенчаться успехом, то есть принести желаемый результат. Между тем почти никогда (за редкими и спорными исключениями) такого не случается. Гибель намеченной персоны либо ничего не изменит, либо приведет к не предвиденным террористами последствиям. Тема — река, но

[1] Станислав Ежи Лец (1909—1966) — польский поэт и сатирик, автор широко известных циклов афоризмов «Непричесанные мысли».

я не намерена в нее погружаться. Читая энциклопедию, я следила за другой линией. Меня интересовали случайные жертвы. Люди, которые погибли лишь потому, что оказались поблизости от места, где стреляли или взорвалась бомба. Возможно, террористы руководствуются благороднейшими, по их мнению, побуждениями, но — какое тут к черту благородство: ведь они знают, не могут не знать заранее, что в автомобиле будет еще по меньшей мере шофер, в самолете — члены экипажа, а в доме — домочадцы. Во время уличного нападения на Альфонса XIII погибли на месте тридцать человек. Покушение на короля занесено в анналы истории, а имена попутно перебитых прохожих однажды мелькнули в некрологах. Раненые, которых наверняка было значительно больше, обречены были среди равнодушного безмолвия годами мыкаться со своими увечьями и исковерканной жизнью... Можно подумать, что в эпоху, когда еще не изобрели ни взрывчатки, ни огнестрельного оружия, покушения носили хотя бы менее кровавый характер. Однако нет — так бывало крайне редко. Обычно расправлялись не только с сильным мира сего, но и — на всякий случай — со всей его семьей. Тогдашние историки упоминали об этом — если вообще упоминали — как о факте малосущественном. И уж, как правило, не распространялись о жертвах среди личной охраны и о попавшихся под руку рабах. «Лес рубят — щепки летят» — утверждает верная и страшная пословица. В человеческих щепках недостатка никогда не было... Теперь же на наших глазах буйно расцветает новая разновидность покушения — террористический акт, направленный уже непосредственно против случайных людей. До политиков все труднее добраться — они окружены надежной охраной и ездят под защитой прочной брони. Другое дело простые обыватели, которых полно в многоэтажных домах, которые толпятся на вокзалах, в метро, универмагах, барах, приемных. Легкодоступная, беззащитная дичь, не представляющая опасности для жизни охотника. И охотники закладывают куда вздумается смертоносный заряд, после чего в каком-нибудь укромном убежище слушают передаваемые по радио сообщения. Чем больше прольется крови, тем большее они испытают удовлетворение, тем сильнее станут собой гордиться. В энциклопедии Кара Сифакиса нет покушений нового типа. В ней мы найдем только королей, императоров, премьеров, министров, президентов, вождей. Жизнеописания случайно пострадавших отсутствуют — да их и трудно было б воспроизвести. Но почему бы не составить другую энциклопедию, посвященную жертвам террористических актов нашего времени? Ведь некоторые из них, страшно искалеченные, ослепшие, без рук, без ног, бесчувственные, еще живут. Стоило бы показать, *как* живут. Беда стряслась не потому, что они, например, занимали высокий пост, а в результате случайного стечения обстоятельств: просто не вовремя куда-то вошли, откуда-то вышли, где-то задержались или преспокойно вернулись на ночь в свою квартиру. Думаю, такая энциклопедия нам срочно необходима. А будь она толково и объективно написана, то могла бы претендовать на Нобелевскую премию мира.

ЯН ГОНДОВИЧ

Фантастическая зоология (дополненная). Под редакцией Адама Писарека

Малэ, 1995

Блистательный Хорхе Луис Борхес опубликовал когда-то «Книгу вымышленных существ». К сожалению, я ее не читала. Знаю только, что речь там идет о классических чудищах, которые выдержали испытание временем и приобрели мировую известность: сиренах, медузах, левиафанах и т. п. «Зоология» Яна Гондовича пополняет этот зверинец существами местного значения, зачастую уже забытыми, разысканными в сказках, рассказах о путешествиях и средневековых лексиконах, а также особями относительно недавнего, чисто литературного происхождения. Со своей задачей автор справился отлично; не хуже удалась Адаму Писареку попытка систематизировать всю эту свору по типам, классам, отрядам и видам. Полагаю, оба они, работая над книгой, изрядно повеселились. Я, читая ее, — тоже, хотя мне и немного взгрустнулось: ведь все эти страшилища, некогда обладавшие огромной колдовской силой, сейчас способны произвести надлежащее впечатление только на малышей. Помню, как я когда-то с бессмысленным

героизмом целовала пойманных в садике лягушек, а входя в темную комнату, всерьез ожидала, что на спину мне с отвратительным визгом прыгнет нечто тяжелое и мерзкое. Где те времена, хочется воскликнуть... Но означает ли это, что в мире взрослых уже нет никаких чудовищ? Отнюдь — они есть, вернее, есть одно во множестве экземпляров, которое вызывало, вызывает и всегда будет вызывать неподдельный ужас. В книге Гондовича мы его не найдем, поскольку, увы, оно не является плодом воображения. Напротив, чудище это вполне реально и, прочно внедрившись в наш быт, вытесняет вымышленных драконов, оборотней и упырей. Тот счастливчик, который еще ни разу не сталкивался с ним лицом к лицу, может поглядеть на него и послушать, включив телевизор. Иногда существо это является в виде говорящей головы, иногда — во всей своей красе в прямых репортажах с поля военных действий. Попытаюсь описать его так, как Гондович описывает своих симпатичных тварей. Вот только отыскать в нарисованном ниже образе приятные черты будет трудно. Скорее уж выявятся некие симптомы, которые, несмотря ни на что, вызовут сочувствие к описываемому объекту... «Человек, одержимый ненавистью. Известен с незапамятных времен. Не меняется — меняются только средства, которые он использует, чтобы добиться своего. Не слишком опасен, если действует в одиночку, что, впрочем, долго не продолжается, так как он заразен. Плюется. Усугубляет хаос, считая, что наводит порядок. Любит говорить о себе в первом лице множественного числа, что поначалу, возможно, и необоснованно, но после многочисленных повторов начинается казаться оправданным. Избегает правды исключительно по причинам какого-то высшего порядка. Лишен чувства юмора — а коли пошутит, уши вянут. Нелюбознателен и уж тем более не стремится поближе узнать тех, кого избрал своими врагами, справедливо полагая, что это может его ослабить. Проявляя жестокость, как правило, уверен, что его спровоцировали. Собственных сомнений не имеет, а чужие отвергает. Специализируется — сам по себе, но охотнее вкупе с единомышленниками — в национализме, антисемитизме, фундаментализме, классовой борьбе или борьбе поколений; культивирует разные личные фобии, которым стремится дать публичное выражение. Наличие мозгов в черепной коробке ему не мешает...»

ДЕЙЛ КАРНЕГИ

Как перестать беспокоиться и начать жить

Эмка, 1995

Полезные советы — кустарная психотерапия. Чуть ли не все мы, общаясь со знакомыми, этим занимаемся. Как правило, с благими намерениями и совершенно бескорыстно. Однако не каждому придет в голову советы свои записать и затем опубликовать. Господину Карнеги пришло — и вот мы имеем пособие, объясняющее, как преодолевать беспокойство, которое — чего тут долго рассказывать — подрывает наше здоровье, лишает сна и отравляет хорошее настроение. Советы в общем-то неплохие. Кое-кому, при определенных обстоятельствах, в некоторой степени и на какое-то время они даже могут помочь. Но в лексиконе автора нет таких слов, как «возможно», «отчасти», «иногда» и «если». Оптимизм его непоколебим и порой выходит за рамки разумного. Подобного рода уверенность только упрочает мой скептицизм и склоняет к мысли, что отсутствие тревог, пожалуй, еще хуже, чем сами тревоги. Это бы свидетельствовало о недостатке воображения, толстокожести и духовном невежестве. Непосредственным толчком к написанию книги явилось посещение автором публичной библиотеки на углу Пятой авеню и 42-й стрит. Там он обнаружил, что под ключевым словом «Беспокойство» фигурируют всего 22 позиции, тогда как под ключевым обозначением «Червь дождевой» — целых 89! К сожалению, он не на тех полках рылся. Заглянул бы в отдел художественной литературы — убедился бы, что на эту тему написаны сотни тысяч произведений. Почти вся литература — описание различнейших беспокойств. Начиная от «Гильгамеша», «Антигоны» и Книги Иова. Дальше перечислять не стану, а то конца этому не будет; предлагаю для примера ограничиться «Гамлетом». Кроме главного, постоянно обуреваемого тревогами героя, все прочие персонажи, не исключая Призрака, тоже испытывают беспокойство — каждый по своим, не всегда совпадающим причинам. Один Фортинбрас производит впечатление человека безмятежного, однако уч-

тем, что он появляется только под занавес и не успевает раскрыть душу. Впрочем, можно не сомневаться, что, едва он основательно усядется на трон, тревоги начнут слетаться к нему как мухи. В литературе, разумеется, есть персонажи, которые не ведают печалей. Однако это, как правило, либо безмозглые глупцы, либо скучнейшие умники-резонеры. Вероятно, мне следует отложить пособие подальше, пожелав ему пригодиться хотя бы тем читателям, которые способны отнестись к рекомендациям автора всерьез. У меня это плохо получалось. Особенно при чтении «примеров из жизни», которыми Карнеги уснащает свои рассуждения. Скажем, человек так расстраивался из-за болезни жены, что у него испортилось шесть зубов. Для блага собственной челюсти ему, должно быть, надлежало радоваться. А другому долго не везло на бирже — до тех пор, пока это его тревожило. Перестав беспокоиться, он немедленно заработал кучу денег. В свою очередь, женам, которым изменяют мужья, Карнеги в качестве образца для подражания подсовывает корову, ибо корова «не лезет на стенку только из-за того, что бык проявляет интерес к другой корове»... Вообще приводимые автором примеры очень напоминают мне отчеты Общества трезвости из «Посмертных записок Пиквикского клуба». Прошу проверить: глава XXXIII. О том, что у кого-то в доме нет «Пиквикского клуба», я даже слышать не хочу.

КЭТЛИН КИТИНГ

Малая книга объятий

Рави, 1995

Автор производит впечатление особы, которая свято верит во все, что пишет, а пишет она о том, что люди были бы куда счастливее, если б почаще заключали друг друга в объятия. Речь идет о дружеских объятиях, безо всяких там задних мыслей. Ну что ж, конечно, почему нет... Меня только смущает требование увеличить концентрацию таковых объятий во времени и пространстве. Известно же, что чересчур часто повторяемый жест становится банальным и теряет выразительность. В американских сериалах каждые три с половиной минуты кто-то бросается к кому-то в объятия, но это отнюдь не означает, что в результате тотчас придет конец всем интригам, обидам и недоразумениям и фильм, рассчитанный на двести серий, завершится преждевременно. То же и в реальной жизни. В особенности нам, полякам, есть что вспомнить. Мы никогда не обнимались столь дружно, охотно, жадно и шумно, как во времена правления саксонской династии, но почему-то ничего хорошего из этого не вышло. Миссис Кэтлин — американка, а с энтузиазмом у американцев дело обстоит получше нашего. В книжке мы находим подробные инструкции, кого надо обнимать, где, когда, каким способом и зачем. Но — все по очереди. Кого. Разумеется, каждого, кто не станет протестовать. Где, когда — да везде и всегда. На работе, в кухне, перед кинотеатром и в кинотеатре, в учебной аудитории, догоняя (?) автобус, на заседании комиссии (!), собирая клубнику (!!), сортируя письма на почте (?!) и даже (как ей такое пришло в голову?) при проведении раскопок. Каким способом. Ох, самыми разными: существуют «медвежье» объятие, объятие «бутерброд», объятие «боками», объятие «задом наперед» и еще множество других. А зачем нужно все это проделывать — да затем, чтобы выразить демократические и альтруистические чувства, а если мы обнимемся на лоне природы, то еще и экологические. Сверх того, бросаясь друг другу в объятия, мы укрепляем нервную систему, забываем о еде, что способствует сохранению стройной фигуры, развиваем мускулатуру (поскольку вынуждены производить разнообразные движения) и замедляем процесс старения. Вправе ли я издеваться над столь соблазнительными обещаниями? Не уверена, но, признаться, я рада, что автор живет от меня за тридевять земель. Если б она была моей соседкой и вдобавок любила возиться в садике, я бы выходила из дома крадучись и, приближаясь к соседской ограде, старалась улучить момент, когда миссис Кэтлин будет копаться в земле, повернувшись ко мне спиной. В противном случае я бы не смогла избежать обязательного бурного проявления дружеских чувств и — больше того — вынуждена была б ответить тем же. И так мы бы по нескольку раз на дню застывали друг у друга в объятиях. Она — вероятно, ради того, чтобы меня омолодить. А я — из-за садика, в котором — черт его знает, — возможно, пора производить раскопки.

ЖОРЖ ВИГАРЕЛЛО

Чистота и грязь

В. А. Б., 1996

В этом фельетоне кроется сюрприз. Не скажу, в каком месте, не то вы, Уважаемые Читатели, немедленно броситесь его искать. Итак, по порядку. Подзаголовок книги звучит: «Гигиена тела от средневековья до XX века». Следовало бы добавить «во Франции», поскольку автор в своих рассуждениях использует только французские хроники, письма, мемуары и медицинские книги. Впрочем, вполне вероятно, что история чистоты во всех европейских странах примерно одинакова. В средние века люди еще кое-как мылись. В больших городах, например, процветали публичные бани, однако в XV веке из-за постоянных эпидемий их все одну за другой позакрывали. На ум приходит наивная мысль, что завсегдатаи бань могли с таким же успехом мыться у себя дома. Ан нет — и в домах мыться перестали. Вода — в свете тогдашних теорий — способствовала не только распространению повальных болезней, но и всевозможным индивидуальным недугам, помогая миазмам проникать в организм через беззащитную кожу. Век XVI, XVII и частично XVIII — время людей невообразимо грязных. Новорожденных младенцев, правда, купали, едва они появлялись на свет, но затем спешили натереть какой-то кашицей из растертых моллюсков, дабы нейтрализовать пагубное влияние применявшейся для мытья воды. Маленькому наследнику престола — будущему Людовику XIII — впервые помыли ноги, когда ему уже исполнилось шесть лет. О его отце, Генрихе IV, некая дама написала, что «от него воняло падалью». Поскольку дурно пахли тогда все придворные, от короля, видно, и впрямь исходила нестерпимая вонь. Набор гигиенических средств в те времена был ограничен белыми платками для вытирания пота и духами. Водой увлажняли только лицо и кисти рук. А если уж кто-то раз в несколько лет решался выкупаться, это становилось событием, о котором долго говорили и до того, и после. В кадку с водой первым залезал хозяин дома, затем хозяйка, затем их родители, потом в те же помои окунались дети от старшего до младшего и в самом конце прислуга. Если и существовали чудаки, которые купались чаще, им, видимо, приходилось скрывать свою пагубную страсть, дабы не прослыть вольнодумцами или дегенератами. Мне вспоминаются исторические фильмы, создатели которых старались как можно точнее воспроизвести образ эпохи. Актеры щеголяют в костюмах и париках, скопированных со старинных портретов. Интерьеры и реквизит также нельзя упрекнуть в анахронизме. Однако еще ни один режиссер не рискнул показать ту грязь, те чирьи, коросту и паршу, те лишаи от грязных пальцев цирюльника, ну и наконец тех вшей, которые во время изысканных ужинов при свечах то и дело падали кому-нибудь в суп. Впрочем, такой фильм невозможно было бы смотреть. Героические и любовные сцены не то что не взволновали бы современного зрителя, но вызвали бы у него приступ тошноты... В заключение — обещанный сюрприз. Так вот, господа, великий Мишель де Монтень принадлежал к категории тех чудаков, которые водой не гнушались. Мишель де Монтень мылся! Проделывал это часто! Проделывал это охотно! Наперекор своей эпохе, которая была аж липкой от грязи! От восхищения авторучка выпала у меня из руки.

ДЖОН Э. МОРБИ

Мировые династии

Знак, 1996

Эта книга не из тех, какие можно читать ночь напролет. В ней мы найдем лишь сухой перечень представителей давних, не очень давних и современных династий. В каждом случае указаны родственные связи монарха, год вступления на трон, год смерти и там и сям — год отречения или свержения с престола. Чем древнее эпоха, тем меньше и столь скупых данных. Египет, например, представлен просто идиллически — там даже отречений и низложений не фиксировали. Впрочем, у египтян до такого, возможно, и не доходило: подкинутые в постель скорпионы своевременно делали свое дело... Но тут уж я вторгаюсь в область, обойденную молчанием: за информацией о том, как обретали власть и как ее лишались, надо обращаться к другим источникам. Посему я со всей почтительностью ставлю книгу Морби обратно на полку и достаю взамен «Историю Рима». Из-

вестно, что императоров там убивали часто. После кончины Августа, который, кажется, умер от собственных болезней, следующих семерых цезарей постигла насильственная смерть. Потом убийства стали более редкими, однако полностью так никогда и не прекратились. Самые скверные перспективы поджидали тех, кого объявляли монархами легионы на рубежах империи. Путь до Рима был долог, а соперников на этом пути много. Да и в самом Риме в них недостатка не было. Два-три года жизни — вот все, на что мог такой император рассчитывать. А теперь я задам вопрос, который давно не дает мне покоя. Почему никогда ни один из объявленных пьяными легионерами цезарей еще в ту же ночь или при первом удобном случае не выскользнул из шатра, переодетый простым обозным, и не затерялся в каком-нибудь глухом лесу? Ведь золотые лавры, которыми он был увенчан, сулили скорую погибель. Куда разумнее было б рискнуть решиться на побег, обречь себя на голод, холод, мытарства — лишь бы унести ноги подальше от своих избирателей... Да и кто бы на расстоянии уже нескольких миль от лагеря узнал беглеца в лицо? Ведь газет, фотографий, публикаций о розыске тогда не было. Между тем хроникеры ни об одном факте бегства не сообщают. Будучи поклонницей исключений, я предпочитаю верить, что нечто такое непременно должно было случиться и историки только от смущения обошли нетипичный эпизод молчанием. Попытаемся представить себе, как сложилась судьба этого жизнелюбца. Быть может, он стал бродячим торговцем, продающим чудодейственные мази от радикулита, быть может, дровосеком, смолокуром, портовым грузчиком или прислужником в храме, отскребающим грязь со ступеней... Мне лично хочется видеть его рыбаком. Вот он пристает к берегу и вытягивает из воды сеть с трепещущими в ней рыбами. Самые лучшие экземпляры он понесет продавать в кухню какого-нибудь провинциального сановника. В кухнях всегда бурно обсуждают сплетни из далекой столицы. Кажется, там убили очередного императора, но к стенам Рима уже приближается со своим войском следующий. Мой рыбак с трудом скрывает усмешку, поглаживая роскошную, уже кое-где поседевшую бороду. Будь она бородой императора, шансов поседеть у нее было бы гораздо меньше.

АДРИАН БЕРРИ
Грядущие 500 лет
Амбер, 1997

На открытке 1900 года издания, которую я держу в руке, подпись: «Тарнов в 2000 г.». Аналогичные открытки, только с изображением других местностей, курсировали, вероятно, по всей Галиции. Обращая свой взор в будущее, доморощенный футуролог заполнил небо воздушными шарами и цеппелинами. Из корзины одного воздушного шара высовывается господин в котелке и бросает своей даме цветы. Дама стоит на кирпичном покрытии туннеля, из которого один за другим выезжают в дымном облаке паровозы. Дамочка, ничего не скажу, эффектная; талия ее столь тонка, что под длинным, с пышным треном платьем угадывается корсет. Неподалеку в кустах ее ждет авто, которое как раз заводит ручкой шофер в долгополом пыльнике. Видно, воображение у автора открытки было небогатое: свой образ будущего он слепил из элементов хорошо ему знакомых, разве что втиснул их в небольшое пространство. Конечно же, эта наивная картинка не идет ни в какое сравнение с основательным трудом господина Берри, который в своем предвидении будущего опирается на научные предпосылки; кроме того, он отлично знает, что домыслы — это всего лишь домыслы. Но открытку я пока не убираю — она мне понадобится для заключительного пассажа. Немалую часть книги занимает полемика с пессимистами. Так вот: солнце не превратится внезапно в сверхновую звезду и не уничтожит жизнь на нашей планете. Озонные дыры и парниковые эффекты, по мнению автора, — измышления паникеров, не подкрепленные вескими доказательствами. Десант инопланетян, как он считает, нам не грозит. Рост народонаселения замедлится, и для каждого найдется свой уголок. Природных запасов хватит на всех, потому что мы научимся добывать их на дне морском, на Луне, на Марсе и астероидах. Меньше уверенности в том, что какой-нибудь метеорит не брякнется на Землю и не прикончит нас так, как когда-то прикончил динозавров. Но для развития техники 500 лет — срок невероятно большой, и можно считать, что за это время мы научимся корректировать траекторию полета незваных гостей. Кроме того, в нашем распоряжении уже будет список пригод-

ных для заселения планет в ближайших звездных системах. Худшее, что может случиться, — это наступление очередного ледникового периода. Нам не дано знать ни дня, ни часа, когда это снова произойдет. Чем раньше, тем хуже, поскольку мы понятия не имеем, как избежать такой напасти... Тут автор, ничем не сумев нас утешить, спешит перейти к другим темам. Он утверждает, что на протяжении ближайших 500 лет человеческая психика не изменится и, к примеру, страсти, терзающие героев Шекспира, по-прежнему будут нам внятны. Полагаю, публика в зрительном зале будет смешанной, состоящей не только из людей, но еще и из алчущих сильных впечатлений роботов. Возможно, они станут в самых неподходящих местах хихикать или шаркать ногами. Ничего не поделаешь, у молодежи свои законы... А теперь пора изложить обещанный вывод, подсказанный и открыткой и книгой: как будут жить люди в далеком будущем, узнают люди в далеком будущем. Раньше, подозреваю, это никому не удастся.

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

■

У книжной витрины

АДОЛЬФ МУШГ

Если Освенцим находится в Швейцарии. Пять лекций, прочитанных гражданином Швейцарии своему и любому народу

Adolf Muschg. Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt. Fünf Reden eines Schweizers an seine und keine Nation

Suhrkamp Verlag, 1997

АДОЛЬФ МУШГ

О, моя родина! 150 экспериментов со знаменитым швейцарским эхо

Adolf Muschg. O mein Heimatland! 150 Versuche mit dem beruhmten Schweizer Echo

Suhrkamp Verlag, 1998

В двух последних книгах известный швейцарский писатель размышляет о судьбе и роли Швейцарии во время и после второй мировой войны. Рецензенты отмечают, что эти книги вызывают противоречивые отклики у читателей: многие швейцарцы недовольны тем, что Мушг критикует традиционный нейтралитет своей страны. Кроме этого, он анализирует и причины, по которым Швейцария в последние десятилетия не смогла воспользоваться открывавшимися перед ней возможностями и не заняла более активную позицию в современном мире.

ЭДМУНД УАЙТ

Марсель Пруст

Edmund White. Marcel Proust

Viking Penguin, 1998

В последние годы во всем мире отмечается новый всплеск интереса к творчеству Марселя Пруста. В новой биографии прослеживается весь жизненный путь писателя, рассказывается о его превращении из одинокого и замкнутого юноши в остроумного завсегдатая парижских салонов, которому, впрочем, так никогда и не удалось разрешить вопросы, мучившие его в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Эдмунд Уайт известен как мастер биографической литературы: написанная им биография Жана Жене была удостоена специальной премии. В новой книге автор, по словам Питера Акройда, «исследует патологию человека, который был одновременно страстным и красноречивым, но скрытным; сентиментальным, но прямолинейным; невинным, но извращенным, — великого писателя, которого считали бездельником, сплетника, сумевшего написать шедевр».

ЭЛИСЕО АЛЬБЕРТО

Караколь-Бич

Eliseo Alberto. Caracol Beach

Alfaguara, 1998

Роман кубинского писателя стал первым лауреатом международной премии «Альфагуара». Критики назвали «Караколь-бич» (в переводе — «Берег улиток») греческой трагедией в ритме рок-н-ролла под небом Латинской Америки. Книга состоит из нескольких самостоятельных мини-историй, каждая из которых неумолимо движется к роковому исходу. Один из персонажей, кубинский эмигрант, ищет жертву для кровавой расправы; другой, напротив, хочет примириться с единственным сыном; мать-пианистка лихорадочно строит планы крутого изменения судьбы дочери; трое парней отправляются за пивом, собираясь весело провести время. Символически смотрится еще одна городская картинка — собака с размозженной головой. По отзыву одного из членов жюри, к достоинствам этого романа следует отнести то, что при его чтении хочется и поскорее добраться до конца и вернуться в прошлое персонажей, чтобы понять истоки трагической предопределенности их судеб.

СЕРХИО РАМИРЕС

Маргарита, как прекрасно море

Sergio Ramirez. Margarita, esta linda la mar

Alfaguara, 1998

Новый роман крупнейшего современного никарагуанского писателя Серхио Рамиреса «Маргарита, как прекрасно море» высоко оценен критикой и удостоен (наряду с «Караколь-бич» кубинца Элисео Альберто) международной премии «Альфагуара». Название романа — это строка из стихотворения никарагуанского классика Рубена Дарио, которое тот написал на веере одной девочки во время торжеств, проводившихся в его честь в 1907 году в родном городе Леоне. Полвека спустя в леонском кафе собирается компания энтузиастов, изучающих биографию именитого земляка. В то же время они готовят покушение на диктатора Сомосу, причем в заговоре замешана и та самая девочка... Автор виртуозно переплетает два временных плана, смешивает историю и миф, иронию и драму, ужасы тирании и поэтическую красоту — все то, чем так богата история всей Латинской Америки, в том числе и Никарагуа.

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛДУНЬЯ

Так озаглавил американский журнал «Ньюсуик» заметку о невероятном успехе в Англии новой книги для подростков «Гарри Поттер и камень чародея». Имя ее автора, 33-летней Джоан Роулинг, еще два года назад было совершенно неизвестно в литературном мире. Безработная учительница, разведенная мать крохотного ребенка начала писать книги от вынужденного безделья. Сюжеты Роулинг придумывала в буквальном смысле «на ходу»: чтобы не мерзнуть в плохо отапливаемой квартире, она укладывала дочку в коляску и часами бродила с ней по улицам Эдинбурга. Когда девочка засыпала, мать заходила в первое попавшееся кафе и записывала там все, что пришло ей в голову во время прогулки. У нее не было денег на покупку компьютера или на оплату копирования своей рукописи, поэтому она просто напечатала ее в двух экземплярах на машинке и послала в издательство. По словам Роулинг, ее чувства в день, когда у нее купили права на публикацию книги, могут сравниться лишь с тем, что она испытала при рождении дочери.

Сюжет «Гарри Поттера» фантастичен: 11-летний мальчик-сирота, воспитывающийся у злых родственников, попадает в Школу Колдовства и Мудрости, где ему предстоит обучиться искусству «защиты против черной магии» и мастерству обращения с драконами и прочей нечистью. Но все яркие подвиги юного героя меркнут в сравнении с невероятной судьбой самой книги. Она немедленно попала в списки бестселлеров, получила Премию британских книгоиздателей и премию Смарти, своего рода букеровскую премию за книги для юношества. Только что свет увидело второе издание книги, причем издатели позаботились о более «солидной» обложке — есть все основания полагать, что «Гарри Поттер и камень чародея» понравится и взрослым. Права на публикацию книги приобрели и американские издательства, а недавно стало известно о том, что Джоан Роулинг подписала контракт с Голливудом. За экранизацию своего сочинения писательница получит гонорар, выражающийся семизначной цифрой. Роулинг не намерена почивать на лаврах: продолжение «Гарри Поттера», книга «Комната тайн», уже лидирует в списках бестселлеров для детей и взрослых, потеснив книги таких именитых авторов, как Джон Гришем и Том Клэнси.

■ ИСПАНИЯ

ОСЬ «ЯПОНИЯ — РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ»

Эта своеобразная и абсолютно мирная ось образовалась благодаря Второму литературному конкурсу, который Общество любителей книги приурочило к своему 35-летию и провело совместно с мадридской газетой «Паис». Каждый из вопросов конкурса еженедельно появлялся на страницах ее литературного раздела, так что временная дистанция получилась поистине марафонской — 26 недель! Она могла бы стать еще длиннее, окажись в испанском алфавите больше букв, ибо задание было представлено в виде мини-энциклопедии. Были даны: буква, на которую начинаются фамилии писателей, поэтов, философов, их краткие высказывания о себе и дружеские шаржи на них; требовалось назвать этих авторов в заданном порядке.

На первый взгляд, викторина кажется нетрудной — если не знать количество и состав загаданных авторов. А это 130 мировых классиков, начиная с античных и кончая современными, причем испанские и даже латиноамериканские авторы исключены из этого списка. Зато в нем есть Аристотель и Эразм Роттердамский, Данте и Петрарка, Ницше, Нагиб Махфуз, Сальман Рушди, Джон Апдайк... Показателен отбор представителей русской литературы (всего их 10): это Гоголь, Горький, Достоевский, Набоков, Платонов, Пастернак, Солженицын, Толстой, Тургенев и Чехов. Например, один из них дает себе такую характеристику: «Я был плодовитым поэтом, любознательным путешественником и сторонником модернизации России, моей родины. Но я более известен своими прозаическими и драматическими произведениями, на создание которых меня вдохновляли природа, охота, любовь и взаимоотношения отцов и детей». А вот как представляется другой всемирно известный русский классик: «Я написал о своем детстве, отрочестве и юности, о войне и мире... История женщины, изменившей мужу, легла в основу одного из самых знаменитых моих романов, в котором описано все русское общество...».

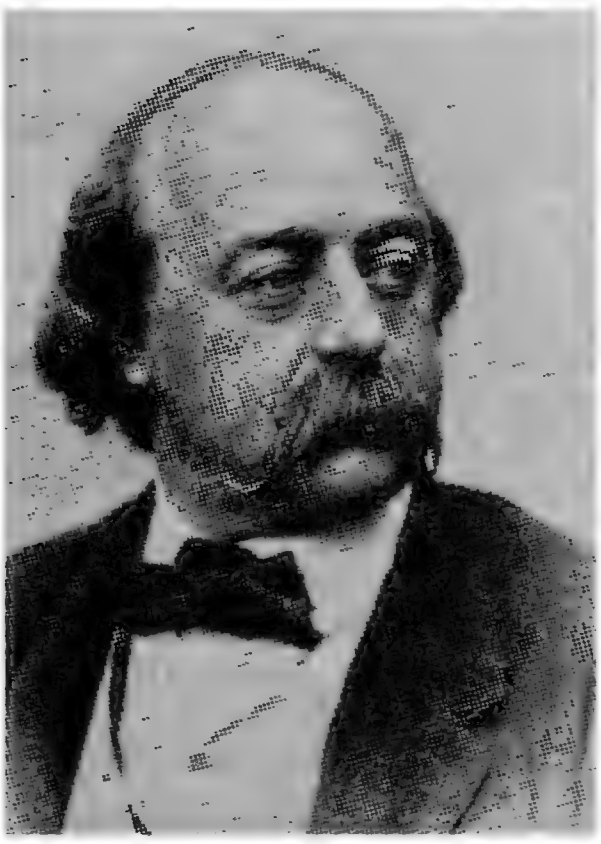
Испанская дань уважения этому великому таланту выразилась во второй премии конкурса — туристической поездке «Санкт-Петербург Льва Толстого» (и 600 000 песет). Ее обладательницей стала жительница Сарагосы. Первой премии — путешествия по Японии Юкио Мисимы — удостоился валенсиец, а третьей — мадридец: его ждет Берлин Бертольта Брехта. Кроме того, пять участников конкурса получили в награду за точные ответы Большую (40-томную) универсальную энциклопедию «Ларусс», а еще 35 читателей были поощрены 12-томником «Французские классики» (последние во главе с великим Вольтером были широко представлены в конкурсном списке). Поражает количество участников конкурса: редакция получила более 13 000 открыток с ответами буквально со всех концов

Испании, причем среди лауреатов было лишь 9 мадридцев и 2 барселонца, а остальные победители — это жители сравнительно небольших городов. Достигнув желаемого — оживить интерес к литературе, чтению, — организаторы этого конкурса уже подумывают о новом, который, по их замыслу, должен быть потруднее.

■ ФРАНЦИЯ

ЧЬИ ЭТО СЛОВА?

Несколько поколений читателей и поклонников творчества Гюстава Флобера знают наизусть его знаменитое высказывание: «Мадам Бовари — это я!» По мнению некоторых исследователей, это признание может рассказать многое о глубинах подсознания Флобера и о тайнах литературного творческого процесса. К сожалению, нет никаких доказательств того, что Флобер когда-нибудь вообще произносил эту фразу. Ее нельзя найти ни в его переписке, ни в «Дневнике» братьев Гонкур, ни в



Гюстав Флобер

каком-либо другом серьезном источнике. Судя по всему, эти слова дошли до нас благодаря одной очаровательной даме, Амели Боске, писательнице и журналистке из Руана, которую связывали с великим собратом по перу узы тесной дружбы. Во всяком случае, в книге Рене Дешарма «Жизнь Флобера до 1857 года», изданной в начале нашего столетия, можно прочесть следующее: «Некая особа, близко знакомая с мадемуазель Амели Боске, состоявшей в переписке с Флобером, недавно рассказала мне, что мадемуазель Боске спрашивала у писателя, откуда взялся образ Эммы Бовари. По ее словам, он дал очень ясный ответ, повторив несколько раз подряд: «Мадам Бовари — это я!» Бедный Гюстав Флобер! Он придавал такое значение стилю и столько трудился над каждой фразой, а потомки запомнили одно-единственное выражение, да к тому же переданное через третье лицо...

КОМИКСЫ НЕ ТАК УЖ ПЛОХИ

Во французском городе Ангулеме состоялся первый Международный фестиваль комиксов. Принято считать, что этот жанр массовой печатной продукции, хотя и имеет своих стойких приверженцев, недостоин уважения серьезной читающей публики. Однако, как пишет парижская «Фигаро», высокую оценку комиксам давали и дают по сей день даже известные писатели. Еще в XIX веке многие литераторы восторженно приветствовали появление новой литературной формы, сочетающей слово и изображение. Первые иллюстрации к комиксам рисовали такие известные мастера, как Кристоф и Каран д'Аш. Великая Жорж Санд в минуты отдыха испещряла белые листы бумаги картинками с подписями, составляя из них небольшие рассказы. А Верлен изобразил отъезд Рембо в Вену в серии иллюстраций с ироничным названием «Путешествия формируют молодежь».

Самые первые французские комиксы вышли массовым тиражом в 1910 году. Они назывались «Фрип и Боб», и в них рассказывалось о приключениях двух мальчуганов. В Америке родоначальником комиксов стал писатель Дэшил Хэммет, автор множества детективных романов, в том числе таких известных, как «Мальтийский сокол» и «Красная жатва». В начале 30-х годов в газете «Ивнинг джорнэл» регулярно печатались комиксы, посвященные подвигам его героя, некоего секретного агента X9, безусловно, предшественника Джеймса Бонда. Именно с тех пор в комиксах воцарился детективный жанр. По сей день миллионы людей во всем мире зачитываются (или засматриваются?) многосерийными опусами о похождениях любимых комиссаров, секретных агентов и детективов, публикуемыми как в виде отдельных изданий, так и в газетах и журналах. В заключение «Фигаро» приводит слова французского писателя, члена Академии Эрика Орсенна: «Комиксы великолепно помогают овладеть искусством писать рассказы». Трудно не прислушаться к мнению академика!

Короткие сообщения из мира литературы

ВЕСНОЙ 1999 года должен увидеть свет новый роман Пола Остера «Томбукту», работа над которым длилась пять лет. В книге два героя: бродяга, помешанный на поэзии, и его собака, наделенная способностью мыслить. Эта пара отправляется в Мали, на поиски города, где, как говорят, мертвые обретают вечный покой...

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ должны начаться съемки фильма по роману нобелевского лауреата Тони Моррисон «Возлюбленная»

Тони Моррисон

(роман был напечатан в «ИЛ», 1994, № 12). Режиссером фильма будет Джонатан Демм, создатель «Молчания ягнят» и «Филадельфии».

СПЕЦИАЛИСТЫ по творчеству Шекспира окончательно признали за ним авторство еще одной драмы. Ранее считалось, что пьеса «Эдуард III», датируемая 1595 годом, принадлежит перу неизвестного автора. Таким образом, хронологически следует поместить эту пьесу между «Титом Андроником» и «Ромео и Джульеттой».

«НИЧТО не раздражает французов больше, чем успех», —

пишет журнал «Ньюсуик» в статье, посвященной творчеству Андрея Макина. Автор отмечает, что, получив в 1995 году Гонкуровскую премию и премию Медичи за роман «Французское завещание» («ИЛ», 1996, № 12), Макин сразу стал любимцем публики. Но когда его книга стала бестселлером, а ее тираж достиг 1 миллиона во Франции и 500 000 за ее пределами, весь «литературный Париж» ополчился против писателя. Его сравнивали с безработным, выигравшим в лотерею миллион, называли незаконным иммигрантом. «Как все это мелко. Французы — законченные мещане», — посетовал в беседе с корреспондентом «Ньюсуик» Андрей Макин, который в настоящее время работает над новой книгой — автобиографическим романом о юности, проведенной в СССР в эпоху Брежнева.

По материалам газет «Фигаро» (Франция), «Паис» (Испания), журналов «Ньюсуик» (США), «Лир» (Франция).

Книги, занимающие первые 10 мест в сводном списке французских бестселлеров за апрель 1999 г.

(данные интернетовского книжного магазина «BOL» - www. bol.fr)

1. **Daniel Pennac.** AUX FRUITS DE LA PASSION.
2. **Patrick Modiano.** DU PLUS LOIN DE L'OUBLI.
3. **Michel Houllebecq.** LES PARTICULES ELEMENTAIRES.
4. **Marie-France Hirigoyen.** LE HARCELEMENT MORAL.
5. **Philippe Delerm.** LA PREMIERE GORGEE DE BIERE ET AUTRES PLAISIRS MINUSCULES.
6. **William Vance.** THE XIII MYSTERY. L'ENQUÊTE.
7. **Julie Wolkenstein.** JULIETTE OU LA PARESSEUSE.
8. **Maurice-George Dantec.** BABYLON BABIES.
9. **Jean-Claude Brisville.** BEAUMARCHAIS, L'INSOLENT.
10. **Marek Halter.** LES MYSTERES DE JERUSALEM.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

НАТАЛИ САРРОТ (NATHALIE SARRAUTE; род. в 1900 г.) — французская писательница. Автор романов «Портрет неизвестного» («Portrait d'un inconnu», 1948), «Мартеро» («Martereau», 1953), «Планетарий» («Le planétarium», 1959; в «ИЛ», 1963, № 1, напечатана глава из романа), «Золотые плоды» («Les fruits d'or», 1963; рус. перев. М., 1969), «Между жизнью и смертью» («Entre la vie et la mort», 1968), «Вы слышите их?» («Vous les entendez?», 1972; рус. перев. М., 1983), «Говорят дураки» («Disent les imbeciles», 1976), «Ты себя не любишь» («Tu ne t'aimes pas», 1989; рус. перев. Иркутск, 1996), нескольких пьес для театра, сборника «Тропизмы» («Tropismes», 1938), повести «Детство» («Enfance», 1983; рус. перев. в «ИЛ», 1986, № 12), книг «Здесь» («Ici», 1995), «Дар речи» («L'Usage de la parole», 1980; рус. перев. М., 1982).
Книга «Откройте» вышла в Париже в 1997 г. («Ouvrez». Paris, Gallimard).

ЭМИЛЬ НЕЛЛИГАН (ÉMILE NELLIGAN; 1879—1941) — франкоязычный канадский поэт. Первое стихотворение, «Прихотливая мечта» («Rêve fantasque»), опубликовал в 1896 г. под псевдонимом Эмиль Ковар. Широко печатался в канадской периодике. В 1899 г. заболел и был помещен в психиатрическую больницу, где провел остаток жизни. Автор 107 стихотворений, объединенных в 1904 г. его другом, поэтом Луи Дантеном в сборник «Эмиль Неллиган и его произведения» («Émile Nelligan et son oeuvre»).
Публикуемые стихи взяты из этого сборника.

АЛЬФРЕД ДЕРОШЕ (ALFRED DESROCHERS; 1901—1978) — франкоязычный канадский поэт, журналист, критик, переводчик. Дебютировал в 1928 году поэтическим сборником «Подношение безумным девственницам» («L'Offrande aux vièrges folles»). Автор четырех стихотворных книг, наиболее известная из которых «В тени Орфорда» («A l'ombre de L'Orford», 1929; удостоена премии Давида, 1932 г.), и двух сборников статей о канадской литературе — «Параграфы» («Paragraphes», 1931) и «Литературные встречи» («Interviews littéraires», 1931).
Публикуемые стихи взяты из книги «В тени Орфорда».

ДЖОН СИММОНС БАРТ (JOHN SIMMONS BARTH, Jr; род. в 1930 г.) — американский писатель. Автор книг «Плавучая опера» («The Floating Opera», 1955; рус. перев. 1993), «Торговец травкой» («The Sot-Weed Factor», 1960), «Козлоюноша Джайлс» («Giles Goat-Boy», 1966), «Заблудившись в комнате смеха» («Lost in the Funhouse», 1968; рус. перев. двух новелл — 1993), «Химера» («Chimera», 1972; Национальная книжная премия 1973 г.), «Академ» («Sabbatical», 1982), «Сказки Прибрежья» («Tidewater Tales», 1982), «Последнее плавание Некто-мореходa» («The Last Voyage of Somebody the Sailor», 1991) и др.; сборников литературно-критических эссе, посвященных постмодернистской традиции: «Литература исчерпанности» («The Literature of Exhaustion», 1966) и «Литература восполнения» («The Literature of Replenishment», 1980).
Роман «Конец пути» («The End of the Road») впервые был издан в 1958 году; печатается по изданию New York, Penguin Books, 1967.

МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1953 г.) — кандидат филологических наук. В «ИЛ» опубликованы его статьи «МакКультура» (1996, № 1), «Неотмеченные юбилеи...» (1997, № 5), «До последней капли алфавита» (1997, № 6). Авторская страница в Интернете — www.vavilon.ru/texts/prim/mikheev0.html

ПЕТЕР КОРНЕЛЬ (PETER CORNELL; род. в 1942 г.) — шведский писатель. Преподает теорию и историю идей современного искусства в университетском Колледже искусств, ремесел и дизайна в Стокгольме. Выступает как критик по вопросам искусства в ежедневной газете «Экспрессен». Автор ряда книг, в их числе «Потаённый источник. О формах инициации в искусстве, литературе и политике» («Den hemliga källan. Om initiationsmönster i konst, litteratur och politik», 1981), «Вещи. О наглядности предметов» («Saker. Om tingens synlighet», 1993), «Общее пространство» («Gemensamma rum», 1998; в соавт. со скульптором Сивертом Линдблюмом).
Роман «Пути к раю» был издан в Швеции в 1987 году («Paradisets vägar». Stockholm, Gidlunds).

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (род. в 1946 г.) — писатель, уроженец Сибири, ныне живущий и работающий в Москве. Автор множества рассказов, повестей и романов, в том числе «Прекрасность жизни» (1990), «Накануне накануне» (1993), «Душа патриота» (1994), «Подлинная история «Зеленых музыкантов» (1998) и др., переведенных практически на все европейские языки. В «ИЛ» опубликовано его эссе «Кто старое помянет» (1996, № 1) и ответы на анкету «ИЛ» (1999, № 2).

живопись **с**кульптура **г**рафика

линия-арт

галерея **с**овременного **и**скусства, **м**осква

галерея

линия-арт

с 22 апреля по 30 мая

представляет

новую

экспозицию

ЖИВОПИСЬ

Лев Дьяконицын
Игорь Кислицын
Татьяна Ян
Надежда Гайдук
Татьяна Спасоломская

СКУЛЬПТУРА

Олег Слепов
Сергей Смуров
Ольга Карелиц

ГРАФИКА

Мария Покровская
Екатерина Козлова

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**

ЭПШТЕЙН МИХАИЛ НАУМОВИЧ (род. в 1950 г.) — философ, культуролог, литературовед, эссеист. Автор двенадцати книг, в том числе «Парадоксы новизны» (М., 1988), «Новое сектантство» (М., 1994), «После будущего» («After the Future», 1995), «Бог деталей» (М., 1997), «Русский постмодернизм» («Russian Postmodernism», в соавт. с А. Генисом и С. Владив-Гловер, 1999). С 1990 г. живет в США, преподает в Эморийском университете в Атланте.

ЮШКОВА ОЛЬГА АРТУРОВНА — кандидат искусствоведения, историк искусства, критик. Ведущий научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи. Автор многочисленных статей по искусству русского авангарда и советской художественной культуре. Куратор выставок в ГТГ.

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ (WISŁAWA SZYMBORSKA; род. в 1923 г.) — польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии (1996). Автор девяти книг стихов, в том числе «Призыв к Йети» («Wołanie do Yeti», 1957), «Потеха» («Sto pociech», 1967), «Большие числа» («Wielka liczba», 1976), «Люди на мосту» («Ludzie na moście», 1986), «Конец и начало» («Koniec i początek», 1993). Стихи В. Шимборской изданы в ряде европейских стран; по-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой «Голоса поэтов» (1965), в антологии «Польские поэты» (М., 1978), в «ИЛ» (1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8; 1994, № 11). В «ИЛ» опубликована также речь Вислявы Шимборской «Поэт и мир», произнесенная на церемонии вручения ей Нобелевской премии (1997, № 5).
В номере публикуются фельетоны Вислявы Шимборской из сборника «Необязательное чтение» («Lektury nadobowiązkowe». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1996).

■Переводчики:

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА — переводчик с французского. В ее переводе публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы «Стелло, или Синие демоны» А. де Виньи, «Пыль над городом» А. Ланжевена, «Терраса Бернардини» С. Пру, «Конец Ангела» С. Г. Колетт, «Нечаев вернулся» Х. Семпруна (совместно с Г. Зингером; «ИЛ», 1996, № 11), главы из романа «Первый человек» А. Камю («ИЛ», 1995, № 5), повесть «Ни завтра, ни потом» Вивана Денона («ИЛ», 1997, № 5), пьесы «Осадное положение» А. Камю («ИЛ», 1990, № 10), «Бескорыстный убийца» Э. Ионеско (Библиотека «ИЛ», 1990), «Ужин» Жан-Клода Брисвиля («ИЛ», 1993, № 5), фрагменты книги «Трансатлантическая любовь. Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену. 1947—1964» («ИЛ», 1998, № 7) и др. Лауреат премии «Инолиттл» (1997).

ДУБРОВКИН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1953 г.) — литературный критик, переводчик поэзии с французского, английского, немецкого, итальянского и новогреческого языков. В его переводе вышли книга «Избранные стихотворения» П. Валери (1992) и полное собрание стихотворений С. Малларме. Публиковал переводы Ф. Петрарки, Т. Тассо, Микеланджело, Г. Гейне, К. Брентано, Э. По, Г. Лонгфелло, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса, Р. Фроста, П. Ронсара, В. Гюго, А. Рембо, Э. Верхарна, К. Кавафиса, Й. Сефериса, Я. Рицоса и других поэтов. Автор книги «Стефан Малларме и Россия» (1998). Составитель «Сочинений в стихах и прозе» Стефана Малларме (1995) и «Итальянской поэзии в русских переводах» (1992).

МИХАЙЛИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1963 г.) — переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. В его переводе издавались романы «Жюстин», «Бальтазар», «Маунолив» и «Клеа» Л. Даррела, пьесы «Лир» Э. Бонда и «Козий остров» Иго Бетти, «малая проза» Д. Г. Лоуренса, У. Б. Йейтса, Дж. Барта, Г. Гессе, Л. А. фон Арнима, М. Ауслендера. Саки и др. В «ИЛ» (1999, № 2) в его переводе напечатана глава «Коронация 1930 года» из книги Ивлина Во «Когда не ездить было — грех» (1946).

ЯХНИНА ЮЛИАНА ЯКОВЛЕВНА — переводчик с французского и скандинавских языков. В ее переводе издавались произведения французских писателей XX века: «Слова» Ж.-П. Сартра (совместно с Л. Зониной), «Здравствуй, грусть» Ф. Саган, «Философский камень» М. Юрсенар, «Изменение» М. Бютора («ИЛ», 1970, № 8, 9; совместно с С. Тархановой), «Плот Медузы» Веркора (Библиотека «ИЛ», 1988), «Тошнота» Ж.-П. Сартра («ИЛ», 1989, №7); «Архипелаг» М. Рио («ИЛ», 1996, № 7); «Французское завещание» А. Макина («ИЛ», 1996, № 12); скандинавских писателей: «Маленький лорд» Ю. Боргена, «Виктория» К. Гамсуна, «Прибой и берега» Э. Юнсона, а также произведения Я. Сёдерберга, Я. Бергмана и др. Лауреат премии «ИЛ» (1989) и премии имени Мориса Ваксмахера (1997).

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — переводчик с польского. В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, М. Хороманьского, Т. Конвицкого и др. В «ИЛ» в ее переводе напечатаны романы «Черти» Т. Новака (1975, № 3, 4), «Камень на камень» В. Мысливского (1986, № 7—9), «Чтиво» Т. Конвицкого (1996, № 1), «Ханеман» Стефана Хвина (1997, № 12), документальная повесть «Опередить Господа Бога» Г. Кралль (1988, № 4), повести «Врата рая» Е. Анджеевского (1990, № 1), «Красивые, двадцатилетние» М. Хласко (1993, № 12), «Монолог из норы» Е. Пильха (1999, № 1), рассказы К. Филиповича (1978, № 6), М. Хласко (1991, № 9) и П. Хюлле (1994, № 11), главы из книги «Семилетка, или Кто украл Польшу» Я. Куроня и Я. Жаковского (1998, № 10).
Лауреат премии «ИЛ» (1986).

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №5, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394